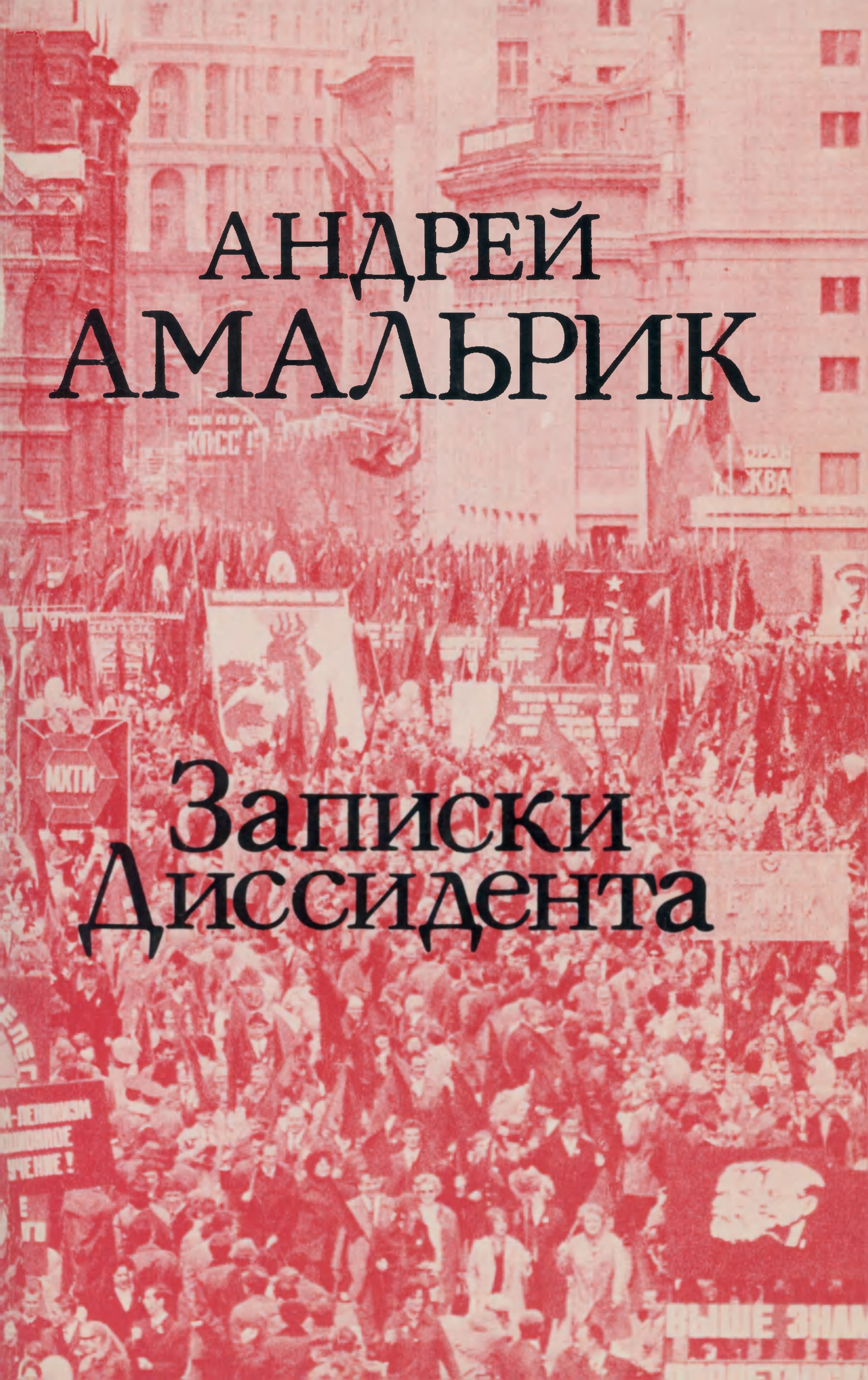
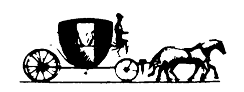

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК
Записки Диссидента
КПСС !
МХТИ



АНДРЕЙ АМАЛЬРИК

Записки Диссидента

ARDIS

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Amal'rik, Andrei, 1938-
Zapiski dissidenta.

1. Political prisoners—Soviet Union. 2. Dissidents —Soviet Union—Biography. I. Title.
HV8959.S65A45 81-22781
ISBN 0-88233-750-5 AACR2
ISBN 0-88233-751-3 (pbk.)

Долго относясь к слову революция скорее негативно, я стал участником одной из, быть может, наиболее значительных. Никто не знает, завершится она успехом или мучительная попытка создания новой идеологии кончится тупиком. Кризис христианства породил просвещение, кризис просвещения – марксизм, но можем ли мы с уверенностью сказать, что его кризис разрешится превращением "личности" из элемента "системы" в личность? Философия тоталитаризма продолжает распространяться в мире, но там, где она впервые победила, началось ее преодоление – не "справа", а "слева", в движении наощупь, но вперед.

Тема записок – конфликт между личностью и системой в стране, где личность – ничто, а система – всё. Это не история идей или движения, но только моя личная история. Я хотел рассказать ее безыскусно и честно, пишу здесь не только о том, что люблю вспоминать. Логика событий иногда вступала в противоречие с логикой рассказа о них, и было трудно отделять "главное" от "второстепенного" – увы, жизнь состоит большей частью из "второстепенного", при слишком строгом отборе пропадет аромат реальности.

14 июня 1978,
Жанто, Швейцария

— Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас?

Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина.

— Начальству пожалиться, оно разберет? — вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя.

— Вздуть его, вот он и не будет обижать, — сказал другой. Послышалось несколько одобрительных смешков...

— Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, — сказал англичанин, жестом как будто подставляя свою щеку...

Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли.

Лев Толстой, "Воскресенье"

Часть 1.

МОСКВА, 1966-1970

Глава 1.
ХУДОЖНИКИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

– К жене писателя заходил английский журналист и оставил свой адрес. Ты ведь умеешь общаться с иностранцами, не мог бы ты связать его со мной? – сказал мне Александр Гинзбург в декабре 1966 года.

Всего четыре месяца назад я вернулся из ссылки, о суде над писателями Даниэлем и Синявским знал, главным образом, по советским газетам, о демонстрации и письмах в их защиту слышал смутно, я слышал также, что Гинсбург заканчивает "Белую книгу" – сборник материалов о суде – и хочет устроить пресс-конференцию. Как-то он сказал мне, когда я сидел у него на продавленном диване, что в диване прямо под моим задом эта рукопись лежит, – но я никогда не просил ее почитать, отчасти потому, чтобы на возможный вопрос следователя ответить, что я ничего о ней не знаю. Я считал, что власти не будут церемониться ни с Гинзбургом, ни со мной, Гинзбург, вероятно, думал так же – и потому не рисковал сам идти к иностранному корреспонденту, а может быть, думал, что тот будет напуган его приходом. Мы все тогда немножко боялись, что те, кто боится власти, примут нас за провокаторов, боялись провокаторов.

Я, однако, согласился на поручение – и тем самым взял на себя неожиданно роль, которую играл до осени 1969 года и которая отчасти вовлекла меня в то, что впоследствии стало называться Демократическим движением. Правда, я согласился не только из желания помочь Гинзбургу, но и потому, что сам писал воспоминания о сибирской ссылке, которые хотел передать на Запад. Я и сейчас хорошо помню заснеженную Тверскую-Ямскую, редкие фонари, пустую милицейскую будку перед домом – в доме жило слишком мало иностранцев, чтоб круглосуточно дежурил постовой, и немного растерявшуюся жену корреспондента, с волосами, опущенными на щеки. С трудом я объяснил ей, что я хочу; несмотря на "умение общаться с иностранцами", я говорил только по-русски.

Через несколько дней Гинзбург встретился у нас с журналистом, занавесок у нас еще не было, и мы заставили окна картинами, наивная конспирация на тот случай, если бы попытались сфотографировать нас. Договорились о новой встрече на 17 января – но у Гинзбурга с утра до вечера был обыск, в тот же день был арестован Юрий Галансков, составитель сборника "Феникс". Я увидел Гинзбурга на выстовке неофициальных художников в клубе "Дружба". В течение часа, пока

выставку не закрыли, едва можно было протиснуться сквозь толпу – и тут мелькнуло его лицо, оживленное, но уже с отпечатком обреченности, ясно было всем, а лучше всех ему самому, что его вот-вот арестуют. Здесь же я услышал о демонстрации на Пушкинской площади в защиту Галанскова и еще троих арестованных. Мне уже рассказывали о демонстрации в декабре 1965 года с требованием гласности суда над Даниэлем и Синявским, но я полтора года не был в Москве и возможность даже маленькой демонстрации казалась мне невероятной.

Впоследствии на допросах некоторые в качестве алиби ссылались на то, что были в этот вечер на выставке – выставка все-таки считалась меньшим злом. Уже после ее закрытия чины КГБ ходили по залам, с интересом рассматривали картины и говорили художникам: "Мы не против, указание закрыть дал райком". В коридоре человек с серым лицом другому, помоложе, показывал на группу художников: "Ты пойди, повертись около, повертись".

И первый обыск у Гинзбурга, и его арест 23 января совпали по времени с организуемыми мной встречами, у меня возникло тяжелое чувство, нет ли осведомителя среди его друзей и не будут ли подозревать меня. Думаю теперь, что это было случайным совпадением: слишком уж спрессовано было время, отпущенное Гинзбургу оставаться на свободе.

Встречи осенью 1966 года с Гинзбургом и Галансковым показали мне, что существует зародыш оппозиции режиму. Галансков говорил даже о создании партии. Я готов был помочь и тому, и другому, но не хотел бы примкнуть слишком близко. Я был в оппозиции к этому режиму всегда, даже не стал пионером – но это было скорее личное неприятие того, что я считал не в силах изменить; я искал нишу, в которой мог бы жить, занимаясь своим делом, своего рода форму сосуществования с режимом. План этот, к которому я неоднократно сознательно и бессознательно возвращался, был неосуществим. Любая частная жизнь в Советском Союзе – это "ниша", однако за право сидеть в ней режим взыскивает высокую плату, кроме того режиму мало, чтобы кто-то был "не против", надо, чтобы все были "за" и время от времени показывали это. Вторым препятствием для меня было желание не столько приспосабливаться к окружающему миру, сколько мир менять. Я долго не сознавал этого, но в этом был источник многих конфликтов. К тому же я хотел отвечать на удар ударом – попав в ссылку, я чуть ли не с первых дней думал, как напишу книгу об этом и так хоть в какой-то степени отплачу тем, кто обошелся со мной столь безобразным образом. Я винил, впрочем, систему, а не отдельных лиц, и не знаю, как при этом еще надеялся ужиться с ней.

После ареста Галанскова и Гинзбурга никаких почти связей с теми, кто поддерживал их и участвовал в январской демонстрации, у меня не было. Я думал прежде всего о том, чтоб закончить

"Нежеланное путешествие в Сибирь" и найти издателя, а также, чтобы дать Гюзель, моей жене, возможность заниматься живописью. Хватало забот и просто о том, что есть каждый день, событием для нас было сделать яичницу с ветчиной и купить бутылку пива. Ощущение легкого голода и безденежья знакомо многим молодым писателям и художникам, но у нас оно почти не соединялось с надеждой – наш образ жизни был вызовом системе, которая не считала только голод достаточным наказанием.

Мы жили тогда в большой коммунальной квартире на улице Вахтангова, почти в центре Арбата. Из прихожей, где горела тусклая лампочка – соседи ее все время выключали из экономии – вел буквой Г длинный и узкий коридор, мимо кухни, где в чаду сушилось белье и стояли у своих столов старухи со скучными лицами, мимо ванной, где уткнувшись головой в корыто и выставив в коридор огромный зад, обтянутый синими байковыми штанами, соседка стирала белье, мимо занавески, с выпиравшими из-под нее чемоданами, мимо больших и маленьких дверей, мимо шкафчиков вдоль стены – и упирался в дверь нашей комнаты.

А если раскрыть дверь – вы натыкались на рояль. Рояль занимал половину комнаты, ни Гюзель, ни я не умели играть на нем, он достался мне в наследство от тети, певицы, и был для меня как слон для бедного индуса, к тому же он был совершенно расстроен, только иногда на нем играли двое сумасшедших: сестра Гюзель и художник Зверев, и правда, они извлекали из него дивные звуки, Зверев иногда даже головой. Кроме рояля, стояли тахта, платяной шкаф, письменный стол и остаток буфета, купленного бабушкой и дедушкой к их свадьбе в 1905 году, году первой русской революции. Впоследствии, когда дела наши стали несколько поправляться, на месте буфета появилась большая книжная полка. Когда я сидел в тюрьме, приятельница Гюзель Сюзанна Джэкоби, желая показать, как наша жизнь была неустойчива, в статье в "Нью-Йорк Таймс Мэгазин" назвала полку "шаткой". Статья мне понравилась, но как только я дошел до полки, готов был писать опровержение: я гордился ею, она была сделана по моим чертежам, и я считал, что скорее советская власть пошатнется и рухнет, а моя полка будет стоять. Полку и рояль перед отъездом заграницу мы подарили нашему другу Юрию Орлову, и они теперь неколебимо стоят у него, но он сам – увы – когда я пишу эти строки, сидит в Лефортовской тюрьме.

Сначала у нас было только два стула. К спинке одного я прибил планку с надетой на нее консервной банкой: получился мольберт, на котором Гюзель написала несколько красивых портретов. К сожалению, она могла работать только в солнечную погоду: комната выходила в полутемный колодец арбатского двора с мужским туалетом внизу. Над нами смеялись немного – особенно иностранцы, что мы,

не имея даже обеденного стола, полкомнаты заняли бесполезным роялем, но сама его бесполезность и красота, вместе с картинами, старыми книгами, дедушкиными часами и какими-то паутинообразными засохшими растениями на шкафу придавали нашей комнате сказочный вид, я особенно остро чувствовал это, когда через много лет вернулся из ссылки.

Наша квартира была как бы микрокосмом советского мира. У дверей жила пожилая еврейская пара: муж, майор, работал в неясном учреждении, но в осторожной форме высказывал восхищение Израилем, жена была озабочена главным образом тем, чтобы приготовить обед мужу, Гюзель у нее научилась готовить превосходную еврейскую рыбу. Старый коммунист, приземистый, как гриб-боровичок, со скрипучим голосом, редко выходил из комнаты, но в кухне царила его жена, высокая крепкая старуха, Гюзель сразу вспомнила ее, когда прочла "Сто лет одиночества" Габриэля Маркеса. Она подчеркивала свою преданность советской власти и очень гордилась, что ее сын – прокурор, впрочем, снятый за взятки. Она часами обсуждала по телефону последнюю прочитанную книгу или просмотренный фильм, в этом было бы даже что-то юношески трогательное, если бы телефон не был один на всех жильцов. Проходя мимо их комнаты, можно было слышать БиБиСи, Немецкую Волну или Голос Америки: старик считал, что врага нужно знать. Но кончилось это плохо: наслышавшись, что такого-то диссидента арестовали, такого-то сунули в психушку, такого-то выслали из Москвы, он вдруг вообразил, когда жена летом перевозила его на дачу, что его выселяют из Москвы, плакал и повторял: "Меня, меня, который всю свою жизнь честно служил советской власти". Вскоре он умер.

Напротив жили мать, деревенская старуха с проваленным ртом, и ее сорокалетняя дочь, заведующая булочной. За ними – багроволицый мужчина, который женился на женщине из южного курортного городка, он рассчитывал, что летом будет жить у нее, а она – что он пропишет ее в Москве, но поскольку они друг другу не доверяли и прописывать друг друга не хотели, брак распался на наших глазах. Дальше была комната кислой дамы лет семидесяти, вдовы полковника, и квартира становилась как бы гигантским полем битвы честолюбий – кто важнее: вдова полковника или жена майора (хотя и майора, но все же живого), заведующая булочной или мать прокурора (хотя и бывшего, но все же прокурора)? Впоследствии на месте кислой дамы поселилась рабочая пара: толстая Таня со щуплым Ваней – попадая из-за алкоголизма в психбольницу, он на всю палату кричал: "Я ебу советскую власть!" "Да что ты, что ты, – шептала ему испуганная Таня, – лучше уж ты меня выеби". Но этого он как раз не делал, так что они скоро разошлись – и Ваня пропал бесследно.

И наконец, рядом с нами жили две женщины, лишенные какого-либо комплекса социальной неполноценности: испитая и костлявая Оля, лет сорока пяти, работавшая уборщицей в кино, и ее тетка, которую она называла "бабка". Несовершеннолетний сын Оли сидел в тюрьме за групповое изнасилование, тоже несовершеннолетней. Когда Оля напивалась – это происходило ежедневно – она на полную мощь запускала магнитофон и, стуча кулаком по столу, кричала: "Бабка, я пью, я гуляю!" "Бу-бу-бу-бу!" – отвечала бабка. Музыка слегка приглушалась и солидный мужской голос, подражая интонациям радиодиктора, говорил: "Эта музыка записана для Ольги Воронцовой старшим киномехаником кинотеатра "Кадр"! "Слышишь, бабка, это для меня музыка!"– кричала Оля, а в ответ слышалось: "Бу-бу-бу-бу!"

Гюзель работала очень энергично, стуча сапожной щеткой по холсту, так что трясся стул, и вырабатывая своеобразный стиль – отчасти она следовала своему учителю Василию Ситникову, отчасти Владимиру Вейсбергу, но по рисунку и по чувственному восприятию натуры ближе всего была к Модильяни и Ван Донгену, картины которых в то время знали только по репродукциям. Это было так далеко от соцреализма, что у нее не было шансов, да и желания, войти в Союз художников и получать официальные заказы. Первой картиной, которую продала Гюзель, был портрет жены корреспондента, у которого я был по просьбе Гинзбурга. Они, кажется, долго сомневались, купить ли этот портрет, для нас же это был чуть ли не вопрос жизни и смерти, и, получив 66 долларов, мы почувствовали себя невероятными богачами, первым делом купили красивый вязаный костюм для Гюзель, до этого она ходила в старых одеждах своих подруг.

Гюзель стали время от времени заказывать портреты, главным образом, иностранцы. У меня была небольшая коллекция работ молодых художников, которую я собрал до первой ссылки, а часть картин они мне дали для продажи – и несколько я продал. Власти отвергали неканоническое искусство, богатых коллекционеров почти не было – и иностранная колония в Москве была, по-существу, единственным рынком. Низкие цены в Москве делали живопись доступной даже для тех, кто не мог бы купить картины хороших художников у себя на родине, многие хотели приобрести в чужой стране что-то для нее характерное и сравнительно редкое, к тому же неофициальное искусство – несущее в себе элемент протеста и тем не менее разрешаемое властью – отвечало чаяниям иностранцев о "либерализации" советской системы.

Я не говорю об общем для всех времен и народов желании украсить свой дом. Помню, как была поражена одна американка, зайдя к нам в комнату и увидев развешанные по стенам картины: они создавали своего рода магнитное поле. Пока человек живет в атмосфере красоты,

это все же смягчает присущие ему зависть и злобу, я согласен, что "красота спасет мир", но мы скорее идем от красоты, чем к красоте. В старину даже крестьянская утварь, какой-нибудь светец, были произведением искусства, а сейчас немало картин имеют вид фабричного изделия. Интересно, что расцвет тоталитаризма в политической и социально-экономической жизни совпал с расцветом функционализма в архитектуре и дизайне.

Некоторые московские иностранцы – скорее полуинстранцы – почувствовали, или им подсказали, что собирание картин неофициальных художников и посредничество между новым советским искусством и старым западным рынком может оказаться выгодным делом. Вспоминаю русско-американскую пару – назову их условно Эдвард и Нона – чье положение в Москве было характерно для того странного пограничного мирка, который возник на стыке советского и западного образов жизни. Они поженились перед войной, потом Нона ездила с мужем в США и даже изучала историю в каком-то американском университете, но во всяком случае не совсем точно знала, наследовал ли Людовик XIV Людовику XV или наоборот, с середины пятидесятых годов они поселились в Москве постоянно, и Эдвард становился поочередно корреспондентом разных западных изданий.

Когда я познакомился с ними в 1964 году, они жили в большом собственном доме, во всех почти комнатах висели картины – преимущественно молодых, но была также великолепная картина Пиросманишвили. Вскоре этот дом был снесен – и они взамен получили дворянский особняк в районе Арбата, красивый, но так построенный, что для картин места не нашлось – да я почти и не нашел у них картин, когда вернулся в Москву в 1966 году, большую часть Нона вывезла в США, там продала и бросила этим заниматься, думаю, что картины не имели большого успеха в США.

Ее желание посредничать доходило до смешного. У себя в доме художников и возможных покупателей она распихивала по разным комнатам, Василия Ситникова как-то даже заперла в туалете. К ней пришел коллекционер Арманд Хаммер, и тут как раз сидели художник Плавинский со своим приятелем, настолько пьяные, что не под силу ей было утащить их в другую комнату, но уж конечно они и не помышляли о сделках, а лишь о том, как бы хватить еще стаканчик. Да и Хаммер не поверил, что можно вправду так напиться, и решил, что Нона пригласила двух актеров разыгрывать по системе Станиславского пьяных русских художников. Станиславский в глазах Хаммера, я думаю, не подкачал: приятеля Плавинского я вынужден был однажды за ноги проволочь по описанному мной коридору, мимо потрясенных соседей, и спустить с лестницы – а он, теряя галоши и скользя по ступенькам вниз головой, кричал нам: "Попробуйте только спуститесь вниз!" На что Плавинский гордо отвечал ему ленинскими

словами: "Мы пойдем другим путем!" – и предлагал мне выйти на улицу черным ходом, чтобы не подвергать себя опасности его мести.

Нона не любила и не понимала живопись. У нее было несколько советчиков, которые советовали ей купить то или это, а потом, показывая купленное, она следила за реакцией других: то, что один хвалил, другой мог обругать, и ей волей-неволей приходилось жить последним мнением. Как-то она попросила у меня несколько картин "показать важным американцам" и одновременно купила "Морское дно" Плавинского, которое загромождало нашу комнату наподобие рояля. Но именно "Дно" ее гости не похвалили – и она сказала, что пока я не верну за него деньги, она не вернет мои картины. Деньги я уже отдал Плавинскому, а они, надо отдать ему должное, у него не залеживались, да и такой метод ведения дел я принять не мог, пришлось мне угрожать судом, пока не отдали картины. Но даже через год Нона подбежала ко мне на приеме у американского посла: "Вы должны мне пятьсот рублей'!"

– Ну, Нона, кто старое помянет, тому глаз вон, – добродушно ответил я.

– Нет, не вон! Нет, не вон! – и она отскочила с таким видом, словно я действительно собирался вырвать ей глаз. Больше я ее не видел.

Несмотря на богатство, заметное особенно на фоне скудной советской жизни, в ней самой и в атмосфере их дома чувствовалось что-то несчастное. Помню, как она хотела показать мне японский киноаппарат и вынимала из ящика множество аппаратов, то без объективов, то без ручек, то еще без каких-то деталей, вереница аппаратов-калек, в комнате уже наступали сумерки, и я, взглянув сбоку на ее лицо и шею с подтянутыми морщинами, вдруг подумал: как эта женщина несчастна.

Как-то Зверев, Плавинский и я заехали к Эдварду. Две девицы и молодой человек, альбинос с лицом, которое невозможно запомнить, сидели в одном углу гостиной, а мы в другом, по замыслу Плавинского ближе к бару, обе группы с таким видом: у вас своя компания, а у нас своя.

– А где же Нона? – любезно спросил Плавинский.

– Нона в данный момент лежит на операционном столе, – так же любезно ответил Эдвард. – Она сломала ногу и поехала в Америку для операции.

Мы сидели с печальными лицами. И вдруг дверь отворилась и появилась Нона – вся в черном, с белой гипсовой ногой и с черным зонтиком в руках.

– Сколько я тебе говорила не появляться здесь! – и она с размаху саданула альбиноса зонтиком по заду. Тот бросился в дверь, девицы с визгом за ним, мы застыли на местах.

– Нона, Нона, – говорил Эдвард, вставая на защиту альбиноса и вяло разводя руками.

– Это же ба-ардак! Ба-ардак! – кричала Нона, с грохотом швыряя на пол рюмки и вазочки, видно было, что она рада зрителям.

В метро Дима Плавинский, выпивший во время этой сцены бутылку рома от волнения, стоял, покачиваясь, немного в стороне от нас, и с ним заговорил человек со сладкой улыбкой.

– Это агент, он видел, как мы выходили из американского дома, – шептал мне Зверев, – бежим отсюда.

– А как же Дима?

– Сейчас мы ему уже ничем не поможем, а завтра отнесем передачу.

– Дима! – крикнул я, когда подошел поезд, и сладкий человек отпрянул – это был педераст, ищущий друга среди пьяных.

Нона с возмущениеим рассказывала, что как-то, наоборот, она застала в спальне совершенно голую девушку. И хотя Эдвард объяснил, что это молодая талантливая скрипачка, которой негде заниматься – действительно, тут же лежала и скрипка, – и потому он разрешил ей играть здесь, и она так самозабвенно и страстно играла, что вся вспотела и потому вынуждена была сбросить с себя одежды, Нона стала хватать трусы, лифчик, чулки и выкидывать их в окно, так что они повисли на деревьях в саду вроде диковинных плодов, и бедной девушке пришлось лазить нагишом по деревьям и собирать их – Эдвард, при всем своем благородстве, был слишком тучен для этого. К Нониной чести следует сказать, что она пожалела девушку и не выбросила скрипку.

Советские власти ригористичны – они не любят, чтоб на вишневых деревьях висели женские трусы, чтоб к американцам ходили русские гости, чтоб иностранцы покупали и продавали картины, более же всего они не любят, чтоб иностранные корреспонденты оставались в России слишком долго: чем дольше корреспондент живет здесь, тем лучше он понимает ситуацию. Однако описанный мной корреспондент провел в Москве более трех десятилетий, примерно столько же провел и бывший глава московского бюро ЮПИ Генри Шапиро, тоже женатый на русской, а французский корреспондент Эннис Люкон, если не женатый, то во всяком случае живший с русской, продолжал быть аккредитован в Москве и после того, как представляемая им "Пари Жур" прекратила существование.

Со студенческих лет я стремился иметь знакомых и друзей среди иностранцев. Не надо думать, что за этим стояли практические соображения – получить нужную книгу, продать картину, передать свою или чужую рукопись, хотя об этом я еще буду писать; главным для меня, как и для многих других, думаю, что даже для молодых людей, торгующих джинсами, главным было найти какой-то – чуть ли не

метафизический – выход из того мира, который нас окружал; нам хотели внушить, что советский мир – это замкнутая сфера, это вселенная, мы же, проделывая в этой сфере хоть маленькие дырки, могли дышать иным воздухом – иногда даже дурным, но все же не разреженным воздухом тоталитаризма.

Мне хотелось бывать в гостях у иностранцев и приглашать их к себе, держать себя с ними так, как будто мы такие же люди, как они, и они такие же люди, как мы. Хотя многим американцам и европейцам это покажется общим местом – как же еще общаться людям, – я предлагал, по существу, целую революцию. Слову "иностранец" придавался и придается в России мистический смысл – и дело не только в сооружаемых властью барьерах, но и в вековой привычке изоляции и комплексе неполноценности, которым советский режим придал форму идеологической исключительности. Иностранцы тоже начинали смотреть на себя как на существа особого рода – большинство сразу же принимало "правила игры", навязываемые властями. Многие годами могли жить в России или совершать большие путешествия, не встречая ни одного русского, кроме сопровождавших их чиновников, а потом писались книги о России, где в качестве самых больших недостатков приводилось долгое ожидание официанта в ресторане или куча мусора под окном.

Начав "революцию в отношениях", я натолкнулся не только на сибирскую ссылку, но и на пущенный самими иностранцами слух, что я агент КГБ. Мне приятно было слышать, когда в 1976 году в Нью-Йорке при вручении мне премии Лиги прав человека Павел Литвинов заговорил не о моих книгах, а о том, что я был первым, кто начал это неофициальное общение. Это же имел в виду и Гинзбург, сказав, что я умею "общаться с иностранцами".

Хотя меня все более начали занимать другие интересы, отношения с художниками были дороги мне. Анатолий Зверев заходил к нам, пока мы не поссорились из-за того, кому делать первый ход в карты, я его с тех пор не видел и едва ли увижу. Я думаю теперь, что он оказал на меня большое влияние, даже как на писателя, хотя сам книг, по-моему, не читал. Когда он иллюстрировал мои пьесы, он попросил меня читать их вслух, так как едва разбирал буквы; замечания, которые он сделал, были, впрочем, очень метки. Боюсь, что в истории русского искусства его работы займут скромное место, замечательные вещи просто потеряются среди хлама. На Западе даже лучшие его картины интереса не вызвали, они слишком напоминали лирический экспрессионизм двадцатых-тридцатых годов, словно развитие русского искусства возобновилось с того момента, на котором было искусственно прервано.

Между тем я не побоюсь сказать, что в Звереве были зачатки гениальности, это был гений в потенции – но в потенции, не

осуществившейся. У него были такие неожиданные повороты, такие необычные ходы – и в его картинах, и даже в маразматических рассказах и стихах, – которые и выдают гения. Вы читаете, например, писателя, как будто едете по укатанной ровной дороге, но вдруг какой-то одной фразой делается такой вираж, и вас тряхнет на таком ухабе – и вы чувствуете: перед вами гений. Но у большинства хороших писателей вы так и доезжаете до конца книги по ровной дороге.

У Зверева не было другого: школы, культуры, которая играет роль внутреннего цензора, отличая плохое от хорошего не на бумаге уже, а еще где-то на грани бессознательного и сознательного, а также не было среды, которая держит художника на поверхности, как соленая вода пловца. Конечно, создавалась эрзац-среда: несколько подпольных художников, два-три безденежных коллекционера, три-четыре непризнанных поэта и четыре-пять ничего не понимающих в живописи иностранцев, и поэтому не только картины Зверева, но и вообще картины русских неофициальных художников, выставленные вместе на Западе, – и хорошие, и плохие, и любительские, и профессиональные – производят какое-то, не побоюсь этого слова, жалкое впечатление, не в отрицательном смысле, а скорее в том, как выглядит голый среди одетых.

Работоспособность Зверева – сначала высокая – начала иссякать, чему немало способствовало естественное для русского художника пристрастие к водке, и постепенно все яснее обозначался кризис, когда данное художнику Богом истощается, не сменяясь приобретенным личными усилиями. В период моего увлечения Зверевым я никогда не мог смотреть без волнения, как он работает: я присутствовал при чуде. Когда он подходил к белому листу, не глядя на модель, мне казалось, что пустоту листа невозможно превратить в портрет вот сидящей с видом ожидания женщины, как из ничего нельзя создать нечто. Но, с искаженным лицом и по-обезьяньи двигая руками – Зверев потом на меня очень обиделся за это сравнение – он развозил по бумаге жидкую краску, процарапывал линии, и я облегченно вздыхал: великолепный портрет! Некоторые его работы и сейчас у меня хранятся.

Небритый, в надвинутой на глаза кепочке и в грязной одежде с чужого плеча, Зверев вызывал брезгливость у многих – и вместе с тем сам отличался чудовищной брезгливостью, он никогда, например, не ел хлеб с коркой, а выковыривал серединку, рассыпая вокруг себя хлебные ошметья, пил из бутылки, чтоб не запачкать воду о стакан, при этом из брезгливости не касался губами горлышка. Ему показалось, что Гюзель налила ему пива в недостаточно чистую кружку, и с тех пор он всегда приходил к нам с оттопыренным карманом, из которого торчала большая кружка, украденная им в какой-то пивной, для дезинфекции он протирал ее носовым платком, не могу сказать, чтобы очень чистым. Но, быть может, он заходил к нам с кружкой еще и для

того, чтобы деликатно намекнуть, что обед всухомятку – не обед. Его представления о том, как и сколько можно выпить, сильно отличались от общепринятых, даже в России. Как-то за завтраком он выпил около литра водки – я только рюмку, затем мы распили бутылку шампанского, после чего Зверев сказал: "А сейчас хорошо бы пивка!"

Он постоянно попадал в странные истории, из них одних – а в некоторых, к несчастью, я сам участвовал – можно составить книгу. Зверев снимал одно время комнату в подвале вместе со своей возлюбленной, слоноподобной детской поэтессой. Любимым его занятием была игра в рифмы:

– Поколение, – говорила поэтесса.

– Коля на Лене, – тут же отвечал Зверев.

– Кулинария.

– Коля на Ире, – и так далее, пока чья-то фантазия не иссякала. Однажды подруга отвечала все такими неудачными рифмами, что Зверев с матерной бранью швырнул в нее зажженной спичкой – и вспыхнули ее пышные курчавые волосы!

– Подонок! – закричала поэтесса, хватаясь руками за волосы. – Мое терпение истощилось, я иду доносить в КГБ, что ты продаешь картины иностранцам! – и с этим она выбежала из комнаты, закрыв снаружи дверь на щеколду. В ужасе Зверев принялся колотить в дверь, на стук вышел сосед, одноногий инвалид отечественной войны, и, желая помочь, стал трясущимися руками отодвигать тугую щеколду. Однако страх Зверева перед КГБ был так велик, что он, не дождавшись, рванул дверь – и оторвал палец своему избавителю.

– Я так спешил, что даже не извинился, – говорил потом огорченный Зверев, который придавал вообще большое зачение соблюдению формальных приличий. Оказалось, впрочем, что его возлюбленная побежала не в КГБ, а в парикмахерскую – приводить в порядок оставшиеся волосы, а сосед действительно написал жалобу в КГБ, что мало того, что ему оторвало ногу, когда он защищал на войне светлое будущее молодого поколения, это молодое поколение само вдобавок оторвало ему палец.

У Зверева была привычка приставать на улицах к женщинам, и если кто-то, напуганный его нелепым видом и странными речами, обращался к прихожим, он обиженным тоном говорил: "Товарищи, эта женщина меня уже месяц преследует, а что я могу поделать – у меня импотенция". Некоторые ему даже сочувствовали. В другой раз, не желая платить за такси – таксистов он ненавидел "за заносчивость" – он закричал: "Караул, насилуют!" Собралась толпа, подоспела милиция, шофер, молодой парень, только тупо глазами хлопал – и что же, его задержали, а Зверева отпустили.

Многое объяснялось его патологической трусостью, вечная боязнь заставляла его ссорить между собой любителей его живописи.

Открыл его танцор и режиссер Александр Румнев, а потом коллекционер Георгий Костаки очень им увлекся. И вот сидит Зверев за обедом у Костаки и говорит:

– Какие же нехорошие люди бывают, Георгий Денисович.

– А что такое, Толечка? – заволновался Костаки.

– Да вот, Александр Александрович Румнев, почтенный человек, а такие вещи про вас говорит, что стыдно повторить – говорит на Вас ''черножопый армяшка''.

– Да как же так! – закипятился Костаки. – Ведь это ж у него самого армянские наклонности!

– Вот, Александр Александрович, какие нехорошие люди бывают на свете, – начинает Зверев на следующий день за обедом у Румнева...

Румнев что-то тебя не любит, – говорил он мне впоследствии, – прямо мне приказывает: не смей ходить к этой старой бляди Амальрику''. Представляю, что он наговорил Румневу обо мне. Когда мы познакомились, известность давала ему какую-то уверенность в себе, но его детство и юность были ужасны – как он сам пишет, ''единственными звездочками были рисование, шашки и стихи''.

Глава 2.
АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ НОВОСТИ

Мне нужно было думать не только о заработке, вроде заработка от продажи картин, но – о работе, предоставленной государством. Уже заходили ко мне участковый инспектор милиции, очень толстый, и с ним гебист в штатском, с типичным кисло-сладким выражением лица, напоминавшие вместе кусок разварного мяса с кислым соусом, и намекали, что я недавно вернулся из Сибири и могу снова туда поехать. Я рассчитывал на помощь приятелей отца в разных издательствах, но они мялись и тянули, людей старшего поколения не очень воодушевляло, что я побывал в ссылке. Но неожиданно жена моего дяди сказала, что ее племянник работает в Агентстве печати Новости и она спросит его, так сказать, взаимопомощь племянников.

В здании АПН на Пушкинской площади дежурило три привратника: один пропускал в вестибюль, другой сидел у телефона, а третий у внутренних дверей, лица их не оставляли сомнения, к какой организации они принадлежат. Встретивший меня Борис Алексеев был лет на пять меня старше, рослый и с лицом как бы мужественным, но весь словно без костей, все в нем студенисто колебалось. Кажется

мне, что он этой встречей хотел отдать дань уважения своей тете без каких-либо практических последствий. Но тут к нам подошла, делая энергичные движения, блондинка с заостренными чертами лица – его любовница, как я узнал потом. Она мне и предложила первую работу – взять интервью у театральных художников. Был уже, говоря советским языком, "запланирован матерьял", но никто ничего не сделал – а вдруг этот молодой человек сделает. Она к тому же, в отличие от Бориса, была обязана своей карьере себе самой, а такие люди любят покровительствовать. Для нее моя ссылка окружала меня скорее романтическим ореолом, к тому же приговор мне был Верховным судом отменен.

АПН было создано в последние годы власти Хрущева – под вывеской, в отличие от ТАСС, "общественного агенства" – главным образом для пропаганды на заграницу. Как всякое учреждение, связанное с заграницей, АПН работало в контакте с КГБ, а заграницей было для его агентов "крышей". Впоследствии мою работу для АПН приводили как одно из доказательств, что я агент КГБ. Это, если говорить вежливо, слишком упрощенный взгляд. Не только АПН, но и ССП, любое издательство, институт – связаны с КГБ, с метафизической точки зрения все советские граждане на него работают. В АПН было достаточно штатных и внештатных сотрудников КГБ, но часть журналистов прямого отношения к нему не имела. Я же вообще не был сотрудником АПН – я был одним из тысяч авторов, которым агентство заказывало статьи или интервью.

Не совсем ясно представляя, как нужно брать интервью и у кого, я начал с Олега Целкова, которого знал немного и который работал для театра. "Посиди здесь немного, – сказал он, – я сбегаю за бутылкой, и поговорим". Прошли полчаса, час, два – художник не появлялся, жил он на самой окраине, и уже поздно ночью я с трудом добрался домой – и так с тех пор его и не видел, только на днях слышал, что он сейчас в Париже. Другой художнице я позвонил как раз в тот момент, когда ее увозили в родильный дом. Наконец, мне удалось договориться с Борисом Мессерером – отец его был балетмейстером, мать балериной и сам он оформлял балеты. Совсем не помню, кто меня ввел в квартиру, но в мастерской меня встретила женщина, показавшаяся мне очень красивой, его бывшая жена, она достала куклу под стеклянным колпаком, повернула ключик – и кукла стала танцевать. "Это я!" – сказала она, указывая на куклу, и вышла. Его мать тоже, как писали в старых романах, несла отпечаток былой красоты, есть особый тип красоты балерин, всегда узнаваемый – не все, конечно, балерины красивы.

Художник, небольшого роста, лет под сорок, совершенно лысый, предложил мне садиться, и мы сели, многозначительно и молча глядя друг на друга. Он ждал моего вопроса, а я совершенно не знал, о

чем спросить.

– Как удивительно, вы еще молодой, но уже совсем лысый, – сказал я, наконец, и вспомнил, что во время знаменитого вечера с явлением черного зонтика и белой ноги, пьяный Плавинский несколько раз начинал анекдот о лысых, но каждый раз, взглянув на лысину Эдварда, испуганно замолкал – чтобы через несколько минут начать снова. Вопрос спорный: есть теория, что облысение – признак сохранения мужской силы, одно как бы компенсируется другим; у меня, правда, волосы очень хорошие. Как бы то ни было, я взял интервью у нескольких художников – и у меня создалось впечатление, что театральных художников по призванию не бывает, это все неудавшиеся станковисты; чем лучше они понимали пространство сцены, тем хуже была их станковая живопись.

Сдав статью, я впервые познакомился с редакторской правкой: места, казавшиеся мне лучшими, были выброшены, зато вписаны такие вопросы художникам: "Каковы ваши мечты и планы?" Но статья была принята и даже вывешена на "Доске лучших материалов" – "невероятная" для начинающего журналиста честь.

Я писал для АПН главным образом о театре – это было мне самому интересно, отчасти за свои пьесы я и попал в сибирскую ссылку. Первым режиссером, у которого я взял интервью, был Валентин Плучек – главный режиссер Театра Сатиры. Я сходил на один его спектакль, хороший, и спросил Гинзбурга, как раз за несколько дней до его ареста, что бы он мне посоветовал прочесть о Плучеке. Гинзбург ответил, что ничего о Плучеке читать не советует, а советует прочитать "Вестник АПН", для которого я буду писать, чтоб я знал, как там пишут, и писал так же. С Плучеком – совершенно случайно – мы начали с живописи, он с интересом расспрашивал о несостоявшейся выставке в клубе "Дружба". Но только мы перешли к театру, как будто что-то щелкнуло в нем, он заговорил обкатанными фразами, даже голос изменился. Как только я кончил записывать, он опять обрел человеческий голос.

Постепенно я перестал заранее ходить на спектакли, скорее норовил потом попросить у режиссера бесплатный билет, ничего не читал и никак не готовился – и, конечно, один раз был наказан за свою наглость. Срочно нужно было интервью Андрея Завадского о советском театре – он интервью давать отказывался, и я предложил хитрый план: Завадский только что был в Англии, я попрошу у него интервью об английском театре, а там уж постепенно сведу разговор на советский. Завадский клюнул на эту удочку – но вскоре выяснилось, что я не знаю английского режиссера, который ему больше всего понравился, и он говорить со мной отказался. Едва я, удрученный, вышел из театра, как вспомнил, что как раз этого режиссера статью о театре без занавеса я буквально вчера читал в бюллетене

посольства США в Москве – видимо, мои знакомства с американцами и моя работа для АПН относилась к каким-то несовместимым в моей голове сферам. Скажи я про эту статью, я бы очаровал Завадского, но не возвращаться же было с криком: "Я вспомнил! Я вспомнил!"

Возглавлял Завадский Театр имени Моссовета, названия советских театров вообще нешуточны: Театр имени Московского Совета, Театр имени Ленинского Комсомола, Театр имени Советской Армии. Да и их главные режиссеры походили скорее на генералов, чем на режиссеров. Несколько иное впечатление производил Леонид Варпаховский – тогда было много шуму вокруг его постановки "Дней Турбиных" Булгакова. Как и Плучек, он был одним из последних учеников Всеволода Мейерхольда: когда тот ставил "Ревизора" Гоголя, там у жены городничего должны были из тумбочки выпрыгивать молоденькие офицеры, вот Мейерхольд и подбирал себе в студию молодых людей, таких, чтобы помещать в тумбочку. При все успехе и благополучии Варпаховского чувствовалось, что что-то в нем сломано, он много лет провел в лагерях на Колыме, потом был режиссером театра в "столице Колымского края" Магадане – я не знал тогда, что шесть лет спустя я побываю в этом театре. Варпаховский производил впечатление большого интеллигента – и вдруг вышла толстая бабища, совершенный тип еврейки, торгующей рыбой на южном базаре, его жена, она и была торговкой – в ларьке в лагере, где он сидел, она спасла его, когда он "доходил", затем они поженились в Магадане и жили, насколько я понимаю, счастливо, что делает честь им обоим. Он отнесся ко мне дружески, хвалил мою пьесу "Конформист ли дядя Джек?" – и поскольку поставить ее в советском театре было невозможно, предложил переделать какую-нибудь повесть Гоголя для сцены, я выбрал "Нос". Но когда КГБ решил выслать меня из Москвы и обо мне начали наводить справки в театрах, Варпаховский, не сам, а через свою лагерную жену пьесу мне сразу же вернул.

В годы моего детства иногда на сцене бывало больше народу, чем в зрительном зале – особенно на революционной пьесе с показом народных масс, теперь же во многие театры было невозможно достать билеты. Хрущев был уже смещен, но у новых властей до театра не доходили руки – и скрытый потенциал русского театрального искусства начал проявляться, вспомнили о Мейерхольде, Вахтангове, Таирове. Казалось, что достижения русского театра первой четверти века не погибли, а несколько десятилетий тлели, как угли под слоем пепла – и готовы были вспыхнуть.

Об Анатолии Эфросе говорили как о наиболее одаренном из молодых режиссеров – но как раз с него и началось в 1967 году контрнаступление властей на театр. Снятие его с поста главного режиссера Театра Ленинского Комсомола вызвало протест – пример культурного диссента, который развивался параллельно с диссентом политическим,

а потому казался властям тем более опасным. Многие актеры ушли из театра вслед за Эфросом, а когда новый режиссер на собрании сказал патетически: ”Меня послала сюда партия!” – из зала закричали: ”Идите к тем, кто вас послал!” Силы, однако, были не равны – и партия, как всегда, победила.

Я познакомился с Эфросом, когда он был уже переведен как рядовой режиссер в Театр на Малой Бронной, но был еще полон недавно пережитой борьбой. Через полтора года он показался мне другим человеком: неуверенным, с опустившимися плечами. Он пригласил меня на премьеру ”Ромео и Джульетты” – но как раз в это время я был арестован. Случайно я попал на его постановку ”Вишневого сада ” в Театре на Таганке в 1976 году, очень хорошую, я бы сказал, с известной насмешкой над Чеховым и его героями, но мне все же было скучно смотреть. Я понимаю, что пьесы Чехова могут нравиться многим – на Западе даже больше, чем в России, но мне его проблемы казались неинтересными. Мы договорились с Эфросом о встрече – и снова за несколько дней до этого я был схвачен КГБ и вывезен из Москвы: Гюзель сказала, что, значит, Бог не хочет нашей встречи.

Наступление властей не остановилось на Эфросе. Были запрещены сначала ”Теркин на том свете” Твардовского в постановке Валентина Плучека, ”Смерть Тарелкина” Сухово-Кобылина в постановке Петра Фоменко, ”Доходное место” Островского в постановке Марка Захарова, а затем началась и замена главных режиссеров. ”Доходное место” понравилось мне, пожалуй, больше всего, ”Хочу быть честным” Войновича он тоже поставил хорошо, но как человек молодой перегрузил всякими трюками. В начавшихся чистках Марк Захаров не погиб – напротив, через несколько лет занял место Эфроса в Театре Ленинского Комсомола, может быть, сыграла роль его русская фамилия, хотя и был он полуеврей.

Боюсь, что при смещении и назначении режиссеров с 1967 года этот критерий стал основным. Татьяна Щекин-Кротова, секретарь Фрунзенского райкома Москвы, где расположено много театров, сказала мне, что вот, наконец, они снимают Бориса Львова-Анохина, у них это последний еврей. Львова-Анохина они сняли как раз в то время, когда он предложил мне к столетию Ленина переделать для театра ”Синюю тетрадь” Казакевича, повесть о том, как Ленин живет с Зиновьевым в шалаше и пишет книгу ”Государство и революция” – из нее самой можно было бы сделать абсурдистскую пьесу.

Если брать людей искусства в Москве, число евреев и полуевреев было огромно, особенно среди сколько-нибудь одаренных людей – значит, и поле борьбы для антисемитов было огромно. Мне кажется, для исключительной роли евреев в советском искусстве было много причин, как исторического порядка, так и биологического. Русским, зачастую очень одаренным, как правило, не хватало

культуры, не хватало уменья работать и развивать свой талант. Из режиссеров того времени сейчас только Юрий Любимов держится — даже поставил "Мастера и Маргариту" по роману Булгакова. Думаю, что если бы при всех прочих качествах он носил фамилию Цирлин или Ципельзон, от его театра остались бы рожки да ножки.

Актеры казались как-то тяжелы мне, вот именно что-то "актерское" отталкивало — действительно, ведь это ужасно тяжело все время "играть" кого-то, если только не самого себя, эти перевоплощения должны разрушать человека. Есть пропасть между сценой и жизнью, как-то зайдя за кулисы, я увидел в коридоре актрису, которую только что видел на сцене — я испытал такое смущение, как если бы увидел ее голой.

Интервью с актерами у меня не было, если не считать двух могикан: драматическую актрису Алису Коонен, очень знаменитую в двадцатые-тридцатые годы, и оперного певца Ивана Козловского. С Алисой Коонен мне хотелось познакомиться еще и как с вдовой Таирова — она и жила в их старой квартире на задах бывшего Камерного театра, удивительно, что ее не выгнали на улицу, когда Сталин закрыл театр за "космополитизм". Это была маленькая старушка, лет уже за семьдесят, но с ясными глазами и живым умом, в ней еще сильно чувствовалось желание нравиться, в ее словах угадывалась горечь того, о ком говорят: "Как, она еще жива?", хотя обрыв карьеры — это начало легенды. Она с восторгом говорила о двадцатых годах, о Луначарском как великом вожде — боюсь, своего рода старческая аберрация. Журнал "Театр" вскоре начал печатать ее мемуары, что для нее было компенсацией за годы невнимания. В АПН, после некоторого размышления, мое интервью печатать не стали.

Она говорила, что актеры должны смотреть на свое тело как скрипач на скрипку, но молодые телом владеть не умеют, а говорят так, словно каши в рот набрали. Скептическое отношение стариков к молодым, видимо, оправдано — система отбирает наиболее посредственных и отшлифовывает совсем уже средних: моя горбоносая подруга ушла из театрального училища, потому что боялась, что к концу курса у нее станет курносый нос "как у всех". Виктор Розов — хороший драматург, но именно воплощение хорошей посредственности — сказал мне, что среди его учеников в Литературном институте нет ни одного, у кого мог бы быть какой-то неожиданный поворот в пьесе.

В дни моей юности в России, я думаю, не было никого, кто не знал бы Ивана Козловского, голос его все время звучал по радио, престиж оперы был необычайно высок — он же был лучший солист Большого театра. Мне кажется, впрочем, что тембр голоса у Козловского не очень приятен, и лучшая партия его — это партия юродивого в "Борисе Годунове": "Пода-а-йте копеечеку..." Сейчас, вероятно, его стали забывать.

Меня принял величественный седовласый старик, долго расспрашивал, для какого отдела АПН я работаю и кто мой начальник. Затем, посожалев, что я не знаком со стенографией, чтоб дословно записать его, он рассказал о фонтане в "Борисе Годунове", у которого самозванец объясняется Марине в любви, в двадцатые годы это был условный винт, а в сороковые, борясь за реализм, его заменили настоящим фонтаном, который брызгал и мешал актерам петь; более же всего в его разговоре занял место вчера произошедший случай, когда в баре недалеко от его дома кто-то напился и отказался платить со словами: "Как вы смеете требовать у меня деньги, я – Козловский!" И вот теперь Козловскому, правда, не участковый милиционер, а комиссар милиции звонил и спрашивал, был ли это сам Козловский или самозванец, как в сцене у брызгающего фонтана.

"Деятели искусств", облеченные властью, были довольно откровенны. Так, я сделал интервью с Екатериной Балашовой, главой Союза советских художников, не сказав с ней ни одного слова. Я написал приблизительно все, что она может сказать, и передал ей во время какого-то заседания; сидя за столом президиума, она просмотрела рукопись и вернула мне, сделав одну маленькую поправку; интервью под заголовком "Художники в общем строю" было опубликовано в газете "Советский спорт". Во время этого же заседания я услышал выступление художника из Сибири: "Я удивлен, что вы всерьез обсуждаете здесь, как писать, для нас стоит только один вопрос – что писать!"

Глава Союза композиторов Родион Щедрин на вопрос, что он думает о будущем советской музыки, ответил, что вот скоро будет съезд композиторов и тогда он узнает, что он думает, а пока что предпочитает ничего не думать. У него в квартире прекрасные работы, подаренные его жене Марком Шагалом, висели рядом с ужасной чепухой. По дороге домой у меня развалились ботинки – и не было денег, чтобы их починить, поэтому я думал о Щедрине с раздражением, которое он нисколько не заслужил. Впоследствии в Свердловской тюрьме я по радио с большим удовольствием слушал его балет "Кармен-сюита", он переделал оперу Бизе для своей жены Майи Плисецкой. Из музыкантов вспоминаю еще очень настойчивого и похожего на Фантомаса изобретателя, который изобрел машину для обучения игре на рояле: если ученик ударял не по той клавише, загоралась сигнальная лампочка.

Не Борис Алексеев, правда, дал мне первое задание, но он предложил мне два наиболее странных.

Сначала он заказал серию статей о московских коллекционерах. Только что был организован Клуб коллекционеров при Московском доме художников, вообще же коллекционирование картин считалось делом сомнительным. "Покажи-ка, что у тебя тут за антисоветчина

понавешена", – так министр иностранных дел Андрей Громыко просил своего заместителя Владимира Семенова показать его коллекцию русской живописи начала века. Коллекционеров, могущих быть допущенными в клуб и захотевших туда войти, оказалось человек тридцать, в основном, собирателей живописи XIX – начала XX века, а также фарфора и других раритетов.

Впрочем, Георгий Костаки, русский грек, работавший у Громыко на более скромном, чем Семенов, посту, собирал одно время молодых – когда была надежда, что за ними будущее. Но основу его коллекции составляли художники первой трети века – я думаю, это была лучшая в России коллекция этого периода, он начал собирать ее тогда, когда картинами Малевича и Шагала затыкали выбитые окна в уборных. Костаки был человек любезный и очень хитрый, хотя на меня производил впечатление недалекого. Плавинский смешно рассказывал, как Костаки покупает картины у молодых художников.

– Прекрасная картина, – говорит он, облюбовав, как правило, лучшую, – сколько вы за нее хотите?

Художник мнется. С одной стороны, он не хочет запросить очень много, чтоб не отпугнуть Костаки, с другой – слишком мало, чтоб не принизить себя как художника.

– Ну, рублей сто, – говорит он, наконец.

– Как сто?! – поражается Костаки. – За такую картину сто рублей? Да она стоит по крайней мере двести! Так и договоримся – и вот вам двадцать пять рублей задатку.

И они расставались очень довольные друг другом. Были, впрочем, назойливые художники, которые напоминали об остальных деньгах – но не все ведь. Однако, как бы там ни было, Костаки сделал огромное дело, спас много картин от гибели и художников от забвения. Никто из его детей не проявил к коллекции интереса, и в связи с его эмиграцией она, вероятно, частью будет погребена в государственных запасниках, частью растворится заграницей.

Еще более интересная коллекция была у Феликса Вишневского, он собирал западноевропейскую и русскую живопись, мебель, фарфор, драгоценности. Ходил он всегда в потертом пиджачке, держался незаметно, в отличие от внушительного и громкоголосого Костаки, и проработал почти всю жизнь товароведом в спичечной промышленности. Собирал он с ранней юности, я запомнил его рассказ, как в двадцатые годы его послали в Суздаль на борьбу с "религиозными предрассудками" – борьба эта заключалась в том, что должен он был рубить топором старые иконы и сжигать в печи. "Я плакал и рубил, – говорит он, – жег и плакал", – но что-то спас для коллекции, надеюсь. Несколько раз у него коллекцию конфисковывали – и он начинал все сначала. Жил в дачной пристройке под Москвой, пока в начале шестидесятых годов один из его друзей не завещал или не продал ему двухэтажный

деревянный дом в Замоскворечье. По этому дому он водил меня несколько часов, показал даже Кранаха-старшего, висевшего у него в спальне, вообще из массы картин, вывезенных из Германии советскими генералами, выудил он немало интересного. Была у него также коллекция русских крепостных художников, в первую очередь Тропинина, и Вишневский предлагал передать государству дом и большую часть коллекции, чтобы устроить музей Тропинина, а ему остаться даже не директором, а заместителем, но государство у него подарок никак не принимало, потому что новый музей – это новые заботы, штат сотрудников, включение в план... Между тем, в 1970 году КГБ его коллекцию опечатал, его вызывали на допросы и грозили конфискацией – государство непременно хотело взять силой то, что ему предлагали добром. У этой истории все-таки благополучный конец: музей Тропинина открыли, и Вишневский остался при нем.

Едва весной 1968 года я отнес в редакцию несколько статей о коллекционерах, правда, не о Вишневском и Костаки, как мне позвонил Борис и сказал, что для английской печати нужна серия статей о советских неофициальных художниках, "причем так, чтобы видно было – никто их здесь не преследует." Если о неофициальных художниках и появлялись статьи советских журналистов, то под заголовками "Помойка № 8" или "Дорогая цена чечевичной похлебки". Я надеялся, что смогу написать достаточно объективно – даже в тех рамках, которыми меня ограничили бы, что мои статьи будут полезны для художников и что никто лучше меня не напишет об этом.

Я выбрал для начала Анатолия Зверева, Владимира Вейсберга и Оскара Рабина – они, как мне казалось, хорошо представляли разные направления и методы в неофициальном искусстве, каждый по-своему они оказали большое влияние на меня. К сожалению, мои отношения со Зверевым и Вейсбергом впоследствии распались, оба были людьми с сильными психическими отклонениями. Вейсберг, например, заподозрил меня в том, что я хожу к нему, чтобы выведать его живописные секреты и передать своей жене. Вместе с тем он был одним из наиболее интересных и культурных художников. Он создал теорию построения валерного ряда на полутонах и четвертьтонах – и этой теории следовал. Я тогда уже боялся, что живопись его будет становиться все более безжизненной и по-существу все менее информационной – так и получилось, судя по его последним картинам, которые я видел в Лондоне и в Венеции. Когда он преподавал живопись, одна из его учениц – уже немолодая – сказала, что, по ее мнению, учить художников следует так, чтобы способствовать развитию их индивидуальности. Вейсберг любезно покивал головой, а минут через пять заметил: "Вот ведь бывают дамочки, все у них есть – муж есть, диван есть, телевизор есть, так им еще индивидуальность захотелось! Возьмите Сислея и Писсаро, художники замечательные, но вы не

всегда отличите картину одного от другого, индивидуальность встречается реже, чем талант! – И в сердцах закончил. – Я учу живописи, а не индивидуальности!"

Затее с художниками придавали большое значение в АПН – шло это "сверху", как сказал мне начальник отдела, захотевший тут со мной познакомиться, он очень ругал "допотопный" стиль советских газет, говорил, что заграницу нельзя вести пропаганду в лоб, как мы делаем дома, нужно все делать тоньше – вот как такая "тонкость" и были задуманы мои статьи. Но, как верно говорит русская пословица, где тонко – там и рвется.

В АПН ко мне хорошо относились, мне даже предложили поступить заочно на факультет журналистики, по закрытому конкурсу: распределялись места по разным редакциям для сотрудников, не имеющих журналистского образования. К большому удивлению всех, я отказался. Уговорам и даже возмущению не было конца – особенно дочь маршала Буденного наседала на меня, по природе, вероятно, добрая женщина: как же так, за такие лакомые места идет борьба, а здесь самому подносят – и он отказывается! Но я понимал, что никакого движения вверх по советской лестнице у меня быть не может; можно было бы поступить из любопытства, но подвести тех, кто рекомендовал меня.

Стиль отношений в АПН – даже с не слишком высоким начальством – был непринужденный и дружеский. Но только на поверхности: глубже чувствовалось недоверие друг к другу, боязнь сказать лишнее, журналисты были тоже актерами, разыгрывавшими простых парней и девушек, а на другом уровне "стойких и непримиримых работников идеологического фронта", так что их жизнь превращалась в игру, в которой собственная личность постепенно терялась. Когда человек вступает на этот путь молодым, он еще цельная натура и может чувствовать себя счастливым, но с годами – внешне даже преуспевающий и уверенный в себе – он превращается в духовную развалину, конечно, если у него есть бессмертная душа. У многих партийных и гебистских функционеров души нет – а следовательно, ни явных, ни тайных душевных мук.

Глава 3.

МОНОЛОГ С ЗАЖАТЫМ РТОМ

– А это наш домашний самиздат! – показал мне книжечку со стихами и рисунками своего семилетнего сына один коллекционер. Как ни странно, я впервые услышал это слово, между тем, я уже передал два экземпляра "Нежеланного путешествия в Сибирь" заграницу, а один – своим друзьям в Москве. Я заканчивал книжку летом 1967 года, в деревне на Оке, за домом начинался спуск к воде, а под окном гулял гусак, настолько злой и решительный, что бросался на меня. Заходил к нам местный пастух, который говорил, что не нужна была революция, раз бывшие господа пробрались в партию и опять стали начальством. Был женат он на еврейке и очень этим гордился. В один прекрасный день я увидел у дома гражданина следственного вида, такие лица можно узнать в толпе, и в тот же день, воротясь с прогулки, я не смог обнаружить листки с планом моей книги. Все было цело – плана, с котрым сверялся еще утром, не было.

Не дам голову на отсечение, но не исключено, что КГБ узнал о моей книге. Известны случаи, когда КГБ знает, что пишется или печатается какая-то, с его точки зрения, криминальная книга; у Веры Лашковой, машинистки Гинзбурга и Галанскова, двое агентов, зайдя под каким-то предлогом, похитить несколько листов, но дали довести дело до конца, чтобы иметь "законченное преступление". КГБ нуждается иметь у себя в "загашнике", как там говорят, несколько "дел" на тот случай, если партийному руководству понадобится "идеологический процесс". Такой процесс – над Галансковым и Гинзбургом – уже готовился, так что я мог быть отложен "на потом". С другой стороны, когда заведомо не хотели, чтобы чья-то книга стала известна, то делали обыск и без шума изымали рукопись, как это было с романом Василия Гроссмана. Но во многих случаях КГБ узнавал о той или иной рукописи уже "пост фактум". Если же КГБ знает или догадывается о чем-то – но пока не мешает, значит ли это, что вообще ничего не надо делать – чтобы не давать никакой работы КГБ? Значит ли это, что отсутствие всякой оппозиции приводит и к прекращению активности политической полиции?

Если стать на точку зрения, что да, приводит, то я все же предпочел бы, чтобы мне зажимала рот полиция, чем я сам себе. Потребность своим творчеством менять окружающий мир – еще более глубока, чем потребность к нему приспосабливаться. Если человек откажется сделать оценку того, что его окружает, и высказать ее – он начнет разрушать сам себя раньше всякой полиции. Но в действительности отсутствие реальной оппозиции отнюдь не приводит к

прекращению активности политической полиции – наоборот, она становится более активной, потому что ей приходится придумывать оппозицию, и чем более смывается критерий оппозиционности, тем шире на захват работает машина уничтожения, хороший пример – сталинский террор. Но как только появляется оппозиция реальная – террор начинает сужать свои рамки, и чем далее эта оппозиция идет вперед, тем более она обезопашивает свои тылы.

Те, кто говорит об "экстремистах в окружении Сахарова", благодаря этим "экстремистам" сами могут быть в безопасности, не будь перед ними этого заслона – их посадили бы за невинные пожелания, обращенные к властям. Конечно, всегда возникает вопрос, до каких пределов доходить оппозиции, чтобы не стать источником нового зла. Сейчас под "экстремистами", мешающими постепенной либерализации, имеются в виду люди, требующие амнистии для политзаключенных, свободы слова, собраний, ассоциаций и демонстраций, устраивающие демонстрации с участием пяти или пятидесяти человек и обращающиеся к Генеральному секретарю ООН или президенту США.

Это довольно невинный вид "экстремизма", но можно допустить, что через несколько лет мы столкнемся с настоящим экстремизмом, как поджоги, взрывы и убийства, примеры этого уже есть. Исторический опыт показывает, что чем упорнее не хотят допустить никаких изменений правящие круги, тем более крайние формы принимает борьба против них, власти в значительной степени сами формируют стиль оппозиции. И если говорить о том, кто виноват в послереволюционных ужасах, через которые прошла и все еще идет Россия, я склонен обвинять в первую очередь Николая II, а уже во вторую – Ленина. Называю эти имена в собирательном смысле – как выражение того, что они олицетворяли.

Вопрос о пределах борьбы с деспотизмом имеет и моральный, и политический аспекты. Стало общим местом приводить в качестве негативного примера убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 года: это было не только убийство царя, проведшего либеральные реформы, но и произошло накануне ожидаемого перехода к почти конституционной форме правления. Вступивший на престол Александр III, напротив, перешел к политике реакции.

Безусловно, убийство заслуживает морального осуждения – Александра II так же, как и Николая II, которое в высоком смысле слова было историческим возмездием. Но вопрос о политических последствиях 1 марта кажется мне спорным. Во-первых, едва ли сами реформы Александра II были бы возможны без давления снизу и поражения России в Крымской войне. Если бы не угроза левого экстремизма – не интеллигентского еще, но новой пугачевщины, – правые никогда бы этих реформ не допустили. Во-вторых, начатый процесс реформ требовал развития, с пониманием того, что левый экстремизм

ему будет сопутствовать, но по мере органического развития реформ сходить на нет. Вместо этого реформы были остановлены самим Александром II – и тем самым левый экстремизм, желание добиться всего сразу получили дорогу. Наконец, так ли уж точно Александр II подписал бы лорис-меликовскую "конституцию", а Александр III точно не подписал бы? Весы колебались и в конце одного царствования, и в начале второго. Победили реакционеры, а не реформаторы, но не потому, что Александр III отвечал на убийство отца, а потому, что левые экстремисты исчерпали себя убийством и, не имея никакого плана реформ, перестали быть силой. В 1905 году террор имел обратные результаты: он способствовал тому, что Николай II дал "конституцию", хотя едва ли он на убийства своих министров смотрел более положительно, чем Александр III на убийство отца.

Продолжая предложенную мне Гинзбургом перед его арестом роль, я стал как бы связным между его матерью и иностранными корреспондентами, которые следили за его и Галанскова делом как за продолжением дела Даниэля и Синявского. Вернувшись из приокской деревни, я часто заходил к Людмиле Ильиничне Гинзбург; небольшого роста, несколько даже горбатая, была она очень оживлена всегда, в молодости, вероятно, напоминала белочку, а в старости американскую писательницу Лилиан Хелман, которую Жданов ставил в пример Ахматовой; кажется, сам Гинзбург дал ей прозвище "старушка", хотя и была она не так стара, и не только все ее за глаза так называли, но и сама она говорила о себе: "старушку позвали в гости" – с одобрением, "старушку не позвали в гости" – с неодобрением. Две ее комнаты – одна большая, увешенная картинами, другая маленькая, заставленная книгами, – стали как бы клубом возникающего тогда Движения. Несколько раз я встречал там молодого человека, рослого, но рыхлого, с комсомольским отпечатком на добродушном лице. Людмила Ильинична уже говорила мне – значительно, – что у нее бывает внук покойного наркома иностранных дел Максима Литвинова, и я с удивлением узнал, что это и есть внук, впрочем, он действительно походил внешне на деда.

Глядя ретроспективно, можно сказать, что в оппозиционное движение вливались две струи. Во-первых, люди, с юности понимавшие природу советского режима; они, в большинстве своем, смотрели на него как на печальную неизбежность – и пытались приспособиться к нему, или найдя какую-то нишу, или – наиболее циничные – становясь его функционерами, но когда вдруг оказалось, что сопротивление возможно, некоторые из них стали постепенно примыкать к Движению. Во-вторых, люди, с юности верившие в конечную правоту этого режима, и постепенно увидевшие разрыв между его идеалами и практикой, это порождало в них желание активно способствовать "улучшению режима" и приводило многих в Движение; одни из них

оставались внутренне коммунистами – хотя из партии их исключали – и отстаивали "социализм с человеческим лицом", другие постепенно отходили от коммунистической идеологии, находя, что уже в ней самой лежит зародыш тоталитарного насилия.

Можно говорить и о двух поколениях оппозиции – мировоззренческих, а не возрастных – поколении 1956 года и поколении 1966 года.

"Поколение 56 года" сформировалось под влиянием десталинизации, волнений в Польше, но главным образом – под влиянием венгерского восстания в октябре 1956 года. Я помню, с каким страстным нетерпением ждал я сообщений из Венгрии, и как был несогласен, когда, сидя у нас, приятель отца говорил, что "как-то надо помочь венгерским коммунистам": в советских газетах как прелюдия к вторжению появились фотографии повешенных за ноги сотрудников венгерской госбезопасности. Если бы в то время была какая-то организация, которая предложила бы мне с оружием в руках бороться с режимом – я бы не раздумывая согласился. Но думаю, что такой организации не было.

"Поколение 66 года" сформировалось под влиянием суда над Синявским и Даниэлем в 1966 году, чехословацких реформ 1967-68 годов и, наконец, советского вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.

"Поколение 56 года" было поколением "недоучек" – беру это слово в кавычки, поскольку это любимый эпитет советской печати по отношению к нам, но можно употребить его и без кавычек, мы действительно слишком рано обнаружили свое несогласие, чтобы нам дали закончить образование: и Галанскова, и Гинзбурга, и Буковского, и меня, и многих других по нескольку раз исключали из университетов, для некоторых исключение предшествовало аресту или следовало за ним.

"Поколение 66 года", напротив, было поколением "истаблишмента" – вместо недоучившихся студентов пришли доктора наук, вместо поэтов, не напечатавших ни одной строчки, – члены официального Союза писателей, вместо "лиц без определенных занятий" – старые большевики, офицеры, артисты, художники. Для многих из них 1953-56 годы тоже были решающими, но они давали надежду на постепенные изменения к лучшему – и только явно наметившийся в 1956-66 годах поворот к ресталинизации усилил их внутреннее несогласие и вызвал протест.

У людей моего возраста – как тех, чье отношение к режиму определилось в конце пятидесятых годов, так и тех, чье в конце шестидесятых – формирование характера совпало с десталинизацией, с хотя бы частичным, но освобождением, хотя и не успешной, но борьбой – и потому, видимо, дало не всегда даже сознаваемую веру в возможность борьбы и конечной победы. В 1975 году Надежда Мандельштам,

вдова поэта, сказала мне: "Я слышала, вы писали, что этот режим не просуществует до 1984 года. Чепуха! Он просуществует еще тысячу лет!" "Бедная старая женщина, – подумал я, – видно, хорошо по ней проехался за шестьдесят лет этот режим, если она поверила в его вечное существование."

Раздражение власти и против "недоучек", и против "истаблишмента" – помимо общих – в каждом случае имело свои причины. В отношении "истаблишмента" – "чего им не хватало?", ведь эти доктора и академики пользовались благами, не доступными среднему "советскому человеку". Мотивы "недоучек" были понятны властям – "озлобленность из-за собственных неудач", но – "как они посмели?! кто они такие?!" Особенно было непереносимо, когда "недоучка" становился известным: для того, чтобы стать кем-то в России, нужно получить признание "сверху", Солженицын получил такое признание – по ошибке Хрущева, но получил; но кто такой Амальрик? Как он посмел стать известным?! То, что я стал "писателем", не пройдя установленных ими для этого правил, до сих пор не дает покоя властям.

Павел Литвинов принадлежал к "поколению 66 года" – решающим толчком для него послужил суд над Даниэлем и Синявским, "боевым крещением" – суды над Хаустовым и Буковским, и к 1968 году он стал ключевой фигурой Движения. Как преподаватель вуза и, главное, как внук своего деда, он был и шагом к включению в открытую оппозицию представителей "истаблишмента". Что он внук Максима Литвинова, бесконечно повторяло и западное радио; тогда все время подчеркивалось, что такой-то – сын или внук такого-то, диссиденты, дескать, люди не "с улицы", даже меня однажды назвали "сыном известного историка", хотя мой отец, как и я , был исключен из университета. Через несколько лет Голос Америки начал называть "известным историком" меня самого, к крайнему неудовольствию КГБ.

Осенью 1967 года Павел был вызван в КГБ, где ему сказали, что им известно о составленном Павлом сборнике "Дело о демонстрации" – о процессах Хаустова и Буковского – и что ему "советуют" этот сборник уничтожить, в случае его хранения и тем более распространения он будет привлечен к уголовной ответственности. Это было, с точки зрения КГБ, мягким предупреждением, но оно имело неожиданный результат: Павел записал свой разговор и начал распространять, он был опубликован заграницей, и БиБиСи даже транслировала его театрализованную запись на СССР.

Гюзель вспоминает, как Павел впервые появился у нас, ночью, и, сидя за столом, мы с видом заговорщиков передавали друг другу какие-то бумажки. "Разговор в КГБ", прочитанный тут же ночью по уходе Павла, произвел на меня огромное впечатление – и думаю, не на меня одного. Не сам разговор, конечно, ибо в подобных разговорах

и предупреждениях недостатка не было, а то, что Павел записал его и предал гласности, бросив открытый вызов не только КГБ, но одному из важнейших неписаных законов советского общества, своего рода соглашению между кошкой и мышкой, что мышка не будет пищать, если кошка захочет ее съесть. Солженицын пишет, как он, арестованный, мог много раз крикнуть, пока везли и вели его по Москве – и не крикнул, понадобилось почти двадцать лет, чтоб Литвинов крикнул – когда ему только пригрозили арестом. Это сильно укрепило чувство во мне, что возможно не только неучастие, но и сопротивление этой системе.

Но какое сопротивление? Когда в ноябре собрались у Людмилы Ильиничны отмечать день рождения сидящего в тюрьме Гинзбурга, я заметил, что по рукам ходит бумажка, которую, прочитав, подписывают, и наконец Павел протянул ее мне со словами: "Вот подпиши!" Это было обращение к Генеральной прокуратуре СССР и Верховному суду с требованием, чтобы суд над Галансковым и Гинзбургом был открытым и подписавшие письмо были допущены на суд – не первое и далеко не последнее обращение такого рода. Коллективные обращения к властям – в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Генеральную прокуратуру, Верховный суд – начались в 1966 году, после ареста Даниэля и Синявского, носили сначала довольно робкий и просительный характер, затем стали приобретать все более требовательный. Возникнув среди тех, чьи имена, как они надеялись, могли произвести впечатление на власть, они были подхвачены и более демократической публикой – и какое-то время существовали два вида петиций, отличных и по стилю, и по подписям, под одной – просто И. Иванов, П. Петров, а под друой – И. Иванов, заслуженный деятель искусств, П. Петров, доктор технических наук. Как-то Людмила Ильинична в шутку, но с долей тщеславия сказала: "За нас подписываются профессора, а за Галанскова – дворники". Потом, правда, оба этих потока соединились, на какое-то время едва не иссякнув.

Обращения с петициями к власти – форма протеста, характерная для авторитарных обществ. С петиций к королю началась французская революция 1830 года, с робких петиций началось движение, свергшее эфиопскую монархию в 1975 году. Так что, глядя с высоты птичьего полета, возникновение "кампании петиций" в СССР можно было бы рассматривать как признак перехода от тоталитаризма к авторитаризму. Но, конечно, такие общие соображения не приходили мне в голову, когда я взял протянутый Павлом листок; откровенно говоря: мне не хотелось его подписывать. Я думал, что наиболее реальным его результатом будет не допуск на суд, преследование подписавших, а я всего год назад вернулся из ссылки и воспоминания о ней еще были живы в моих костях.

К тому же и по своему мышлению, и по своему опыту я не был готов принять участие в коллективных действиях, формой протеста для меня были мои книги, однако, было очень трудно и не подписать письмо: это значило или признать, что я боюсь, что молодым людям всегда неприятно, или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключенных друзей. Поэтому я молча подписал протянутую бумагу.

Когда, однако, через несколько дней я брал у Людмилы Ильиничны копию этого обращения для передачи иностранным корреспондентам, своей подписи я не обнаружил. "Я ее вычеркнула, – объяснила Людмила Ильинична, – я им сказала: у нас один Амальрик делает дело, зачем им рисковать" – она имела в виду мою роль "офицера связи". После этого я до своего ареста никаких коллективных обращений больше не подписывал.

Не хочу преувеличивать свой страх, или, скажем мягче, осторожность – хотя это было первым чувством, но не таким уж сильным и долгим, я и тогда не подписывался, когда мне было уже нечего терять. Но у меня была интуитивная неприязнь к коллективным действиям, тот сильно развитый индивидуализм, с которым воюет советское воспитание, меня отталкивала необходимость "идти за флагом". Всякие коллективные действия, основанные на подражании одних другим – разумны они или нет, – содержат в себе элемент психоза; этот коллективный психоз особенно стал заметен впоследствии, в период отъездов заграницу, когда многие поехали только потому, что едут другие. Даже стиль писем казался иногда неверным, а иногда просто смешным.

В 1975 году меня просто разозлило начало обращения в защиту Сергея Ковалева: "Выдающийся биолог, защитник прав человека..." – "Выдающийся защитник прав человека, биолог..." – вот как настаивал я начать, потому что биолог он или геолог, выдающийся или посредственный, это вопрос в данном случае второстепенный, его арестовали за то, что он защитник прав человека, и это самое важное.

Одной из главных причин "кампании петиций" была вера, что власти примут в расчет общественное мнение и, по крайней мере, проявят гибкость и ослабят давление на общество. Но мне казалось, что небольшой успех петиций будет оплачен дорогой ценой, что первая реакция власти будет "мы им покажем!" – и если власть проявила гибкость, то только в разнообразии методов преследования: аресты, увольнения с работы, лишения ученых званий, избиения, убийства, помещения в психиатрические больницы, а впоследствии – максимум гибкости – высылки заграницу.

Не удивительно, что поток петиций начал иссякать – только через восемь лет он начал подниматься снова. Но обращение, под которым в 1968 году можно было бы собрать триста подписей, через два года

соглашались подписать пять-шесть человек; некторые брали подписи назад и публично "сожалели", другие просто сожалели, сидя дома, – впрочем, не большинство. С другой стороны, те, чья подпись имела бы особое значение ввиду их положения и кому арест не грозил, говорили так: я могу подписать это письмо, но ведь оно ничего на даст, а мне хотелось бы закончить исследование, пока не отобрали лабораторию, или: мне хочется закончить фильм, которому я посвятил несколько лет жизни – и их можно понять. Кстати, не страх, а сознание, что все равно ничего не изменить, часто парализует любые действия в советском обществе.

Внутри самой оппозиции "кампания петиций" была позднее атакована с двух сторон: марксистко-экономической и христианско-этической. Либеральные марксисты писали и говорили, что кампания была лишена позитивной программы, велась романтическими методами и была, по существу, объективной провокацией, поскольку сбор подписей был передачей в КГБ списков недовольных; нужно было сидеть тихо, обдумывать социально-экономические программы и делать ставку на объективное развитие – уж оно-то не подведет. Христианско-этическая точка зрения сводилась к тому, что кампания преследовала только цель "улучшения" советского социализма, возвращения к хрущевскому реформизму – и таким образом не была подлинной оппозицией бесчеловечным основам системы.

Не могу сказать, что обе оценки полностью неверны, да и из моих записок может создаться впечатление о скорее негативном отношении к кампании коллективных писем. Но я и тогда так не думал и тем более не думаю так сейчас. Я считаю сейчас, что "кампания петиций", своих конкретных результатов не достигнув, тем не менее задержала процесс ресталинизации. Уже тогда я понимал, что найден важный инструмент воздействия на общественное мнение и даже для его создания – всякая подпись под письмо давала не только чувство сопричастности тому, кто подписывал, но и уверенность другим, что оппозиция – дело не одиночек, не общественная аномалия. То, что западные радиостанции довольно быстро передавали на русском языке изложение или даже полный текст многих обращений, очень содействовало этому.

Быть может, еще более важно было, что человек, открыто ставя свою подпись, делал тем самым шаг для внутреннего освобождения – и для многих этот шаг стал решающим. Для политического положения в стране та или иная подпись могла не иметь никакого значения, но для самого подписавшего – стать своего рода катарсисом, разрывом с системой двойного мышления, в которой "советский человек" воспитывается с детства. Инакомыслящие сделали гениально простую вещь – в несвободной стране стали вести себя как свободные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управляющую страной традицию. Неизбежно эта революция в умах не могла быть быстрой.

Власть уничтожила многие человеческие понятия, и диссиденты должны были восстанавливать их, проявив мужество не с санкции общества – на миру и смерть красна, – а при его безразличии и даже противодействии. Думая, как в изолированном обществе мог возникнуть феномен диссидентства, куда уходят его корни, помимо корней, заложенных в самой природе человека, я прежде всего думаю о роли русской литературы. Запрещая на время Достоевского и не публикуя многие работы Толстого, власть все же не пошла на полное запрещение литературы XIx века – и в этом, возможно, была ее ошибка, ибо пафос этой литературы – в защите человека от системы. Именно это было глубокой и национальной почвой нашего движения, а вовсе не "западное влияние", о котором любят говорить чины КГБ и западные теоретики. Урок Запада – это прежде всего урок Мартина Лютера Кинга и его кампании ненасильственных действий. Но Кинг шел от Ганди, а Ганди от Толстого, идеи которого своего рода бумерангом вернулись в Россию.

Вместе с тем и амбивалентный урок Толстого как явного предтечи революции, и урок вообще всей русской литературы, и опыт дореволюционного общественного движения не принимались нами некритически. Одной из доминант дореволюционной оппозиции была готовность пожертвовать своим "я" ради "общего" – и на этом все было потеряно. Но как этой бессмысленной жертве противопоставить не идею узкого эгоизма, а ценности "я" в общечеловеческом смысле, как, говоря словами Николая Федорова, жить не для себя лишь одного и не для других только, но со всеми и для всех – поиски этого лежали в глубокой основе нашего Движения, и они же создавали реальные связи между людьми.

Я стал бояться, что протесты, делаясь все более рутинными, с каждым разом будут находить все меньше отклика. Когда я весной 1969 года сказал это Красину, он ответил: "Но важно ведь и то, что сейчас ни одно преступление власти не проходит без открытого общественного протеста". Обращение к властям с письмами вызывало вопрос: возможен ли и нужен ли диалог с властью? У того же Красина я заспорил со священником Сергием Желудковым, говоря, что мы к власти можем обращаться только с вопросами формально-правового порядка, но не идейного: мы не можем обсуждать наши идеи с теми, кто сажает за идеи в тюрьму. И почти убедил его в своей правоте – чтоб затем самому в ней усомниться.

Попытки диалога с властью – то есть попытки власть в чем-то "убедить" своим поступком, письмом или речью – почти никто, я думаю, не избежал. Иван Яхимович пытался убеждать своего следователя – и помещен был в психбольницу, Солженицын писал "письмо вождям" – и был выслан, я расскажу далее о своих попытках – столь же плачевных. По-существу, этот "диалог" есть монолог, который в

какой-то момент прерывается кляпом в рот – но, может быть, все-таки прав был старик священник со своей христианской готовностью подставить воторую щеку? Если мы не убедим власть выслушать нас, "нас" в очень широком смысле слова, если мы упорно не будем протягивать им руку – которую они кусают! – то рано или поздно все разрешимые еще проблемы "решатся" через море крови.

Глава 4.

ПРОЦЕСС ЧЕТЫРЕХ

Суд над Галансковым и Гинзбургом начался – после года их пребывания под стражей – 8 января 1968 года, вместе с ними судили их машинистку Веру Лашкову и Алексея Добровольского, сыгравшего печальную роль провокатора.

В зал пускали только по пропускам, у главного входа в Московский городской суд дежурили спецдружинники с красными повязками и наряд милиции. Друзей и родственников подсудимых, а также иностранных корреспондентов не пустили дальше тускло освещенного коридора канцелярии в левом крыле. У стен стояли молодые люди с индифферентными лицами и рыскающими глазами, один из них подошел ко мне и, представляясь человеком случайно зашедшим, начал спрашивать, знаю ли я подсудимых и почему нас фотографируют: на лестнице, тоже перекрытой спецдружинниками, стоял фотограф и нацеливался на всех по очереди – сцена, потом повторявшаяся у всех судов. Не успел я ответить, как на меня закричали: "С кем ты говоришь?!" Впрочем, полностью игнорировать "стукачей", как мы их называли, не удавалось, время от времени происходили перебранки, женщины особенно старались сказать им что-нибудь пооскорбительней, один даже пожаловался другому: "Ну и клиентура нам попалась!" Не знаю, с какого рода "клиентурой" он привык иметь дело. Иногда возникало нечто вроде теоретических споров, например о культурной революции в Китае, и один из опердружинников в запальчивости сказал: "Что вы все ругаете Китай, там по крайней мере народ участвует в управлении государством!"

Часов около десяти, расталкивая палкой путающихся у него в ногах стукачей, появился высокий пожилой ширококостый человек, в длинном темном пальто, с властным выражением, какое накладывает на лица долголетняя привычка командовать. Типичный сталинист, подумал я, должно быть, судья. Но к "судье" уже с улыбкой подходил Павел Литвинов. Оказалось, это генерал Петр Григоренко –

вернее, бывший генерал, разжалованный в рядовые. В 1961 году, тогда глава кафедры военной академии, он выступил на партийной конференции с вопросом, "все ли делается, чтобы культ личности не повторился, а личность, может быть, возникнет", не стал каяться – и был отправлен на Дальний Восток, в своего рода ссылку. И тогда как настоящий большевик, он решил бороться с "бюрократическим перерождением" побольшевистски, созданием подпольного Союза борьбы за возрождение ленинизма и распространением листовок. " Союз " был раскрыт, Петр Григорьевич арестован, разжалован и помещен в психбольницу специального типа. После смещения Хрущева он был освобожден.

Вдруг произошло смятение, особенно журналисты бросились вперед: арестован Есенин-Вольпин! Действительно, по коридору протопал наряд милиционеров и посредине человек такого вида, каким я представлял себе какого-нибудь раскольничьего вождя Никиту Пустосвята – с всклокоченной бородой и безумными глазами. Оказалось, он совершенно случайно, скорее по профессорской рассеянности, попал между милиционерами, котрые шли сменять караул, а те, молодые еще ребята, постеснялись вытолкнуть из своих рядов пожилого человека ученого вида. Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина, математик и поэт, с конца сороковых годов проведший много лет в тюрьмах и психиатрических больницах, первым понял, что эффективным методом оппозиции может быть требование к власти соблюдать собственные законы. Понятие общего, обязательного для всех закона – вообще очень слабое в России – окончательно было вытеснено в СССР понятием "целесообразности", и хотя сами законы были составлены только в интересах управляющих, даже и в таком виде они иногда обременительны для власти, а кроме того, в требовании соблюдать законы уже маячила опасная идея "правового государства". Еще студентом я читал погромные статьи о Есенине-Вольпине, но видел его впервые, при разговоре он производил впечатление человека, способного вырабатывать идеи, но не излагать их. В его стихах, несмотря на некоторый налет графоманства, чувствовалось что-то пронзительное. Родился он в один день со мной, но... на четырнадцать лет раньше.

Здесь же я познакомился с Петром Якиром, четрынадцати лет попавшим в тюрьму после расстрела отца, командарма, и проведшего в лагерях и ссылке около семнадцати лет. Когда в 1966 году начались осторожные попытки реабилитировать Сталина и появились его фотографии на разных выставках, Якир ездил по этим выставкам и срывал портреты: власти еще не знали, как реагировать.

Довольно быстро разговорился я с высоким иностранцем, с вытаращенными глазами и видом оболдуйским, человек общительный, он бойко, хотя и неправильно говорил по-русски – научился у продавщиц. Он спросил мое мнение о суде, и я ответил, что как советский человек я узнаю свое мнение из последней газеты – и показал

ему газету, впрочем, в газетах о суде еще ничего не было. Рядом с ним стоял человек сухого, я бы сказал профессорского вида, в очках, и молча, но со значительным видом слушал наш разговор. Карел Ван хет Реве, корреспондент газеты "Хет Пароль", действительно оказался профессором Лейденского университета, на долгие годы мы стали друзьями, и он первым издал мои книги за границей. Он вспоминает, что я, в темном пальто такого покроя, как носили в Голландии до войны, очень походил на школьного учителя.

Заранее я договорился с корреспондентами, что вечером у Людмилы Ильиничны буду опрашивать допущенных в суд свидетелей и родственников – и сразу же у себя пересказывать им. Возле дома Гинзбургов дежурило две машины; едва я сел в троллейбус, как заметил, что одна едет сзади. Жене Галанскова, Ольге, так надоела ездившая за ней машина, что она, немного выпив, подошла и стала отвинчивать номер. По инструкции филеры не имеют права разговаривать со своими наблюдаемыми, так что водитель, вместо того, чтобы отогнать ее, стал медленно отъезжать – Ольга побежала за ним, поскользнулась на обледенелой мостовой и так сломала ногу, что долгое время ходила в гипсе, напоминая мне Нону. Но я не был так решителен: я просто выскочил на следующей остановке, бросился в толпу у входа в метро, пробежал несколько переходов, спустился на станцию "Арбатская" – за мной никого не было, и, тяжело дыша, я облегченно прислонился к выбеленному своду. И вдруг я увидел, как откуда-то сбоку подходит молодой офицер с голубыми петличками войск КГБ, я все еще надеялся, что он пройдет мимо, но он вежливо, но твердо коснулся моего плеча.

– Вы испачкались сзади, – любезно сказал офицер и стряхнул с моего учительского пальто следы побелки. Когда я приехал домой, корреспондент "Рейтера" уже ждал меня. А ночью, лежа в постели, я видел перед глазами обшарпанный коридор, лица стукачей, Каланчевскую улицу с покрытыми инеем деревьями, темную толпу у здания суда – моментами как будто ледяная рука касалась сердца.

На следующие дни коридор канцелярии тоже закрыли, и публика стояла у входа на улице. Публика в зале – активисты райкома и чины КГБ – свистела, шумела, топала ногами, перебивала свидетелей, подсудимых и их защитников. "Публика выражает свое мнение!" – отвечал судья на их протесты: вы, дескать, отстаивали свободу мнений, так нечего и возражать. Записей делать не давали, сделанные изымали при выходе – раз даже отец Галанскова, неграмотный, а потому необысканный, вынес их в валенке. Свидетелей, вопреки закону, выталкивали после дачи показаний, выгнали даже сестру Галанскова. Все это накаляло атмосферу, и на четвертый день Лариса Богораз и Павел Литвинов около суда передали корреспондентам свое обращение "К мировой общественности". Написанное сильным языком, оно требовало

"осуждения этого позорного процесса", "освобождения подсудимых из-под стражи", "лишения полномочий" судей.

Одним прыжком был преодолен невидимый, но казавшийся непреодолимым барьер: обратились не к власти, а к общественному мнению, заговорили не языком верноподданных, но языком свободных людей, и наконец – обратились к *мировому* общественному мнению, поборов вековой комплекс, что русские – и стократ советские – к чужим обращаться не должны, мы – это мы, а они – это они, сор из избы не выносить, лучше получить удар палкой от хозяина, чем кусок хлеба от прохожего. В тот же вечер по БиБиСи мы смогли услышать обращение в обратном переводе. Есенин-Вольпин, сидя с текстом в руках, повторял: "Так! Правильно! Точно!" Сгрудившись у радиоприемника, мы напоминали знакомую с детства картинку "Молодогвардейцы в фашистском тылу слушают Москву", с Людмилой Ильиничной в роли бабушки Олега Кошевого.

На Западе поняли важность этого обращения, оно было – полностью или в изложении – напечатано во многих газетах, лондонский "Таймс" посвятил ему передовую, а последовавший в течение двух месяцев поток заявлений и обращений породил ожидание, что в СССР вышло на поверхность некое общественное движение и сейчас что-то произойдет – нечто сходное тем ожиданиям, которые в 1956 году породили теорию либерализации.

Но проходили месяцы и годы – и ничего не происходило, кроме все новых и новых политических процессов, так что на ждущем немедленных результатов Западе возникла новая теория, что никакого общественного движения в СССР нет – а есть несколько, быть может, благородных, но наивных людей, которых по русской традиции – не нам ее менять – постоянно сажают в тюрьмы. Но если "реформизм сверху" и не привел к созданию либерального советского общества, то во всяком случае систему по сравнению с годами Сталина смягчил, так же и общественное движение не добилось демократического строя за десять лет, но нравственную атмосферу советского общества изменило.

Суд был задуман как "показательный": власти хотели, продолжая намеченную процессом Даниэля и Синявского линию, показать, что на этот раз судят никаких не писателей, а молодых людей без определенных занятий, к тому же связанных с эмигрантским Народно-трудовым союзом. Версия НТС стала постепенно, хотя и не сразу вырисовываться в ходе следствия, выпукло предстала в обвинительном заключении, а в приговоре на нее был сделан главный упор – вопрос о содержании "Белой книги" Гинзбурга и "Феникса" Галанскова затушевался, главным считалось, что они якобы составили сборники по указанию и для публикации НТС, который "находится на содержании" СиАйЭй и "ставит своей задачей свержение существующего

в СССР строя".

Эта версия была построена на показаниях Алексея Добровольского, ранее уже сидевшего несколько раз в лагерях и психбольницах. На следствии он почти сразу же начал, говоря лагерным языком, "колоться", причем в желании сотрудничать с КГБ перешел все границы: просился выступить по телевидению, чтобы предостеречь молодежь от "антисоветской деятельности", или сообщал место, где якобы Гинзбург зарыл "Белую книгу" вместе с другими сокровищами. КГБ безуспешно перерыл весь сквер возле дома Гинзбурга, но телевизионное выступление Добровольскому все же не устроил – оппозиция еще не доросла до такой чести, первое "покаяние" показали по телевидению только спустя пять лет. У Добровольского, единственного, нашли при обыске материалы НТС, он показал, что их дал ему Галансков, рассказав о своих и Гинзбурга связях с НТС. На суде появился эмиссар НТС Николас Брокс-Соколов; по-видимому, КГБ знал о его приезде и хотел подгадать прямо к суду. Из-за этого суд все время откладывался, вызывая очередное письмо протеста. Брокс-Соколов выехал из Франции, когда Галансков и Гинзбург уже давно сидели в тюрьме, и имел поручение передать лицу, которое так и не было названо на суде, пакет с тремя тысячами рублей и шапирографом, а также бросить в почтовый ящик пять конвертов с уже написанныммми адресами. Но поскольку в конвертах были, в частности, открытки с фотографиями Галанскова, Гинзбурга и Добровольского, то КГБ считал, что для пропагандистского эффекта этого достаточно.

Никакой связи Галанского или Гинзбурга с НТС доказано не было, в лживости Добровольского убедиться легко. Но, во всяком случае у Галанского, связь с НТС была. Бессмысленно говорить, что он получал "задания" или что у него было соглашение с НТС об издании "Феникса" – "Феникс" не был издан. Но к Галанскову приезжали посланцы от НТС, и он даже спрашивал меня, могут ли они заходить ко мне и передавать литературу. У него была идея купить в Грузии печатный станок, чтоб самим печатать журнал, на покупку станка он мог взять деньги от НТС, хотя вопрос очень запутанный – в деле фигурировали и доллары, и рубли, и не ясно, кто у кого их брал и кто кому давал – Галансков Добровольскому или наоборот. Через несколько лет Совет НТС заявил, что Галансков был членом НТС, Буковский говорил мне, что это неправда, что когда не известно было, выйдет ли он сам из тюрьмы, члены НТС стали намекать, что и Буковский вступил в НТС до ареста.

Издания НТС я увидел впервые в 1962 году, а через полтора десятилетия познакомился заграницей с некоторыми его членами.

Народно-трудовой союз, или, как он тогда назывался, *Национально-трудовой союз (молодого поколения)* возник в 1930 году

в Белграде – не только как реакция молодого поколения русской эмиграции на победившую в России идеологию большевизма, но и на обанкротившиеся, по их мнению, идеологии "отцов": консервативный монархизм и демократический либерализм. Естественно, что притом наибольшее влияние должна была на них оказать самая динамичная тогда идеология в Европе – национал-социализм, и сквозь благородный лозунг НТС "Пусть погибнут наши имена, но возвеличится Россия!" просвечивает "Ты – ничто , твой народ – всё!"

НТС хотел влиять на события в СССР, было проявлено много юношеской самоотверженности, когда его члены отправлялись в Россию – и погибали там. С началом войны, как казалось многим в НТС, открылась возможность создания альтернативной силы. Но здесь было заложено неразрешимое противоречие: как можно было рассчитывать на "Возрождение России", действуя под контролем тех, кто открыто ставил своей задачей ее уничтожение. Это хорошо видно на примере движения генерала Власова, в формировании программы которого НТС играл роль. Власов – каковы бы ни были его намерения – был марионеткой в руках немцев и даже там, где другие его сотрудники готовы были сопротивляться, он немцам уступал. В плен попало много генералов, офицеров и солдат, готовых сражаться со Сталиным, но наиболее честные и дальновидные из них, ознакомившись с условиями немцев, от этого отказались. Тяжело это прзнавать, но именно Сталин в те годы стал символом национального сопротивления – благодаря безумной политике немцев. Война позволила Сталину и его преемникам консолидировать советское общество – поэтому советская пропаганда и сейчас твердит о войне, словно она вчера кончилась.

К концу войны многие руководители НТС оказались в немецких тюрьмах, что позволило НТС сохранить лицо, Союз пополнялся бывшими советскими гражданами, и впоследствии многие забыли о его довоенной истории. Уроки войны и ориентация на западные демократии заставила НТС переделывать программу, соединять национально-солидаристские идеи с либерально-демократическими – не берусь судить, насколько это удалось, все-таки есть впечатление, что либерализм сидит на НТС как костюм с чужого плеча.

Из всех довоенных и послевоенных политических союзов русских эмигрантов НТС единственный не погиб и по-прежнему старался распространить свою активность на СССР. Во многом желаемое выдавалось за действительное, а засылаемая в СССР литература подчас показывала отрыв от реальности. Уже в конце шестидесятых годов попала мне в руки пачка их листовок с надписью "Прочти и передай другому" – и я просто не знал, что со всем этим делать и кому отдать, но уничтожить показалось как-то трусливо, и я поступил совсем по-энтэесовски: разбросал листовки по почтовым ящикам. Правда, издательство НТС "Посев", помимо пропагандистской

литературы, издало немало хороших книг, и многие в России могут быть благодарны ему.

Из попытки НТС повлиять на демократическую оппозицию в СССР не могло ничего получиться – и не только потому, что диссиденты боялись жупела "НТС" или не хотели брать на себя груза его прошлого. Были слишком различны и цели, и методы: стремление к постепенной демократизации советской системы открытым и легальным путем – у нас, и ставка на насильственное ее свержение и национализм – у них. Сама попытка как-то направлять движение внутри страны из эмигранской группы, сформировавшейся при совсем иных условиях, едва ли могла быть удачной. "Не связывайтесь с НТС!" – говорил я Якиру позднее. Это не значит, что я отношусь к НТС отрицательно. Когда я слышу пренебрежительные отзывы о нем от новых эмигрантов, я всегда отвечаю: НТС существует полвека, еще не известно, на сколько хватит нас. В случае каких-либо потрясений в СССР и возможности перенести свою деятельность туда, эта организация – небольшая, но дисциплинированная, с политическим опытом, с понятными народу лозунгами и с решительными методами сможет сыграть значительную роль.

Суд закончился 12 января, в 5 часов вечера. У входа собралось свыше двухсот человек, уже стемнело, был довольно сильный мороз, притоптывали диссиденты, корреспонденты, милиционеры. Вскоре начала выходить публика: с мрачными озлобленными лицами, словно это их судили, фигуры в штатском пробегали к своим машинам. На вопросы, какие сроки, многие отвечали: "Мало! Мало!" Я удивлялся их ненависти, но теперь понимаю, насколько – особенно старым гебистам – была ненавистна толпа, так свободно собравшаяся на советской улице. Павел Литвинов и Саша Даниэль вынесли на руках Ольгу Галанскову с ногой в гипсе, вышла, громко плача, его мать, адвокатам преподнесли гвоздики, и все начали расходиться. Галансков получил семь лет лагерей, Гинзбург – пять, Добровольский – два, Лашкова – год.

Из присужденных ему семи лет Юрий Галансков провел в тюрьме и лагере пять лет и девять с половиной месяцев – 2 ноября 1972 года в возрасте 33 лет он умер в Мордовском лагере в результате операции, проведенной с опозданием и неквалифицированным хирургом. На его могиле разрешили поставить крест и написать имя.

Из четырех осужденных Галансков казался мне наиболее трагической фигурой. Не могу сказать, что знал его очень хорошо, хотя последние месяцы перед его арестом мы встречались часто. Был он очень серьезного, даже мрачного вида, и многозначительность, с которой он говорил о простых вещах, казалась мне признаком малоинтеллигентности, а стихи его – зарифмованной публицистикой. За всем этим просвечивало что-то детское. Он мне дал черновик "Открытого

письма Шолохову", где честит его на все корки, а с середины письма повторяет "и вот, дорогой читатель" или "как я сказал, дорогой читетель". "Получается, Юра, что если как писателя ты Шолохова презираешь, то как читатель он тебе все-таки дорог", – сказал я. Письмо это впоследствии было одним из главных пунктов обвинения, лауреат Нобелевской премии Шолохов не только требовал расстрела для Даниэля и Синявского, но и смерть Галанскова лежит на его совести.

За этой детскостью просвечивала еще черта, которой не могу найти иного названия, чем святость, или, проще, некоторое юродство в высоком смысле этого слова, нечто подобное я наблюдал потом у человека, во многих отношениях иного, чем Галансков – у Андрея Дмитриевича Сахарова: огромная готовность помогать людям и способность переживать чужую беду как свою. Юра или мало понимал людей, или же считал, что в каждом человеке есть что-то хорошее – все это обернулось против него. Добровольский писал Галанскову из камеры в камеру записки, чтоб Галансков взял его вину на себя – и Юра брал, и до того в показаниях запутался, что четырежды их менял. Двое бездельников, которых он приютил у себя, поил и кормил, показали на следствии, что он давал им доллары для обмена – и тем самым сделали расчетливого валютчика из человека, готового отдать последнюю рубашку. На доллары он, видимо, собирался покупать печатный станок, но при обмене мошенники вместо рублей всучили ему пачку горчичников. Как хохотали над этим сидящие в зале гебисты! Так же они хохотали, что Юра мыл пол у больной матери Гинзбурга, когда тот первый раз сидел в тюрьме. К сожалению, не все, кто вступился за Гинзбурга, так же отнеслись к Галанскову. Сам Гинзбург сказал, что он просит суд дать ему срок не меньший, чем Галанскову. Из зала закричали: "Больше! Больше!"

Сам себя Галансков называл пролетарским демократом и пацифистом. Когда в 1966 году американские войска высадились в Доминиканской республике, он устроил одиночную демонстрацию протеста перед Посольством США в Москве, сомневаюсь, чтобы кто-то в Доминиканской республике демонстрировал во время суда над ним. Если судить по его письмам, в заключении его все более стало интересовать христианство. Отец его был токарем, мать уборщицей, простая, толстая, с грубым голосом, она очень любила сына и пользовалась уважением его друзей, звали ее все "мама Катя". Следователь, запугивая ее, зачитал наиболее криминальный отрывок из сочинения Юры: "Видите, что пишет ваш сын!"

– Правильно пишет, замечательно, – сказала удивленному следователю "мама Катя", – просто за душу берет.

– А что же он вам прочитал? – спросила Людмила Ильинична.

– Да я не поняла ничего, гроб какой-то, могила какая-то, какая-то чушь, – ответила "мама Катя".

В советских газетах о суде появились статьи в том стиле, в каком изъясняется базарная торговка, когда хочет оскорбить кого-то; кроме того, было в них много неточностей, а говоря прямо – клеветы. Я предложил матери Гинзбурга и жене Галанскова устроить пресс-конференцию для иностранных журналистов – впрочем, и советским не возбранялось присутствовать, – чтобы рассказать, что действительно происходило в суде. Замысел казался очень смелым – это была бы первая встреча советских граждан с западными журналистами, открытая, но не запланированная "сверху". Я договорился с журналистами, попросил заранее не распространяться об этом, но не учел их привычки звонить друг другу и спрашивать: вы пойдете туда-то? а вы пойдете?

Встреча была назначена на 11 часов утра 19 января в квартире Людмилы Ильиничны, кроме нее должны были быть жена Галанскова Ольга и я. Я зашел около одиннадцати и застал обеих в большом смятении: полчаса назад был помощник районного прокурора Смекалкин, сказал, что частным лицам запрещено устраивать пресс-конференции у себя дома и если они хотят встретиться с журналистами, то могут выйти на улицу – они уже оделись для этого. Я сказал, чтоб они ни в коем случае на выходили, ловушка была проста: недавно вышел закон о наказании до трех лет лагерей за "беспорядки, связанные с нарушением работы транспорта", нескольким агентам ничего не стоило бы создать толпу вокруг беседующих с журналистами женщин, остановить одну-две машины – и милиция была бы уже тут как тут.

Ровно в одиннадцать раздался стук в дверь – и вошел первый корреспондент. Вид его показался мне странен: хотя одежда была иностранная, лицо совершенно русское, со служебно-советским отпечатком, а на руке его я заметил наколку, что-то вроде "Вася" или "Не забуду мать родную" – по-русски, конечно. Он тем не менее повторил, что он иностранный корреспондент, приглашенный на пресс-конференцию. Я попросил удостоверение – он оказался сотрудником УПДК МИД Василием Грицаном, прикомандированным в качестве фотокорреспондента к агентству Ассошиэйтед Пресс.

Поскольку он пришел один, я не сомневался, зачем он послан, и сказал, чтоб он уходил, никакой пресс-конференции не будет. Он обрадовался – не знаю, за кого уж он меня принимал, за "осторожного" ли друга Гинзбурга или за прокурора Смекалкина – и сказал, что он как раз и пришел "подсказать", чтоб пресс-конференцию не устраивали, и что мы можем сейчас совместно "выработать формулировочку", которую он сообщит журналистам. Я ответил, что никто в его подсказках не нуждается и пусть он уходит – после чего он ушел.

Никто из журналистов, однако, не приходил – мы начали уже сильно нервничать, и около двенадцати я попросил Ольгу позвонить в бюро Рейтер. Корреспондент Рейтера объяснил, что всех их отдел

печати МИД предупредил, что если они к нам поедут, то будут иметь "крупные неприятности". Этого туманного указания оказалось достаточно, чтобы никто из приглашенных не только не приехал, но даже не предупредил нас. Это сделало возможным две провокации – со Смекалкиным и Грицаном, которые для обеих женщин могли бы кончиться плохо.

Несколько корреспондентов, которых отдел печати не успел предупредить, подъехали к дому – и были повернуты назад агентами КГБ примерно с теми же туманными формулировками, или, как сказал бы Грицан, "формулировочками". Трех шведов агент сурово спросил, уж не на пресс-конференцию ли они направились, на что испуганные шведы ответили: "Нет, нет, мы здесь просто гуляем". Хороший ответ для представителей независимой прессы! Впрочем, и власти растерялись, ведь это была первая попытка такой пресс-конференции, казалось, что произойди она – что-то ужасное случится; потом пресс-конференции диссидентов стали обычным явлением – и режим не рухнул. На этот раз события этим не кончились: московское бюро ЮПИ сообщило, что пресс-конференция была легально не допущена властями на основании Указа 1947 года, запрещающего общение советских граждан с иностранцами, закон есть закон. Мы сразу же просмотрели этот Указ, в нем речь шла о порядке сношения официальных советских учреждений с учреждениями других стран.

Мне трудно судить, зачем глава московского бюро ЮПИ Генри Шапиро сделал эту передержку – действительно ли он считал указ подходящим к делу или же хотел ввести в заблуждение своих коллег. Получив копию письма председателя латвийского колхоза Яхимовича с поддержкой обращения Литвинова и Богораз, г-н Шапиро сказал, что письмо подделано Литвиновым. Получив статью Сахарова "Размышления о прогрессе", он спрятал ее в стол со словами, что не нужно ничего писать об этом, чтобы не нажить "крупные неприятности". Подав в отставку после *сорока лет* службы в Москве, г-н Шапиро сказал: "Тот, кто верит в пропагандистский журнализм, не должен работать здесь. Если вы принимаете чью-то сторону, становитесь эмоционально вовлеченным, вы перестаете быть репортером". Трудно поверить, что сам г-н Шапиро был "эмоционально вовлечен", но он был *вовлечен,* и не трудно понять, чью сторону занимал репортер, которому разрешили пробыть сорок лет в Москве.

Г-н Шапиро, по рождению румынский еврей, был перевезен в США подростком и натурализован восемь лет спустя. Часто человек, принадлежавший к веками гонимому народу, часть которого, чтобы выжить, должна лежать во прахе и унижении, человек с психологией изгнанника, вынужденный рвать корни в одном месте и пускать их в другом, такой человек начинает – подчас только бессознательно –

руководствоваться психологией приспособления любой ценой, русский народ создал на этот случай несколько хороших пословиц: с волками жить, – по-волчьи выть; попал в собачью стаю – лай не лай, а хвостом виляй. И поскольку такой человек в профессиональном отношении часто делает хорошую карьеру – он может возглавить не только иностранное бюро агенства печати, но и иностранное ведомство великой страны, – то он начинает переносить свой стиль поведения на возглавляемую им инстанцию.

Никакой иностранный журналист не может чувствовать себя в СССР "не вовлеченным" летописцем, "добру и злу внимающим равнодушно" – прежде всего потому, что сам он объект манипуляции со стороны советский властей. Конечно, власти понимают, что они не в состоянии так управлять иностранной печатью, как они управляют советской, но воздействовать на иностранных корреспондентов в Москве с помощью политики кнута и пряника они могут.

Само пребывание в Москве – с высокой зарплатой, домработницей, секретарем и шофером – пряник для части корреспондентов, для них возвращение на родину означает переход к более скромной жизни, нечто вроде переезда из колонии в метрополию. К тому же некоторые стремятся извлечь преимущества из разницы валютных курсов или разницы цен на советские и иностранные товары, а некоторые получают и прямые дотации от советских властей. Так, корреспондент "Униты" г-н Герра жаловался мне, что советское правительство платит ему дотацию главным образом в советских рублях, а не в конвертируемой валюте. Это было еще до эпохи "еврокоммунизма" – теперь, быть может, или совсем не платят или платят в валюте в виду большей независимости ИКП. Есть менее прямые способы поощрения – например, доступ к интересной корреспонденту информации, чаще только обещание доступа.

Кнут тоже имеет несколько градаций: от предупреждения, сделанного в вежливой форме, до угрозы ареста – как с корреспондентом "Лос-Анджелес Таймс" в 1977 году, или до привлечения к суду "за клевету" – как с корреспондентами "Нью-Йорк Таймс" и "Балтимор Сан" в 1978 году. Каждый раз это делается и для предостережения другим, и некоторые настолько хорошо эти предостережения понимают, что корреспондент "Шпигеля" в 1975 году публично заверил "Литературную газету", что он ни у какого диссидента никогда интервью брать не будет.

Роль иностранных журналистов в СССР как важного источника информации была и остается огромной, в частности, без них Запад имел бы гораздо меньшее представление и об оппозиции. Многие журналисты, несмотря на трудности, не поддались шантажу – об этом говорит хотя бы обширный список высланных из СССР за последние пятнадцать лет. Однако у большинства отсутствует чувство

корпоративности, в Москве до сих пор нет объединения или клуба журналистов – выступи они совместно, власти уступили бы им, ибо сами боятся изоляции. Западные посольства играют скорее сдерживающую роль, склоняя журналистов не писать ничего, что было бы неприятно советским властям, а их редакции отступают под тем предлогом, что иначе вообще закроют бюро в Москве. Как быстро люди, попадая в условия тоталитарного режима, принимают его основное правило – иметь дело с каждым в одиночку.

Я хотел написать рассказ, несколько в духе Гоголя, как иностранного корреспондента пригласили для предупреждения в отдел печати МИД и там высекли розгами – и вот корреспондент перед дилеммой, как ему теперь поступить, советуется с коллегами, запрашивает редакцию, обращается в посольство, и общее мнение: да, действительно, быть высеченным не совсем приятно, но ведь надо учитывать долголетние традиции России, он сам не всегда соблюдал чувство меры, к тому же – начни протестовать, русские могут обидеться, они ведь очень чувствительны к любому вмешательству во внутренние дела, как бы сгоряча не перепороли еще нескольких, с точки зрения права вопрос неясный – журналисты ведь дипломатической неприкосновенностью не пользуются, да и неудобно предъявлять голый зад в качестве улики, можно понять журналиста, но можно понять и МИД, и не надо жить эмоциями, идущими от разгоряченного розгами зада, но взвешивать все в ясной и холодной голове, видеть не только негативное, но и позитивное, – и сам журналист все это понимает, да и в тот момент, когда его секли, он чувствовал это.

Рассказа я не написал, но весной 1970 года написал статью "Иностранные корреспонденты в Москве" – мой адвокат говорил потом, что она была для властей последней каплей. Статья долго ходила по рукам корреспондентов, как своего рода "самиздат", – никто не хотел передавать ее заграницу, опровергая тем самым мои утверждения об отсутствии корпоративности. Якиру, который особенно негодовал на "заговор молчания", в конце концов удалось передать ее – и она была опубликована по-английски в "Нью-Йорк ревю оф букс", г-н Шапиро был там обозначен точками. Ответил мне корреспондент "Нью-Йорк Таймс" г-н Гверцман – правда, не на то, в чем я обвинял его и других. Я сам понимаю, как сложно положение иностранца, попавшего в страну с чужой культурой, иным строем, без полной уверенности в своей безопасности, где он сам должен определять, что ему можно и что нельзя. Тем более важно добиться от советских властей распубликования закона о печати или правил для иностранных журналистов. Но для советских властей неопределенность – оптимальный вариант, а западные правительства не только не настаивают на распубликовании, но даже не хотят, как не захотел Госдепартамент США, составить для своих граждан нечто вроде правил

поведения в СССР, основанных на международных соглашениях, советских законах и опыте предыдущих корреспондентов и дипломатов.

Давать объективную информацию – это долг журналистов перед теми, для кого они пишут. Долг перед теми, о ком они пишут, скорее моральный, чем профессиональный. Маркиз де Кюстин, отзывы которого о матушке России иностраннцы любят цитировать, писал, что в России "каждый иностранец представляется спасителем толпе угнетеннных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного всех этих благ... Всякий, кто не протестует из всех сил против режима, делающего возможными подобные факты, является до известной степени его соучастником и соумышленником". Наконец, просто стремление к социальному равновесию подсказывает, что богатые должны помогать бедным, образованные – невежественным, а те, кто пользуется благами свободы слова, – тем, кто этого блага лишен. Не все западные корреспонденты в Москве принимают всерьез эту сторону дела.

Глава 5.

ТЕПЛАЯ ВЕСНА, ЖАРКОЕ ЛЕТО

После суда я познакомился у Павла с человеком небольшого роста – или он показался мне таким рядом с Павлом, лысеющим, с черными глазами и, по-моему, с черными усиками, стараюсь сейчас восстановить его облик и отчетливо не могу, но помню, что-то сразу насторожило меня, оттолкнула его сладковатость, которой всегда в людях не доверял. Поэтому я был недоволен, когда Павел привел Виктора Красина к нам – а у нас сидел Карел Ван хет Реве. Но это впечатление скоро размылось в оживленном разговоре за неизменной бутылкой водки, можно ли "понять Россию умом" и нужно ли быть душевным и добрым. Нечего говорить, что Красин выступал за душевность, я же, к огорчению Гюзель, относился к душевности скептически. Карел ушел раньше, а когда Павел с Виктором начали одеваться, мы вдруг увидели на вешалке незнакомую убогую шапку – иностранному профессору она никак принадлежать не могла, в лучшем случае мог ее носить спившийся работяга. Но если шапку подбросили, то с какой же целью – мы ее стали мять, думая нащупать там спрятанный микрофон, хорошо, что не распороли, принадлежала она все-таки Карелу, который купил советскую шапку, подражая своему дяде, который в 30-х годах работал в Сибири.

Потом я бывал у Красина на его "средах" или "четвергах", жил

он в пригороде Москвы, в пристройке к деревянному дому, где были только стол, полка с книгами — все фотокопии зарубежных изданий, которые он охотно давал читать, — да раскладушка, застеленная овчиной, простынь он не признавал; он подчеркивал свое пренебрежение ко всякому удобству и тем более к роскоши, бывая у нас, прямо-таки попирал грязными ботинками ковер, к известному огорчению Гюзель. Думаю, что у большинства людей, из которых тогда начало формироваться Демократическое движение, Красин вызывал уважение — во всяком случае у меня. Живой ум, чувство юмора, смелость, готовность энергично работать для дела выдвигали его в первые ряды, к тому же он, как и Якир, имел в наших глазах обаяние человека, много лет проведшего зв свои убеждения в лагерях — Якир, в сущности, эти страшные годы провел только за то, что был сыном своего отца. Красин попал в лагерь в конце сороковых годов со второго курса университета за участие в кружке, изучавшем религиозные философии Востока, получил восемь лет, потом четыре за неудачный побег, как он рассказывал, но всего провел шесть — началась десталинизация, по первому делу он был реабилитирован, по второму амнистирован, закончил университет и стал работать как экономист в одном из исследовательских институтов. Внутренне он никогда не мог примириться с этим режимом и когда услышал о Павле, сразу разыскал его.

Еще до прихода в Движение вокруг Красина сформировался небольшой кружок из его друзей по лагерю. История одного из них — Бориса Ратновского — очень характерна для последних лет сталинской эпохи. Он был арестован за участие в "антисоветском обществе", состоящем из самого Ратновского и двенадцати осведомителей, которые на нем отрабатывали свой горький хлеб. Один из них разыгрывал роль связного между Ратновским и "Нью-Йорк Таймс", для нее Ратновский писал статьи о советском сельском хозяйстве. "Скорее, в редакции ждут!" — торопил его "связной", и Ратновский лихорадочно исписывал страницу за страницей о тяжелом положении колхозников, чтобы "Таймс" вышел в срок. Статьи шли на стол следователю — и послужили основанием для смертного приговора. По счастью, ему не было еще восемнадцати лет — и расстрел заменили двадцатью пятью годами. В 1956 году он был реабилитирован.

Когда умер президент Эйзенхауэр, в посольстве США установили книгу соболезнований и Брежнев расписался в ней — вспомнив былые связи с "Нью-Йорк Таймс", Ратновский вслед за Брежневым решил отдать последний долг американскому президенту.

— Куда? Зачем? — остановил его милиционер при входе.

— Расписаться в траурной книге почетных посетителей, — отвечал Ратновский, в потертой шапочке и пальто без пуговиц, пожалуй, мало похожий на почетного посетителя.

— Давайте паспорт, — сказал милиционер. — Еврей?

— Еврей, — сокрушенно ответил Ратновский, и милиционер пошел в будку звонить. Рядом уже стояла группка в штатском, ожидая знака.

Через четверть часа с растерянным лицом милиционер появился: "Проходите!" Ратновский вошел на трясущихся ногах — и тут самое страшное: раздался металлический лязг, стук прикладов и каблуков — двое рослых морских пехотинцев взяли на караул при входе в зал почетного гостя, у него чуть сердце не выскочило. "Что было дальше, я не помню, расписался я в этой проклятой книге или нет", — рассказывал он потом.

Вскоре и Павел начал устраивать у себя еженедельные сборища — назову их условно "пятницы": комната была забита людьми, стояли кучками, разговаривая и передавая друг другу машинописные бумажки, и тут же, уткнувшись в них носом, читали, так что по комнате шел шорох от бумажных листков.

Здесь я познакомился с крымскими татарами. В 1944 году весь крымско-татарский народ, включая грудных детей, был депортирован в Среднюю Азию по обвинению в "сотрудничестве" с немцами, туда же отправили и татар, демобилизованных после войны. В 1956 году был принят Указ, "реабилитировавший" народ, но, в отличие от таких же высланных кавказских народов, не разрешивший возвращения на родину. Сыграли, по-видимому, роль противодействие украинского партийного руководства, на которое тогда опирался Хрущев в борьбе за власть, а также то, что в отличие от кавказцев крымские татары сразу не двинулись стихийно, народ они вообще более трудолюбивый и мирный, чем, скажем, чечены, так что и узбекские власти более были заинтересованы их удержать. Но постепенно Движение за возвращение в Крым вовлекло несколько сот тысяч человек, поданы были тысячи петиций, сотни людей арестованы — и только десяткам удалось возвратиться. При этом дело шло не о выезде из СССР, как для евреев и волжских немцев, а о переезде из одной части страны в другую людей, формально пользующихся правами советских граждан. Выселение татар и запрещение им вернуться — акция, направленная против целого народа, она сопровождалась физическим уничтожением половины народа, лишением его имени, крымских татар превратили в просто татар, лишением школ, книг и газет на родном языке. Однако вопрос о геноциде ни разу не был поднят ни в одной международной организации, и ни одна мусульманская страна ничего не сделала для своих братьев.

Крымские татары ведут борьбу мирными средствами: переезжают в Крым, где их ловят и высылают, проводят мирные демонстрации, которые разгоняют войсками, обращаются с верноподданическими петициями, заполненными словами о "великой партии Ленина", на

которые не получают ответа. Меня удивляло их терпение, казалось, что если бы часть крымских татар перешла к тактике террора, скажем, к угону самолетов, то власти пошли бы на уступки, как они разрешили еврейскую эмиграцию после попытки угона самолета Кузнецовым и Дымшицем в 1970 году. Часть татар, особенно молодые, стала присоединяться к Демократическому движению, рассчитывая на большую гласность. Одной из их болезненных проблем была нехватка национальной интеллигенции – кроме физика, врача и двух инженеров, я встречал только бульдозеристов, трактористов и шоферов, которые приезжали из Средней Азии со следами въевшегося в кожу мазута и с написанными корявым почерком заявлениями.

У Павла стали появляться люди, служившие как бы мостом между диссидентами и сионистами. Движение за выезд евреев существовало со времени образования Государства Израиль, но влачило жалкое существование, пока шестидневная война 1967 года и Демократическое движение 1968 года не дали ему новый толчок. Я хорошо помню седого и суетливого Юлиуса Телесина, размножавшего и распространявшего самиздат, от изданных заграницей романов Солженицына до записей своих допросов в КГБ. Читая эти протоколы – а Телесин распространял их в неимоверном количестве, – невольно пожалеешь бедных следователей, он нумеровал все заявления, допросы, вопросы следователя и свои ответы, и на вопрос следователя: "Давали ли вы для прочтения и если давали, то кому, ваше заявление № 3?" – Юлиус отвечал: "Ответом на ваш вопрос № 9 может служить мой ответ №7", – так что к концу допроса ни следователь, ни Телесин, ни тем более читатель протокола не могли понять, что на что является ответом. В 1969 году московские сионисты составляя письмо с требованием свободного выезда в Израиль, собрали 39 подписей, а хотелось, видимо, ровное число, и тут кто-то вспомнил о Телесине. Участвуя в Демократическом движении, он подписал уже столько заявлений, что одним больше, одним меньше казалось ему совершенно все равно. Каково же было его удивление и негодование заслуженных сионистов, когда через несколько дней в "Известиях" появилась статья, называющая Телесина руководителем сионистов, вскоре он одним из первых получил разрешение выехать в Израиль.

Павел Литвинов был плохим организатором, не знаю, умел ли он вообще доводить что-нибудь до конца, но благодаря своей благожелательности, открытости, здравому смыслу, смелости и отсутствию болезненного самолюбия смог стать центром, к которому стягивались люди казалось бы несовместимые, разного возраста, мировоззрения, интересов, опыта – я вспоминаю генерала Григоренко, с удивлением оглядывающегося среди наших странных картин. Неверно было бы сказать, что всех объединяло негативное отношение к режиму, объединяла – хотя это не было еще ясно сформулировано – вера в

права человека, в достоинство человеческой личности, к этому подводил и опыт привыкшего к дисциплине коммуниста генерала Григоренко, и опыт требующего творческой свободы индивидуалиста писателя Амальрика. Но еще нужен был человек, которого мы все считали бы своим – Павел и сыграл такую роль. Неверно было бы и сказать, что все вечера у него проходили за чтением бумажек – впоследствии следователь Акимова, специалист по диссидентам, говорила одному из своих друзей: "Ты не думай, что они святые! Они водку пьют, и бабы у них есть!"

В апреле 1968 года – когда волна петиций стала падать, а волна репрессий подниматься – Павел принес мне несколько листков папиросной бумаги с подслеповатым машинописным текстом: черновик первого номера журнала "Год прав человека в Советском Союзе" с подзаголовком "Хроника текущих событий" – постепенно "Хроника" стала названием журнала, а "Год прав человека в СССР продолжается" или "Борьба за права человека в СССР продолжается" – его девизом, вроде "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" у "Правды" или "Все факты, достойные опубликования" у "Нью-Йорк Таймс". Название было взято – сознательно или бессознательно – из русских передач БиБиСи, есть ежедневная программа "Хроника текущих событий: глядя из Лондона". Наша "Хроника" была задумана, как изложение – раз в два месяца – фактов о нарушении прав человека: о судах, арестах, обысках. Я посоветовал тон сделать менее эмоциональным и менее оценочным, пусть факты говорят сами за себя; за редким исключением все годы "Хроника" придерживалась этого стиля. Все мое сотрудничество с "Хроникой" – вопреки утверждениям КГБ – исчерпывалось этим советом, немногими сведениями, которые я туда передал, поправками к третьему выпуску, да еще тем, что первые номера я переслал заграницу для радиотрансляции на СССР. По традиции "Хроника" выходит анонимно, и считалось ненужным говорить о ее редакторах. Она существует более десяти лет – случай для подцензурного журнала в СССР уникальный. В 1972 году КГБ заявил, что после каждого выпуска "Хроники" будет арестовывать одного человека, не обязательно с выпуском связанного, – издание приостановилось, но через год возобновилось. "Дальнейшее молчание означало бы поддержку – пусть косвенную и пассивную – "тактики заложников", несовместимой с правом, моралью и достоинством человека", – писали издатели "Хроники".

В первом номере был отчет о суде в Ленинграде над членами ВСХСОН – Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, так мы узнали о существовании оппозиции, совершенно иной по целям и методам, чем наша. Речь шла о законспирированной организации, которая ставила своей задачей через пятнадцать-двадцать лет захват власти и создание нечто вроде теократического государства

на христианской основе. В 1977 году я познакомился с "начальником идеологического отдела" этого Союза Евгением Вагиным, пробывшим восемь лет в заключении. На мой вопрос, что же они собирались делать с мусульманскими народами России, он только пожал плечами. На вопрос нам обоим, какой мы национальности, я пространно начал объяснять, что один мой предок был француз, другой русский, третий украинец, четвертый швед, пятый цыган, Вагин же ответил кратко: "Я русский православный".

Смешение "нации" и "религии" произошло, по-моему, и в группе, которая сформулировалась вокруг журнала "Вече" – в отличие от ВСХСОНа легально и открыто. С будущим редактором этого журнала Владимиром Осиповым я познакомился, когда он вернулся из лагеря после семи лет, сейчас он снова в лагере с восьмилетним сроком.

Когда он предложил мне написать статью для его "христианско-патриотического журнала", я ответил, что, по-моему, христианский и патритотический – несовместимые понятия, Христос не говорил: я сын евреев или я сын русских, он сказал: я сын человеческий. Идея "Бога русских"более напоминает иудаизм, чем христианство, и в глубокой основе нелюбви русских к евреям лежит чувство, что не место на земле двум мессианским народам. Те же "патриоты", которые видят, что сколько не "русифицируй" христианство, его общечеловечность неустранима, начали говорить о возврате к русскому язычеству.

Когда предлагается некая философия, имеющая целью не только объяснить мир, но, говоря словами Маркса, его переделать, когда создается некая социальная программа, имеющая воплотиться в более или менее туманном будущем, всегда интересно изучить эту программу не только как вещь в себе, но и посмотреть, какие ее стороны при соприкосновении с грубой действительностью имеют шансы на успех. Очень благородная в своей основе философия славянофилов на практике выродилась в "Союз русского народа" с его узостью, черносотенной программой и еврейскими погромами; на пути к этому славянофильство сумело исказить крестьянскую реформу, так что община не была разрушена и крестьянин остался полуперсоной – а отсюда и ужасы крестьянского бунта. Я сильно боюсь, что "неославянофильство"– во всех его умеренных и экстремистских разновидностях – постигнет та же участь, в силу того, что народ, масса или история – назовите это, как хотите – будут делать свой низменный отбор из предложенной им возвышенной теории.

Я не выступаю против религии или против нации. Но я понимаю религию как связь человека с Богом, а не как политическую философию и идеологию. Церковь может влиять на общество нравственным примером, но как только она хочет стать политической партией – единственной или в ряду многих – она уже не церковь. Принадлежность к народу, к национальной культуре и сознание связи со своей

страной – настолько естественны, что немногие мыслимы вне этого. Но когда ''национализм'' из естественного чувства становится политической категорией – это прямой путь к авторитарным и тоталитарным режимам, вы становитесь не просто русским или немцем по вашему рождению и культуре, но членом ''русской нации'' или ''немецкой нации''. Национализм малых народов понятен как средство защиты себя как народа и своей культуры, хотя и в этих случаях он иногда принимает отталкивающие формы. Но национализм великого народа – это средство не защиты, а давления и внутрь, и вовне. При этом националистические лозунги всегда могут рассчитывать на популярность, требуя следования по линии наименьшего сопротивления: одним фактом своего рождения русским или немцем вы можете идентифицировать себя со всепобеждающей политической доктриной и тем самым придать себе значимость.

Возникновение ВСХСОН – с его отрицанием марксистского тоталитаризма и либерального парламентаризма – хорошо показывает, что общественная мысль в Советском Союзе после периода замороженности начинает биться над теми же проблемами, что и русская эмиграция первых пореволюционных лет. В обоих случаях заметно стремление к новой идеологии, понимание, что если марксизм возник как реакция на западное либеральное общество, то преодоление марксизма едва ли возможно простым возвратом к идеалам либерализма. Но мне не менее важным кажется не где марксизм возник как идеология, а где он реально воплотился: как раз в обществах с сильными пережитками феодолизма, и большевизм был явлением очень русским, а не случайным для России – поэтому в своей ставке на нациоанализм и НТС, и ВСХСОН, стремясь вперед, тянули назад, они подходили к действительно новой идеологии, но чувство национального оправдания вело в другую сторону. По-видимому, новая идеология потребует найти правильный баланс между неделимыми правами человека, социальной группы, нации и всего человечества.

Иностранцы подчеркивают сильную привязанность русских к своей стране, аффектированный патриотизм – мы не скажем, как англичане, ''эта страна'', но ''Родина''. Но у меня аффектация вызывает недоверие, опыт показал, что те, кто выставляет любовь к родине или веру в Бога, как медаль на груди, часто оказываются людьми ненадежными. Патриотизм доходит до того, что лазерный луч называют лучом Лазарева, но одна из компонентов этого патриотизма – не чувство спокойной гордости за свою страну и не самоуважение при мысли, что мы – русские, а скорее чувство ущемленности: да, мы отсталые, бедные, несвободные, грубые, грязные, варвары и т. д. и т. п., но зато –

Удрученный ношей крестной,
всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя –

мы несем миру великие духовные ценности – безразлично, православный ли это мессианизм или марксистко-ленинский, это с одной стороны, а с другой –

От Урала до Дуная,
до большой реки,
колыхаясь и сверкая,
движутся полки –

мы – это сила, презирайте нас, сколько хотите, живите лучше нас, но мы вам покажем, мы вас сомнем нашей силой – а сила всегда права. Отсюда и любось народа к власти как символу этой силы.

Изоляция порождает в народе не только чувство взаимосвязанности, но и ксенофобию – не всегда легко различить, гре граница между "естественной ксенофобией" и насаждаемой властью "искусственнной". Русские с молоком матери впитывают настороженность к немцам, но ненависть к немцам, которая существует сейчас, – результат антинемецкой пропаганды. Власть поддерживает в народе деление на "мы" и "они" – русские и иностранцы, – но парадокс в том, что отношение народа к власти это тоже "мы" и "они". И наступают моменты, когда проявляется амбивалентность патриотизма, построенного на сознании силы: власть утрачивает силу – и любовь к родине ослабевает, оказывается, была лояльность к власти, а не к стране.

Можно привести два характерных примера, связанных со все теми же немцами – я их здесь употребляю как бы в виде учебного пособия. Первый пример: массовое дезертирство и открытие фронта немцам в 1917-18 годах, по-существу весь рядовой состав армии, т. е. народ, показал нежелание защищать Россию, ибо ее "власть" уже не была "силой". Второй пример: массовая сдача в плен немцам в 1941-42 годах, приветствие их хлебом-солью, многомиллионная коллаборация с врагом, который не скрывал своей цели уничтожения народа – тогда многим казалось, что "власть" не имеет силы противостоять немцам.

"Мы" и "они" – русские и иностранцы – и "мы" и "они" – народ и власть – вступают друг с другом в конфликт и в вопросе с русскими диссидентами, ибо диссиденты, начиная с князя Курбского и кончая Солженицыным, обращаются к загранице, через заграницу или из заграницы. Власти стараются все время обыграть это, даже преувеличить, но видно, что в целом они терпят здесь поражение. Характерен пример Ленина – он не только долгие годы жил заграницей и к загранице аппелировал, но и открыто презирал русский патриотизм, желал поражения России в войне с Германией, взял у немцев деньги, был

изображен русской прессой как "немецкий агент", заключил с немцами самый унизительный мир – и стал на долгие годы символом национального величия России.

Не удается эта тактика власти и в отношении Демократического движения, хотя диссиденство пытаются представить или как иностранных агентов, или как недалеких тщеславных людей, которых иностранцы используют. Не могу сказать, что я никогда не встречал к себе неприязни из-за того, что я диссидент, но гораздо чаще интерес и сочувствие. "Вы напрасно стараетесь, – сказал мне как-то офицер милиции, – вы же видите, как народ легко впитывает советскую пропаганду и принимает все как должное". "Ну что же, – ответил я, – сама легкость, с которой все принимается, говорит, что они с такой же легкостью примут все, что идет от нас". Неприязнь народа к загранице во многом основана на страхе, что иностранцы отнесутся с презрением к русским, и сам факт, что диссиденты нашли с иностраннцами общий язык скорее повышает шансы Демократического движения.

По версии КГБ, термин "Демократическое движение" был придуман НТС и "заброшен" в СССР, Павел Литвинов говорил мне позднее, что этот термин предложил я сам в начале 1968 года. Существовал какое-то время термин "Движение 5 декабря", предложенный Есениным-Вольпиным, одним из организаторов первой демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года под лозунгом "Уважайте конституцию – основной закон СССР!"

В 1973 году Андрей Сахаров сказал, что, в сущности, Движения нет, поскольку нет политической цели, например, борьбы за власть. Но если нет политической цели, это не значит, что нет движения – значит, нет политического движения, но может быть моральное, например. Если группа людей ставит себе общие цели – такие цели хорошо сформулировал сам Сахаров: политическая амнистия, свобода слова, собраний, ассоциаций, въезда и выезда из страны, – координирует свою деятельность и выражает при этом интересы части общества, то мы можем говорить о Движении. С 1973 года его стали называть Движением за права человека – такая замена точнее отвечала его сути в то время.

Многим участникам Движения было неприятно слово "политика": оно связывалось со злом, которое принесла политика в мир. Отвращение к пронизывающей советское общество "политизации", желание быть не "за" или "против", но вообще вне политики понятны – но, увы, к тем, кто хотел отбросить всякую "политическую идеологию", она подползала с другой стороны: их "морализм", заполняя политический вакуум, постепенно превращался в религиозно-националистическую идеологию, иногда с элементами вождизма. Политика отвергалась и по соображениям безопасности: мы не посягаем на вашу власть – и вы нас не троньте. Но в обществе, где термин "аполитичный"

применялся как негативная политическая дефиниция, любая не контролируемая государством активность рассматривается как политическая: даже художники, устраивающие без разрешения выставку, или поэты, читающие заранее не одобренные стихи, бросают вызов государству, так что желание сузить претензии политики уже было политическим.

С 1968 года инакомыслящие – хотя и не всегда четко – делились на "политиков" и "моралистов": на тех, кто думал о Движении как о зародыше политической партии и хотел выработать программу политических и социально-экономических преобразований, и на тех, кто хотел стоять на позициях морального непризнания и неучастия в зле режима. Деление условно, поскольку каждый был на какую-то долю моралист и на какую-то политик. Даже Сахаров, в своих обращениях к властям предлагая программу социально-экономических изменений и критикуя разрядку, выступал в роли политика.

"Политики" не выступали за немедленное создание "партии" и торжественное принятие "программы". Когда кто-то предложил Петру Григоренко организовать партию и даже заранее распределить места в правительстве, мы подумали, что это или провокатор, или человек не совсем нормальный. Но в обществе чувствовалась потребность идеологической альтернативы, неоднократно участников Движения спрашивали: какова ваша программа? Павел Литвинов, смеясь, рассказывал, как его рабочий спросил: что вы будете делать с заводами? Когда им отвечали о моральном сопротивлении, они только плечами пожимали. Конечно, на их пожатие плечами можно тоже пожать плечами, ибо задача возвращения людям чувства собственного достоинства, которую ставило Движение, сама по себе огромна и есть условие справедливого общества. Оданко было ясно, что если мы не ответим на вопрос, каким должно быть наше общество, ответят те, кто хочет перетащить нас из одной тоталитарной ямы в другую.

Водораздел между "политиками" и "моралистами" есть водораздел между теми, кто не верит в прочность системы, считает, что рано или поздно она развалится и нужно заранее думать о путях ее более или менее безболезненной перестройки, и теми, кто считает, что система прочна и неизменна, будет существовать если не вечно, то достаточно долго, и в лучшем случае моральное противостояние – которое есть прежде всего акт личного неучастия – сможет несколько смягчить ее. Взгляд на возможности русской оппозиции вытекает из общего взгляда на русскую историю – не только мы глядим "изнутри", но и на нас глядят "снаружи". При самом критическом взгляде, я не считаю русских "безнадежным народом", для которого рабство есть "естественная" форма существования, как полагают сенатор Фулбрайт или профессор Киссинджер. Если бы я считал так, мне не оставалось бы ничего другого, как молчать или отказаться от того, что я русский. Но я достаточно ясно вижу, как под авторитарным потоком русской

истории прослеживается то сильное, то слабое течение правосознания и в какие-то периоды выходит на поверхность как политическая сила – в Новгородской республике, в реформах Александра II, в Государственной думе. Очевидно, альтернатива есть и сейчас – но ее достижению должен предшествовать безжалостный анализ самих себя, анатомическое расчленение нашего прошлого и настоящего.

Дебатировался также вопрос, можно и нужно ли придать возникающему движению какие-то организационные формы. Красин сказал, что стоит организовать какой-нибудь комитет, он тут же в полном составе будет арестован, я ответил, что власти скорее всего будут его игнорировать, и только постепенно его члены окажутся в тюрьме под разными предлогами – я оказался прав. Для обсуждения этого Петр Григоренко, Лариса Богораз, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Виктор Красин, Петр Якир и я в начале июля поехали на дачу к Алексею Костерину. Едва мы по дороге расположились на берегу канала, как увидели: в небольшом отдалении человек стертого вида независимо прогуливается, на разные лады поглаживая затылок; в эту доиндустриальную эпоху у филеров еще не было транзисторов и употреблялся такой первобытный способ передачи сигналов.

Я предложил создать Комитет защиты советской конституции – лицемерная "сталинская конституция" содержала статьи о свободе слова, собраний, демонстраций и т. д. и могла служить юридическим прикрытием для комитета; идея использования "снизу" того, что "наверху" рассматривалось как не более чем декоративное украшение суровой действительности, была реализована семь лет спустя созданием Группы содействия выполнению Хельсинских соглашений. Я предлагал, далее, структуру трехслойного пирога: средний слой – наиболее известные участники Движения, как Григоренко или Литвинов, вошли бы в Комитет; верхний слой – те академики, писатели, режиссеры, кто относился к нам с симпатией и еще не был напуган, поддерживали бы Комитет своим авторитетом; нижний слой – неизвестные участники Движения выполняли бы значительную часть практической работы и дублировали бы членов Комитета в случае их ареста. Все это было лишь формализацией реального сложившегося положения, но ставило задачу выработки и объявления программы. После долгих споров никакого решения принято не было – трудно было преодолеть воспитанный советским режимом страх пред словом "организация".

Книгу Марченко "Мои показания" я прочел за полгода до встречи с ним. Марченко родился в семье рабочих в маленьком сибирском городе, родители его были неграмотны, он работал буровым мастером, пока совсем молодым не попал в тюрьму за драку в общежитии. Я видел впоследствии, как для многих молодых ребят лагерь становится политичской школой неприятия этого режима, если только у них было чувство человеческого достоинства. Марченко скоро получил

политическую статью и провел шесть лет в лагере в Мордовии и во Владимирской тюрьме, которые простым языком описал в своей книге. Многое в ней подтверждало мою мысль, что народ ищет идеологию, которую можно противопоставить официальной, трудно стоять только на позициях отрицания и ненависти.

Алексей Евграфович Костерин провел в тюрьмах и лагерях больший срок, чем Марченко, он начал еще до революции, вступив в большевистскую партию, но главным образом сидел при Сталине. После реабилитации он много сил тратил на борьбу за права малых народов, через него установилась связь и с крымскими татарами. Он оказал большое влияние на Петра Григоренко, и оба они обращались неоднократно и в ЦК КПСС, и к международным коммунистическим совещаниям – всегда без ответа. К совещанию компартий в Будапеште они написали огромное письмо и еще каждый по маленькому от себя лично, в которых представляли друг друга в выражениях самых трогательных: "Костерин – это замечательный человек, честный, сердечный" и т. д. – и Костерин то же самое о Григоренко, но такой уж в Будапеште собрался твердокаменный народ, что сердца их это не тронуло.

Костерин очень интересно рассказывал о тридцатых годах, но когда коснулось нашего проекта, стал предлагать создание нечто вроде общества пенсионеров, сидевших в свое время в лагерях. Мне трудно судить, что осталось в Костерине от его большевизма после всего, что он испытал. Перед смертью он был исключен из Союза писателей и из партии за то, что после вторжения советских войск в Чехословакию потребовал исключить из партии Брежнева.

Мне еще приходилось встречаться со старыми большевиками, проведшими много лет в лагерях – причем не с теми, кто твердил, что партия не ошиблась, но кто хотел содействовать демократическим переменам. Убеждения большевиков были убеждениями людей без скепсиса, даваемого культурой, нечто вроде религиозных убеждений, на которые опыт, конечно, влияет, но мало – всему находится объяснение в рамках самой религии. Их честность, их личный опыт учили их терпимости, тому, что оптимальное решение складывается из сопоставления разных взглядов, их философия учила их, что истина едина и тот, кто ею обладает, может отвергать все другое; для примирения этих точек зрения они строили такие же сложные исторические и нравственные концепции, как астрономы, стремящиеся объяснить движение планет, исходя из птоломеевского геоцентризма.

Сергей Писарев, старый большевик, партаппаратчик, получил при Сталине два срока и переломанный позвоночник – но когда речь зашла о Ленине, он стал уверять меня, что тот был образцом терпимости, допускал высказывание любых мнений, и никак не мог поверить, что Ленин приказал выслать в 1922 году группу ученых как немарксистов – в сущности, это было тоже проявление терпимости, поскольку

их можно было просто расстрелять. Сама шкала ценностей Писарева была своеобразна: зачем людей преследуют за убеждения? – с одной стороны, а с другой – зачем "драчку" между Наполеоном I и Александром I называют "отечественной войной"? Да Бог с ним, с Александром I, думал я, "он взял Париж, он основал лицей", кому он мешает! Партию, насчитывающую пятнадцать миллионов, нужно, по мнению Писарева, сократить раз в сто – чтобы члены ее никакой практической роли не играли, а были только безупречными носителями истинной идеологии.

– Это что же, вроде монашеского ордена?

– Да, как монашеский орден, – отвечает Писарев, маленький, с волосами ежиком, и глядит на меня напряженными глазами из-под очков. Мы стоим уже в дверях его холостяцкой квартиры, и я отчетливо слышу, как стекает в уборной струйка воды.

– Пойдете по коридору, держитесь ближе к стене, – говорит он мне вслед, – а то меня упрекают, что мои гости пачкают ковровую дорожку.

Не иначе, как у него был Красин, думаю я, уходя по коридору.

С середины марта начались увольнения с работы и исключения из партии тех, кто подписывал письма в защиту Галанскова и Гинзбурга, а также публичные собрания с осуждением "подписантов". "Подписанты" ссылались на гуманизм, и на московской партконференции писатель Сергей Михалков дал новое определение этого понятия. "Без устали ненавидеть врагов – вот гуманизм!" – сказал он под аплодисменты присутствующих. Брежнев подчеркнул на конференции, что "отщепенцы не могут рассчитывать на безнаказанность". Тем не менее инициатива еще находилась в руках диссидентов. Правда, чувствовалась растерянность, "петиции" циркулировали во все сужающемся круге и не ясно было, что делать, но фоном движения были события в Чехословакии, и пока процесс либерализации там развивался, и мы жили надеждой. Власти это хорошо понимали, тон газет становился все более угрожающим, и когда появилась маленькая заметка о якобы обнаруженном складе западногерманского оружия в Чехословакии, здравомыслящий человек мог понять, что интервенция неминуема. Но не так легко хоронить свои надежды.

В конце июля Костерин, Писарев, Григоренко, Яхимович и Павленчук – пять коммунистов, первый из которых вступил в партию в 1916, а последний в 1963 году – сделали заявление, что они приветствуют развитие событий в Чехословакии и считают советскую интервенцию невозможной. Конечно, Петр Григорьевич как бывший генерал считал интервенцию вполне возможной, но рассчитывал на сопротивление чехословаков. "Я знаю наших, – говорил он, – они попрут напрямик через горы, и тут их можно будет надолго задержать". Увы, все оказалось не так.

Григоренко и приехваший из Латвии Яхимович решили передать это заявление в посольство Чехословакии, но мы с Гюзель сделали плакат с надписями по-русски и по-чешски, похожий на лопату для расчистки снега, но наш связной подвел нас, и они вошли в посольство без плаката, зато генерал при всех орденах. Как и я, советник посольства принял его за сталиниста: "Не беспокойтесь, ЧССР останется коммунистической и верной дружбе с СССР", – на что Петр Григоренко ответил: "Не беспокойтесь вы тоже, мы за вас". Обрадованный советник взял их заявление и открытое письмо Анатолия Марченко, и оба вышли из посольства беспрепятственно, сфотографированные при выходе Карелом Ван хет Реве на фоне высаженных у братского посольства деревьев. За деревьями уже ходило несколько людей, носящих свои неприметные костюмы, как будто это театральный реквизит.

– Служите? – спросил один из нас.

– Служим! – охотно отозвался один из них.

Через несколько дней мне позвонил Павел и попросил срочно приехать к Ларисе Богораз – оказалось, только что арестован Анатолий Марченко. Период выжидания со стороны власти кончился.

Глава 6.

21 АВГУСТА 1968 ГОДА

Передавая заявления и статьи заграницу, мы считали, что только так можно добиться гласности и избежать оскорбительного контроля государства. Мы преследовали двоякую роль: во-превых, лучше показать всему миру действительное положение вещей в СССР; во-вторых, – и это казалось нам наиболее важным – через западное радио познакомить с нашими документами собственный народ, и это нам удалось. Вопреки разрядке и благодаря возникновению независимого общественного мнения в СССР, число слушателей иностранного радио возросло в несколько раз – людям было интересно слушать о том, что происходит у них в стране и о чем не пишут советские газеты; со временем это вынудило власти постоянно публиковать статьи о диссидентах.

Конечно, мы не могли инструктировать западные газеты и станции, как им наши материалы подавать – сначала западным читателям, потом советским слушателям; также они периодически концентрировали внимание на тех или иных фигурах, иногда по причинам, к Движению за права человека отношения не имеющим, тем самым оказывая

на Движение косвенное влияние. В начале 1968 года наибольшее внимание привлекали Пвел Литвинов, Лариса Богораз, Петр Григоренко и Петр Якир. Красин, оказавшийся как бы на вторых ролях, был уязвлен этим, был он вообще человек, склонный уязвляться.

До того, как переписка Павла была поставлена под наблюдение, он получал много писем от советских слушателей: как за – примерно 3/4, так и против – примерно 1/4, часть писем пришла не по почте, а была кем-то брошена в ящик. Вскоре КГБ спохватился: не только стали изымать в почтовых отделениях письма известным диссидентам, но и справочные бюро получили указание не давать их адресов. Среди подброшенных Павлу писем была по крайней мере одна фальшивка КГБ – составленное путем неуклюжей имитации заявление "группы студентов" о создании новой партии. Сборник этих писем – пока что единственный, представляющий реакцию рядовых советских граждан на Движение, – был нами подготовлен к печати и вышел на нескольких языках.

Было несколько писем с матерными ругательствами, одно, судя по служебному штемпелю, из КГБ, начиналось словами: "Зачем, жидовская морда, позоришь память своего деда!" – Павел не знал, кому ответить, что он "жидовская морда" как раз из-за деда-жида, Максима Литвинова. Очень смешно писал гебист-пенсионер: "Кто это такие "мы требуем'!"? Вы – не более, чем козявка, но и козявка может издавать зловоние", – и даже назначал Павлу срок – двенадцать лет. Когда Карел просматривал рукопись, он спросил, что это за точки везде расставлены. Я ответил, что это разные непечатные слова. "Ну, мы готовим научное издание, все слова должны быть на месте" – и мне пришлось еще сидеть над рукописью и своей рукой вписывать все слова. БиБиСи сделала передачу по книге и получила гневное письмо от одного слушателя, может быть даже того, кто сам писал эти слова Павлу. БиБиСи ответила, что не она их придумала и Литвинову адресовала.

"Белой книгой" Гинзбург начал традицию документальных сборников о политических процессах, вслед за ним Литвинов с помощью Горбаневской составил сборник о процессах Буковского и Хаустова. Казалось важным составить такой же сборник и о деле Галанскова и Гинзбурга, и Павел начал собирать материалы. Я торопил его, опасаясь обысков и арестов, и с июня сам засел за систематизацию и перепечатку материалов, составление вводных статей и именного указателя. Кивая на указатель, Карел обычно говорил: "Я всегда думал, что ты работаешь на органы".

Павла арестовали в августе, а в октябре я работу закончил. Мне очень помогли Маруся Рубина, перепечатавшая часть сборника, и Юлиус Телесин, собравший статьи из советских газет. Однако я встретил оппозицию в лице Арины Гинзбург, Ольги Галансковой и Натальи

Горбаневской: первая боялась, что выход сборника затруднит ее связь с мужем в лагере, вторая – за саму себя, чувство, я бы сказал вполне естественное, а третья – что это отразится на Павле, который был уже в сибирской ссылке.

В отличие от "Хроники", сборники выходили с именем составителя, и нам с Павлом не хотелось от этой традиции отступать. Сначала он предлагал, чтоб сборник вышел под нашей общей редакцией, но я не хотел этого, ведь КГБ, заинтересованный в "групповых делах", пытался доказать, что и "Белую книгу" Гинзбург и Галансков делали совместно, а те от этого открещивались. Я считал, что лучше всего сборник выпустить под редакцнией Литвинова, поскольку он был известен, и это могло способствовать публикации; то, что он сидит в тюрьме, скорее значило, что сборник "проскочит" для него без последствий – все равно, мол, он свое уже получил! Если Павел откажется, я решил выпускать под своей фамилией, но он – из Лефортовской тюрьмы, где мне удалось запросить его – дал свое согласие. Потом я послал ему экземпляр на просмотр в Сибирь, а затем переслал "Процесс четырех" Карелу. Я оказался прав: никаких последствий это для Павла не имело.

Самую важную из переданных мной в то время за границу рукописей я получил от Павла в конце июня – это были "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" академика Андрея Сахарова. Написав статью в начале 1967 года, в течение полутора лет Сахаров возвращался к ней – по-видимому, для него было не просто сделать решительный шаг и передать ее в самиздат. Может быть, им самим это сознавалось не совсем ясно как диссидентом-новичком, но это был разрыв с научным истаблишментом, высокое положение в котором он занимал, и со всей системой, частью которой был этот истаблишмент.

В Движении за права человека в СССР – с разной степенью активности – участвовало много ученых-естественников. Это объясняется тем, что ученый склонен подвергать все факты объективному анализу и не дает себя поймать в мифологические ловушки, в которые ловится средний "советский человек", в своей работе ученый мало зависит от государственной идеологии, но государство прямо зависит от результатов его труда. Это не значит, конечно, что большинство ученых – диссиденты, хотя бы тайные, преобладают настроения аполитичности: делайте вы там, что хотите, а я буду заниматься наукой; глядя более объективно, это – позволение манипулировать собой, когда это понадобится власти. Скажем, подпись под письмом *за* Сахарова – поступок политический, под письмом *против* – проявление аполитичности. Ученых убеждали так: если вы подпишетесь под письмом против Сахарова, вы получите иностранное оборудование для вашей лаборатории. Не я, так другой, думает ученый, Сахарова мой отказ не

спасет, а оборудование может достаться прохвосту, уж лучше пусть пойдет для науки.

Конечно, среди ученых преобладают прагматики – произойди поворот к лучшему, он будет ими поддержан, но мало надежды на проявление инициативы с их стороны или на то, что они будут принимать во внимание нравственные категории. Произошло постепенное изменение самого типа ученого. Старый тип формировался в академической среде, жившей еще дореволюционными традициями чистой науки, научной этики и данных Господом Богом нравственных принципов, и хотя за ленинско-сталинские годы эта этика со всеми принципами вместе взятыми были значительно пообщипаны, при первой же передышке ученые постарались к ним вернуться – академик Михаил Леонтович, например, подписавший несколько писем в защиту осужденных. Новый тип сформировался в научно-бюрократической среде, живущей в симбиозе с партийно-бюрократической, тип, делающий не карьеру в науке, а карьеру через науку – академик Николай Шило, например, который еще появится на этих печальных страницах. Ученый второго типа может быть великолепным специалистом, и даже творцом, но безнравственным – и потому не поверю, чтоб великим.

И по своему возрасту, и по особенностям своей научной карьеры – участие в создании водородной бомбы, – Сахаров должен был бы принадлежать ко второму типу, и то, что он не принадлежал к нему, действительно чудо. Но разве не чудо, что возглавлявший кафедру в военной академии генерал-майор стал наиболее активным диссидентом? Эта трещина в истаблишменте – а я беру только два наиболее ярких примера – была показателем глубоких геологических сдвигов в самой толще советской структуры: в статье Сахарова меня больше всего потрясло не *что* написано, а *кем* написано. То, что статья попала к нам, значило, что автор не возражает против дальнейшего распространения: я тут же передал статью Карелу, и 6 июля она впервые появилась в амстердамской газете "Хет Пароль". Карел предложил ее московскому бюро ЮПИ, но, как я писал, г-н Шапиро пришел в ужас и Карел передал ее корреспонденту "Нью-Йорк Таймс" Рэймонду Андерсену. Оба номера "Хет Пароль" со статьей у меня сохранились, и, вернувшись из ссылки, я подарил их Андрею Дмитриевичу на день рождения.

Летом этого года большинство моих товарищей жило только тем, что происходило в России и в Чехословакии, я же со все большей горечью следил за событиями в Африке. Становилось очевидным, что война за независимость, начатая Биафрой, кончится поражением и, как я боялся, уничтожением народа ибо. Я всегда испытывал чувство протеста, видя, как большинство пытается навязать волю меньшинству, право малого народа на самоопределение

казалось мне выше любых геополитических соображений, искусственно проведенных границ или имперских интересов, тяжелое впечатление на Гюзель и меня производило, что из-за блокады в Биафе ежедневно умирало три тысячи детей. И СССР, и Великобритания поддерживали Нигерию, и для меня это было одним из примеров сотрудничества советского коммунизма с западной реакцией для поддержания мнимого статус кво в мире. Конечно, молодой и энергичный советский колониализм шел на такую кооперацию только там, где это отвечало его интересам, тогда как старческий английский ковылял по проторенной дорожке.

Я предложил Гюзель вдвоем провести демонстрацию перед английским посольством в Москве. Мы следовали примеру Юры Галанскова, три года назад пикетировавшего американское посольство, и одновременно хотели показать диссидентам, что для проведения политической акции не обязательно пятьсот или хотя бы пятьдесят человек. Я распечатал на машинке полсотни листовок, и мы сделали два плаката с надписями по-русски и по-английски: "Говон убивает детей! Вильсон, не помогайте Говону!" Теперь генерал Говон давно уже свергнут, свергнуты те, кто свергал его, и сам он пошел учиться в английский университет, что делает ему честь, может быть, он вообще не так плох, как мы думали.

Сердце у меня колотилось, когда мы подходили утром к английскому посольству на Софийской набережной, напротив Кремля, но как только мы за несколько шагов до посольства развернули и подняли наши плакаты, я сразу успокоился. Накануне я внимательно осмотрел место и попросил английских журналистов быть утром, у парапета набережной стояло несколько человек с фотоаппаратами, не знаю, было ли что-нибудь об этом в английских газетах и обратил ли кто-нибудь внимание, что мы провели демонстрацию в день приезда нигерийской делегации в Москву. Через несколько дней напуганный Борис Алексеев принес мне из АПН короткое сообщение ЮПИ. "Я как увидел: Амальрик, так даже задрожал", – сказал он мне.

Мы в первую очередь протянули листовки милиционерам у посольства, в недоумении глядевшим на нас. Молодой, сержант, взял и начал читать, пожилой, майор, взять отказался и бросился звонить, запрашивая инструкции. Зато прохожие разбирали листовки охотно, шофер, проехав мимо, дал задний ход, протянул руку из кабины и, схватив листовку, газанул вовсю, пока не отобрали. Поощряемые корреспондентами, мы вошли во двор посольства – растерявшаяся милиция бездействовала, – и на роскошном крыльце терещенковского дома появился вальяжный и монументальный господин – ни дать, ни взять посол – и начал разводить руками, как и майор милиции. Журналисты зашептали, что это всего-навсего швейцар, вышли двое длинноволосых молодых людей чиновно-бумажного вида и взяли у нас по листовке.

Мы пикетировали посольство в течение часа, майор, получивший, наконец, инструкции, раздраженно повторял: "Ну, показались журналистам, вас сфотографировали, пора по домам". Подъехал автобус с английскими туристами, и девушка гид несколько раз возбужденно спросила: "От какой вы организации?" Когда мы отвечали, что мы от себя самих, она повторяла: "Невероятно! Невероятно!" "Что вы наделали, – говорила нам потом Лариса Богораз, – теперь англичане подумают, что у нас можно свободно проводить демонстрации".

Мы провели демонстрацию 16 июля, а на 14 августа улыбающийся старшина принес нам повестки в милицию. В этот день нас разбудили непрерывные стуки, как будто кто-то долбил потолок, слышалось жужжание дрели. Мы подумали, не подводят ли нам микрофоны – хотя это делается с некоторой претензией на незаметность, но достаточно бесцеремонно, и решили, что в милицию пойду я один, а Гюзель останется дома.

Заместитель начальника отделения капитан Досужев встретил меня вежливо, сказал, что поступило заявление, что я нигде не работаю, он должен опросить меня. К нам несколько раз уже заходила женщина фининспектор по поводу картин, извинялась и объясняла, что поступают к ним заявления – приходится ходить. Начиналась та же история, что и в 1965 году, когда меня выслали на два с половиной года в Сибирь за "паразитический образ жизни". Я ответил Досужеву, что, во-первых, я работаю для АПН, во-вторых, определением Верховного суда РСФСР признано, что по состоянию здоровья я не попадаю под действие указа о принудительном трудоустройстве. "Вот и прекрасно, – сказал Досужев, – напишите объяснение и представьте соответствующие документы, с тем, чтобы мы могли закрыть дело." Но я уже знал, что это обычная уловка – документы и объяснения нужны, чтобы правильно "оформить" дело, и лучшая тактика, ничего не предъявляя и не объясняя, дело тянуть.

Заявление Досужев мне не показал, но впоследствии я смог с ним познакомиться. Оно было датировано 7-м августа и написано от руки:

Начальнику 6-го отделения милиции. Довожу до Вашего сведения, что Амальрик Андрей, 30-ти лет, на протяжении длительного времени ведет паразитический образ жизни, нигде не работает... Амальрик в 1964 году сидел в тюрьме за спекуляцию и тунеядство, однако после возвращения оттуда продолжает тот же образ жизни, нигде не работает. Сейчас у него на квартире без прописки проживает какая-то женщина, якобы его жена. Откуда она прибыла, никому не известно, ясно только одно, что она такая же тунеядка и тоже нигде не работает. Зовут ее Гюзель. Дома она что-то рисует и картины продает частным лицам. Очень прошу Вас разобраться и заставить этих здоровых молодых людей работать на производстве. Заявитель".

Сверху была наложена резолюция начальника отделения

Л. Добрера: *"Тов. Досужев Г. М. Прошу совеместно с участковым уполномоченным обязательно проверить образ жизни Амальрика, выяснить, где он работает, что за женщина у него живет без прописки. 12 августа 1968 г."*

– А где ваша жена, – спросил Досужев, – я посылал повестку обоим.

– Она больна.

– Сейчас согласую вопрос с начальством, – и он начал звонить по телефону, вообще он хотел показать, что только выполняет указания. "Начальством" этим был не кто иной, как загадочный "заявитель" – сотрудник районотдела КГБ капитан Денисов, который руководил "операцией".

– Капитан КГБ дает указания вам, вашему начальнику Добреру – и вы подчиняетесь беспрекословно, – спросил я впоследствии Досужева, – что, есть инструкция, по которой милиция должна выполнять указания КГБ?

– Не слышал о такой инструкции. Но знаете, если, например, волк встретит в лесу медведя, он всегда посторонится, – сказал Досужев. Милиция относится к КГБ с заметной завистью, равно как и сотрудники "внутреннего " КГБ к своим коллегам, занимающимся заграницей.

С "начальством" вопрос был согласован так, что меня задержали, а Гюзель привезли с эскортом милиционеров, вызвали даже врача из районной поликлиники – старую еврейку, напугавшуюся больше, чем Гюзель, – чтоб засвидетельствовать, что Гюзель здорова. И хотя у Гюзель была повышенная температура, она засвидетельствовала ее здоровье – а нужно было бы, так засвидетельствовала бы и опасную болезнь. Еще раз повторив нам обоим то же самое, Досужев отпустил нас – вернувшись домой, я заметил, что в квартире никого нет. КГБ решил одним ударом убить двух зайцев: начать дело о высылке из Москвы и одновременно поставить микрофон, для этого под разными предлогами удалили всех соседей и проникли к нам в комнату. Я поднимался в квартиру над нами, из которой устанавливали микрофон, жалуясь, что нам мешают стуки, но в комнату хозяйка меня не пустила. Каждый год в "день чекиста" сверху доносилась музыка и топот ног – отмечали свой праздник.

21 августа судили Толю Марченко – по обвинению в "нарушении паспортного режима", он получил год, максимальный срок по этой статье, в лагере ему добавили еще два за "распространение измышлений, порочащих советский строй". "Паспортный режим" – статья бытовая, и потому суд был открытым, ползала занимали гебисты – старики (пенсионеры) и молодые (стажеры), многих из них я видел потом на других судах. Две интеллигентного вида женщины, народные заседатели, сидели по обе стороны от судьи с несчастными лицами: подоплека дела была достаточно ясна, но им, "советским людям", ничего

не оставалось, как подписать заранее заготовленный приговор. Меня удивило, что нет ни одного иностранного корреспондента, но во время перерыва кто-то подошел ко мне и сказал: "Ты уже слышал? Наши вошли в Чехословакию".

Едва закончился суд, судьи и гебисты заторопились – по всей стране начались собрания с одобрением ввода войск. Не могу сказать, однако, что одобрение было единодушным – имею в виду не диссидентов, а тех, кого на Западе принято называть "человек с улицы". Безусловно, можно было услышать "мы им покажем!", "фашистам продаться захотели!", "мы не живем и им, гадам, жить не дадим!", "не мы вошли б, так немцы!" – все это шло сверху, но легко принималось внизу. Один рабочий так объяснил мне: "Что это за власть, если она меня, работягу, боится – это я должен бояться власти!" Но не назову все-таки это общим мнением народа – мне пришлось встречать людей, совсем разных, которые восприняли введение войск как трагедию. Позднее я познакомился с ортодоксальной партийной дамой и был удивлен, узнав, что она плакала 21 августа. В лагере у нас был спор между двумя рабочими. "Мы их от немцев спасли, что ж они от нас теперь отказаться хотели!" – говорил один. "Если ты тонущую девушку спас – ты что ж, получишь что ли право всю жизнь ебать ее!" – отвечал второй, и поскольку первый сидел как раз за изнасилование, возразить ему было нечего.

Павел сказал, что есть идея провести демонстрацию, по крайней мере пятьдесят человек примут участие. Я ответил, что сильно сомневаюсь, следует ждать общей подавленности, и не знаю, нужна ли вообще демонстрация, сами чехи скорее всего сопротивления оказывать не будут.

Гюзель и я сразу же после вызова в милицию решили уехать на время – только из-за суда над Марченко мы задержались. Я считал, что мне тюрьмы не миновать, потом ни в Москве, ни в Московской области меня не пропишут, и заранее хотел купить крестьянский дом где-нибудь к югу от Москвы, чтобы снова не оказаться бездомным, как по возвращении из Сибири. Пастух, женатый на еврейке, дал нам адрес сестры в Рязанской области, мол, у них в деревне можно недорого купить дом.

Не зная дороги, мы добирались кружным путем, долгий поезд, с очень старыми вагонами и почти пустой, тащился всю ночь. Ближе к утру в дверь купе заглянуло лицо с ищущими глазами и тут же скрылось. От Михайлова мы ехали на автобусе, потом на попутной машине, а километров десять прошли пешком – на стоянке автобуса с нами познакомился молодой человек, и хотя он сказал, что идет навестить родных в другую деревню, любезно взялся нас проводить. По дороге Гюзель простодушно рассказывала ему о нашем желании купить дом и спрашивала, не знает ли он что-нибудь подходящее.

Не могу сказать, что сестра пастуха, продавщица местного магазина, встретила нас обрадованно, несколько раз она спросила, не приятель ли я ее племянника, который только что вышел из тюрьмы или сел в тюрьму. Ночевать к себе в дом она нас пустить не решилась, заночевали мы в сарайчике на сене. Чтобы разрядить обстановку, я за ужином достал из рюкзака джин – это окончательно лишило ее покоя. "Достали иностранную бутылку, а в ней русская водка налита!" – рассказывала она потом в магазине, действительно, джин прозрачный, как известная ей водка. Утром она сказала, что она дома держит выручку, всю ночь не спала – и просит нас уйти.

Я обошел деревню, красиво расположенную по берегу Вожи, осмотрел один дом, жители уже косились с подозрением, и какой-то мужик, сказав, что здесь мы ничего не найдем, посоветовал сходить за два километра в Акулово. Мы пошли по тропинке через высохшую пашню, через поле сжатой ржи, по жаре, по странной деревне мимо пустых заколоченных домов, так напомнившую мне заброшенные деревни в Сибири, и наконец подошли к кирпичному дому, стоящему у ручья в тени лип. После жары нам так здесь понравилось, что мы сразу решили купить этот дом – и дом продавался. Пишу сейчас о нашей деревне и отчетливо ее вспоминаю, горько покидать родную страну.

Мы прожили здесь несколько дней, дожидаясь уехавшей к сыну хозяйки и слушая радио, с вводом войск началось глушение, но за городом было слышно. 25 августа вечером Голос Америки сообщил, что группа неизвестных пыталась устроить демонстрацию на Красной площади и была тут же арестована. Я не сомневался, что это демонстрация, о которой говорил Павел, но почему же "неизвестных", ведь многие диссиденты были хорошо известны, о каждом заявлении того же Литвинова Голос Америки оповещал подробно и многозначительно.

На следующее утро мы выехали в Москву. Я узнал, что в демонстрации участвовало семь человек, Лариса Богораз предупредила корреспондентов, что демонстрация начнется в одиннадцать, но все собрались у Лобного места только к двенадцати, когда корреспонденты разошлись, только один задержался и увидел, как на другом конце площади группа людей развернула плакаты и тут же была смята милицией и агентами в штатском. Агенты изображали возмущенную толпу, на суде большинство оказалось служащими одного и того же подразделения внутренних войск. Отпустили только Горбаневскую, у которой было двое маленьких детей, она рассказала, что на них бросились с криком: "Это все жиды, бей их!" Плакаты были по-чешски и по-русски, один со старым лозунгом: "За нашу и вашу свободу!" У Лобного места было еще несколько человек, шедших на демонстрацию, но они не решились подойти, Петр Якир уверял, что был задержан в метро – Павел Литвинов позднее говорил мне, что это неправда, что Якир

просто испугался. Через несколько минут после того, как арестованных увезли, из Кремля выехала чехословацкая делегация во главе с Дубчеком.

Мне казалось тогда, что демонстрация была ошибкой – во всяком случае тактической. Я считал, что если Движение сосредоточится на внутренних вопросах, то сможет найти все более широкую поддержку, властям все труднее будет представлять нас в виде кучки отщепенцев. Но если выступить в защиту Чехословакии, то это останется непонятым, а власти арестуют всех демонстрантов и лишат движение руководителей и активных участников, что сможет на несколько лет привести к его распаду. Помню, как мы спорили об этом с Петром Григренко – он вместе с Виктором Красиным был в Крыму во время демонстрации, иначе одним из первых появился бы на Красной площади, размахивая палкой.

Думаю теперь, что я был неправ. Было бы очень печально, если бы из самой России не раздался этот слабый и отчаянный крик протеста. Исторически было необходимо – и это важнее тактических соображений, – чтоб было сказано "нет" советскому империализму; быть может, в конечном счете решительное "нет" семи человек на Лобном месте окажется весомее, чем равнодушное "да" семидесяти миллионов на "собраниях трудящихся".

Я хотел немедленно сообщить имена и подробности корреспондентам, но все просили отложить встречу на несколько дней в связи с чехословацко-советскими переговорами. Говорить же по телефону о том, что произошло, для нас в то время казалось еще невозможным. Тогда я решил прямо ехать к корреспонденту "Нью-Йорк Таймс" Андерсону. В воротах его дома постоянно дежурили один или двое милиционеров, а "лица в штатском" прогуливались невдалеке. Я сказал Гюзель, чтоб она оделась как можно лучше, может быть, ее примут за иностранку. Меня всегда угнетала унизительность процедуры посещения иностранцев в Москве, особенно когда они просили говорить по-английски при входе, чтобы милиционер не принял нас за русских. Часто я вступал с милицией в пререкания, доказывая, что я вправе ходить по своей стране, но сейчас было лучше пройти незаметно, и, по счастью, никто не задержал нас в воротах. Русская жена Андерсона была потрясена всем: вводом войск, привозом Дубчека на переговоры в наручниках, пятиминутной демонстрацией. "Ну зачем они вышли с плакатами, – говорила она, – пришли бы с цветами, чтоб поднести чехам!"

На следующий день у Горбаневской мы составили письмо в европейские и американские газеты, где она рассказала о демонстрации. Мы писали от руки, она подписала несколько пустых листов, с тем, чтобы дома я перепечатал письмо на машинке, и вечером я отвез его Андерсону.

После этого мы вернулись в Акулово, купили дом и счастливо прожили в нем две недели. Старик-печник сложил нам печь, рассуждая, что силе можно противопоставить хитрость, и потому чехи обведут русских. Нас посетили председатель и парторг колхоза, и мы торжественно подали им заявление с просьбой разрешить нам проживание на территории их колхоза, такое же заявление я должен подать теперь французскому правительству, купив дом в Верхней Савойе. "Ваше дело – подать, наше – разобрать", – сказал председатель, запивая свои слова большим количеством выставленной нами водки, и дело было решено. На вопрос Гюзель, достаточно ли теперь платят в колхозе, парторг ответил, что платят хорошо, но купить на эти деньги нечего.

Мы стояли у колодца, когда откуда-то со стороны простирающегося за домом поля появился молодой человек, невысокий, черненький, подвижный – и шел, протягивая к нам руки, со словами: "Так вот они какие!" Он сказал, что приехал из Москвы в гости к дяде и, узнав, что в соседней деревне купили дом москвичи, решил познакомиться. На следующий день он зашел уже с уткой и бутылкой наливки, за ужином высказался если не прямо антисоветски, то довольно критически. Несмотря на его назойливость, мы от дальнейших встреч уклонились, но он и в Москве звонил нам и последний раз спросил, где должна открыться выставка Гюзель. Когда мы пришли на выставку, оказалось, что картины Гюзель сняты – впрочем, по указанию партийного начальства сняли картины многих художников. Постепенно мне стало ясно, как КГБ "вел" нас во время деревенской поездки. Если бы мы, помня о микрофоне, заранее не сказали ни слова, они не обнаружили бы сразу наш дом – но проследили бы в следующем году, да я и не считал тогда, что из дома нужно делать тайну.

Суд над демонстрантами проходил в центре Москвы, недалеко от Котельнической набережной, стояли солнечные октябрьские дни, в сквере напротив еще не опали листья и красиво желтели, в переулке толпились друзья подсудимых, иностранные корреспонденты и огромное количество стукачей – если смотреть со стороны, все это походило на народное гулянье в провинции. КГБ, правда, было задумано не "гулянье", а "народный гнев": на близлежащих фабриках отобрали рабочих и направили к суду; чтоб все происходило веселее и чтоб они не разбежались, в соседнем переулке, в подвале, были накрыты столы с водкой. Много пьяных толклось в толпе и бормотало: "Это все жиды! Фашисты! Давить их надо!" Пожилой багроволицый старшина у входа в суд громко повторял: жиды! жиды! – а рядом молоденький милиционер густо краснел, слушая это. Какой-то работяга, не молодой и уже сильно пьяный, подошел, покачиваясь, к жене итальянского корреспондента: "Заладили: Чехословакия! Чехословакия! А не хотите ли со мной побеседовать тет-а-тет об американской агрессии во

Вьетнаме?!" – и громко икнул в лицо растерявшейся итальянки. Впрочем, никак прямо они нас не задевали, но набросились на опердружинника-фотографа и даже вырвали у него аппарат, так что пришлось его отбивать своим у своих. Больше всего пьяные работяги раздражали милицию – их привыкли без разговора тащить в отделение, а тут оказались как бы в роли союзников. "А я что могу поделать, они пьяные даже у станков работают", – отвечал на жалобы майор милиции.

Еще во время суда над Галансковым и Гинзбургом я обратил внимание на чернобородого главаря опердружинников, назвавшегося Александровым. По своим кровожадным разговорам он казался мне молодым партийным фанатиком, но генерал Григоренко – в партийных делах гораздо более опытный – говорил, что это обычный карьерист. Разговоры между диссидентами и гебистами у судов сводились к взаимным оскорблениям; если даже диссиденты пытались кого-то переубедить, то говорили: вы не знаете того-то, не понимаете того-то, что тем казалось еще более обидно. Но меня как писателя интересовало, что это за тип людей, и он как будто рад был возможности разговора. Мы довольно долго гуляли вдвоем по набережной – под обеспокоенными взорами с обеих сторон. Когда мне приходилось иметь с молодыми гебистами подобие человеческого разговора, они всегда старались подчеркнуть, что ими тоже движут идейные соображения, я отвечал, что там, где убеждения не противоречат служебной карьере, трудно провести точную границу. Я спросил Александрова, понимает ли он, что он тоже рискует, что положение "наверху" не стабильно, кто-то может умереть или просто слететь, в один прекрасный день вторжение в Чехословакию объявят "ошибкой", суды суды – "перегибами", но тот, кто сидел в кабинетах, будет проводить и новую политику, а кто, как он, был вытолкнут "на публику" – будет козлом отпущения. Александров сказал, что понимает это, и ни на одном суде я его больше не видел.

Ни на одном суде потом не появлялся и "разгневанный народ" – или власти решили, что производит это скорее обратное впечатление, или же рассудили так: сегодня мы натравливаем работяг на них, завтра работяги бросятся на нас. Через несколько месяцев, во время суда над Ириной Белогородской, обвиненной в распространении обращения в защиту Марченко, публика состояла из томных молодых людей и девушек в дубленках, они никого не задирали, вежливо слушали речи диссидентов и иногда, вздыхая, говорили друг другу: "Скорее бы все это кончилось". Из-за особенностей советской юриспруденции ни один из авторов этого обращения не только не был привлечен к ответственности, но даже не был приглашен свидетелем, и уж конечно не был допущен в зал суда как зритель. Специально подобранная публика на политических процессах отвечает двум задачам: свести до минимума утечку "неконтролируемой информации" и психологически "додавить"

подсудимого, чтоб он не видел себе ниоткуда поддержки.

Поспешность ведения следствия и суда над демонстрантами указывала, что их не хотят слишком долго держать в тюрьме.

Несмотря на то, что все держались очень достойно и ни один вину не признал, Бабицкий, Богораз и Литвинов получили по четыре и пять лет ссылки,* Делоне и Дремлюга, как ранее судимые, – по три года лагерей, а Файнберг еще ранее был признан невменяемым и помещен в психбольницу, Горбаневская к суду не привлекалась. В самом тяжелом положении оказался Владимир Дремлюга – рабочий из Херсона, с большой энергией, долей авантюризма и развитым чувством справедливости. Он был отправлен на Кольский полуостров, оттуда переведен в Якутию, где получил второй срок, – и после шести лет ему предложили на выбор: или третий срок, или покаянное письмо в газету.

Глава 7.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ, СУРОВАЯ ЗИМА

Был первый час ночи, не глядя по сторонам, я шел пустыми и темными арбатскими переулками, и почти при выходе на Арбат меня остановил милиционер и спросил "документ". Несколько сбиваясь, он пояснил, что на Казанском вокзале украден как раз такой чемодан, как я несу.

– Я живу в двух шагах, давайте зайдем, и я дам вам паспорт.

– Ну, вдруг там ловушка, – сказал милиционер.

На углу "случайно" стояла машина, шофер ковырялся в моторе, около маячила еще одна фигура.

– Довезешь нас до отделения? – спросил милиционер.

– Ну что ж, – как бы нехотя ответил шофер.

В том же самом 6-ом отделении без всяких споров я раскрыл свой потрепанный чемодачик и показал дежурному машинку и пачку бумаг. Уже трижды я заезжал к моим друзьям Рубиным за машинкой и частью документов для "Процесса четырех", но у них велась в это время обработка записей на процессе демонстрантов, толпились диссиденты, а у дома филеры, и только на третий раз, не заметив ранее слежки, я взял нужные бумаги. Дежурный потянулся за ними – я их ему не дал, сказав, что это мои личные бумаги, не стоило, однако, большого труда их у меня вырвать. Дежурный несколько минут листал их, а меня усадили на скамью рядом с воришкой, задержанным за

---

* Судом, чтоб не укорачивать ссылку.

кражу телевизора.

— Вот что творят, — обращался он ко мне за сочувствием, — я ж этот телевизор не крал, а просто взял посмотреть.

— Ваши бумаги такого рода, что мы их касаться не будем, а передадим сотрудникам Комитета государственной безопасности! — торжественно сказал дежурный, просунув из-за барьера лицо в окошко. Похититель телевизора отпрянул, и почти тут же, как будто они ждали этих слов за дверью, появились два человека в штатском, взяли бумаги и, ни слова не говоря, прошли вглубь.

Через час меня провели в маленький кабинет на втором этаже. Понять было не трудно, что все материалы предназначались для сборника. "Неужели вот так просто можно получить семь лет?" — подумал я, вспомнив сборник Галанскова. Один следователь был длинный, по имени Василий Иванович или Иван Васильевич, другой назвал себя: капитан Смелов, или Седов, дежурный следователь. "Вам тридцать лет, — сказал он, — мне сорок пять, люди примерно одного возраста, зачем же нам хитрить друг с другом". Оба были гебистами старой закваски, потом появилось двое помоложе, один, в модном шарфике, стал листать бумаги не пальцами, а пластмассовой ручкой, чтобы не оставить отпечатков, Василий же Иванович, напротив, с вызовом хватал бумажки всей пятерней, показывая и ему, и мне, что они, старики, без всяких там новомодных затей сумеют разобраться в деле — я бы назвал это конфликтом отцов и детей.

Разговор был такой: где работаете? так вы не в штате? а как бы в АПН ваши товарищи отнеслись к этим бумажкам? зачем вам они? кто дал? куда несли? с целью хранения и распространения? Я отвечал, что взял у знакомых, имени которых называть не буду, хотел из любопытства посмотреть, а потом уничтожить, так что никакого хранения и распространения нет.

— А кто ж вам все-таки дал? Придется сказать.

— Придется, если вы меня за ноги повесите и будете пытать.

— Ну, мы теперь такими вещами не занимаемся.

— Тогда не придется.

— Подписи, правда, нет тут вашей, под этими пасквилями, но я бы такие бумажки и в руки взять побрезговал, — сказал Седов-Смелов. — Вы, вероятно, славе Галанскова и Гинзбурга позавидовали, а я их видел много раз, ну что, обыкновенные люди.

Добровольского он, вероятно, счел необыкновенным, во всяком случае не упомянул его. "Желание прославиться, обратить на себя внимание, стать известным" — это постоянные объяснения действий диссидентов со стороны властей, думаю, во все времена и во всех странах. Я потом на это стал спокойно отвечать: "Да, известность не повредит".

Молодые говорили, что они из угрозыска: украдено как раз в эту

ночь необычайно много пишущих машинок; оба, однако, были из райотдела КГБ, а старики из Московского управления – они так и сказали. Под утро самый молодой остался охранять меня, я заметил на столе рапорт милиционера: "задержан гр-н Амальрик с антисоветской литературой".

– Зачем же сразу так, с "антисоветской", уж написали бы полегче, с "клеветнической".

– Народ неопытный, погорячились, – сказал мой охранник, он делал вид, что вызвали его только потому, что он живет рядом. Становилось между тем ясно, что у наших "славных органов" произошла некоторая накладка. Указание было дано изъять записи последнего процесса, и думали, что я иду с ними, а у меня оказались уже распубликованные письма. Поэтому не совсем ясно понимали, что со мной делать, ждали инструкций, и утром я был отпущен, к радости не спавшей всю ночь Гюзель.

На следующий день, однако, меня снова привели в то же отделение – сам я ни по каким повесткам уже не ходил, Досужев и Денисов, выдававший себя за сотрудника горотдела милиции, долго размазывали вчерашнее происшествие и старались что-то выпытать, а после мне было сделано формальное предупреждение о трудоустройстве в течение месяца. Первое предупреждение сделал сразу же после нашего приезда из Акулова бывший участковый инспектор капитан Наместников, толстый и глупый, который так и не понял, что же происходит Он только что кончил заочно юридический факультет, стал заместителем начальника отделения, сидел в отдельном кабинете и был очень рад мне как свидетелю его славы. Поэтому он забыл пригласить понятых, и без моей подписи предупреждение оказалось недействительным. Два стажера КГБ вызвались подписать его задним числом, милиция на этот подлог не пошла, но на этот раз понятых пригласили. Не найди я в течение месяца работы, я мог бы – после еще одного предупреждения – быть сослан или посажен на два года. На вопрос о бумагах и машинке, Денисов и Досужев ответили, что ничего не знают. Задержавшие меня гебисты, однако, сделали просчет: не привыкнув как оперативники соблюдать формальности или не имея юридической подготовки, они никаким протоколом их изъятие не оформили. Я сразу же подал в городскую прокуратуру жалобу на незаконное задержание и хищение у меня машинки и бумаг. Встретили меня там неприязненно, дело, однако, пошло – и 30 октября Досужев мне вернул и машинку, и бумаги, среди них затерялась бумажка, исписанная знакомым мне почерком "заявителя" – сделанная Денисовым расшифровка неясных мест. Он жаловался потом в милиции, что их сдерживает начальство, не то они уж бы мне срок вкатали.

В прокуратуре какая-то опустившаяся баба допросила меня о моем задержании, и я подумал: "Уж тебя-то, милочка, я обведу вокруг

пальца". Не тут-то было, она так ловко записывала мои показания, ничего явно не искажая, но делая нужный ей акцент, что я понял: нужно быть осторожным с людьми, имеющими опыт следовательской работы, какими бы идиотами они не казались. Дело тянулось долго, ссылались, что кто-то "заболел", в конце концов я получил примерно такой ответ: машинку и бумаги вам вернули, задержаны вы были для проверки документов – радуйтесь, что все так хорошо кончилось.

Работая над "Процессом четырех", я пользовался разными машинками, у одной даже перелил шрифт, чтобы КГБ не мог уличить меня. При задержании я пояснил, что нес машинку, намереваясь ее купить, а свою продать – и поэтому наутро отнес свою в комиссионный магазин. С портативными машинками трудно в Москве, – но даже через две недели она все еще не была продана: ее-де хочет купить "одно солидное государственное учреждение", но денег не переводит.

– Видно, недостаточно солидное, раз у него нет денег, – сказал я, – В таком случае давайте машинку назад.

Директор магазина отказался. Я пригрозил, что буду сидеть у него в кабинете, пока мне или деньги не заплатят или машинку не отдадут. Директору не улыбалось ни иметь свидетеля его коммерческих переговоров, ни затевать скандал, так что машинку мне возвратили, да и "солидное учреждение" не осталось в накладе, потом изъяв ее у меня без всяких денег.

Вскоре "Процесс четырех" я благополучно переслал в Голландию, а Василия Ивановича имел удовольствие видеть еще раз – на кассации дела демонстрантов, это было лишним подтверждением, что он занимался ими, а не Галансковым и Гинзбургом. Я в коридоре суда разговаривал с французским корреспондентом и вдруг смотрю – идет он.

– Василий Иванович?

– Да, Василий Иванович.

– Сотрудник КГБ?

– Да, сотрудник КГБ, – все это с нарастающим напряжением.

– Ну ладно, идите пока, – сказал я, махнув рукой, и с перекошенным лицом он удалился, я просто хотел немножко поиздеваться над ним. Когда суд закончился и стала выходить публика, я содрогнулся: ни до ни после я не видел такого сборища омерзительных лиц, у каждого был какой-то неприятный физический недостаток или явно написанный порок – не знаю, как уж их здесь всех таких собрали, мне приходилось видеть и благообразных гебистов. Суд, как и следовало ожидать, утвердил приговоры.

В другой раз мы пришли в Верховный суд с Генри Каммом, корреспондентом "Нью-Йорк Таймс" на кассацию Иры Белогородской. Нас посылали из комнаты в комнату, пока в последней не сказали, что суд полчаса назад кончился. Все убыстряя шаги, мы пробегали за

коридором коридор, не в силах найти выхода, бедный Генри, не говорящий ни слова по-русски, думал, что он уже не выйдет отсюда.

– Что, ребята, заблудились? – дружелюбно спросил нас пожилой старшина, распахнул ничем не приметную дверь – и мы оказались на улице.

С машинкой я победил, борьба против ссылки была сложней. Я разослал письма в милицию, районную прокуратуру, Союз журналистов – с перечислением моих интервью для АПН, выдержками из определения Верховного суда по моему делу и т. д. Это дало дополнительную работу КГБ, но не могло меня спасти.

В Союзе журналистов двое функционеров говорили со мной, один сказал, что раз я, пусть внештатно, работаю для АПН, ссылать меня нет оснований, другой стоял на точке зрения, что сослать или посадить кого-то никогда не вредно. Почти тут же мне позвонил Борис Алексеев: он должен вернуть мне ранее заказанные статьи, ничего мне больше АПН не закажет.

Статьи о художниках он мне не вернул, однако, сказав, что они у "большого начальства". Я позвонил ему через год – он вешал трубку, а когда я приехал к нему в АПН, очень нервничая, сказал, что "выбросил такую дрянь в корзину", что "статей вообще не брал" и, наконец, что "имел большие неприятности" и потому не хочет ни видеть меня, ни слышать.

– Неужели и с моей статьей так получится? – испуганно лепетала журналистка, только что принесшая статью о балете.

– Гони в шею этого клеветника! – кричал из-за стены начальник отдела, некогда хваливший меня за "тонкость".

– Клеветник! Пиши доносы на советскую власть! Печатайся в Голландии! – взвинчивал себя Алексеев.

– Доносов я как раз не пишу, – сказал я и, обругав их всех напоследок, ушел – чтобы тут же написать донос на Алексеева в правление АПН. Ни ответа, ни своих статей я не получил.*

С августа было ясно, что КГБ раскрыл мою роль "офицера связи", к этому добавлялась наша демонстрация: не заводя политического дела, КГБ решил сослать меня как "тунеядца", для этого лишить работы в АПН и не дать устроиться не другую, достаточно было проследить, куда я иду устраиваться и позвонить в отдел кадров. Гебисты повторяли старый прием, но я за три года кое-чему научился. Слежку за домом устанавливали с восьми утра, но я заметил объявление, что нашему почтовому отделению требуются разносчики писем и газет с

---

*КГБ, впрочем, нашел эти статьи невинными – и после суда надо мной следователь возвратил изъятые копии Гюзель. Статьи о художниках были опубликованы в "Континенте" № 10, а о коллекционерах в "Ковчеге" № 2.

6-ти часов утра. К шести утра я туда отправился – и был с радостью принят, не много было желающих работать за 23 рубля в месяц. Быстро разнося газеты, я до восьми уже возвращался домой, так что КГБ пребывал в приятной уверенности, что я нигде не работаю.

Впрочем, первый месяц считался испытательным сроком и я мог быть без труда уволен, нужно было скрывать работу от милиции. Наместников сделал мне последнее предупреждение: я, так сказать, "подловил" его, он затем получил от прокуратуры мягкое, но все же порицание за предупреждение работающему, и с горечью сказал Денисову: "Я для КГБ старался, а в результате схватил замечание!" Все же я не мог быть окончательно оформлен, пока не представлю справку с прежней работы. Справку в АПН выдать мне отказались, я прошел в кабинет главного бухгалтера – охранникам там я так примелькался, что они меня пропустили – и повторил свой прием: не уйду до тех пор, пока не дадут справку. Инстинктивный страх перед скандалом заставил бухгалтера мне ее выдать, он приписал, что она "не действительна для получения пенсии", но на пенсию мне было наплевать: отдел кадров райуправления связи сделал мне, наконец, запись в трудовой книжке.

Сразу же я послал районному прокурору жалобу на предупреждение милиции и даже пошел к нему. Мой старый знакомый Фетисов, подписавший в 1965 году ордер на мой арест, или несколько сник за три года, или я, напротив, воспарил, но теперь мне в нем что-то жалкое почудилось.

– Что нужно? – спросил он, насупившись и глядя в стол.

– У меня три вопроса в связи с моими жалобами, – начал я, раскрывая папочку с копиями многочисленных жалоб. Вид папочки подействовал на него как красная тряпка на быка.

– Работать надо, а не жалобы писать! – гаркнул он, взглянув на меня с ненавистью.

– Чего ж горло драть! – ответил я. – Вы меня выслали, видите – я вернулся, сижу перед вами живой и невредимый, а вас, если так будете надуваться и наливаться кровью, скоро кондрашка хватит!

Прокурор вскочил и начал кричать что-то нечленораздельное, так что я ушел очень довольный собой и в надежде, что его действительно стукнет кондрашка. На нее одну не надеясь, я тут же написал жалобу в райком КПСС, что прокурор кричит, брызжет слюной, топает ногами, все это выглядит комично, и тем самым он "роняет достоинство коммуниста и прокурора", но, учитывая его бывшие заслуги, прошу его не наказывать, а просто перевести на "заслуженный отдых" – я надеялся, что последний пассаж его особенно разозлит.

Черз два месяца меня пригласила секретарь райкома Татьяна Щекин-Кротова, розговаривала со мной любезно, я бы сказал с долей любопытства, видно было, что для нее прокурор – мелкая сошка, в

приемной я заметил начальников, сидящих с видом провинившихся школьников. Она сказала, что прокурор получит "замечание", но, искушенная в бюрократической работе, думала, что я хочу свести с ним счеты за другие дела, ибо сама по себе "брань на вороту не виснет". Я рассказал, как защищался от ссылки, и заключил, что КГБ не сможет эффективно работать ни в условиях правопорядка, ни в условиях беспорядка, ибо они теряются при первом же сопротивлении им. Я и сейчас думаю, что в случае массовых волнений и мятежей КГБ первым выйдет из строя, хотя к таким волнениям подготовились: в 1968 году была разработана инструкция о переходе при беспорядках всей власти в районе к "тройке" – первому секретарю райкома, начальнику райотдела КГБ и военкому; в селах же всем председателям колхозов выдали оружие и установили на дому телефоны.

– Что же вы делали, когда узнали, что у вас установлен микрофон? – спросила Щекин-Кротова, не исключаю, что он и у нее установлен.

– Что ж я мог делать, – ответил я. – Влезал на рояль и матерно ругался в трещину в потолке, пока мне это не надоело.

Капитан Денисов с полковником Добрером, разочарованном в своих заместителях Досужеве и Наместникове, побывали на почте, но уволить меня было уже не так просто, кроме того, понадобилось бы заводить новое дело. На почте, более или менее понимая происходящее, относились ко мне хорошо, но я и работал хорошо, пока не увидел, что опасность миновала – и уволился в марте 1969 года. За эти месяцы мое представление, как функционирует "аппарат" расширилось, я понял, что возможности КГБ широки, но не безграничны, и если понимать работу бюрократического механизма, можно подсыпать ему песок в колеса. Перемещение точки зрения с "мистической" на "функциональную" сторону репрессивной власти, показало как возможность борьбы, так и неизбежность тактических уловок. Я понимал также, что получил только передышку.

10 ноября 1968 года умер Алексей Евграфович Костерин. Помню короткое прощанье в больничном морге и шоферов, приговаривающих: "Скорей! Скорей!" – они должны были везти в крематорий. Под это "скорей, скорей" проходит весь обряд советских похорон. Рядом лежал молодой человек, по виду рабочий, в окружении старух в черном – с ними уже совсем не церемонились, и я слышал, как корреспондент "Рейтера" сказал кому-то: "Вот что значит умереть по-русски". Неожиданно Союз писателей, исключивший Костерина за полмесяца до смерти, арендовал автобусы для похорон, тут же суетился распорядитель. Гроб был поставлен в первый автобус, туда же сели родственники и близкие друзья, а мы все во второй, и в середине дороги Красин обнаружил, что нас везут в другую сторону. Поднялся крик, начали стучать в окна – и шофер, испугавшись, повернул к

крематорию; ССП счет за автобусы оплатить отказался.

В мрачном зале крематория, навсегда связанном у меня с похоронами матери, тоже было нечто вроде очереди – не скажу "живой очереди", потому что речь шла все-таки о покойниках. Костерина положили справа при входе, за колоннами, а в центре зала еще шла чья-то панихида, и слышно было, как коллега покойного все время повторял "закончил, закончил": тогда-то закончил школу, тогда-то службу в армии, тогда-то институт, тогда-то докторскую диссертацию – и наконец закончил свою славную жизнь. На этом и сам оратор закончил – и наступила наша очередь.

Большой зал был полон: не только собрались московские диссиденты и родственники Костерина, но и писатели, крымские татары, чечены, ингуши, просто сочувствующие, а также иностранные корреспонденты и гебисты – из расчета десять на одного корреспондента. Произошло некоторое замешательство: наши девушки стали раздавать черно-красные ленточки на булавках, обходя стукачей, так что овцы были явно отделены от козлищ. Все теперь смотрели не в лицо друг другу, а на грудь – приколота ли траурная ленточка.

Органист – лысый еврей с усталым и безразличным лицом – заиграл Баха, и когда он кончил, на трибуну поднялся Петр Григорьевич. "Товарищи!" – сказал он, и в этот момент микрофон отключили, но у Григоренко был достаточно громкий, генеральский голос. Он начал с теплых личных слов о Костерине, как много Костерин для него значил, как он из бунтаря превратил его в борца, и заговорил о его борьбе: "Разрушение бюрократической машины – это прежде всего революция в умах, в сознании людей... Важнейшая задача сегодняшнего дня – бескомпромиссная борьба против тоталитаризма, скрывающегося под маской так называемой "социалистической демократии". Этому он и отдавал все свои силы!"

Гюзель смотрела на музыканта и видела, как меняется его лицо. Сначал он, видимо, просто не слушал, потом лицо его стало вытягиваться, челюсть отвисла, взгляд выражал величайшее недоумение. Ничего подобного он не слышал за всю свою, вероятно, долгую работу в крематории. Впрочем, никто ничего подобного не слышал несколько десятилетий: в Москве совершенно открыто при стечении нескольких сот человек была произнесена политическая речь. Гебисты были в растерянности: броситься ли им, опрокидывая гроб, на возвышение и стащить Петра Григорьевича – или же слушать до конца. "Ваше время истекло!" – дважды прерывал его голос, на этот раз через микрофон, но Григоренко продолжал говорить и закончил: "Не спи, Алешка! Вою́й, Алешка Костерин! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя! Свобода будет! Демократия будет!"

5 декабря я принял участие в демонстрации на Пушкинской площади – с 1965 года не было случая, чтоб не пришло несколько

человек. В 1968 году нас было не более пятнадцати, мы молча сняли шапки, чтобы почтить память всех погибших в лагерях – вокруг нас кольцом стояло человек тридцать гебистов в штатском – несколько милиционеров и три корреспондента. Людмила Алексеева рассказывала мне, что в 1976 году – уже после нашего отъезда – площадь была заполнена народом так, что остановилось движение, перед памятником стояла цепь солдат, а верхом на Пушкине сидел гебист и еле успевал вертеть в разные стороны японской камерой.

Смерть Костерина была тяжелым ударом для Григоренко; когда он сказал мне, что Алексей Евграфович умер, я слышал слезы в его голосе. Они совсем недавно открыли друг друга: найти единомышленника и друга для того, чтоб тут же его потерять, – достаточно тяжело.

Большинство участников Движения довольно кисло смотрели на коммунизм и марксизм, и единственный, с кем Петр Григорьевич по всем вопросам находил общий язык, был Иван Яхимович. Григоренко даже имел его доверенность на подпись: когда Ян Палах сжег себя, мы написали обращение, которое он за себя и Яхимовича подписал. Самосожжение Яна Палаха потрясло меня больше, чем ввод войск – я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским. Я все-таки был неправ в разговоре с Павлом: чехи оказали сопротивление.

Яхимович был арестован в марте 1969 года. Он стал известен год назад благодаря письму Суслову о необходимости свободного распространения информации и отказа от политических процессов, за несколько лет до этого о нем была большая статья в "Комсомольской правде" как о замечательном председателе колхоза в Латвии. У меня не было сомнений в искренности его веры в коммунизм, но она носила крайне аффектированный характер, он и говорил так: любовь к народу, идеи равенства, верность идеалам революции – если мы не вернемся к этим идеалам, новая революция неизбежна. "Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока в это дело не впутались рабочие и крестьяне", – писал он Суслову, и я представляю, с каким выражением читал это – если не Суслов, то его референт.

– Знаете, как произойдет революция, – сказал я Яхимовичу. – Вы, конечно, будете сидеть к этому времени в тюрьме. В один прекрасный день в Вашем же Краславском районе народ отправится в магазин за колбасой – и обнаружит, что колбасы нет. И хотя неоднократно не бывало колбасы, а некоторые даже не представляют себе, что это такое, но тут как бы зубчик сорвется в механизме, и он пойдет на раскрутку – народ заволнуется, раздадутся крики: "Где колбаса?! Жрать нечего!" Начнут бить стекла, двинутся к райкому, испуганная власть разбежится – и в упоении успеха покажется слишком незначительным требовать колбасу, а не свободу, равенство и братство! Народ двинется к

тюрьме и с криками "Свободу Яхимовичу!" освободит Вас — и Вы с балкона произнесете к народу речь о народе, после чего народ разбредется по домам, чтобы наутро обнаружить, что в магазинах нет уже не только колбасы, но и хлеба.

Во время следствия — а оно началось еще до ареста Яхимовича — он обращался с революционными речами к следователю и даже говорил, что надеется убедить его. Был он признан невменяемым, скоро после этого "покаялся", был освобожден и, как Дубчек, получил работу лесника, не знаю, какие показания он давал о своих прежних друзьях.

Степень сопротивляемости на следствии и в заключении зависит от личных качеств человека, но не от его политических взглядов, и хотя марксизм скорее оправдывает отречение как тактический прием, можно назвать несломившихся в лагере марксистов. Человек сломавшийся, впрочем, в любой философии найдет оправдание: если он христианин, так не согрешишь — не покаешься — не спасешься; если либерал-гуманист, так спасая себя, спасал человеческую личность — а это самое ценное. В общем же я вывел то заключение, что чем более человек рвется к борьбе и рвет на себе рубашку, тем менее надежен он будет. Возможно, есть и обратные примеры.

Течение, к которому принадлежали Яхимович, Григоренко и другие оппозиционные марксисты, имело своим аналогом восточноевропейский ревизионизм, но я думаю, что они сами с таким определением не согласились бы, считая, что это Сталин ревизовал марксизм-ленинизм, а они хотят возвратиться к "истинному ленинизму". В этом движении был заложен некий парадокс. Большевизм и в теории, и на практике был шире ленинизма — только постепенно ленинизм победил внутри большевизма и получил логическое развитие в сталинизме. И хотя наши "истинные ленинисты" при каждом удобном и неудобном случае клялись Лениным — и вполне искренне, — в действительности они пытались возродить неленинское течение в большевизме, более демократическое, чем нечаевско-ткачевский ленинизм. Однако насколько вообще в истории возможно движение назад и восстановление того, что историей было отвергнуто, — увы, история часто отвергает лучшее ради худшего? Даже если такое возражение возможно, то только после анализа — почему Ленин победил в большевизме. Поскольку этот вопрос не поднимается, "истинный ленинизм" остается бесплоден.

Можно говорить о большевизме и меньшевизме не только как о политических доктринах, но и как о политических темпераментах. С этой точки зрения, Валерий Чалидзе и Павел Литвинов, с их правовым доктринерством, и Рой и Жорес Медведевы, с их марксистским доктринерством, — типичные меньшевики, а Александр Солженицын и Петр Григоренко — большевики, боюсь, что и я скорее попадаю в их

компанию, поскольку при всем своем либерализме не лишен пугачевских замашек.

Григоренко предложил организовать комитет в защиту Яхимовича. Я сначала поддержал его, надеясь, что это будет первым шагом для преодоления психологического барьера, о котором писал уже, – страха перед самим словом "организация". Красин и Якир, однако, сильно сомневались, нужно ли создавать комитет, исходя из частного случая, уж если, мол, начинать, то с Комитета защиты прав человека, и я согласился с ними. Некоторую оппозицию идея Григоренко встретила и потому, что он предложил комитет в защиту коммуниста – как же так, в защиту Марченко не создавали, в защиту Литвинова не создавали, а посадили коммуниста – и сразу комитет. Однако упрек это был неверен, Григоренко как раз после ареста Марченко писал нам из Крыма, что необходимо не ограничиться заявлением, но создать комитет в его защиту. На этот раз он составил уже список возможных членов и проект обращения – и созвал совещание у себя дома. Просматривая список, Красин, сам полуеврей, насмешливо сказал: "Это не комитет, а жидовский кагал во главе с русским генералом!" Мнения разделились, большинство считало: будет комитет – так будет, а не будет – так не будет. Красину, Якиру и мне удалось, однако, убедить всех ограничиться заявлением в защиту Яхимовича, Петр Григорьевич надолго остался на нас обижен за это.

На совещание пригласили Бориса Цукермана, чтоб он объяснил юридически сторону создания комитета – чем больше он объяснял, тем менее понятно все становилось. Физик по образованию, он был, наряду с Валерием Чалидзе и Александром Есениным-Вольпиным, одним из трех экспертов Движения в юридических вопросах. Выраженный тип тихого упрямца, который говорит медленно и занудливо, но если вы его перебьете, продолжит на том же слове, он затевал и вел множество кляузных дел против разных государственных организаций. Когда стали применять выталкивание за границу как прием борьбы с диссидентами, Чалидзе, Вольпина и Цукермана вытолкнули одними из первых – лучшее признание важности их деятельности. "Нам Цукерман много палок в колеса ставил", – говорил нам потом майор КГБ Пустяков, специалист по диссидентам. По Цукерману, выходило, что самое легальное – это создание профсоюза; оставалось неясным, по какому профессиональному признаку можем мы его создавать. Идея оказалась плодотворной только в 1978 году, когда открытое недовольство среди рабочих привело к созданию первого независимого профсоюза по образцу диссидентских групп.

Я предложил иной план. Как своего рода номиналист, я считаю, что для того, чтобы явление существовало, его надо назвать. Я предложил объявить о создании Советского Демократического Движения, сокращенно СДД, изложить кратко его основные цели и методы и

предложить, чтобы каждый, кто их разделяет, считал себя участником движения. Я полагал, что если такое обращение будет широко распространено, оно позволит многим людям – сейчас изолированным – идентифицировать себя с Движением и создаст для него широкую базу. Я даже составил проект обращения на одном листке. Красин уклончиво сказал, что над ним можно подумать, но реакция остальных, особенно Григоренко, была отрицательная: аббревиатура СДД уже напоминала политическую партию, текст содержал претензию на идеологию, а как я говорил, большинство хотело оставаться "правозащитным движением". В сущности, и цели СДД были правозащитными, но понятыми более широко, чем просто защита того, кто сел в тюрьму за то, что защищал севшего до него, хождение по сужающемуся кругу замыкало Движение на себя.

Вопрос решился летом 1969 года, когда пятнадцать человек организовали инициативную группу по защите прав человека в СССР и обратились с письмом в ООН. При создании Группы меня не было в Москве, была она в значительной степени детищем Якира и Красина – Литвинов позднее говорил мне, что некоторых включили в группу, даже не спрашивая их согласия, ни от кого из членов Группы я таких жалоб не слышал. Как я предвидел, они не были арестованы сразу и власти не организовали процесса-монстра: они делали вид, что игнорируют Группу, но постепенно десять из пятнадцати ее членов были или осуждены, или помещены в психушки, а сейчас почти все в эмиграции. Но психологический барьер был преодолен – и затем в рамках Движения создавались группы и комитеты.

Мы шли по Новоарбатскому мосту с Анатолием Шубом, корреспондентом "Вашингтон Пост", Москва-река была еще покрыта льдом, но видно было, что вот-вот начнется весна. Я просил написать статью о Яхимовиче, он сказал, что напишет, но вообще все это немножко неудачно, он ждет больших перемен в советской политике – и не хотел бы быть последним высланным из СССР журналистом. Увы, он не был последним, тогда, однако, он говорил, что экономические трудности, с одной стороны, и необходимость договоренности с Западом, с другой, заставят прагматическую часть советского руководства пойти на либерализацию. Уже велись переговоры с Эгоном Барром о германском договоре – и казалось, что СССР должен будет хотя бы слегка измениться, чтобы найти общий язык с Западом. Шуб, как американец, слишком верил в разум, тогда как советская система в своей основе безумна; она, как параноик, действует логично, но исходит из безумной посылки.

Я понимал, что Шуб осведомлен больше меня, но слушал его скептически: если и были "наверху" хотящие реформ прагматики, не они задавали тон, внутренняя обстановка говорила об обратном. Шуб разочаровался очень быстро, придя к выводу, что "Россия поворачивает

стрелки часов назад", но его книга появилась в момент нетерпеливого ожидания разрядки, и потому замечена не была. Даже я в 1972 году надеялся на либерализацию, хотя мне — после того, как меня пятнадцать лет пинали ногами — следовало бы лучше знать свою власть. Нет, этот режим не стал приспосабливаться к Западу, он заставил Запад приспосабливаться к себе, а свои экономические трудности смягчил с помощью льготных западных кредитов, технологии и зерна — зачем же нужны были реформы? Если применению силы, так недвусмысленно показанной в Чехословакии, СССР обязан приобретению такой приятной вещи, как разрядка, зачем же отказываться от показа силы, по блатной поговорке: бей своих, чтоб чужие боялись.

Я считал, что из-за косности руководства СССР рано или поздно переживет такой же кризис, как и Российская империя в 1904-18 годах, причем роль Японии и Германии сейчас сыграет Китай. Еще в 1967 году я в осторожной форме написал в две советские газеты и даже получил ответы — бессодержательные, но вежливые.* Теперь я был рад развивать эти идеи перед Шубом, я сказал ему, что думаю написать книгу "Просуществует ли СССР до 1980 года?" Я взял этот год как ближайшую круглую дату, к тому же мне было только тридцать, а для молодого человека десять лет кажутся огромным сроком.

Каково же было мое удивление, когда Шуб принес мне "Интернешнл Херальд Трибюн" от 31 марта со своей статьей "Доживет ли Советский Союз до 1980 года?", которая начиналась словами, что его "русский друг" собирается писать такую книгу. После этого мне не оставалось ничего другого, как сесть и писать. "Зачем же 1980? Тогда уж лучше 1984", — посоветовал мне Виталий Рубин, имея в виду роман Орвела "1984". Роман этот я прочел только пять лет спустя, в магаданской ссылке, поражен был приницательностью Орвелла и обрадован, что взял дату из такой замечательной книги. Но добавил я режиму четыре года сроку только в надежде, что мне четыре года сбросят, когда будут судить: не по ст. 70 УК с максимальным сроком семь лет, а по ст. 190[1] с максимальным сроком три года. Я понимал, что меня арестуют за книги, но рано или поздно арестуют и без этого — и тем более нужно сделать все, что еще успею.

Главное же наступал момент, когда я чувствовал необходимость

---

* "Китай начнет войну, — писал я, — с удара по гораздо более слабому противнику. Скорее всего, первый удар будет нанесен по одной или нескольким слаборазвитым странам к югу от Китая, некогда входившим в сферу китайского влияния. Это будет своего рода пробным шаром, который позволит Китаю проверить реакцию великих держав..." Вторжение во Вьетнам в 1979 году подтверждает, пожалуй, сделанное двенадцать лет назад предсказание.

высказать все, что я думаю об этом отвратительном режиме. В частности, простую, но важную вещь: советская империя, при всей ее силе и бахвальстве, не вечна, другой же вопрос, как мы будем мерить отпущенные ей сроки. Я чувствовал себя мальчиком, который собирается крикнуть: "А король-то голый!"

Шубу в отделе печати МИД сказали, что его "русский друг" – это бутылка водки, с которой он беседовал, предварительно ее осушив. Но КГБ не стал рыться в мусорном ящике Шуба и поисках пустой бутылки, а решил искать "русского друга" иначе. В апреле мне позвонил Эннио Люкон, корреспондент французской газеты "Пари-Жур", сказал, что пишет книгу о московских художниках, и Борис Алексеев из АПН рекомендовал ему встретиться со мной. Я удивился, ведь Алексеев сказал, что КГБ запретил им иметь со мной дело, однако предложил Люкону приехать. Человек лет сорока, с рыскающими глазами, обильной жестикуляцией и торопливой речью, он предложил купить у меня материалы для книги, я ответил, что мы совместно могли бы заключить договор с его издательством.

– Да нет, давайте прямо со мной, – горячо убеждал меня г-н Люкон, – я дам вам много-много долларов – и все останется между нами.

Как раз этого я хотел бы избежать, и Люкон обещал запросить о договоре издательство и занести свои материалы о русской живописи. "Материалами" оказались фотографии скульптур Неизвестного, а главное самого г-на Люкона вместе с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, что, по его словам, должно было свидетельствовать о его порядочности. После этого, оставив в покое художников, он показал мне статью Шуба и спросил, читал ли я ее, знаком ли с Шубом и кто этот "русский друг"? Друг этот, конечно, нужен был Люкону, чтобы дать ему "много-много долларов" за будущую книгу. Я сказал, что, к своему глубокому сожалению, не знаю, кто это.

Тогда Люкон, обведя вокруг рукой, предложил купить все картины, которые у меня есть. Я ответил, что не могу продать все, но моя жена продает картины, и Люкон изъявил желание купить все картины жены. Я сказал, что будет лучше, если он купит только некоторые – он выбрал три и, не споря из-за цены, попросил упаковать их; после этого он спохватился, что у него нет с собой денег, он привезет их завтра. Он попросил меня выйти с ним – хочет показать свою машину; подводя меня к машине, Люкон несколько раз картинно тыкал в нее рукой, у меня при этом было ощущение, что за нами наблюдают и снимают нас.

На следующий день он не появился и еще неделю с лишним увиливал, пока я не сказал ему по телефону, чтоб он сегодня же вернул или деньги, или картины. Он ответил, что сегодня никак не может, потому что идет на прием в Итальянское посольство. Я пообещал, что сам приду туда с жалобой послу, и г-н Люкон принес картины. Я попросил его больше не приходить и не звонить.

Глава 8.

"АГЕНТ КГБ" ПРОТИВ АГЕНТА КГБ

Мы обедали с Гюзель, когда внезапно услышали по коридору топот множества ног, некий инстинкт сработал во мне – я вскочил и запер дверь, тотчас раздался громкий стук и одновременно дверь дернули.

– Откройте, вам повестка из домоуправления! – сказал голос.

– Просуньте под дверь, – ответил я.

За дверью пошептались, погрозили мне, несколько раз дернули ручку, но дверь, видимо, ломать не хотели, я услышал, как шаги удаляются. Гюзель вышла на разведку, а я начал жечь бумаги, которые не хотел бы видеть в руках следователей. Раздались громкие звонки и снова послышался топот ног.

– Говорят, что из прокуратуры с обыском, – сообщила Гюзель.

– Сколько их?

– Бессчетно, забит весь коридор.

– Пусть покажут ордер на обыск, – я хотел оттянуть время.

– Ордер есть, – ответила Гюзель из-за двери.

– Что у вас, пожар был?! – человек шесть ввалилось в комнату, пахло жженой бумагой, и летали черные хлопья.

– А что ж дверь ломать не стали? – спросил я в свою очередь. – Нет что ли уверенности прежней, как в тридцать седьмом году?

Трудно описать все унижение обыска. Я пережил их много: и личных, и общих, и в тюрьме, и в лагере, и на этапе, но самые мучительные – это у вас дома, вы чувствуете, нет никакого дома, ничего вашего. Впрочем, уже визит милиционеров, которые могут вытащить вас из кровати, дает это чувство – мы годами жили с сознанием, что в любой момент вас могут схватить, и сам дом растворится, как туман.

Как было сказано в протоколе, обыск проводился *"с целью отыскания и изъятия вещей, документов и ценностей, имеющих значение для дела"*. Следователь пояснил, что это дело Григоренко, но не ответил, арестован он сам или нет. Формально вел обыск старший следователь Московской прокуратуры Полянов, лет пятидесяти, весьма чиновного вида и, как кажется, к результатам обыска безразличный. Остальные себя не назвали и никаких документов не предъявили, один – постарше – указывал Полянову, что изымать. Хорошо внешне помню Полянова, этого – совершенно не помню.

Указаны в протоколе также были фамилии и адреса двух понятых – по закону, они должны быть приглашены со стороны, *"присутствовать при всех действиях следователя... и удостоверять факт, содержание и результат обыска"*. При политических делах – за редким

исключением – понятые это сотрудники КГБ. Виктор Красин рассказывал, как во время обыска у него следователь и понятые делали вид, что не знают друг друга, поехали потом обыскивать квартиру его матери – и, завидев знакомую машину на перекрестке, понятые обрадованно закричали: "Иван Иванович, наши едут!" Следователь только сокрушенно головой покачал: "Учишь их, учишь – а толку нет!"

Ничего, относящегося к Григоренко, у меня не было, изымали мои рукописи, изданные заграницей книги, пишущие машинки, чеки Внешторгбанка, которые Гюзель получила за картины – не зря у нас значит побывал ценитель живописи с предложнием купить "все картины". Полянов достал из стола пачку советских рублей, приготовленных для жизни в деревне, и спросил: "Сколько здесь?" "Считайте, – ответил я, но Полянов молча положил пачку на место. Впоследствии стали изымать все деньги – при аресте Гинзбурга в 1977 году его жене и двум маленьким детям оставили несколько копеек. Самое обидное было, что забрали начатую мной рукопись "Доживет ли СССР до 1984 ?" – не ради нее ли и обыск затевали?

Мы собирались в деревню: пол был заставлен ящиками с крупой и сахаром, банками с мясом, бутылями с подсолнечным маслом, мы запасались на полгода, потому что в деревне купить нечего, к этому добавился беспорядок обыска: переворачивали кровать, перебирали книги, приходили проститься друзья, для иностранцев вызвали чиновника из МИДа и еще гебистов в помощь, и так гебисты, гости, крупа, мука, мясо, книги, рукописи, люди, груди, опрокинутая мебель перемешались в нашей небольшой комнате, половину которой к тому же занимал рояль – тоже обысканный, так что понять ничего было уже невозможно, и я, когда какое-то мгновенье никто из гебистов не смотрел на меня, вытащил папку с рукописью "СССР до 1984?" и быстро сунул ее в уже просмотренные и отложенные ими за ненадобностью бумаги. Впоследствии я написал в предисловии, что "считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников КГБ и прокуратуры" за то, что они рукопись не изъяли, но мои насмешки вышли боком: некоторые на Западе приняли мою благодарность всерьез.

В разгар обыска пришли Джойс Шуб – очень напугавшаяся, Генри Камм с двенадцатилетней дочерью Алисон и Юра Мальцев с прочитанной им рукописью "Путешествия в Сибирь" – ее удалось спрятать по пути в коридоре. Гюзель, чтобы показать присутствие духа, даже затеяла чай для них – хотя потом, глядя на маленькую Алисон, расплакалась. Мы расселись и пили чай на глазах гебистов, те держались сдержанно. Поведение их на обысках, конечно, варьируется – в зависимости от их личных качеств и ситуации, но они пытаются держаться так, что ничего особенного не происходит, мы с вами делаем общее дело – вы обыскиваемые, мы обыскивающие, вроде партнеров в карточной игре, и в наших общих интересах без ссор и как можно

скорее эту работу закончить. Дело и шло без ссор, если не считать, что я накричал на г-на Буракова из МИДа, который предложил мне не стоять в дверях и пройти в комнату.

– Приглашайте меня в свою комнату! – разорался я. – Я здесь хозяин! Вы-то не из КГБ, чтоб здесь командовать!

Бураков молчал – до некоторой степени я сорвал на нем свою бессильную злость за унижение обыска. Постепенно у меня создалось впечатление, что я не буду арестован. Часам к десяти обыск кончился, иностранцы были отпущены еще раньше. Почти сразу же появились громкоголосые и возбужденные Якир и Красин, их крик и топот подействовали на Гюзель почти как обыск. "Это все не то, совсем не то", – говорила она мне тихо.

Генерал был арестован утром в Ташкенте – одновременно проведено несколько обысков в Москве, но дело его было для них только предлогом. Мы планировали сначала, что на процесс крымских татар в Ташкенте выеду я, с той же ролью "офицера связи", что и во время суда над Галансковым и Гинзбургом. Петр Григорьевич, однако, сам захотел ехать. Был он дисциплинированным участником Движения, может быть, как раз потому, что он был генерал: мы приносили ему воззвания на подпись, он читал, морщился, говорил, что совсем оно ему не нравится, но раз принято решение, чтоб он подписал, он, конечно, подписывает. В деле же с крымскими татарами, сколько мы не настаивали, чтоб он не ехал, он был неумолим: власти предупредили его, что он будет арестован в Ташкенте, и он не хотел уступать шантажу. Из Ташкента ему позвонили, что его друг срочно просит его вылететь – оказалось, никто из друзей не звонил. Суд откладывался, Петру Григорьевичу, тяжело заболевшему, взяли обратный билет в Москву – за день до вылета он был арестован.

КГБ заманил его в Ташкент, чтобы не судить в Москве: затем часто стали применять такую тактику. Григоренко провел несколько месяцев в подвале Ташкентского КГБ, был, как при Хрущеве, признан психически невменяемым – и до июня 1974 года пробыл сначала несколько лет в тюремной, а затем несколько месяцев в общей психбольницах. Я увидел его снова летом 1975 года – он сохранил свой здравый ум, но с трудом говорил, едва мог читать и почти не мог писать.

Обыск у нас был седьмого мая, а через день мы уехали в деревню – и провели там счастливо семь месяцев. Не могу сказать, что за это время КГБ забыл о нас – но временами мы забывали о КГБ, дача в России – это тоже форма эскапизма, вам кажется, что вы ушли не только от городской жизни, но и от советской власти. Главные заботы начались с ремонтом дома, эта прозаическая вещь сама по себе может быть темой для саги.

Вы не можете купить ничего. Цемент, кирпич, доски, кровельное

железо, трубы, стекло государство — единственный легальный торговец — частным лицам практически не продает. Но вы можете "достать": цемент — у рабочего, который увез машину цемента с завода и продает у себя дома; трубы — у слесарей, которые ремонтируют государственный водопровод, доски — у продавщицы лесосклада из колхозных запасов, получая от меня деньги, она сказала: "Сама тюрьмы не боюсь, детей жалко", — и пришлось на детей дать еще пятерку.

Цены тоже фантастичны. У бывшего председателя колхоза, он же бывший начальник лагеря, я купил одну доску за пять рублей, пока я на телеге вез ее, за мной бежал бывший заместитель бывшего председателя и кричал: "Доска-то колхозная", — в надежде, что я от испуга дам еще и ему на водку. Но за бутылку водки — для работяг "всеобщий эквивалент товаров" — мне трактором подтащили к дому три хлыста, еще за две бутылки распилили — за десять рублей я получил несколько кубометров досок! Если вы достаточно хорошо поймете механизм "доставания" можете "доставать" многое, но человеку нормальному заниматься этим тяжело.

Еще труднее обстоит с рабочими. Государственный подрядчик не будет строить или ремонтировать частный дом; хорошо, если поблизости есть государственная или колхозная стройка и рабочие согласятся "подработать" — но если ее нет? В нашем районе было всего два вольнонаемных плотника, им удавалось уклоняться от государственной службы, потому что один был старый и хромой, а другой молодой и дурной: во время призыва на военную службу он сорвал погоны с военкома, попал в лагерь на три года, но от армии освободился. "Вот у меня образования четыре класса, — сказал он мне гордо при первой встрече, — а давай поговорим о чем хочешь!" Ты вроде меня, голубчик, подумал я, я тоже без всякого образования говорю и пишу все, что в голову придет. Настроены плотники были антисоветски. "Все знаем, все понимаем, поделать ничего не можем", — говорил старший.

Плотники были завалены заказами и взялись работать у нас более из любопытства, пропадали они совершенно неожиданно — стоило кому-то выставить им водку. Гюзель пошла по ягоды с соседской девочкой, наклонилась над овражком, чтоб сорвать ягоду — а там лежит пьяный и сладко спит наш плотник. Они его с трудом с помощью знакомого шофера втащили в кузов машины и вместо ягод вывалили перед нашим домом на лужайке. Он еще несколько часов проспал — и, проснувшись, с веселыми песнями как ни в чем не бывало принялся строгать доски.

Здесь я наблюдал то же, что и в Сибири: пьянство — самую характерную форму народного эскапизма — и апатию, хотя уровень жизни возрос. Захожу в дом к трактористу: под новым большим телевизором гадит маленький поросенок, не приходит в голову, что можно хлев утеплить; рядом с поросенком дыра в полу.

— Что ж дыру не заделаешь? — спрашиваю я.

— А чего там, все равно через несколько лет в другую деревню переедем.

Воскресенье, я окапываю яблони в саду, подходит мужик и долго тупо смотрит на меня через забор.

— Делать нечего? Ты б пошел у себя в саду поработал.

— Да бабы там уже вскопали чего-то, — тоном, полным равнодушия.

Раза два привозил нам колхозный конюх сушняк на топку. В третий раз подъезжает пустой: "Не дашь ли три рубля задатку — завезу сушняк завтра." Даю ему три рубля — но, Боже, что я наделал! Конечно, ничего он нам больше не привозит — это еще не большая потеря, хотя сушняк нам бы пригодился. Конечно ж он не отдает три рубля — это потеря еще меньше. Но он распускает обо мне славу как о человеке, который так — за здорово живешь — дает три рубля. И вот к нам начинают заявляться мужики, прося, умоляя и требуя дать им три рубля, и многие уходят с угрозами — так как денег никому я уже больше не даю. Повадился к нам бывший секретарь райкома — он запил, когда его жена бросила, понизили его сначала до редактора местной газеты, а когда он до того пропился, что стал ходить в пальто сбежавшей от него жены, сунули в колхоз заместителем председателя — я "коллеге-журналисту" всегда стакан водки давал.

Осенью нас обокрал пастух, заходивший "попить водички", — срезал часть электрокабеля и утащил из сарая поразившие его воображение садовые инструменты. Дело решилось патриархально, с помощью председателя сельсовета украденные вещи нашлись, мать пастуха в виде компенсации преподнесла мне десяток яиц, и мы с ней отвезли все назад. "Хорошая у тебя жена, — говорила она мне, пока наша лошадка бежала вдоль березовых посадок по первому снегу, — только что ты на нее все кричишь, все кричишь?" И подумав, добавила: "А впрочем, с нашей сестрой иначе нельзя, иначе мы быстро на шею сядем!" Народ пастуха осудил, но, как говорит русская пословица, "не за то, что крал, а за то, что попался".

Я мылся на кухне в корыте, поливемый Гюзель, как поливают цветы: из лейки, и услышал ржанье и топот коней, дверь распахнулась и вбежал окровавленный человек в разодранной одежде. Голый и в мыльной пене, я бросился к нему и схватил его за руки — я думал, он хочет убить нас. Но он в ужасе кричал: "Спасите! Меня хотят убить!" Я откинул люк подпола — и почти тут же в дом устремились возбужденные мужики, размахивая дрекольем: "Где Митька?!" "Спросил дорогу и побежал в поле. Уходите, вы напугали мою жену". Недоверчиво оглядываясь, мужики вышли. Я оделся — голым себя чувствуешь наиболее беспомощно, — достал ружье и мужика через час из подпола выпустил. Оказалось, были они с братом в чужой деревне в

престольный праздник, подрались с кем-то — вот за ними местные и кинулись.

В солнечные дни я работал в саду, а в дождливые садился за свою книгу. Ожидание ареста, разочарование, вызванное концом "пражской весны" и репрессиями сказались на ее апокалиптическом тоне. Отчасти она была задумана как ответ Сахарову, и интересно прочесть нас одного за другим. Принадлежность Сахарова к истаблишменту, отсутствие опыта преследования, воспитание в научной среде и занятия наукой, вера во врожденное благородство людей в такой же степени отразились на его брошюре, в какой социальная отверженность, опыт ссылки, поэтическая интуиция, скептическое отношение к социальной роли науки и сознание человеческого несовершенства — на моей. В доме не было ни электричества, ни письменного стола, так что я писал при свечах на доске, положенной на два ящика, — как маршал Даву, подписывающий приговор Пьеру Безухову. Я не думал тогда, что книжка выйдет на многих языках и, что называется, "сделает мне имя", я был бы рад, если бы ее прочли десять-двадцать советологов. К концу июня рукопись была готова, и я поехал в Москву передать ее Генри Камму.

— Что вы делаете! — сказал пораженный Генри, узнав название. — Они вас наверняка посадят в психушку!

— Не посадят, — сказал я. — Я буду подчеркивать, что получил и хочу получить за книжку как можно больше денег, а с точки зрения наших властей, любовь к деньгам — лучший признак здравомыслия.

— Как вы, получая ежемесячно восемьсот рублей в военной академии, стали писать эти бумажки — и теперь как грузчик зарабатываете восемьдесят? — спросил психиатр у Петра Григоренко.

— Мне дышать было нечем! — ответил он и увидел, как радостно загорелись глаза у врача: точно сумасшедший! Удалось власти воспитать "нового человека", все понимание которого — на уровне желудочных интересов. "Маленький человек" — любимое дитя печальной русской литературы — стал "большим начальником", сохранив всю мелкость своих интересов. У тех же, кто о моих гонорарах не знал, первая мысль была: "Психиатр вас осматривал?" — так много лет спустя спросил меня чиновник паспортного отдела, глянув в приговор. Не исключаю, что высокое начальство еще и потому сочло меня нормальным, что как раз когда я писал свою книгу, оно действительно, если верить воспоминаниям г-на Холдемана, планировало ядерный удар по Китаю.

Второй экземпляр рукописи я передал одной голландке 4 июля, на приеме у американского посла. Мы впервые были приглашены на такой прием в 1967 году, но приглашение дошло с опозданием, и мы пошли по нему из любопытства на следующий год, когда нас, собственно говоря, не приглашали. Вообще же 4 июля так много народу

сразу проходит в ворота особняка, что может пройти любой: мы только издали показали милиции белую бумажку. Конечно, в обычные дни совсем не так, посольство и резиденцию посла США охраняет даже не милиция, а чины КГБ в милицейской форме, а в домах напротив сидят так называемые "кукушки", наблюдая за входом.

Мы оказались в конце столь привычной русскому глазу очереди, которая медленно втягивалась в глубь дома, где несколько мужчин и женщин с усталыми, но приветливыми лицами пожимали руки. После этого под звуки военно-морской музыки все разбредались по большому залу и двору, обнесенному каменной стеной. Во дворе были расставлены павильончики, дети дипломатов предлагали выпивку и закуску под названием "горячая собака". Мелькали порой знакомые лица и толстая фигура Костаки маячила, но большинство мне было незнакомо, и вдруг я увидел своего старого приятеля Зверева под ручку с какой-то дамой. Дама махала руками и была несколько навеселе, но когда я строго спросил ее, кто она такая, все немножко испугались: оказалось, что это г-жа Томпсон, жена посла. Это для меня было странно, я представлял себе, насколько должна быть надута собственной важностью жена советского посла в Вашингтоне.

В разгар моей борьбы против ссылки раздается звонок в дверь, типичный гебист протягивает повестку – но нет, это не повестка на допрос, а приглашение на вечер в связи с отъездом американского посла. Гюзель написала портрет его младшей дочери – очень тонкий, мы видели его недавно в Вашингтоне. Когда я смотрел на подсобный персонал американского посольства, я чувствовал себя как на Лубянке. У шофера посла был вид, по крайней мере, полковника КГБ, както в дождь – а в доме посла не нашлось зонтика – он отвез нас за триста метров домой. Вези, думал я, служба есть служба – и он, вероятно, так думал.

Поскольку рукопись "СССР до1984?" была передана для публикации 4 июля 1969 года – в день американского национального праздника, – то подписал ее к печати Карел 7 ноября – в день советского национального праздника, чтобы таким образом содействовать сближению и взаимопониманию двух великих народов. Он указал также, что книга *"соответственно Основному Закону Королевства Нидерландов и Конституции СССР напечатана без предварительной цензуры"* – и действительно, в советской конституции слово цензура ни разу не упомянуто. О предстоящем издании я услышал по Радио Свобода, и через несколько дней получил письмо от неунывающего г-на Люкона, он читал в "Нью-Йорк Таймс" о моей книге и предлагает свои услуги для ее издания. Я ничего не ответил, но как только я вернулся в Москву, он тут же позвонил мне, даже после моего ареста он пришел к Гюзель – она его не впустила.

Письмо Люкона было не единственным сигналом, что обо мне не

забывают. Соседи рассказали, что прошлой осенью приезжали "люди в штатском", дом наш со всех сторон осматривали, а о нас сказали: "Вы их больше не увидите!" Теперь по вечерам около дома стали появляться фигуры — и исчезать при моем приближении. В октябре вдруг подкатили две машины, первая мысль: "За мной!" Но это был директор совхоза, наш колхоз был росчерком пера переделан в совхоз, начальник райсельхозуправления и третий, назвавшийся его "братом". Директор смотрел как-то боком, начальник управления тоже чувствовал себя неуютно, зато "брат" был заметно воодушевлен. Пробыли они у нас минут пять, выпили по рюмке и "брат" на прощанье сказал: "Мы еще много будем встречаться с вами, Андрей Алексеевич" — оборотная сторона "вы их больше не увидите". Через два дня директор совхоза выписал мне несколько листов кровельного железа — так сказать, компенсация за привоз "большого брата".

За новым столом, сколоченным бесшабашными плотниками, я писал письмо, очень важное для меня. Летом мы услышали, что советский писатель Анатолий Кузнецов, выехав в Англию писать роман о Ленине, попросил там политическое убежище. Он откровенно рассказал о причинах своего бегства, о литературном конформизме и даже о том, как стал агентом КГБ. Как их завербовали — одного в лагере, другого на свободе — мне известны признания двух русских писателей. Видимо, не легко им было об этом писать и сделали они это, чтобы наглядно показать, как действует постыдный механизм насилия. Мне кажется их честность героической — однако и воля, и моральная позиция обоих оказались разными. Пафос статей Кузнецова в том, что "не было дано иного выбора". Но выбор был.

Насилие — как правило, а не как исключение — возможно там, где есть готовность насилию подчиниться; где начинается сопротивление, насилию постепенно приходит конец. Конечно, весьма непрост вопрос о степени сопротивляемости, человеческая натура несовершенна. Я, например, ответил следователю, что скажу, у кого взял машинку и бумагу, если меня подвесят за ноги и будут бить — я понимал, что у моей сопротивляемости есть границы. Конечно, иногда получается как у Ноздрева, который показывает Чичикову границы своего поместья и говорит: до этой границы все мое, а что ты видишь дальше — это тоже все мое. Один блатной рассказывал, как его повесили в милиции за ноги и били, чтоб назвал своих сообщников. "Я б их давно назвал, мне плевать на них было, — говорил он, — но зло брало на тех, кто меня бил, и потому молчал". Дойдя до некой границы и пережив кризис, человек может найти в себе новые силы.

Но где граница? Любой честный человек не только может, но и должен дойти до границы неучастия. Если вы не можете быть против системы насилия, по крайней мере не будьте за! По счастью, я знаю уже примеры, когда почтенные доктора наук, которые никогда не

подписали бы письма в защиту Сахарова, тем не менее уезжали даже на уборку гнилой картошки, чтобы только не подписывать письма с его осуждением.

Как всякий слабый человек, Кузнецов искал сочувствия и был недоволен, что многие на Западе холодно отнеслись к его жалобам. *"Чем спокойнее и объективнее мы будем освещать положение и чем менее драматично указывать "прогрессивной западной общественности" на ее нечестность по отношению к нам, тем скорее мы сумеем разрушить ту фальшивую репутацию, которую сумел создать себе за границей существующий у нас режим,* – писал я ему. – *Мы не вправе осуждать этих людей за то, что их собственные проблемы волнуют их больше, чем все наши страдания, тем более мы не вправе требовать, чтобы они влезли в нашу шкуру и на себе испытали, каково нам приходится. Но мы вправе сказать им: если вам дорога не только свобода для вас, но вообще принцип свободы, подумайте, прежде чем ехать для "интеллектуального диалога" в страну, где извращено само понятие свободы".*

Некторыми мое письмо было понято как упрек Кузнецову не за его "философию бессилия", а за бегство – единственное, в чем Кузнецов проявил характер. *"Если вы как писатель не могли работать здесь, – писал я ему, – или публиковать свои книги в том виде, как вы их написали, то не только вашим правом, но в каком-то смысле и вашим писательским долгом было уехать отсюда".* Кузнецов ответил мне через четыре года – когда я сидел в Магаданской тюрьме – статьей "Доживет ли Амальрик до 1984 года?". Он писал, что не отвечал раньше, боясь повредить мне – это неправда, мне не могло повредить то, что мне отвечают, да он ведь и не считал, что его ответ повредит мне теперь. Статья была повторением все того же: борьба бесполезна – вот же Амальрик сидит, легко сломить человека – вот же Якир покаялся, и других ждет то же самое, а значит "иного выбора не дано".

– Будут сажать! Теперь будут сажать! – сказал Илья Глазунов, показывая номер "Экспресса" с изложением "СССР до 1984?" – значило это, что рассерженные власти посадят не только меня, но начнут сажать кого ни попадя, это была первая реакция "истаблишмента". Но и некоторые диссиденты встретили мою книгу с горечью, а известность – как "незаслуженную славу". *"Эта книжечка,* – пишет мне один недавний эмигрант, – *не представляет собой ровно ничего замечательного, кроме того, что она создала всем противникам Советского Союза приятную иллюзию: авось действительно скоро развалится... Именно ради этой приятной иллюзии вашей книжечке сделали на Западе рекламу, а позднее вам оказали прием как знаменитости".* Редактируемый Роем Медведевым "Политический дневник" дал такую оценку: *"О наших делах Амальрик пишет как иностранец, как бы издалека... Все эти псевдонаучные и псевдоглубокомысленные рассуждения*

столь же примитивны, как и многие другие рассуждения западных ''знатоков'' о природе русского народа...'' Аннотация в ''Хронике текущих событий'' и упомянутые там отклики были если не негативны, то во всяком случае очень сдержанны.*

Я получил также несколько бранных писем, без подписи, если не считать подписью – ''группа комсомольцев'', и ко мне стали заходить незнакомцы, иногда из провинции, прочитвшие ''СССР до 1984?'' в самиздате или услышавшие по радио. Помню двух друзей – марксиста и православного, – оба были выгнаны с работы, не проголосовав за одобрение оккупации Чехословакии, но никаких контактов с Демократическим движением не имели. Марксист по передачам Радио Свобода, перепечатал брошюру Сахарова, сделал синьки и распространял на свой страх и риск – мне этот пример показал, что самиздат расходится шире, чем я думал. К чести моей надо сказать, что никогда этих незваных гостей не принимал я за подосланных агентов – и не ошибся. Бывали курьезы: раздается звонок, в дверях биолог, которого я встречал у Есенина-Вольпина и Григоренко.

– А, и вы здесь, – говорит он несколько разочарованно. – Я хотел бы видеть Амальрика.

– Я Амальрик.

– Нет, мне нужен историк Амальрик, – с важным видом ответил гость.

А одна писательница, встретив меня на вечеринке, воскликнула разочарованно: ''Так это вы Амальрик! А я думала, это великий человек!''.

Скорее негативной была реакция – не всех, конечно, но многих на Западе. На Радио Свобода долго не хотели транслировать ''СССР до 1984?'' за ''антирусскость''. Как мне рассказали, дело решилось, когда во время одного из обсуждений вбежал ''русский патриот'' с моей фотографией: '' Я же говорил, что Амальрик еврей!'' – после этого американское руководство станции стало на мою сторону. Некоторые советологи испытали раздражение, что вдруг неожиданно – как чертик из табакерки – выскочил молодой человек, никому не известный, без образования, без знания языков, чуть ли не из глухой деревни – и начал опровергать выношенные годами теории, опровергать даже самим фактом своего существования.

И само собой напрашивалось объяснение, что это не может быть все так просто, а что это какой-то коварный замысел – по одной версии выходило, что я сам скорее всего агент КГБ, по другой, что я был использован КГБ помимо моей воли. Тем самым объяснялось и

* Последнее издание ''Просуществует ли СССР до 1984 года?'' вышло в 1979 году, десять лет спустя, скорее подтвердив мои предсказания, в частности о либерализации Китая и его партнерстве с США.

странное пророчество о развале СССР до 1984 года: КГБ хочет усыпить бдительность Запада, все равно, мол, СССР скоро развалится, не стоит тратить деньги на оборону. Была версия, что моя связь с КГБ значительно повышает ценность книги, сигнализируя о сомнениях в советском руководстве. Мне кажется, что если бы действительно моя книга была делом рук КГБ, ее значение снизилось бы: в моем случае это был честный анализ, в случае КГБ – попытка дезинформации.

Появление статей с намеками, вопросами или прямыми утверждениями, что я агент КГБ, были только преданием гласности слухов, которые ходили давно среди иностранных корреспондентов и "либералов", а с весны 1968 года среди части диссидентов. Хотя я понимал неизбежность слухов – не обо мне одном они возникали, меня раздражало, что меня считают агентом системы, именно потому, что я борюсь с ней.

Подозрение в осведомительстве и провокации – это ржавчина, разъедающая советское общество, действительно, много провокаторов работают на КГБ, но взаимное подозрение – самый опасный провокатор. Единственно, как можно с этим бороться, никого не обвинять, что он агент КГБ, на одном том основании, что он им мог бы быть. К сожалению, нет критерия, который позволил бы заранее определить это. Осведомителя может выдавать излишнее любопытство, но и совершенно честный человек может быть любопытен; я заподозрил знакомого, у которого была привычка все у меня на столе трогать и переворачивать, но, быть может, это просто привычка нервного человека, я и за собой иногда замечаю, что беру какой-то предмет и бессмысленно верчу в руках. Провокатора может выдать желание подтолкнуть вас на опасные действия – мы в 1968 году сочли бы провокатором того, кто предложил бы угнать самолет. Но, с другой стороны, это могло свидетельствовать просто о решительности и непонимании принципа ненасильственных действий – было ведь несколько групповых угонов без провокаторов.

Почтенная писательница Вера Панова считала Бориса Пастернака опасным провокатором за то, что он написал "Доктора Живаго" и вызвал тем самым гнев властей против интеллигенции, часть интеллигенции все Демократическое движение считало провокацией КГБ, в лучшем случае бессознательной. По мнению г-жи Бронской-Пампух, немецкой коммунистки, побывавшей в сталинских лагерях, весь самиздат – хитрая провокация КГБ для введения в заблуждение заграницы. При этом каждый "подозреватель провокаций" склонен несколько переоценивать важность того клана, к которому сам принадлежит и против которого якобы провокация устраивается.

Конечно, интуиция иногда совершенно безошибочно указывает: этот человек стучит. Мне двенадцать лет, в школе я слышал, что мы живем в самом счастливом и свободном обществе – и ничто из того,

что я вижу собственными глазами, этому не противоречит, я еще не знаю, что тринадцать лет назад был расстрелян мой дядя, что девять лет назад попал в лагерь отец, тем более не знаю, что через год попадет в лагерь другой дядя; веселый и счастливый я гуляю по Тверскому бульвару и, интересуясь уже тогда высокой политикой, на карманные деньги покупаю газету "Британский союзник" – только через месяц она будет закрыта "по просьбе трудящихся", о чем я тоже еще не знаю – и сажусь прочесть, что пишут о войне в Корее. И вот ко мне подсаживается в черном пальто и кепке – тогда все так ходили – очень приветливый гражданин и, как со взрослым, что должно мне льстить, заводит разговор, что я думаю о войне в Корее и как же так, у нас в газетах пишут одно, а здесь совсем другое? Я уже славлюсь своей бестактностью: на работе у мамы – к ее ужасу – я сказал, что мне нравится Черчилль, в школе заявил – к ужасу учительницы, – что не хочу быть пионером. Но сейчас, несмотря на обращенную ко мне поощряющую улыбку, я – каким инстинктом? – понимаю, что с этим человеком не надо говорить, я понимаю это настолько отчетливо, что, пробормотав что-то невнятное, встаю и ухожу.

Когда я это писал, я вспомнил другой эпизод, может быть он дает какое-то рациональное объяснение первого. Мне восемь или девять лет, я выхожу из школы после вечерней смены – мы занимались тогда посменно из-за недостатка места, в Хлебном переулке уже темно, редкие желтые круги на снегу от качающихся на проводах лампочек, на углу кучка прохожих, пугливая, но любопытная: несколько милиционеров и людей в черном сажают в черную машину человека, по виду рабочего, тоже в черном; кажется, все даже ждали несколько минут, пока машина подъедет. Мне уже неоднократно приходилось видеть, как на улицах милиция забирает пьяных: иногда это бывает очень весело, пьяный кричит какую-нибудь чушь, публика хохочет и даже милиционеры добродушно улыбаются. Но я чувствую, что сейчас происходит что-то жуткое, что забирают не пьяного или пусть даже пьяного, но не за то, что он пьян – как мне становится это известно, или сказал кто-то в жалкой кучке любопытных, или я сам каким-то чудом понимаю это, но я понимаю, что этого человека забирают за то, что он только что вот здесь что-то сказал, я понимаю также, что его не отпустят на следующее утро, оштрафовав, как пьяного, у меня такое чувство, что этого человека увозят сейчас – навсегда.

Однако и интуиции не надо переоценивать. Вам может внушить неприязнь человек вовсе не потому, что он стукач, а потому, что он неприятно сморкается или плюется, или не верит в муках выношенные вами идеи. С другой стороны, первое интуитивное впечатление может размываться, и какая-то сторона человека заслонит ту, опасную, которую вы почувствовали, но о которой потом забыли.

Интуиция, однако, всегда безошибочно указывает на чужака –

чужак не разделяет ваших ценностей, придерживается иного стиля поведения и , как вам часто кажется, склонен думать, что он лучше вас. Чужак, или даже чудак, мотивы которого вам не всегда ясны и понятны, это опасное явление. "Бойтесь непонятного!" – сказал один русский марксист – и все боятся. Более понятно, но и более неприятно, если вам кажется, что кто-то относится к вам с чувством превосходства; даже неприязнь бедняков к богачам коренится, по-моему, не столько в зависти к деньгам, сколько в опасении, что богачи относятся к беднякам с пренебрежением. Я был чужаком в Движении, как я был чужаком в школе, в университете, а позднее в лагере. Моя привычка немного подшутить над людьми, конечно, не была прямым свидетельством, что я агент КГБ, но хорошо укладывалась в образ циника, для которого нет ничего святого. Мне еще с детства делали упрек, что я считаю себя лучше других – это неправда, я встречал людей, которых по их моральной стойкости, бескорыстию и готовности помогать другим я считал гораздо лучше себя. Если у меня бывало чувство превосходства, то не от сознания, что я лучше, а из уверенности – быть может, иллюзорной, – что я гораздо лучше многих понимаю происходящее.

Мотивы иностранных корреспондентов были проще: они считали за данное то, что, во-первых, русские боятся общения с иностранцами и что, во-вторых, КГБ будет подсылать к ним агентов. В этом взгляде не было ничего нелепого, однако он гиперболизировался как страхом, так и преувеличением своего значения, и потому мешал понять, что появились, наконец, русские, которые сами хотят изживать свой страх и свою изоляцию.

Наконец, мое поведение было вызовом советским "либералам" – то есть тем, кого властям надо было подхлестывать, в то время как "консерваторов" придерживать, чтоб упряжка шла ровно. Еще более, чем западные журналисты и советологи, они считали советскую систему построенной на страхе, и появление тех, кто словно бы этим страхом пренебрегал, казалось им личным оскорблением: как "они"смеют делать то, что "мы" боимся! Какой-то молодой человек – не к их кругу принадлежащий и никем сходящим в гроб не благословленный – написал не более не менее, как "Просуществует ли СССР до 1984 года!" – это было вызовом не только режиму, но и всем, кто примирился с мыслью, что режим будет существовать вечно. Единственное объяснение: агент КГБ!

Постепенно самым решающим доводом становилось: он до сих пор не арестован! Для Запада это была скорее аналитическая проблема, но для России моральная: если можно *такое* написать и остаться на свободе – значит "мы" зря молчали?! И когда я был все же арестован, один почтенный человек радостно закричал: "Наконец-то!" Мне же первый сокамерник сказал: "Служба есть служба. Кто работает в КГБ – может и в тюрьме посидеть, да и выслуга лет идет быстрее".

Глава 9.

ОЖИДАНИЕ

Другой проблемой, казалось бы, более приятной, было получение гонораров. Оказалась она, однако, довольно сложной – для меня, а для других – на моей ли стороне они были или против – совершенно фантастической: как, он еще добивается денег?!

Советским гражданам запрещено иметь иностранную валюту: так или иначе ее получив, они обязаны обменять ее, причем безвозвратно, на валюту внутреннюю. В нашей стране, окончательно покончившей с социальным неравенством, существует пять мне известных типов внутренней валюты: 1) обычные рубли – ими большинство советских граждан получает заработную плату и расплачивается в обычных магазинах от Бреста до Чукотки, но не может сунуться с ними в валютные; 2) "сертификаты в/о Внешпосылторг" с синей полосой – их советские граждане получают в обмен на валюту "социалистических стран"; 3/ сертификаты с желтой полосой – их советские граждане получают в обмен на валюту "развивающихся стран", на эти два вида можно покупать товары в валютных магазинах, но не все; 4) бесполосные сертификаты – их советские граждане получают в обмен на валюту "капиталистических стран", т. е. на свободно конвертируемую; 5) "чеки серии Д Внешторгбанка СССР" – их взамен на свободно конвертируемую валюту получают иностранные дипломаты и корреспонденты, а также советские дипломаты, эти два вида наиболее привелигированные, на них в валютных магазинах вы можете покупать все, что там есть.

На сертификатах стоит штамп, что их нельзя продавать, но поскольку они не именные, можно их передавать другим, равно как и "чеки серии Д". Бесполосные сертификаты широко обращались на черном рынке, и с 1966 по 1976 годы – по мере того, как на Западе развивались кризис и инфляция, а СССР все более процветал – цена на сертификат поднялась с 4 до 8 рублей, а некоторые горячие головы платили и 10. Система разных валют и цен давала огромные возможности для спекуляции, в которую втянуты были, в первую очередь, работники валютных магазинов. Оперативники, ловя тех, кто получал сертификаты "незаконно", имели свой кусок: часто, конфискуя сертификаты, они просто присваивали их. На двух обысках у меня изъяли триста валютных рублей – по окончании следствия они были Гюзель возвращены, так как невозможно было предъявить какое-либо обвинение. Но когда она пошла с ними в магазин – оперативники у нее тут же часть денег отобрали и даже оштрафовали ее. Нас вдвоем они никогда не трогали.

Получаемые из-за границы деньги делились на три категории: 1) наследство; 2) подарок; 3) гонорар. Не знаю, какой налог взыскивали за наследство, за подарок брали 35%, за гонорар – если я не ошибаюсь – на 5% меньше. В октябре 1968 года голландский журнал "Тираде" напечатал первую главу "Путешествия в Сибирь". Весной я попросил перевести мне мой маленький гонорар через Внешторгбанк СССР, посмотреть, что получится. Довольно скоро я получил письмо от банка, что на мое имя поступили деньги из-за границы – сумма не указана, – и я могу придти за ними в такие-то дни и часы. В банке на Неглинной Гюзель и я были с тех пор многократно, нас обоих знали, но каждый раз проиходил один и тот же разговор.

– Вам поступили деньги из-за границы. Вы от кого ждете? – так опрашивают в тюрьме, когда вам поступает посылка или денежный перевод.

– Это я от вас надеюсь узнать.

– Вы сами должны знать, кто вам посылает, – и затем происходит долгое пререкание, пока или служащий не скажет вам, или вы сами не махнете рукой: деньги есть деньги, кто бы ни послал.

Вам называют сумму и предлагают или получить советскими рублями, или перевести деньги во Внешпосылторг, в обоих случаях за вычетом 2% для банка. Учитывая реальную стоимость обычного рубля и сертификата, никто, думаю, рублей не брал. В 1975 году была введена новая система, чтобы лишить евреев и диссидентов денежной помощи из-за границы: все, кто не имел разрешения Министерства финансов СССР, обязаны были получать рублями, за вычетом 30% налога, ощутимая разница при соотношении обычного рубля к валютному 1:8. Вы расписываетесь, что просите перевести ваши деньги во Внешпосылторг – и через неделю могли идти за ними, не имея никакой квитанции. В одной конторе смотрели ваш паспорт и давали жетон, а в другой, выстояв в очереди, вы получали сертификаты.

Первый раз я безропотно получил свой гонорар как "подарок", тогда же мне разъяснили, что нужно предъявить справку, подтверждающую, что эти деньги действительно гонорар. Поэтому я попросил своих американских и французских издателей прислать мне письма, что переведенные ими деньги – аванс за книги.

– Гонорар? Подарок? – отрывисто спросила девица за барьером.

– Гонорар! – гордо сказал я.

– Давайте справку! – и, взяв письма, девица посмотрела на меня проверяюще, не сошел ли я с ума. – Нам нужна советская справка!

– Но мне не советские издательства переводят деньги.

– Нам нужна справка от советского учреждения, через которое вы ваши рукописи посылали за границу, – разъяснила мне она, как маленькому, но все же направила к начальнице отдела, и мы слово в слово повторили тот же самый разговор, как игроки в шахматы в

патовом положении. Начальник Внешпосылторга оказался ее полной противоположностью: она была женщина – он мужчина, она худая – он толстый, она держалась сухо – он добродушно, но разговор был такой же.

– Мы по инструкции без справки гонорар оформить не можем.

– А нельзя ли посмотреть инструкцию.

– Мы ее показать не можем. Вы говорите, вы вашу рукопись сами передали за границу – что ж это у вас там за статья или книжка, как называется?

– Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?

При этих роковых словах мы оба очень внимательно и долго посмотрели друг на друга. Весь опыт говорил начальнику, что автор книги с таким названием, передавший ее к тому же заграницу, должен исчезнуть бесследно, а не с наглым видом требовать деньги, и поскольку все это было так чудовищно и так выходило за рамки здравого смысла, то он искал в этом еще какой-то более глубокий смысл – и тоже, видимо, опыту его не противоречащий.

– И что же?.. Что вы там пишете? – спросил он наконец.

– Познакомьте меня с вашей инструкцией – тогда я вас со своей книжкой, баш на баш.

– Ха-ха-ха. Но мы вообще-то коммерческое предприятие, можем свой товар – сертификаты – продать, а можем и попридержать.

– Так вы, выходит, анархист – хочу так, хочу этак. Нет, советский закон един для всех! – и посмотрев, какое впечатление на него произвел упрек в анархизме, добавил. – Единственное советское учреждение, котрое интересуется моей книжкой, это КГБ, да и то сомневаюсь, что он даст справку.

Произнесено, видимо, было то волшебное слово, которое так и этак ворочалось уже в голове начальника: он, как и многие другие, подумал, вероятно, что если я на свободе, так это какая-то тайная операция КГБ – и ему нельзя сделать ложного шага . Я тоже подумал, что если он так подумает, то вдруг сгоряча мне денежки даст – а потом уж что дано, то не воротишь, что с возу упало, то пропало. Любезным голосом, он, впрочем, все время был любезен, он сказал, что позвонит в министерство.

– К сожалению, никак без справки дать не разрешают, – сказал он, разводя руками и показывая всем видом сочувствие, – попробуйте поговорить во Всесоюзном управлении по охране авторских прав Союза писателей.

Управление размещалось на первом этаже знаменитого дома в Лаврушинском переулке, где булгаковская Маргарита побила оконные стекла по пути на бал к Сатане. Здесь повторилось то же самое: сначала я говорил с начальницей отдела – довольно худой и сдержанной дамой по фамилии Горелик, затем с начальником управления –

весьма толстым и добродушным господином по фамилии Альбанов. Я спросил г-жу Горелик, что у нее за фамилия, украинская или еврейская.

– Да, еврейская, – с вызовом.

– Ну вот, а говорят, что евреев не берут на работу во всякие "идеологические учреждения".

– Меня, напротив, даже уговаривали, – ответила она, и чувствовалось, она обижена так, что я начал размазывать этот вопрос. Это было время, когда среди евреев еще считалось неприличным говорить при посторонних, что они евреи. Потом все стало меняться, и может быть она уже в Израиле.

– Ну что ж, – благодушно сказал Альбанов, рассматривая мои бумаги, – с гонорарами трудный вопрос. Вот и Солженицын здесь у меня сидел, – и он указал на кресло, в котором Солженицын, я думаю, монументально возвышался, как памятник самому себе, я же, в своей красной рубашечке, совсем затерялся среди его кожаных просторов. – С точки зрения конституции СССР вы совершенно правы, но вы вступаете на трудный путь.

Насколько я мог понять, ни он лично, ни возглавляемое им управление на этот трудный путь вслед за мной вступать не хотели. По его совету я съездил в в/о "Международная книга", занимающееся продажей советских книг заграницей, вступил в переписку с министерствами внешней торговли и финансов – но без успеха.

Все это было как бы зеркальным отражением моей борьбы два года назад. В память об отце – я решил передать гонорар за его книгу "В поисках ичезнувших цивилизаций" пострадавшей от наводнения Флоренции, пока и эта цивилизация окончательно не исчезла. Итальянское посольство, куда письмо мое, хотя и не скоро, дошло, сообщило мне номер банковского счета во Флоренции, и пошел бюрократический круговорот: МИД направил меня в Госбанк СССР, Госбанк переслал письмо во Внешторгбанк, Внешторгбанк – в Валютное управление Министерства финансов СССР, откуда я получил дословно такой ответ: *"Удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным".* Советские ответы лакончины, не содержат ненужных обращений вроде "уважаемый", а также несут в себе элемент тайны, ибо никогда не объясняют, почему именно то или иное невозможно.

Здесь тайна была довольно прозрачна: власти не хотели обменивать советские рубли на конвертируемую валюту. Я все же продолжал писать письма, каждый раз получая одинаковые ответы от разных лиц, причем мы играли, если можно так сказать, "в темную" – никто не поинтересовался, велик ли гонорар, да и сам я до сих пор не знаю этого. Наконец, после письма председателя Совета министров, меня пригласил начальник Валютного управления Мошкин.

– Почему же советский гражданин лишен возможности сделать

вклад в благородное дело помощи Флоренции? – спросил я у него

– А потому, – сказал начальник управления, – что ваши деньги – это более или менее бумага, мы с трудом, но все же обеспечиваем их обращение внутри страны, а за границей они ничего не стоят.

Он пожаловался, что даже какой-то "ненормальный " требует, чтобы ему обменяли рубли на доллары для покупки воспоминаний Керенского. Я сказал, что не вижу ничего "ненормального", что кто-то интересуется историей своей страны и хочет прочесть воспоминания бывшего премьер-министра, скорее ненормально, что по такому частному вопросу он должен обращаться к начальнику Валютного управления Министерства финансов. Несмотря на дружелюбный разговор, я ушел с криком: "Нет, так больше жить нельзя!"

– Можно! – кричали мне вслед Мошкин и его заместитель. – Ведь живем же!

Через год сотрудники КГБ, желая меня "поймать" на торговле картинами, требовали, чтобы я составил отчет о своих доходах: "Как же так, Андрей Алексеевич, вы на почте зарабатываете 23 рубля в месяц, живете с женой на эти деньги, да еще купили домик под Москвой, как объяснить эти удивительные вещи?"

– Объясняете силой нашего советского рубля! – ответил я, вспомнив разговор в Валютном управлении. – Конечно, получай я не рубли, а паршивые доллары – не видать мне домика, как своих ушей.

– Ну, американскому налоговому управлению вы бы так не ответили, – сказал мне раздраженный гебист, у них вообще чувство неполноценности по отношению к США: и техника подслушивания там лучше, и полицейские лучше оплачиваются, и от налогового управления не отделаешься шуточкой. Да и правда, получив за эту книжку гонорар от американского издателя, совсем не знаю, какой шуткой отделаться от налогового управления.

Так что к концу 1969 года у меня оказалось две денежных тяжбы с советскими властями: во-первых, я хотел послать свои деньги за границу – и они мне в этом отказывали, во-вторых, я хотел получить свои деньги из-за границы – и в этом они мне отказывали тоже. Я решил, по крайней мере публично обругать их, и послал письмо в несколько европейских и американских газет, настаивая на своем праве печататься без цензуры и получать гонорары. Я хочу, закончил я, *"публично пристыдить советское правительство за проявленные скаредность и мелочность. Сталин расстрелял бы меня за публикацию моих книг заграницей, его жалких преемников хватило только на то, чтобы попытаться присвоить часть моих денег. Это только подтверждает мое мнение о деградации и дряхлении этого режима, высказанное в книге "Просуществует ли СССР до 1984 года?""*.

Не все поверили в подлинность письма, особенно те, кто хорошо понимал, что Сталин действительно расстрелял бы меня, и удивлялся,

что меня не расстреливает Брежнев. Но письмо это, которое, могло показаться актом отчаянной смелости, было скорее результатом рискованного, но расчета. У меня накопился уже опыт общения с функционерами – работниками милиции, прокуратуры, КГБ, партаппарата, министерства финансов, союза журналистов и т. д., мне не приходилось иметь дело с теми, кто принимает решения, я, однако, понимал, что психология подчиненного является осколком с психологии начальника – и наоборот: единообразие системы постоянно коррегируется двумя потоками: людей – поднимающихся по служебной лестнице и несущих вверх свои представления о жизни, и "идей" – того образа мышления, который складывается сверху, и тщательное следование которому обязательно для нижестоящих. Так что я имел некую поведенческую модель – и исходил из нее, строя свою стратегию.

Я предполагал, что раз я занимаю в советской иерархии ничтожное место студента-недоучки, то, вынужденные вести открытую борьбу со мной – открытую, ибо книга моя была уже опубликована и дело было "под контролем" иностранной печати, – власти, по своей логике, должны принижать мое значение, показывать, что и как диссидент я вызываю только пренебрежение у них. Конечно, я не мог надеяться, что они будут игнорировать меня, но они могли меня судить по одной из двух статей уголовного кодекса. Статья 70 УК РСФСР – "антисоветская агитация и пропаганда", считающаяся "особо опасным государственным преступлением", до семи лет и пять ссылки, – серьезная и почетная; статья 190^1 – "распространение заведомо ложных клеветнических сведений, порочащих советский строй", считающаяся "преступлением против порядка управления", до трех лет, – почти бытовая. Вот я и рассчитывал, что чем резче и обидней я буду нападать на власти, тем сильнее им захочется подчеркнуть мою незначительность, тем больше шансов, что привлекут меня по ст. 190^1, мол, на такое ничтожество и хорошей статьи жалко. Расчет мой оправдался, но только отчасти.

Будь мой случай никому не известен, мне без всяких колебаний дали бы в лучшем случае семь лет. Поэтому я хотел – в частности письмом о гонорарах – напоминать о себе, чтобы не дать властям воспользоваться мертвой паузой. Общий мой принцип был тот, что лучше идти навстречу опасности, чем бежать от нее. Кроме того, меня, что называется, немного несло: неожиданный успех книги, а главное – эйфорическое состояние свободы, когда я мог говорить и писать все, что думаю, как бы приподнимали меня над землей.

Что же касается гонораров, то, не желая получать их как подарок, я отослал их назад – и удовлетворил тем самым свой гордый дух. Увы, наша с Гюзель слабая плоть ежедневно требовала пищи, так что я попросил своих издателей отосланные деньги прислать на имя Гюзель, которая без споров получила их как "подарок", как подарок жене

от мужа.

В разгар борьбы из-за денег я узнал об аресте Виктора Красина. Он скрывался под Москвой, но как только заехал к своей сестре, буквально через несколько минут появилась милиция, вышибли дверь и вытащили его из ванны. Через пять дней – никто не знал об этом, а жена оказалась в суде случайно – он получил пять лет ссылки как "лицо, уклоняющееся от общественно-полезного труда", так меня сослали в 1965 году и пытались сослать в 1968. Прокурор и судья заявили также, что он не заботится о семье, не был на дне рождения сына, это было включено в приговор как один из обвинительных пунктов. КГБ потому так разозлило, что Красин не был на дне рождения, что рассчитывали его схватить в этот день, установили слежку за домом – и зря, вот ему это и припомнили, одновременно показав чадолюбие власти: не поздравил мальчика с днем рождения – получай срок.

На следующий день мне позвонили: обыск у Горбаневской, и я сразу поехал к ней, мы старались – если об обыске удавалось узнать – не оставлять наших товарищей один на один с властями. Дверь мне открыл неизвестный, и по тому, как обрадованно он пригласил меня войти, я понял – действительно обыск. Гебисты уже потирали руки при виде новой жертвы: один карман у меня оттопыривался, словно там лежала пачка листовок. Но в пакете оказались бутерброды – Гюзель боялась, что до конца обыска я проголодаюсь, я же просто хотел позлить гебистов; они действительно крайне разозлились, что на их обыски уже ездят с завтраками, как на пикник. Трое мужчин бросились мне в глаза, когда меня ввели в комнату: один, низенький, тощий и остролицый, суетился у стола с наваленными на нем бумагами, другой разводил руками посреди комнаты с видом гостеприимного хозяина, а третий сидел на кровати с видом философской грусти на лице, были еще какие-то молодые люди "на подхвате", но я на них внимания не обратил.

– Вы – из прокуратуры, – сказал я сидящему за столом. – Вы – из КГБ, – тому, кто держался с видом хозяина. – А вы, – и я попытался сообразить, откуда же третий, но ничего полицейского в его лице не было, – не знаю, просто не знаю.

Один оказался старшим следователем прокуратуры Шиловым, другой – оперативником КГБ Сидоровым, хоть он и был "душой обыска", но выдавал себя за капитана милиции, охраняющего Шилова от покушений Горбаневской, третий никакого отношения к КГБ не имел – это был философ Борис Шрагин, пришедший с той же целью, что и я. Пришел я в самый напряженный момент: только что Горбаневская порезала Шилову палец, и вся его протокольная физиономия выражала – увы – не страдание, а радость: ведь дело пахло если не террористическим актом, то вооруженным сопротивлением властям, нанесением телесных повреждений – или же свидетельствовало о буйном

помешательстве Горбаневской. А какое следовательское сердце не порадуется при таком наборе преступлений!

Горбаневскую ее пятилетний сын попросил поточить карандаш, в этот момент Шилов схватил лежащий перед ней "Реквием" Ахматовой с дарственной надписью и Горбаневская схватила эту дорогую ей книжку, не выпуская бритвы: дернув книжку, следователь слегка порезался. В таком случае ребенку смазывают палец йодом и говорят: до свадьбы заживет. Но следовательский палец ожидала иная судьба: он был внесен в протокол, фигурировал на суде и был признан одним из веских оснований для заключения Горбаневской в психбольницу. Когда на обыске у меня Шилов снова начал бубнить про свой палец, я сказал ему просто, что, по-моему он поступил не по-мужски. Вспоминаю маленькую Наташу Горбаневскую, с ее близорукими глазами, двумя детьми, больной матерью, любовью к Ахматовой и тупой бритвой в руках, и думаю: как не по-мужски поступила с ней вся эта система, олицетворяемая внизу Шиловым и Сидоровым, а наверху неподвижными и каменнолицыми мужами на мавзолее.

Шилов тем временем завел разговор, что жизнь день ото дня делается все лучше – слабое утешение для Горбаневской, которую собирались на несколько лет упрятать в тюрьму. Я спросил его, значит ли это, что сейчас лучше, чем двадцать лет назад.

– Конечно! – воскликнул Шилов.

– Выходит что же, при Сталине хуже было?

Шилов замолк, а Сидоров весь напрягся, оставив на минуту бумажки и книжки. Дул уже три года сквознячок сталинизма сверху – и в "органах" ощущался он, я думаю, сильнее, чем где бы то ни было. Впрочем, скажи Шилов, что при Сталине было лучше, у меня наготове другой вопрос: выходит, вам Брежнев не нравится?! Однако Шилов, долго помолчав, ответил: "Пожалуй, сейчас жизнь все-таки получше", – после чего меня выставили из квартиры. С Горбаневской я увиделся только через шесть лет в Москве, со Шрагиным – через семь лет в Нью-Йорке, Шилова и Сидорова – увы – я снова встретил через два месяца. Шилов на прощанье сказал, что из меня получился бы хороший следователь – думаю, высший комплимент в его устах.

После выхода "СССР до 1984?" я дал первые интервью американским корреспондентам: Джиму Кларити для "Нью-Йорк Таймс" и Биллу Коулу для СиБиЭс. Кларити говорил по-русски правильно, но очень медленно, был человек меланхоличный, усами и телом немного похожий на моржа, когда он брал интервью у меня, он так неуклюже ворочался в кресле, что оно развалилось под ним – кресло мы потом кое-как склеили и уже не предлагали американцам. Коул, напротив, был сухощавый, подвижный и нервный – было видно, что жизнь в России не для него, все принимал он близко к сердцу, по-русски он не говорил.

С обоими у нас установились хорошие отношения, и мы несколько раз были у них в гостях. Американское и вообще западное гостеприимство носит характер отлаженного механизма, оно лишено элементов русской импровизации. Когда нам предлагали джин с тоником, виски или водку, ставя на стол миску с орешками, я сначала немного нервничал, думая, вот так закуска, в матушке России к водке подали бы грибки, студень, пирожки, рыбку да еще черт знает что, а здесь так и уйдешь с пустым желудком – однако за "дринком" следовал, к моему облегчению, обед, но уже без водки, тоже совсем не по-русски, иногда очень неплохой, но почти никогда по-настоящему хороший. Как-то нам подали торт из тыквы – тыкву мы ели только во время войны, и тыквенная каша в моем сознании связана с самой отчаянной бедностью и голоданием – помню, с какой жадностью ел я после этой каши американскую свиную тушенку, незабываемый символ ленд-лиза, и те же самые великодушные американцы додумались делать торт из тыквы, думал я. Но как раз у Кларити на обеде нас угостили жирной свининой – я вообще не люблю жирного, а Гюзель выросла в мусульманской семье, так что мы похвалили обед без энтузиазма, и Джим перевел жене, что после такого обеда я собираюсь писать протест в "Нью-Йорк Таймс".

Интервью для СиБиЭс было первым телевизионным интервью диссидента, меня могли увидеть и услышать миллионы людей. И каким ударом было узнать, что в Шереметьевском аэропорту пленку конфисковали – впоследствии перед судом она была прокручена в качестве одного из вещественных доказательств. Я думал, что Билл смертельно напугался, но он предложил повторить интервью – я с радостью согласился, предупредив только, чтоб он не вздумал вывозить пленку сам. Я пригласил также Якира: предварительно хорошо выпив, стуча кулаком по столу, все более воодушевляясь и не договаривая фраз, на первый же вопрос он стал отвечать так пространно, что получилось не интервью, а монолог. Вскоре Билл взял интервью у Буковского, а из лагеря удалось провезти магнитофонную ленту с обращением Гинзбурга – и программа с нами четырьмя была показана летом по американскому и европейскому телевидению.

Якир и я надеялись, что первое интервью из России будет сенсацией, но мне рассказывали потом, что СиБиЭс даже с некоторой неохотой пустила эту программу: мы все говорили по-русски, а американские телекомпании, пренебрегая возможностью получать информацию о мире из первых рук, не хотят интервью на иностранных языках: если зритель не слышит прямой английской речи, ему становится скучно.

После этого я понял, почему не любят американцев. Я думал раньше, что главная причина нелюбви – зависть к американскому богатству и ощущаемая как унижение зависимость от США в деле обороны. Но гораздо более глубокая причина – это бессознательная

уверенность американцев, что они могут обойтись без других народов. Средний американец – а в Америке все построено на угождении "среднему американцу" – не умом, конечно, но сердцем совершенно не сознает, что есть другие миры, кроме Америки – и потому хочет принимать только то, что укладывается в рамки его культуры, отсюда не пренебрежение к другому языку, пренебрежения нет, но отсутствие интереса, а быть неинтересным, конечно, очень обидно. Правда, американцы ходят по Европе увешанные фотоаппаратами, но этот интерес сродни интересу к развалинам Кносского дворца, это не есть живое чувство взаимозависимости, которое и делает людей и культуры интересными друг другу.

После арестов Литвинова, Григоренко и Красина самым видным и активным участником Движения оказался Петр Якир. Зимой 1969-70 годов я часто бывал у него, никаких "сред" или "четвергов" он не устраивал, вся неделя была сплошным "четвергом". Жил он в двухкомнатной квартире с матерью и женой, с которой познакомился в лагере, трое они провели в заключении более полувека, особенно сильно это чувствовалось в русской жене Якира, которую я никогда не видел веселой.

Сам Якир производил противоположное впечатление – можно было сказать, что он "брызжет весельем", Гюзель называла его – черноволосого, курчавого и толстопузого – Вакхом; вот он сидит в окружении девушек за уставленным скромными закусками столом со стаканом водки в руке, с вылезающим из рубашки пузом, и добродушно кричит на теснящихся за другим концом стола родственников: "Цыц, жиды!" Благодаря своему имени он был вхож в круги истаблишмента, но тяготел к демократической публике, к тем, с кем можно быть "сан фасон", квартира его всегда была полна людьми, иногда довольно странными – помню, в частности, человека, который накануне столетия Ленина прошел пешком из Москвы во Владимир и попросил начальника тюрьмы показать ему камеру, где сидел учитель Ленина Федосеев.

Якир был типичным холериком, энергичным, неглубоким, быстро заводящимся, но должным скиснуть при первом же испытании, холерическое возбуждение нуждалось в допинге, и поглощалась в огромных количествах водка. Биолог с мировым именем решил бороться за права человека и, как добросовестный ученый, изучить методику борьбы – он отправился к Якиру как студент к профессору, тот встретил его в одних трусах, и вместо брошюры "Что делать" протянул стакан водки, растерявшийся ученый выпил, закусил, послушал заплетающиеся речи Якира – и больше никогда к нему не приходил. Эта дурная репутация переносилась на Движение в целом, к радости тех и благодаря тем, кто не любил Движение как вызов их нечистой совести, считая, что угождение властям расстрогает их и

поведет к "либерализации", а сопротивление – к сталинизму.

Боюсь, что сходное впечатление, хотя и без этих подспудных чувств, Якир производил и на иностранных корреспондентов, "кóров", как он их называл, через которых Движение возвещало о себе "городу и миру", отношения у него с ними тоже складывались "сан фасон". Застолья Якира и Красина с корреспондентами сопровождались разговорами в стиле: – Кто, по-вашему, участвует в борьбе? – Только мы! В это "мы" они включали, впрочем, и тех русских, кто сидел с ними за столом. Это способствовало – хотя и не было главной причиной – возникновению теории, что Движения нет, а есть несколько отчаянных интеллигентов, которых с политической точки зрения можно не принимать во внимание. Для самих Якира и Красина это "только мы" приводило к теории вседозволенности: все позволено тем, кто не щадит жизни в борьбе, в то время как остальные прозябают в трусости, а следовательно, можно напиться в гостях, да еще взять домой несколько бутылок, не отдать деньги и тому подобное. Уже после моего ареста потребовали от Якира бросить пить или от Движения отстраниться, он только матерно выругался. Позднее, правда, – как своего рода диалектическая антитеза – появились диссиденты, кричавшие, разиня рот, что их ртом говорит сама Россия, но и отсюда следовало, что значит – все дозволено.

Я защищал Якира "до последнего дня": не одобряя его пьянства, стиля жизни и метода ведения дел, я считал, однако, что он одним из первых открыто выступил против этой системы и вел, хотя по-своему, по-якировски, борьбу с ней, в то время как многие его критики в пьянстве Якира видели хорошее оправдание своей "трезвости". Мне казалось, что многое дурное в Якире – наносное, что при таком серьезном испытании, как арест, проявятся лучшие его качества. Большую роль для меня играл ореол его лагерного срока – не имея еще сам лагерного опыта, я многого не понимал. Так что я не заслужил характеристику, которую Якир дал мне на допросе в КГБ, сказав, что я "рассчетлив, замкнут и высокомерен" – в нем самом я как раз многое не расчел.

Во время войны у Якира был короткий перерыв в заключении – и в это время он сам служил в НКВД, правда, не в следственном отделе или лагерной охране, а в группах, которые забрасывались в немецкий тыл. Мне готовность служить тем, кто держал его в тюрьме, была не совсем понятна, впрочем, то было время смещения и утери многих ценностей – ведь и отец его перед расстрелом крикнул: "Да здравствует Сталин!" – а Петра швырнули в тюрьму почти ребенком. Возвращение из успешного рейда отмечали в ресторане, зашел спор, среди кого больше предателей – среди украинцев или белоруссов. Не помню, кого Якир посчитал большими предателями, но его мнение не совпало

с официальным – а у нас на все есть официальная точка зрения, – и как ранее сидевший "сын врага народа" он получил новый срок.

Как и со мной, московское общество задавалось вопросом, почему Якира не арестуют – удивительная страна, где общество решает за политическую полицию, когда и кого она должна арестовать, и нервничает, если полиция медлит: своего рода форма общественного давления на КГБ. На сцене разворачивалась борьба одиночек с системой, а хор за кулисами пел: они благородны, но наивны – плетью обуха не перешибешь, они затевают "мышиную возню" – зачем дразнить кошку, они совершают "объективную провокацию" – до субъективной один шаг. В первую очередь выдвигалась гипотеза, что если сам Якир и не агент КГБ, то КГБ использует его дом как ловушку. Допускали, что власти считаются с матерью Якира, вдовой расстрелянного в 1938 году командарма Ионы Якира.

Иону Якира хорошо знал Хрущев и старался для его семьи что-то сделать. После смещения Хрущева Петр был у него, часто звонил, а жена Хрущева звонила ему, радуясь, что он на свободе. Думаю, власти медлили с арестом, отчасти боясь реакции Хрущева – как бы не стал диссидентом, чем далее в прошлое уходило время его власти, тем более либерален он становился. По словам Якира, Хрущев увлекся народническими идеями, его и Сталин когда-то в насмешку назвал "народником".

Перед моим арестом мы уговаривались вместе поехать к Хрущеву, мне очень интересно было узнать, читал ли он "СССР до 1984?".

Якир тоже называл себя народником, хотя никакой общей и ясной концепции у него не было, им двигало чувство отвращения к сталинизму. У него не было и никакой определенной тактики, он делал все импульсивно. Помню, я сказал ему, что открытые обращения не вызовут сейчас отклика, важнее сосредоточить все силы на "Хронике текущих событий" и на самиздате в целом, он охотно согласился – и тут же подписал какое-то обращение. В марте 1970 года я попросил его написать открытое письмо – в "Таймс" для заграницы и в "Хронику" для читателей самиздата – как противовес слухам, что "СССР до 1984?" написан по заданию КГБ. Якир тут же написал, причем получалось так, что он соглашается с моими скептическими оценками перспектив демократии в России.

– Получается не очень удачно, – сказал я. – Ты – одна из ведущих фигур Движения, а пишешь, что не веришь в его будущее. Надо бы вписать фразу, что в этом ты не согласен со мной.

– Ну так впиши, у тебя лучше получится. – сказал Якир. – И я добавил, что он не согласен *"с оценкой перспектив Демократического движения. Хотя сейчас его социальная база действительно очень узка,*

и само по себе Движение поставлено в крайне тяжелые условия, провозглашенные им идеи начали широко распространяться по стране, и это есть начало необратимого процесса освобождения".

21 февраля у нас был новый обыск, с участием все тех же Шилова и Сидорова, Сидоров даже обиделся, что я не узнал его сразу. Обыском руководил томный молодой человек с такими ужимками и подергиванием плечами, с каким юная девушка отвечает на вопрос, на замужем ли она. Тщательного обыска не было, взяли только пишущую машинку и несколько иностранных журналов с отрывками из "СССР до 1984?". Сидоров как можно картиннее раскладывал журналы и чеки Внешторгбанка на моем столе – и делали киносъемку, западногерманской камерой, так что я высказал предположение, не переодетые ли они "западногерманские реваншисты", впоследствии в лагере на меня надевали американские наручники переодетые "американские империалисты". Ни меня, ни Гюзель не снимали вообще, зато набросились на наших гостей, которые пришли в разгар обыска.

Еще несколько дней назад мы пригласили на обед корреспондента "Нью-Йорк Таймс" г-на Гверцмана с женой, не исключаю, что – прослушивая телефонные разговоры – КГБ знал об их приходе и решил запечатлеть его на пленку как живое доказательство моих связей с заграницей. Гверцман был необычайно испуган, тем более, что он только недавно приехал в Россию, когда он вернулся в бюро, у него тряслись руки. На вопрос следователя, я ответил, что это наш друг, который был приглашен на обед. Говоря "друг" я вовсе не хотел набиваться Гверцману в друзья, это значило только, что он пришел к нам не по делу, а просто в гости. Однако он поспешно сказал, что неверно употреблять слово "друг", лучше сказать "лицо". Он говорил потом, что я агент КГБ и специально подстроил этот обыск, но для него никаких дурных последствий это не имело, и я считаю, что он может быть только благодарен судьбе: для журналиста быть в России и не увидеть обыска все равно, что в Испании не увидеть корриды. На следующий день он прислал к нам на разведку Джима Кларити, который спокойно пообедал у нас и даже играл на улице в снежки с Гюзель. Это, однако, не успокоило Гверцмана, и он не захотел хоть строчкой упомянуть в своей газете об обыске.

Едва Гверцмана отпустили, появилось новое "лицо" – не скажу "друг", а именно наша пьяная соседка Оля, к которой только что вернулся сидевший за изнасилование сын. Насколько Гверцман был неуверен в себе, настолько решительное впечатление производила Оля.

– Где здесь оперативники?! – закричала она с порога. – Берите моего сына! Сажайте его!! Он мать ударил!!!

– Безобразие! Надо вызвать милицию! – загалдели оперативники, только что уверявшие меня, что они не из КГБ, а из милиции. Возмутило

их, конечно, не то, что сын ударил мать, а что плавное течение обыска нарушено возмутительным образом. Я вывел Олю из комнаты, но тут внезапно стал гаснуть свет из-за неисправностей в электропроводке – гебисты же решили, что я заранее сделал специальное приспособление и теперь в темноте что-то перепрятываю. К концу обыска я настолько вывел Шилова из себя, что он отказался оставить мне протокол и забыл вписать, что призводилась киносъемка.

– Можно понять его, сегодня было много обысков, он очень устал, – сказал примирительно Сидоров.

– Это не извинение, я устал еще больше, но ничего не забываю, – ответил я, по своей привычке ставя себя в пример другим.

Говоря военным языком, я пытался перейти в контрнаступление: начал требовать назад вещи, изъятые в мае, ссылаясь на то, что следствие по делу Григоренко закончено. С жалобами на Московскую прокуратуру я обращался в Прокуратуру СССР и в Президиум Верховного Совета СССР, а после февральского обыска к президенту Подгорному – и получал с разными, но равно неразборчивыми подписями однотипный ответ: *"Ваша жалоба направлена в прокуратуру гор. Москвы для разрешения с* **предложением** *сообщить Вам о результатах".* Вопреки закону о месячном сроке для ответа на жалобы, Прокуратура Москвы полгода молчала. Время от времени заходил участковый инспектор и заносил повестки в милицию и военкомат, но я по ним никуда не ходил. Я запасся справкой, что работаю чтецом у слепого, но предъявил бы я ее только в случае последнего предупреждения. Милиция все же помнила о своем поражении год назад, но меня не трогали не из-за ее осторожности и не из-за заботы о слепом, который при моем аресте прозрел бы по крайней мере на мой счет, ибо КГБ способен творить чудеса. Все зависело от того, какой общий курс будет принят "наверху".

Весной 1970 года кризис власти стал достаточно явным для стороннего наблюдателя, ходили слухи, что Брежнев вот-вот рухнет, однако он победил, и это означало, что определенный курс выбран. Я не понимаю, откуда взялась гипотеза, что Брежнев – либерал, и какой смысл его поклонники вкладывают в это слово. После каждого кризиса, приводящего к усилению Брежнева, следовал мой арест: я был арестован после того, как Брежнев стал первым секретарем в конце 1964 года, после того, как он победил в серьезном кризисе 1970 года, и после того , как он победил своих оппонентов в 1972-73 годах в вопросе разрядки. Речь идет не только обо мне, мои аресты каждый раз были знаком общего усиления репрессий. Точно так же "конституционный" кризис 1977 года закончился победой Брежнева – и арестом членов Хельсинских групп.

Ждали, что аресты начнутся сразу же после двух юбилеев: столетия Ленина в конце апреля и двадцатипятилетия победы над Германией

в начале мая, называли даже точную дату: 15 мая. Я заметил слежку за собой, особенно она бросалась в глаза, когда я заходил в подъезд и филер хотел проследить, в какую я иду квартиру. Друзья советовали мне скрыться на время, был даже романтический план жить в пещерах Дагестана, но я решил вести себя так, что все, что я делаю, законно, и мне не от кого и незачем прятаться.

В конце апреля мы съездили на неделю в Ленинград, Таллин и Ригу, до моего ареста я хотел показать Гюзель эти красивые города. Ленинград всегда производил на меня странное впечатление: декорации императорской столицы не вязались с бытом провинциального советского города, я думаю, сами ленинградцы трагически ощущали этот разрыв. Мрачность и несвобода, вообще присущие советскому обществу, в Ленинграде ощущались особенно давяще. Весной 1968 года в Москве один ленинградец сказал мне: "Такое чувство, будто я попал в свободный город". ВСХСОН никогда не смог бы возникнуть в Москве – это типичное детище трагической полустолицы. Когда я проходил по Невскому проспекту, меня не оставляло чувство, что все это – мираж, что стоит свернуть с проспекта, как город тут же кончится, растворится в тумане, в испарении болот, и будут только мхи, лишайники и бесконечные безлесные водянистые засасывающие пространства – петербургская культура это какая-то новая Атлантида, но не рухнувшая в море во внезапной катастрофе, а постепенно засасываемая болотистой трясиной, из которой еще торчат верхушки домов, высовываются руки и подчас раздается сдавленный крик – Ахматовой.

Совсем иное впечатление произвел Таллин, "старый город" которого кажется мне одним из самых красивых в мире – портит его только безобразная православная церковь, построенная в начале века, знак неумолимой руссификации. Таллин – действительно столица, очень маленькая столица очень маленькой страны, но город был явно тем, за кого он себя выдавал. В центре мы увидели кошку, которая спокойно на краю мостовой ела рыбу – вещь, невозможная в России, где в два счета эту кошку кто-нибудь пихнул бы ногой. Эстонцы держались сдержанно и вежливо, за все время мы встретили на улице только двух пьяных, увы, русских: беспрерывно перемежая речь матом, они удостоверялись во взаимном уважении.

Наш гид оказался большим поклонником Солженицына, не скрывал этого – и вместе с тем работал в цензуре. Никакого впечатления, что он специально подослан нам, у нас не было. Но из Ленинграда в Таллин в нашем купе ехало двое молодых людей, с которыми я поостерегся бы говорить о Солженицыне. Зато у нас был разговор о Юдениче, белом генерале, который неудачно наступал в 1919 году из Таллина на Петроград, поэтому один из молодых людей назвал его неудачником. Я возразил, что едва ли верно называть неудачником человека, который как-никак стал генералом, и оба охотно согласились со мной –

видно, вопрос о чинах занимал их.

В середине мая мы переехали в Акулово, шофера почти на час задержала милиция – он сказал, что проверяли путевые документы и взятку вымогали, но стал относиться ко мне со странным почтением. На следующий день я заметил прогуливающихся по деревне "дачников", постоянно приглаживающих волосы столь знакомым профессиональным жестом, я все еще надеялся, что это просто проверка, здесь ли я. Считая арест неизбежным, я странным образом чувствовал себя на даче в большей безопасности, чем в Москве; это чувство рационализировалось поговоркой "с глаз долой – из сердца вон", то есть, коль скоро я не мельтешу пред глазами КГБ в Москве, он махнет на меня рукой.

Неделю у нас прожили двое наших друзей, и 20 мая я повез их на станцию – потом я часто вспоминал эту поездку, медленно бегущую лошадь, скрипящие ступицы телеги, поля и врастающие в землю домики из красного кирпича.

Часть II

ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА,

1970-1973

Глава 10.

АРЕСТ

Утром 21 мая я работал в саду и увидел, как фургон совхозного инженера стал за домом нашего соседа, одинокого старика. Я подумал: зачем это инженер к нему приехал? – и тут же забыл об этом. Но только мы сели пить кофе, как Гюзель из окна увидела, что к нам идут двое: старик и второй, с лицом гебиста. Старик мялся, а его бойкий спутник с самыми дружелюбными ухватками начал спрашивать, где мы будем "голосовать" – здесь или в городе. Приближались "выборы" – мы никогда в этой комедии не участвовали, но, чтобы не вступать в ненужные объяснения, я ответил, что "голосовать" будем в Москве. Он не уходил, однако, и, упрямо топчась в сенях, переспрашивал то же самое.

– Так вы агитатор? – спросил я, подталкивая его к двери.

– Да, с одной стороны агитатор, но вообще-то не агитатор.

– Так кто вы такой? – и тут у меня прямо потемнело в глазах: масса темных костюмов внезапно рванулась с улицы на террасу, проталкивая и отпихивая друг друга как в метро в часы пик.

– Мы к вам с обыском, Андрей Алексеевич, – обрадованно гаркнул здоровенного роста мужчина, с грубо отесанным, но не жестким лицом. – По постановлению Свердловской прокуратуры! – И на мой удивленный взгляд добавил. – Обнаружены и у нас в Свердловске ваши сочинения.

Мне не хотелось показывать, что я напуган или растерян, сразу поддаться им – и я насмешливо сказал напиравшему на меня следователю: " То-то видно, что вы из провинции, в Москве "органы" стали поотесанней". Я захотел допить кофе – и мне дали его допить, напряженно смотря в рот.

– Вы можете нас презирать, но предложите нам сесть! – вскричал один.

– Хозяева здесь вы, – сказал я, – можете садиться, где хотите.

От меня потребовали, чтобы я ехал в Москву, а здесь проведут обыск в присутствии жены. Я сказал, что жена ни при чем, пусть делают обыск при мне. Мы несколько минут пререкались, и свердловский следователь со словами: "Ну, тогда будет другой разговор", – достал из портфеля ордер на арест. Хотя я ждал ареста, сознание его бесповоротности подействовало тяжело, меня успокоило, однако, что

ордер подписан следователем прокуратуры, а не КГБ, значит – ст. 190[1] и три года.

– Ордер этот ко мне отношения не имеет, – сказал я, – здесь речь идет об Амальрике Андрее Алексеевиче, 1939 года рождения, а я, правда, тоже Амальрик, имя и отчество сходятся, но год рождения другой – 1938.

– Это мы просто перепутали, это мы поправим, – заволновался следователь, ему действительно пришлось съездить к прокурору, пока гебисты делали обыск; столько следили за мной, а года рождения узнать не могли.

Уезжать до обыска я во всех случаях отказался, и тогда они схватили кресло, в котором я сидел, и понесли меня наподобие китайского богдыхана – хотя в дверях и вывалили без всякого почтения в сени, в дверь кресло не пролезло. Двое-трое здоровых мужиков без всякого труда вытащили бы меня из дома, но их было слишком много, каждый хотел показать свое усердие и бросался меня тащить, мешая другому, так что образовался клубок тел, в центре которого я скорее беспомощно барахтался, и этот клубок, застревая поочередно в дверях сеней и террасы, выкатился, наконец, на улицу, где стояло уже несколько "волг" – в одну из них стали меня запихивать, особенно старался, тяжело дыша и матерно ругаясь, мой старый приятель капитан Сидоров.

– Ну что, успокоился?! – спросил он, влезая следом за мной.

– Успокоился, – сказал я, в сущности я хотел оказать только символическое сопротивление. Около машины появилась Гюзель и с плачем протянула мне теплые носки – почему именно о носках вспомнила она в эту минуту? Мы поцеловались, не зная, когда сможем увидеться, и Сидоров велел шоферу ехать.

Гебисты приехали на четырех машинах, у правления совхоза пересели в фургон инженера, а затем выслали вперед лжеагитатора: боялись, что, увидев идущую по деревне толпу, успею скрыться или снова сожгу что-нибудь. Можно сказать, что их план удался.

Рядом с шофером сидел мой следователь, Иван Андреевич Киринкин, а сзади обсели меня Сидоров и молодой гебист, он начал в середине пути клевать носом, и я показал Сидорову глазами: подводит молодежь. На мягкий упрек Сидорова, тот вздохнул: "Ничего не могу поделать, режим, привык спать в это время", – вид у него был спортсмена, следящего за собой. Я молчал всю дорогу, хотя Киринкин пытался несколько раз заговорить. Удачная операция настроила Сидорова лирически, и пока мы ехали по проселочным дорогам, он несколько раз повторял: "Эх, выпить бы деревенского молочка!" Не он, однако, был здесь главный – и выпить молочка ему не удалось, по сигналу из второй машины мы остановились около захудалой столовой: гебистам пора было обедать, режим. Пока мы стояли, мимо меня раза два

прошел человек, лицо которого мне было знакомо по прежним судам, походил он, с одной стороны, на усеянную бородавками жабу, а с другой, на будущего государственного секретаря США Киссинджера. Он руководил всей операцией, но, как великий стратег, сам не принял участия в бою.

На улице Вахтангова охранник-спортсмен, достав из багажника мое пальто, поспешил вверх по лестнице, видно было, что он человек с чувством достоинства и тащить за арестованным пальто кажется ему унизительным, он даже окликал меня несколько раз, я же, понимая его тонкие чувства, наоборот, ускорял шаги – так что он догнал меня только у дверей квартиры. Мы опоздали: назначенные "понятые" ушли. Пригласили двух молодых людей действительно с улицы, очень робевших и ни во что не вмешивавшихся. Только один, когда переворачивали матрас, восхищенно сказал: "Хороший матрасик!"

– У Андрея Алексеевича все хорошее, все заграничное, – ехидным голосом подхватил Сидоров.

– Разве же заграничное хорошее, хорошее это наше, советское, – ответил я, и Сидоров умолк.

До прихода понятых обыска начинать не имели права, я настоял, чтобы все дожидались в коммунальной кухне, на нашей полке лежал пакет, но я понадеялся, что обыск в кухне делать не будут. Оказалось, что шести человек на меня одного мало, появился седьмой и, извинившись за опоздание, протянул мне руку, приняв меня по уверенному виду за одного из следователей.

– Вы ошиблись, – сказал я со смехом и не подавая руки, и он испуганно отскочил, оказался он человеком очень мнительным и долго не хотел называть свою фамилию.

– А звание у вас какое?

– Это не имеет значения.

– Имеет огромное, – сказал я. – Раз вы служите, для вас смысл жизни в получении очередного звания.

Обыск был недолгий, хотя и доставил мне большое огорчение: как раз в день отъезда на дачу я ждал курьера от Карела, курьер не пришел, но появились шофер, несколько знакомых, и я не мог при них перепрятывать рукописи, оставив все до скорого возвращения в Москву – и вот возвращение состоялось. Особенно мне было неловко, что конфисковали рукопись Владимира Гусарова "Мой папа убил Михоэлса". Отец его был первым секретарем ЦК КП/б/ Белоруссии в то время, когда в Минске по приказу Сталина был убит Михоэлс, но сам Гусаров пишет, что это было дело рук Цанавы, министра госбезопасности Белоруссии и племянника Берии. Книга эта – описание детства в семье партработника, артистической карьеры, ареста и тюремной психбольницы в сталинские годы – оставила впечатление горькой, откровенной и талантливой. Зная, что ее автор чудак и

разгильдяй, я очень боялся, что у него нет другой копии и книга пропадет, причем, по моей вине. С этим неприятным чувством я прожил семь лет, и только недавно узнал, что одна писательница вывезла рукопись в Израиль.

Я решил не уходить из дому до возвращения Гюзель, пусть меня опять волокут силком. Однако к концу обыска ее привезли – и мы обнялись на прощанье, чтоб увидеть друг друга через восемь месяцев. Когда меня вели по коридору, неожиданно выскочила из кухни соседка со словами: "Вам пакет!" Гебисты бросились на пакет из США с жаром, раскрыли – и там оказался "Новый завет" по-русски.

– Оставьте его, – поколебавшись минуту, сказал Сидоров. Думаю, он исходил из здравой мысли, что моя почта просматривается, и раз книга пропущена – значит ничего опасного нет, но мог бы изъять ее и просто из вредности.

Постановление об аресте было датировано сначала 15 мая, что подтверждало слухи о начале арестов, затем переправлено на 19, затем на 20 мая – может быть, ждали отъезда наших друзей с дачи, чтобы и у них сделать обыск.

В протоколе обыска в Акулове *"было предложено указать местонахождение отыскиваемого и добровольно выдать не подлежащие хранению предметы – оружие и прочее"* – старое охотничье ружье затем было передано милиции и никакой роли не сыграло; в Москве – *"добровольно выдать литературу и документы антисоветского содержания"*. В числе таких документов была изъята фотокопия статьи из "Правды" о Кареле. Хотели также изъять машинописную главу из "Истории тайной дипломатии" Маркса: "Маркс тоже много такого понаписал, что можно и по 70-й привлекать.

Повезли меня не в Лефортово, а в Бутырки – тюрьма рангом пониже, как ст. 190[1] пониже ст. 70, так что мой план как будто реализовался. Напряжение, связанное с арестом и обысками, отошло, я даже повеселел, Сидоров и Киринкин моему веселому настроению обрадовались.

– Андрей Алексеевич человек умный, – говорил Сидоров, намекая, что надо колоться, – он долго сидеть не будет, годик – и хорош. – Мой ум не давал ему покоя. – Вот вы человек умный, а жена ваша, – я думал, он скажет "глупая", но он сказал, – простая, начнет сейчас по иностранцам бегать и сама себе наделает неприятностей.

Оба не знали, где въезд в Бутырскую тюрьму, и мы долго беспомощно тыкались в разные ворота, пока пожилой старшина не сказал, как когда-то нам с Генри Каммом: "Что, ребята, заблудились?".

– Капиталистическое окружение – оттого и приходится людей сажать, Андрей Алексеевич, – сказал Сидоров во дворе тюрьмы.

– Ну, в тюрьме всегда люди будут, – пожал я плечами.

– Но не такие, но не такие! – патетически возразил он, давая

понять, что я призван для более великих дел, чем прозябание в тюрьме.

— Стой здесь, руки назад! — крикнул дежурный офицер, и железная дверь за мной захлопнулась.

Уже много раз описано, как человек попадает в тюрьму и что он чувствует при этом — наиболее пронзительно, как мне кажется, в "Круге первом" у Солженицына. Я постарался описать это в "Нежеланном путешествии", теперь — пять лет спустя — я снова был введен в тот же приемник Бутырской тюрьмы, с тем же плакатом "На свободу — с чистой совестью!" над дверьми, ведущими на свободу, и снова прошел через рутину приема: регистрацию, фотографирование, снятие отпечатков пальцев, обыск, изъятие ценностей, стрижку наголо, баню, выдачу тюремных вещей и развод по камерам — процедуру, лишенную для меня на этот раз прелести новизны. Пожилой старшина, который держался со мной очень торжественно, записывал мои данные, сидя за дощатым барьером и глядя в окошечко. Тут же за барьером две невидимые мне служащие комментировали мои ответы.

— Смотри-ка ты, жена не работает! — воскликнула одна.

— А чего ей работать! — объяснила другая. — Ты за копейки работаешь, а он рубли получал: связался с американской разведкой, — говорила она это не с осуждением, а скорее с завистью.

Меня поместили в бокс — крошечную камеру, где я не мог ни лежать, ни ходить, а только сидеть или стоять — и там продержали сутки. Думаю, это сделали для того, чтобы я сразу почувствовал, что такое тюрьма — чем сильнее надавить сначала, тем скорее крошится воля. Перед баней между двумя надзирателями, или, как они стали теперь называться, контролерами, произошел спор.

— Этого строго отдельно, — сказал опрашивавший меня старшина.

— Ничего, помоется со всеми, — отвечал другой, ему не хотелось делать два рейса в баню. Когда нас вели по двору, я заметил, что там, где пять лет назад были прогулочные дворики, теперь выстроен новый корпус, нововыстроенные корпуса были почти во всех тюрьмах, где я потом побывал, при том и старые были забиты — не знаю, как это совместить с официальными сообщениями, что преступность снижается.*

Я боялся одинаково как одиночной камеры, так и общей, где будет человек сорок. В камере оказались двое, и оба дружелюбно приветствовали меня. Их удивил мой вид, обычно люди с воли попадают в более растерзанном состоянии духа и лишь постепенно приходят в себя, но я, как я уже говорил, приучил себя к мысли о тюрьме. Едва войдя

---

*Я говорю "тюрьма", хотя официальное название "следственный изолятор" — заключенных содержат здесь во время следствия и до вступления приговора в законную силу. Собственно тюрьмой, на языке заключенных "закрыткой", называется тюремное здание, где содержат заключенных по приговору.

в камеру, я с жадностью стал пить воду из крана – за сутки в боксе меня измучила жажда.

Физик Александр Борк, с сухим и сдержанным лицом ученого, сел по обвинению в получении взяток на приемных экзаменах в институты, ожидало его от 8 до 15 лет заключения, на воле у него остались жена и маленький сын. Тренер по горным лыжам Илья Романенко сел, как он сказал, за "заранее обещанное укрывательство краденого". Двое молодых людей решили бежать за границу, сделав для этого маленькую подводную лодку: чтобы не быть засеченной радарами, она должна была присосаться к подводной части идущего заграницу судна. Для ее строительства нужны были деньги, и изобретатели ограбили магазин, причем не обошлось без убийства. Часть украденных плащей "болонья" Романенко по их просьбе спрятал у себя. Был он попроще, чем Борк, поавантюрнее и покомпанейски, теперь я могу с уверенностью сказать, что он был осведомителем. Следствие у него кончилось, он ждал трехлетнего срока – и мог сразу рассчитывать на условное освобождение. Думаю, что в деле своих друзей – изобретателей он сыграл печальную роль, да и у Борка многое выпытал. Я просидел с ним слишком недолго, чтобы он мог сделать что-то дурное мне, наоборот, он приучил меня каждое утро делать зарядку и обливаться холодной водой, что помогло мне за годы тюрьмы и лагеря и что я и теперь делаю.

Мы проводили время совсем не плохо, в оживленных разговорах, в чтении книг, я даже начал курс лекций по истории Демократического движения, которые восемь лет спустя продолжил в Гарвардском университете – Романенко смотрел мне в рот, предвкушая, сколько материала я ему дам для опера. Уже через три дня пришла передача от Гюзель – и это оживило наш стол, впрочем, Романенко держал свои разнообразные продукты отдельно, шуршал по вечерам шоколадной бумажкой, и, когда меня выводили из камеры, его напутственные слова были: "Не очень делись продуктами!" Он по-своему хорошо относился ко мне и, кроме доброго совета, дал плитку шоколада в дорогу.

25 мая меня "дернули" из камеры, дежурный офицер хотел, чтобы на меня надели наручники, но Киринкин и Сидоров запротестовали и благополучно довезли меня до следственного отдела Прокуратуры СССР. В "постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 190[1] УК РСФСР" мне ставилось в вину: "СССР до 1984 года?", "Путешествие в Сибирь", статья "Русская живопись последнего десятилетия" и интервью Кларити и Коулу, Киринкин забыл "Письмо Анатолию Кузнецову", хотя из всех моих писаний только оно было обнаружено в Свердловске и было единственной зацепкой для ведения дела там.

Перед каждым, обвиняемым в распространении своих или чужих взглядов, открываются несколько возможных тактик на предваритель-

ном следствии и суде. Во-первых, он может признавать инкриминируемые ему писания и высказывания антисоветскими, признавать факт их распространения и раскаиваться в содеянном – тактика, наиболее желаемая для следователя. Однако и внутри этой возможности есть разные варианты: можно идти за следователем – признаваться только в том, в чем он вас уже уличил и что ему и без вас известно, но можно забегать вперед и вываливать все без разбора, говоря языком блатных, "колоться до жопы".

Во-вторых, можно признавать и факт распространения, и оценку писаний или высказываний как антисоветских – но раскаяния при этом не выражать: "Считаю свои взгляды антисоветскими и от них не отказываюсь!" Такая позиция, в общем, тоже облегчает работу следователя и может создать серьезные проблемы для других, замешанных в этом деле.

В-третьих, можно признавать факт распространения, но отвергать оценку писаний или высказываний как антисоветских или клеветнических, наоборот, подчеркивать, что действия носили совершенно легальный характер, а преследование за них незаконно. Это была тактика большинства участников правозащитного движения, она не допускала выскакивание вперед со сведениями, следователю не известными, а также дачу показаний о других.

Наконец, могла быть тактика отрицания инкриминируемых деяний, вне зависимости от того, имели они реально место или нет. Подследственный говорит при этом: нет, я этого не говорил и не писал, нет, я этой рукописи не брал и не давал, а тот, кто утверждает обратное, ошибается или клевещет на меня. При этом можно соглашаться с оценкой высказываний или писаний как антисоветских, можно не соглашаться или вообще никаких оценок не давать. О последнем казусе я буду подробно писать далее.

Теперь же я выбрал пятый вариант. Я сказал Киринкину, что ни антисоветскими, ни клеветническими я свои писания не считаю и никаких показаний на следствии давать не буду. Еще до ареста я решил поступить так во всех случаях, какое бы обвинение мне не предъявили, и исходить не из отрицания фактов или их оценок, а из отрицания права суда и следственных органов преследовать людей за их взгляды – верны они или ошибочны, вопрос другой.

Киринкин печально посмотрел на меня и сказал: "Тогда с ходу 70-я". Я только руками развел, показывая полную покорность судьбе, но тут эту угрозу всерьез не принял, я полагал, что ст. 190[1] выбрана высоким начальством и едва ли ее из-за моего поведения будут менять, я во всех случаях получу максимально три года, только за полное покаяние и самооплевывание мне дали бы год. К тому же моя позиция позволяла мне избавиться от мелочной возни с признанием одного, отрицанием другого, споров со следователем, что советское и

что антисоветское. Впрочем, ни Киринкин, ни Сидоров тоже о моем отказе не очень беспокоились: ты, мол, только что попал к нам, голубчик, посидишь месяц-другой, не так запоешь.

С Сидоровым у меня завязалась теоретическая дискуссия, как бы отнеслись "советские люди" к моей книге, если бы смогли ее прочесть, начиная от моих соседей и кончая "широкой рабочей аудиторией", к которой разные чины всегда любят аппелировать, имея в виду не реальных рабочих, а некоторую фикцию.

– Устраивайте мне встречу с рабочими, – сказал я. – Не знаю, как они меня встретят, но проводят аплодисментами.

– Да вы же на советскую власть клевещите, говорите, что она не просуществует до 1984 года! – возмутился Сидоров. – Мы не выступление вам будем устраивать, а судить за клевету.

– Так вам тогда надо подождать до 1984 года, просуществует власть – судите, не просуществует – значит, я пишу правду.

Чувствовалось, однако, что ни Сидоров, ни его начальники не могут ждать так долго.

– Я не желаю Советскому Союзу гибели, – сказал я Сидорову, – но хочу указать на возможные опасности, надо же думать о будущем. По-вашему, например, что будет в 1984 году?

Сидоров, подумав, ответил: "Жизнь будет еще лучше!"

– Я вашу книжку прочитал, так вообще ничего не понял, – с насмешкой сказал Киринкин.

– Как же дело возбудили, ничего не поняв?

Киринкин промолчал, но я поверил, что он ничего не понял, он был человек простой, занимался, как мне потом сказал, делами об убийствах, в историю с книжками попал случайно, и у него не было достаточной интеллигентности, ни даже интереса, чтоб этим заниматься. Единственный вопрос, который его по-настоящему волновал, как, впрочем, и Сидорова, сколько мне заплатили за книги и удастся ли мне эти деньги получить. Видно было, как огорчает Киринкина, что я пользовался валютными магазинам, куда ему – увы – доступ был закрыт. Неоднократно мне делались намеки, что я из-за денег писал все это, а вовсе не из-за идейных соображений – при этом на меня многозначительно смотрели, ожидая оправданий, но я всегда отвечал: "Да, из-за денег", – после чего дальнейшие вопросы отпадали, подтверждая взгляд, высказанный мной когда-то Генри Камму.

Едва меня посадили, как пришло несколько денежных переводов, на них был наложен арест – но конфисковать их власти не могли, требовалась сначала моя подпись, чтобы принять их от иностранных банков. Внешторгбанк прислал Свердловской прокуратуре рекомендацию, что наилучшим решением вопроса будет, если я "пожертвую" эти деньги государству, но надо отдать должное Киринкину, зная мое отношение к деньгам, он даже не предложил мне этого – и переводы

вернулись к тем, кто их послал.

Не помню, каким путем мы ехали с Большой Лубянки до Бутырской заставы, помню только общее ощущение Москвы и воздух, пахнущий только что прошедшим дождем. "Красивый у вас город, Андрей Алексеевич", – сказал Киринкин, более, чтоб напомнить мне, что я этот город долго не увижу. Но я не жалел об этом, я смотрел скорее как равнодушный путешественник, пресыщенным обилием виденного – полный контраст с той жадностью, с какой я смотрел на московские улицы из окна "черного ворона" пять лет назад, с той тоской, с какой я вспоминал московские бульвары в сибирской ссылке. Не знаю, почему я так изменился, может быть, опыт десяти лет был горек для меня, и эта горечь отравляла многое.

На следующий день меня, недолго подержав в боксе, одного пихнули в воронок. Я терялся в догадках: сначала думал, что меня перевозят в Лефортово, потом решил, что в Институт судебной психиатрии им. Сербского – несмотря на все уверения в корыстолюбии; увидя, что машина свернула в противоположную сторону, я даже подумал, не за границу ли меня высылают. Но время для высылок еще не пришло, мы подъехали к Казанскому вокзалу, и я понял, что меня этапируют в Свердловск.

Глава 11.

СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР: "НА СПЕЦУ"

Двое суток до Свердловска * я провел в отдельном купе – лучше сказать, в отдельной камере столыпинского вагона. Где-то на полпути в соседнюю камеру посадили мордовку, молодую, очень толстую, с тяжелым лицом, она села за поджог склада, и я подумал, что она работала кладовщицей и хотела таким образом скрыть недостачу, но ошибся.

– Оттого подожгла, что жизнь тяжелая, – сказала она. – Жрать нечего, в магазинах пусто, платят мало, а начальству слова не скажи.

Я впервые столкнулся с традиционным для России "красным петухом", время от времени происходят такие спонтанные вспышки – как вызов социальному неравенству. Мне известны случаи еще

---

* Бывший Екатеринбург был переименован в честь Якова Свердлова вскоре после того, как в июле 1918 года здесь была по его приказу расстреляна царская семья.

нескольких поджогов и взрывов на Урале и Колыме, не исключаю, что пожары в Москве в 1977 году – дело рук таких поджигателей.

Зэк-банщик, узнав, что я из Москвы, сразу же спросил, что слышно об амнистии: "парашами" об амнистии к столетию Ленина зэки тешились еще в 1965 году, да тут еще двадцатипятилетие победы над Германией подоспело, представляю, как взвинчивали себя в лагерях и тюрьмах весной 1970 года, но ничего не дождались, кроме куцего сокращения сроков. А в конце мая – на что еще надеялись?

– Ну, дождется Брежнев, что народ за топоры возьмется, – сказал зло банщик. "Нужна новая революция! Нужен новый Ленин! Нужна вторая партия!" – не раз мне потом приходилось слышать в зонах и на этапах. Если будет кем-то сейчас в России разработана теория политического террора против власти – пусть даже не столь стройная как теория террора власти против народа, – теория, оправдывающая борьбу с системой методом поджогов и убийств, быстро найдет исполнителей. Систематического террора "снизу" нет только потому, что пока что ведущее место в оппозиции занимают его принципиальные противники.

Как и в Бутырке, меня поместили "на спецу', то есть в корпусе с камерами на двух-четырех человек, в общих камерах сидело по шестьдесят. Был хороший солнечный день, маленькое окошко было под самым потолком, но без намордника, и солнечные лучи лежали на желтых стенах. Пять шагов в длину, три в ширину, справа унитаз, за ним углом две вагонки – двухъярусных металлических койки, в центре – вделанные в пол и стену металлические столик и табурет.

Никого в камере не было. Я сел на металлический табурет, выпил кружку воды, разбалтывая в ней остатки сахара, и почувствовал приближение безысходной тоски. Ощущение тюремной тяжести непередаваемо, равно как и скуки – если вы пытаетесь описать тюремную жизнь, вы цепляетесь за пусть даже незначительные, но события, между тем тюремное существование это в действительности растянувшееся "несобытие", время тянется нестерпимо медленно – но стягивается в вашей памяти в жалкий комочек. Впервые я чувствовал отчаяние, вызванное, быть может, одиночеством, чужим городом, спадом напряжения. Тоска, как всегда в тюрьме, усиливалась к вечеру, услышал по радио Теодоракиса, пластинку которого мы часто слушали с Гюзель, передавали песню, написанную греческим поэтом в немецком лагере, и я не мог сдержать слез.

Радиорепродуктор был в камере, можно было выключить его – несравненное благо, в других тюрьмах радио орало и убеждало из-за железной решетки, делая перерывы только по воле администрации и доводя меня до умоисступления, даже тоска одиночества легче, чем лезущая в уши и в рот, как вязкая вата, пропаганда, даже американская коммерческая реклама не так противна. Впрочем, иногда бывало

что-то интересное. Сообщили, что великий композитор Шостакович написал марш для войск МВД, и теперь они могли конвоировать зэков под его победные звуки. Премьер-министр Канады г-н Трюдо, посетив Норильск, сказал, что в Канаде, к сожалению, нет такого прекрасного заполярного города. Мне хотелось крикнуть через железную решетку канадскому премьеру:"Арестуйте миллион канадцев, отправьте в Заполярье, пусть они под дулами автоматов обнесут себя колючей проволокой, начнут копать шахты и строить дома – и у вас будет такой же прекарасный заполярный город!"

Чтобы занять себя, я тщательно мыл пол в камере, делал зарядку и разгуливал взад-вперед, вспоминая что-нибудь. Большой радостью было, когда принесли книги, впрочем, без выбора, библиотека была плохая, я выпрашивал русскую классику, перечитывал Тургенева, Толстого и Достоевского. В который уже раз перечитал его "Бесов", но с чувством скорее тяжелым, поражаясь искажениям и преувеличениям – не художественным, как у Гоголя, а скорее антихудожественным, видно было, как политическая тенденция подчиняет талант, кника великая, однако. Чаще бибилиотекарша приносила книги, которые я отказывался брать, на что она отвечала: "Раз книги написаны, надо их читать" – чтение казалось ей одной из тюремных повинностей. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, давали "Правду" и "Известия" или местный "Уральский рабочий". Я завел календарь, где отмечал, сколько я просидел и сколько осталось, – зэки говорят, что если дни не считать, срок бежит быстрее, но не было дня за годы заключения, чтобы я не сказал себе – сегодня до свободы осталось столько-то.

Со скрипом отворилась дверь камеры, и я едва чайником не сбил с ног подполковника и капитана: привык уже, что это время надо выставлять чайник для кипятка. По их расспросам, с примесью сахаринной сладковатости, как в пепси-кола для диэтиков, можно было догадаться, что оба – оперы. Я ничего не стал говорить о моем деле, но пожаловался, что сижу один, на что полковник сказал: "Это временное явление, скоро вам дадут кого-нибудь".

Вечером следующего, пятого, дня вошел очень высокий и мрачный молодой человек с полиэтиленовым мешком махорки в руках и, не здороваясь, сел в угол. Постепенно разговор как-то завязался, звали его Володя, он работал завхозом студенческого общежития и во время ремонта продал "налево" все унитазы. Когда с помощью унитазов "человеческий контакт" между нами установился и мы, лежа уже на своих койках, беседовали вполголоса, Володя сказал: "Не знаю, как ты к этому отнесешься, но меня сюда поместили следить за тобой". Его вызвали подполковник и капитан, расспросили о его деле и предложили сесть к человеку, которого он, по их намекам, принял за американского шпиона. Конечно, ему со шпионом

было бы сидеть интересно, хоть он и не знал, как себя вести с ним.

Значит, вчера заходили посмотреть, кого мне подсаживать, старший был из УВД, а младший – тюремный оперативник капитан Масленников. Для встерчи с ним Володю периодически вызывали якобы то к следователю, то к адвокату; думаю, что меня Масленникову он "закладывал" с такой же легкостью, как его мне. Масленников инструктировал его, как и о чем со мной разговаривать, в частности, поручил спросить, читал ли я "Воспоминания" маршала Жукова и почему, по моему мнению, Сталин Тухачевского, Якира, Егорова и других расстрелял, а Жукова не тронул.

– Отвечай словами Зои Космодемьянской, Амальрик, мол, сказал: нас много, – всех не перестреляешь! – сказал я.

– Амальрик сказал, что вас, мол, много, всех не перестреляешь! – немного перепутав, объяснил Масленникову Володя. Его доклады так заинтересовали начальство, что через несколько недель его расспросил пожилой мужчина в штатском и со словами благодарности пожал руку. Я спросил, не на жабу ли он похож.

– Точно на жабу! – вскричал Володя. Это был тот, кого я видел на пути из Акулово в Москву в день ареста.

Себя Володя называл художником, по его словам, несколько лет проучился в Новосибирском художественном институте – может быть, его как художника и выбрали "наседкой" к любителю живописи; с другой стороны, выходило, что в это же время он служил в армии, сидел в лагере за дезертирство, угонял краденые машины в Грузию или обчищал автоматические камеры хранения на вокзалах, подбирая в качестве четырехзначного кода примерный год рождения своей жертвы.

Уставал я от его беспокойной натуры. Вот он, задумчиво шевеля губами, производит арифметические подсчеты: оказывается, подсчитывает девушек, с которыми был близок, выходит свыше ста.

– Что-то много для тебя одного, все бляди, вероятно?

– Да нет, не все, – возмутился Володя. – Есть и честные: вот Таня, например – нет, пожалуй, блядь, ну так Маня – нет, тоже блядь! – Зато очень гордился, не меньше, чем умением жить на счет женщин, своей женой и ребенком, рассказывал об их необычайной любви и даже начал писать роман об этом, выпрашивая у надзирателя бумагу и ручку якобы для заявлений – тут становилось в камере тихо, но это имело свою неприятную сторону, потому что он потом выражал желание прочесть мне написанное и донимал расспросами, сколько денег он получит, когда его роман будет напечатан. Позднее другой сокамерник писал пьесу "Дом на песке" – тоже о своих отношениях с женой, главной отрицательной героиней была там теща. В заключении начинают читать и писать даже те, кто на воле и букв не разбирал – это какой-то выход, видимо, терапическая роль искусства

быть замещением реально неосуществимого.

При нашей первой с Володей партии в шахматы я отошел по малой нужде, думая, что следующим ходом ставлю мат, но застал такое расположение фигур, что впору самому думать о капитуляции. Не только споры из-за шахмат, но вообще его желание словчить и устроиться на чужой счет — для блатных вообще характерное — начали приводить к конфликтам, да и то, что он согласился стать осведомителем, отталкивало меня, я понимал, что в чем-то он был уже замешан — и от тюремного опера перейдет к лагерному. Он увиливал от мытья пола — и я бросил мыть пол, так что мы заросли грязью, затем я перестал делиться с ним продуктами, и если представить двух чужих друг другу людей, обреченных месяцами быть вместе в замкнутом пространстве камеры, не трудно понять, как напрягаются отношения — у нас дело дошло до драки.

После этого я стал брать уроки бокса у нового сокамерника, полмесяца мы сидели втроем, а потом четыре — вдвоем. Женя был старше, спокойнее, без желания "показать себя", на воле он работал механиком и заочно учился в Московском автодорожном институте. Он выполнял роль курьера и телохранителя некоего Самохина, который занимался перемещением золота, чтобы, выкопанное на Урале, оно было закопано в Грузии. С одним из дельцов Самохин встретился у Жени в московской коммунальной квартире. "Ну, вы здесь воркуйте, — сказал Женя, — а я приготовлю яичницу", — а когда он с дымящейся яичницей возвратился с кухни, увидел, что грузин лежит с пробитой головой.

— Ты подожди минуту, а я сбегаю позвоню врачу! — сказал Самохин, и с тех пор ни его, ни врача Женя так и не видел.

Соседи вызвали милицию — и дальше пошло все как в тумане, куда-то везли его, о чем-то спрашивали, очутился он в комнате с зарешеченным окном и кричит: где я? — а ему со смехом отвечают: ты в тюрьме. За связь с Самохиным и убийство, что было расценено как бандитизм, получил он десять лет. Так он рассказывал мне эту историю, не исключаю, что грузина убили они вдвоем или даже он сам и только на бежавшего Самохина сваливал. Но когда Женя был привезен из лагеря в Свердловск и несколько раз вызван на допросы — он узнал, что Самохин, наконец, арестован, так и не успев за два с половиной года найти врача. "Золотое дело" стали распутывать, не знаю, чем оно для Жени кончилось. Могу с уверенностью сказать, однако, что ко мне его тоже посадили как "наседку".

— Ты сидишь за "распространение сведений, порочащих государственный строй"?! Ха-ха-ха, быть этого не может! — едва появившись в камере, начал он с прозрачным расчетом на то, что я в ответ скажу: да, я сделал то-то и то-то! — и матерьял оперу готов; видно было, что с ним предварительно побеседовали и темы для разговора

указали. Также он неоднократно спрашивал, не еврей ли я, но, может быть, потому, что в лагере его самого принимали за еврея. Постепенно стал он ко мне относиться со все большей симпатией, не знаю, что и как он говорил оперу, но в важном деле меня не выдал – расскажу об этом дальше. Мы жили дружно, в шахматы играли без ссор, занимались боксом, продукты делили пополам. Хотя это было запрещено, он пронес с собой самоучитель и я начал заниматься английским, и все годы заключения пользовался каждым возможным случаем, чтобы продолжить занятия, так что, выйдя на волю, мог сносно читать, хотя не связал бы простейшей английской фразы и не мог ни слова произнести правильно.

Тюремный распорядок определялся подъемом в шесть утра, отбоем в десять вечера, завтраком, обедом, ужином и прогулкой. Кормили отвратительно, я так и не научился есть суп из гнилой селедки, у хлеба обгрызал только корку, в каше не было масла – делалась она из крупы, не встречаемой на воле, зэки ее называли шрапнелью, порция едва закрывала дно миски. Тюремный рацион рассчитан на голодание как "воспитательную меру", возможность того или иного зэка "подкормить" – инструмент в руках следователя и опера, часть продуктов разворовывается администрацией и хозобслугой, а кроме того, питание в тюрьме и лагере зависит от условий района. Урал – голодающий район Советского Союза, с наиболее низким качестваом продуктов. Надзиратель, увидев копченую колбасу, которую за валюту покупала Гюзель, сказал с завистью: "О, какую вы колбасу едите!" "Садись с нами, и ты будешь есть такую," – не растерялся ответить Женя. Уральская колбаса был осклизлая плотная масса красноватого цвета, с очень сильным привкусом крахмала.

Я потому и не голодал, что Гюзель переводила мне деньги на "ларек" и ежемесячно присылала разрешенную посылку в 5 килограммов – первый раз она привезла ее сама в тщетной надежде на свидение. В нашем почтовом отделении ко мне хорошо относились, и потому посылки принимали, по правилам же заключенным посылать продукты из Москвы не разрешено – иначе самим москвичам есть нечего будет. Теперь же вообще передавать можно только продукты из магазинов того города или поселка, где расположена тюрьма, чтобы не раздражать надзорсостав видом хорошей колбасы. Все ограничения власти объясняют заботой о родственниках зэков: чтоб они, мол, много не тратились, не истощали свой бюджет.

Передачу я ждал как весть от Гюзель, переписка была запрещена, и даже написанный ее рукой список продуктов выглядел как любовное письмо. Один месяц передача не пришла – я был в ужасном состоянии, думал даже, что Гюзель арестовали. Оказалось, что в тюрьме ввели карантин из-за холеры, эпидемия распространилась от Молдавии до Южного Урала - в некотором противоречии с заявлениями, что советской

медицине удалось навсегда покончить с холерой.

Дважды в месяц женщины-ларечницы в белых халатах обходили камеры, и в пределах пяти рублей у них можно было покупать сахар, масло, пряники, дешевые конфеты, плавленый сыр, сигареты, конверты и карандаши, продукты в тюрьмах приносят развешанными – проверить, дают вам 500 граммов масла или 400, невозможно. Холодильников не было, мы как-то запрессовали сыр в банку, и он начал постепенно распухать, так что над банкой образовалось подобие грибной шляпки, я немного засомневался, но Женя срезал шляпку и с аппетитом съел, на следующий день снова выросла огромная шляпка – и он снова съел ее, мы уже думали, что в нашем распоряжении волшебный горшок, пища в котором не иссякает, но от него пошел такой пронзительный запах, что нам пришлось сыр выбросить.

Кормежка "на истощение" раздражала меня. Я сказал как-то баландеру, чтоб наливал погуще, надзиратель в ответ матерно выругался, баландер подхихикнул, и я через кормушку швырнул в них миску с разлетающимся во все стороны жидким горохом. Начальству мое положение было еще не совсем ясно, и ограничились вынесением мне выговора, от чего пища, конечно, не улучшилась. Я решил переменить тактику, дождался – ждать пришлось недолго, – когда дали явно несваренную кашу, конечно, без масла, и, поставив миску под кровать как вещественное доказательство, тут же сел писать заявление начальнику тюрьмы. Напиши я, что у меня больной желудок, что заключенных нужно кормить, не причиняя ущерба здоровью, то получил бы ответ, что тюрьма не санаторий и не надо было сюда попадать. Однако я уже знал, что в Советском Союзе жалоба может рассчитывать на успех только если она облечена в форму доноса. Не взывая ни к каким гуманным чувствам, я написал, что регулярное кормление недоброкачественной пищей ниже нормы дает основание предполагать, что на пищеблоке происходят систематические хищения социалистической собственности в виде крупы, масла и других продуктов, и я прошу принять строгие меры и наказать виновных.

Успех превзошел самые смелые ожидания. Сначала пришла вольная повариха, хотела, что называется, "взять на горло", по-бабьи стала орать на меня, но я отвечал спокойно и твердо, видя, что враг паникует. На следующий день явилась целая делегация в зеленых мундирах во главе с майором и унесла кашу "для анализа": я успел вчера отнести кашу своему следователю и несколько раз сунуть ему под нос – каждый раз он брезгливо отшатывался, но все же известное впечатление это произвело. Наконец, меня повели к начальнику тюрьмы полковнику Андрюхину, он и раньше заходил в нашу камеру, причем всегда заставал меня встающим с унитаза: он начал видеть в этом скрытый вызыв власти, и я пояснил, что он обходит весь корпус в те же часы, когда у меня кишечник начинает работу. Относясь к типу

начальников с принципом ”жить самому и жить давать другим”, он ненужных осложнений хотел избегать, встретил меня как старого приятеля и сказал, что дело будет разобрано самым тщательным образом. На следующий день послышалось женское шушуканье, в глазок кто-то заглядывал – и в раскрытую кормушку просунули суп, в супе плавало мясо, а каша была залита маслом. Так мы пировали целую неделю, затем все возвратилось ”на круги своя”. Что касается ”анализа” каши, то он показал, что каша обладает всеми вкусовыми качествами, какие только возможны.

Ежедневно, если не было дождя, нас выводили на прогулку – в бетонный дворик раза в три больше нашей камеры, с проволочной сеткой над головой, помню, как в июне пошел снег, и я подумал: суров Урал! Надзиратели, напротив, были добродушны, многие студенты-заочники юридического института, некоторые выражали симпатию, но я боялся передавать им какие-нибудь письма, не веря ни им, ни своим сокамерникам.

Над тюрьмой все время стоял гул, на многих окнах не было намордников или металлических жалюзи, и зэки перекрикивались, пока особенно отчаянных крикунов не тащили в карцер. Вот рядом с нами чей-то приблатненный голос с солидными интонациями возмущается, что его приняли за ”наседку” и грозит сокамернику, и вдруг в плавную речь врывается писклявый пронзительный крик: ”Братва! Не верьте! Он пидарас, наседка!” Напротив наших окон была камера смертников, и один, рассудив, что терять уже нечего, кричал во все горло: ”Да здравствует Сталин! Да здравствует Гитлер! Да здравствует Хрущев!” – уж кто-нибудь не придется по вкусу властям. И действительно, скоро крик захлебнулся.

Слева и справа от нас сидели женщины, и поскольку наш корпус строился методом социалистического соревнования, то стены были тонкими и мы могли переговариваться. Женя, втягивая и меня, начал роман с правой камерой, но затем в окно увидел, как из левой выводят на прогулку более интересных девушек – и переменил ориентацию, к неудовольствию старых подруг, которые кричали в окно новым: ”Проститутки! Ковырялки!” – лагерное прозвище лесбиянок. К нашим молоденьким соседкам подсадили женщину лет тридцати, и мы прозвали ее ”бабушкой”, сделав тем самым роковую ошибку: ”бабушка” прекратила всякие контакты.

Кто получал продукты из дома или покупал в ларьке, часть несъедобного хлеба выбрасывал во двор, так что развелось множество голубей. Летом мы сняли раму, и голуби залетали через решетку поклевать хлеб на подоконнике, Женя стал ловить их по нескольку штук, мы под кроватями насыпали крошек и поставили воду, получился маленький зоопарк. Только что двое литовцев угнали самолет за границу, мы вырезали из газеты заголовок ”Пусть бандитов судит советский

суд!" – и повесили голубю на грудь. Это был самый пугливый и забитый голубь, но теперь остальные в страхе шарахнулись – так велика сила печатного слова. Мы выпустили его, чтоб он летал по тюремному двору, пугая слабонервных бандитов. Постепенно мы выпускали всех, последний наш голубь был ручной и необычайно умный, он сам взбирался на унитаз выпить воды и затем взлетал, как вертолет. Как-то, придя с прогулки, мы увидели, что голубя в камере нет, а рама вставлена и прибита.

В тюрьме вообще приятно встретить живое существо, не похожее на человека. В том же Свердловске по пути в прогулочные дворики я встречал иногда кошек, прижившихся на пищеблоке, а менее казенно – при кухне, в Камышлове – двух лошадей, на которых возили дрова. Сидя в одиночке, я просил разрешить держать котенка в камере, но начальник тюрьмы ответил, что животных в камере приказом министра держать запрещено.

Меня не вызывал следователь более месяца, пока не "подтаю" немножко. Я сначала с нетерпением ждал вызова – неизвестность тяготит, потом успокоился, но как-то днем со стуком открылась кормушка и веселый голос сказал: "Амальрик, без вещей!" В тюрьмах с режимом построже спрашивали сначала: "Кто на "а"?" Кабинеты следователей находились в противоположном конце тюрьмы, меня вели через двор, через старый екатерининский корпус, мимо прогулочных двориков, я впереди, руки за спиной, надзиратель сзади, однажды с молодой надзирательницей мы даже прогулялись, взявшись за руки и дружески беседуя. Подследственных до и после допроса помещали в бокс, пока не придет выводной, но мне стали делать поблажки, заводя в пустой следовательский кабинет.

Киринкин вызывал меня пять раз до окончания следствия. Каждый раз, не отказываясь разговаривать, я подтверждал отказ от дачи показаний, на вопросы по существу дела не отвечал и никакие протоколы не подписывал, поэтому он, чтобы не затруднять себя вызовами, стал в мое отсутствие заполнять протоколы никогда не бывших допросов, вписывая за меня "давать ответ на этот вопрос отказываюсь" и "от подписи отказался" – и даже один пометил числом, когда я был на этапе. Но поскольку сам по себе ничего дурного Киринкин мне не сделал, то и я не использовал против него эту оплошность. Он, однако, горько упрекал мне Гюзель за жалобу на него со ссылками на такие законы, которые он сам не знает; жалобу составляли три юридических светила – Есенин-Вольпин, Цукерман и Чалидзе, и каждый не хотел перед другим ударить лицом в грязь, я даже жалею, что мне самому не удалось прочесть такую замечательную жалобу. При обыске у меня была изъята "юридическая памятка" Есенина-Вольпина "Как вести себя на допросах", и Киринкин несколько раз раздраженно говорил: "Подумаешь, написал памятку, я бы в тысячу раз лучше

написал!"

Сидя в беспомощности в тюрьме, я очень переживал за Гюзель, боялся, что она запутается в показаниях – так оно и вышло; по счастью, без последствий для нее. По окончании следствия я рассказал следователю и адвокату, как до ареста я начал объяснять Гюзель, что именно ей надо показывать, а потом махнул рукой со словами: "Все равно, деточка, ты все перепутаешь!"

В Свердловске Киринкин начал с угроз 70-й статьей, а потом и 64-й – "измена родине" пахнет расстрелом. Я сказал ему на это, что вообще можно, когда меня поведут в камеру, стукнуть сзади кирпичом по голове – и делу конец; что мне могут переквалифицировать обвинение на ст. 70 и дать семь лет, я не исключал до кассационного суда, но разговоры о расстреле всерьез не принял. Я вообще посоветовал Киринкину быть осторожнее, сейчас ему говорят "жми и дави", но лет через двадцать может оказаться, что те, кто себя такими делами замарал, не смогут и на пенсию рассчитывать.

Не знаю, принял ли Киринкин мои слова всерьез, но стал осторожнее, давал понять, что он только исполнитель, да и вообще опытный следователь без нужды с подследственным отношений не портит. Сказал он однажды, что переквалифицирует мои "деяния" со ст. 190[1] на ст. 70 лишь в случае письменного приказа, но не устного – значит, побаивался все же. В другой раз заметил, что в автобусе такие разговоры приходится слышать от рабочих, что моя книжка кажется невинной. На него произвел сильное впечатление Якир: Якир заявил, что мои книги не считает ни антисоветскими, ни клеветническими и потому никаких показаний давать не будет. При мне Киринкин посоветовал другому следователю прочесть брошюру Сахарова "Размышления о прогрессе", добавив, что это очень серьезная работа. Владимир Иванович Коротаев был подключен к делу в конце июня, считался одним из наиболее проницательных следователей по уголовным делам, тем более не было ему смысла увязать в деле политическом, я видел его всего три раза, и он не задал мне ни одного вопроса.

Киринкин спросил, знакома ли мне фамилия Убожко – я искренне ответил, что слышу в первый раз. У Убожко изъяли в Свердловске мое письмо Кузнецову, арестован он был в конце января, к середине марта допросы по его делу кончились – и он был направлен на психоэкспертизу, думаю, с целью признания его невменяемым. Но, видно, в это время было принято решение присоединить меня к его делу, чтобы не судить в Москве, думали еще о Рязани, поскольку я "СССР до 1984?" дописывал в Рязанской области, но потом остановились на Свердловске. Убожко был признан здоровым и еще восемь месяцев ожидал в тюрьме, пока разберутся со мной, коротая время за чтением Ленина. Как-то на прогулке я услышал в соседнем дворике громкий голос, рассказывающий о Москве, и подумал даже, не легендарный ли

это Самохин, подельник моего сокамерника. Но оказалось, что это мой подельник, я увидел его впервые в октябре, когда нас водили знакомиться с делом. Оттолкнув конвоира, он бросился ко мне и со словами: "Поздравляю! Наша взяла!" – пожал мне руку. Только что Солженицыну присуждена была Нобелевская премия.

– А вы знаете, что Солженицын уехал заграницу, – сказал мне Киринкин. – Вы как к этому относитесь?

Я не поверил и решил, что просто прощупывают меня, как бы я отнесся к высылке. Слухи об этом ходили еще до моего ареста, но решение выставить меня за границу было принято только в конце 1974 года. В другой раз Киринкин спросил о моих статьях для АПН – разрабатывалась на всякий случай версия "двурушника", который для СССР писал одно, а для заграницы – совсем другое. Я ответил, что в АПН редактор делал сокращения и дополнения, не спрашивая меня, но больше разговор этот не поднимался, от версии "двурушника" окончательно отказались в пользу версии "недоучки", который сам не понимал, что пишет. К этой же серии "идеологических разговоров", дававшихся Киринкину с трудом, можно отнести зачтение письма вьетнамца из Нью-Йорка, он писал мне, что, увидев мою книжку, сначала испугался, так как верил, что к 1980 году в СССР уже будет построен коммунизм – одно из обещаний Хрущева! – но, прочитав, успокоился, я пишу чепуху, которую он мог бы легко опровергнуть.

– Ну, достойное вы получили опровержение?! – спросил Киринкин.

Я ответил, что опровержения как раз нет, ибо автор письма считает его слишком легким для себя, но если Киринкину это интересно, я могу написать вьетнамцу, чтобы он все-таки опровержение прислал – может быть, оно к суду поспеет. Этот разговор не возобновлялся, но на суде прокурор вновь письмо зачитал.

Несколько раз Киринкин пытался "ловить" меня. Спросил, почему я не в самиздат дал свои рукописи, а переслал заграницу – пренебрегал что ли соотечественниками? Выступив от лица самиздата, он ждал, очевидно, что я скажу: как так не дал в самиздат, я дал тому-то и тому-то. Другой раз, выставив грудь: "Так убедите меня в правоте ваших взглядов!" – я вспомнил, как Яхимович "убеждал" своего следователя, пока не попал в психбольницу. Все эти разговоры велись без занесения в протокол, но если бы я сказал что-то интересное следствию, Киринкин мог бы изложить это в виде официального рапорта.

В советских политических процессах есть сюрреальный элемент – жуткий и комический: обвиняемому, следователю, адвокату, прокурору и судье совершенно ясно, что все, кроме разве деталей, уже заранее решено, что-то может изменить только покаяние и предательство, а вовсе не юридическая доказанность или недоказанность того или иного эпизода, все тем не менее стараются соблюдать предписанные

юридические процедуры, как бы участвуя в странной пародии на настоящее следствие и суд. Так, принесли даже магнитофон для экспертизы голоса, я ли действительно давал интервью СиБиЭс – я отказался записывать голос. Провели экспертизу изъятых у меня машинок – методологически неверную, так как сравнивали их только между собой, но не с машинками аналогичных марок. Экспертиза показала, что мои рукописи напечатаны на двух машинках, тем не менее у меня конфисковали все четыре, и никакие жалобы потом не помогли.

К концу следствия я спросил Киринкина, как, собственно, собираются доказывать мое авторство. Я отказался от показаний, мои интервьюеры, хотя по советским законам их следовало считать соучастниками преступления, не допрошены – Билл Коул был выслан из СССР, а Джим Кларити сам уехал, издатели книг тоже не допрошены, ведь мало имени на обложке, надо доказать, что я написал книги. Киринкин растерялся, он даже не задумался над этим, и сказал: "Но что же подумают ваши друзья, если вы скажете, что не писали этих книг?!"

14 сентября Киринкин сообщил, что предварительное следствие закончено и предложил ознакомиться с новым Постановлением о привлечении в качестве обвиняемого – оно понадобилось потому, что в первом он забыл упомянуть мое письмо Кузнецову. Постановление было наполнено выражениями: "вздорные ситуации", "злобные инсинуации", "бредовая идея", "гнусные измышления", "злопыхательское интервью" и тому подобными.

– Ну куда это годится, – сказал я. – Обвиниловки убийцам вы тоже так пишете? Ведь фальшивый пафос и грубая брань смешно выглядят.

Как ни странно, Киринкин прислушался – и обвинительное заключение написал более спокойно и менее оценочно. Сочетание казенного пафоса и базарной брани можно найти в любой советской и антисоветской газете, и достаточно стилистов, которым кажется, что если они назовут чужую идею "бредовой идеей", то с ней навсегда покончено, а еще лучший способ – слово "идея" взять в кавычки, прокурор иначе не называл мою книжку, как "произведения в кавычках". Отпуская меня в камеру, Киринкин сказал, что мое интервью показано по американскому телевидению – и с успехом! Видно было, что популярность подследственного радует его.

Киринкин и Коротаев уверяли меня, что никак не могут разыскать ни мою жену, ни приглашенного ею адвоката Швейского, навязывая мне свердловчанина. Адвокат допускается только по окончании предварительного следствия, он может вместе со своим клиентом знакомиться с делом, подавать заявления следователю и прокурору, принимать участие в судебном разбирательстве, подавать кассационную и надзорную жалобы и участвовать в кассационном

разбирательстве. Зависимость провинциальных адвокатов от местных судебно-следственных органов обычно велика, так что даже по сколько-нибудь сложным уголовным делам подсудимые предпочитают адвокатов из других городов. Практической роли в моем деле адвокат сыграть не мог, три года были обеспечены, но я видел в нем моральную поддержку и связь с волей. Кроме того, мне нужен был адвокат, который заявил бы на суде о моей невиновности – это отвечало общей линии Демократического движения на легальное сопротивление. Поэтому я категорически от свердловского адвоката отказался.

Наконец, 30 сентября Киринкин познакомил меня с прилетевшим из Москвы Владимиром Яковлевичем Швейским, лет пятидесяти, с приветливой улыбкой, курчавыми волосами, с голосом несколько гнусавым, вид у него был явно не арийский, и впоследствии он рассказал мне, как в период "борьбы с космополитизмом" пожилой русский рабочий, когда Швейский садился в трамвай, укоризненно сказал: "С таким носом, а лезет с передней площадки". Большинство известных мне адвокатов – евреи, тогда как ни одного еврея-прокурора я не встречал.

Я немножко похвастался перед адвокатом, что каждый день делаю зарядку и даже боксом стал заниматься, напади на меня следователь, я сумею дать сдачи – Киринкин принял это всерьез и страшно обиделся, с трудом я его успокоил. В другой раз он обиделся, когда Швейский заявление к нему от моего имени начал словами "я требую".

– Ведь было бы вежливее написать "я прошу", – дрогнувшим голосом сказал Киринкин, и я переделал на "прошу", напомнив ему, что он обо мне написал в своих постановлениях. Он все время повторял, что мы все ведь хорошо понимаем, что заслуживаю я ст. 70 и лишь по исключительному гуманизму получу три года по ст. 190^1 – что суд даст меньше, и разговора не было. На следующий год он пригрозил ст. 70 одному еврейскому отказнику, тот ответил, что даже Амальрик получил только 190^1, и Киринкин его утешил: "Ну, у Амальрика этим дело не ограничится".

Глава 12.

ДЕЛО

Из девяти томов дела, по 200-300 листов каждый, три первых были посвящены Убожко, шесть последних – мне. Лев Григорьевич

Убожко, старше меня года на два, по образованию физик, работал инженером в Москве и заочно учился в Свердловском юридическом институте – там же, где и многие наши надзиратели, приехал сдавать экзамены, привез самиздат – и через несколько дней был арестован. Дело его состояло из изъятого самиздата, а также показаний свердловчан и девушек, с которыми Убожко знакомился, разъезжая по стране, каждая просила оставить ей что-нибудь на память, одной он давал брошюру Сахарова, другой письмо Солженицына, третьей обращение Григоренко. Он признал распространение литературы, подтвердил показания свидетелей, взгляды свои признал антисоветскими, но не отказался от них, никого сам не назвал.

Три тома заняли мои рукописи, а также рецензия доцента Свердловского университета Б. Сутырина на мою работу "Норманны и Киевская Русь" – он заключал, что я не историк, и рецензия редактора журнала "Уральский следопыт" Л.Румянцева на мои пьесы – он заключал, что я не писатель. Пьсы абсурдны, малохудожественны, герои похожи друг на друга, какие-то кошмары, секс, но при этом есть "приметы советской жизни", например, осведомители. *"Используются и такие приемы: политрук Иванов становится резидентом китайской разведки Цу Сяо. Вообще Ивановых и Иванов Ивановичей Андрей Амальрик явно не жалует. В самом начале пьесы "Конформист ли дядя Джек?".. критик пересказывает содержание одной из пьес дяди Джека: "Действие первое: Цирлин насилует Ципельзона... Действие воторое: Ципельзон насилует Цирлина... Действие третье: Цирлин и Ципельзон насилуют друг друга... Действие четвертое: жопа Ивана Иваныча переезжает в новые рабочие кварталы..." Можно было бы и не цитировать эту мерзость, но в абсурдности ее скрыт определенный смысл... В эту пьесу Амальрик вплетает так называемый "еврейский вопрос". Будучи малограмотным во всех отношениях, он и тут ничего вразумительного сказать не может. Но ему важно одно – бросить читателю грязненький подтекст, плеснуть мазута на угольки. С одной стороны, выставить идиотами Ивановых, а с другой – поразглагольствовать о Ципельзонах. Всему этому беспрецедентному издевательству над русской историей, над Ивановыми, Иванами Ивановичами – своего рода символами России – трудно даже найти определение".* И превратив жопу Ивана Ивановича в символ России, рецензент заканчивает: *"Как бы Амальрик ни маскировал свой "еврейский вопрос" – уши торчат".*

– Боюсь, что рецензент потратил свой запал зря, писатель я или не писатель, но я не еврей, – сказал я Киринкину. КГБ очень деятельно искал у нас еврейских предков, у Убожко – несмотря на украинскую фамилию – нашли дедушку-еврея, у меня же никого, и остановились на том, что если я по крови не еврей, то еврей по духу – "уши торчат". На вопрос, зачем вообще в дело включены "Норманны"

и пьесы, которые мне в вину не ставятся, Киринкин пояснил: "Для характеристики личности. А рецензия для того, что если вы начнете на суде говорить, что историк или писатель, то вот у нас наготове есть компетентные рецензии, что вы ни то, ни другое."

В трех последних томах было несколько вырезок из советских и иностранных газет, распечатанный КГБ радиоперехват передач Радио Свобода обо мне, письма – на мою корреспонденцию арест был наложен в марте, а также многочисленные протоколы допросов и постановлений. В частности, постановление о выделении в отдельное дело по ст. 70 изъятых у меня при обысках "Двадцати писем к другу" Светланы Аллилуевой, "Все течет" Василия Гроссмана, "Мой дядя убил Михоэлса" Владимира Гусарова, "Трех отношений к родине" Владимира Осипова, сборника писем к Павлу Литвинову и "Похождений Вани Чмотанова" неизвестного автора. В конце концов было вынесено постановление дело по ст. 70 прекратить из-за недоказанности того, что я "распространял" эти книги, а сами книги сжечь – если книги действительно сжигают, а они не идут в архивы КГБ, то не на уличных же кострах, как в нацистской Германии, а есть, вероятно, специально отведенное место и исполнитель на скромном жаловании.

Большинство писем было от иностранцев, которые прочли "СССР до 1984?". Помню письмо школьницы из Калифорнии, их класс писал работу по моей книге, книга всем – и ей в том числе – очень понравилась. "Но ведь это все неверно, что вы там пишете, не правда ли?" Автор одного письма из Голландии, не вдаваясь в оценку моих сочинений, предупреждал, что я связался с весьма опасным субъектом, а именно с Карелом Ван хет Реве. Про самого Карела он ничего не писал, но сообщал, что его брат во время диспута написал на доске: "Да здравствует капитализм!" По-видимому, на Западе написать такое – все равно, что в России публично написать матерные слова. Бедному Карелу не повезло с родственниками, из-за брата он вызвал подозрение врагов капитализма, а из-за отца – "сталинского сокола голландской расцветки", по выражению редактора русского журнала, – подозрение врагов коммунизма.

Было пять писем от неизвестных мне советских граждан, которые услышали обо мне по радио и имели неосторожность написать мне с марта по май, все письма были выделены в "отдельные уголовные дела". Один из моих корреспондентов, рабочий из Архангельска, после вызова в КГБ "обещал не слушать зарубежного радио". Другой, пославший письмо без подписи и обратного адреса, где он писал – "побольше бы таких людей, как вы", и власти придется плохо, был через несколько месяцев разыскан КГБ, врач из Тулы на допросе держался уклончиво и пояснил, что его фразу нужно понимать в том смысле, что "если бы было много таких". Его судьба мне неизвестна, как и судьба еще двух человек – из Выборга и Коломны. К моему

собственному письму в картинно обгоревшем конверте – а именно "Письму Анатолию Кузнецову", посланному в Лондон московским корреспондентом "Дейли Телеграф", был приложен протокол, что оно раскрыто только потому, что конверт случайно обгорел, а уж ознакомившись с его содержанием работники Международного почтамта вынуждены были передать его КГБ.

Я не понял сначала, по какому принципу следствие отбирало свидетелей, вызвали, например, сумасшедшую жену Зверева, показавшую, что видела у нас портрет Мао Цзе-дуна. Я сообразил потом, что вызывали тех, кто попал в поле внимания во время слежки перед арестом, часто совсем случайно. Соседи показали, что к нам ходили иностранцы, мы устраивали для них "нечто вроде банкетов". За одним исключением, все наши друзья дали "пустые показания" – ничего не слышали, ничего не видели, ничего не читали. Только художник Фердынский, сменивший свою обоюдоострую фамилию на архирусскую Архаров, к которому я зашел перед арестом напомнить о денежном долге, старался угодить следователю: иностранцев он, правда, не видел, но "видел иностранные бутылки", жена моя, правда, "одаренная художница, но, выйдя замуж за Амальрика, стала писать хуже", "СССР до 1984?" он, правда, не читал, но пьесы – "малохудожественные вещи".

В деле было как бы три вставных новеллы – комическая, трагическая и детективная.

Комическая история

В списке, приложенном к письму заместителя начальника Московского УКГБ генерал-майора Никулкина прокурору Свердловской области Журавлеву о *"направлении материалов в отношении антисоветской деятельности Амальрика"* под № 3 значилось *"Заявление М. Б. Шульмана и письмо из США".* М. Б. Шульман в своем заявлении в КГБ от 6 февраля 1970 года писал, что он честный советский человек и персональный пенсионер и с разрешения властей переписывается со своим дядей, тоже Шульманом, в Нью-Йорке, была приложена фотография довольно упитанного и ухоженного американца на фоне портрета Ленина с "Правдой " в руках; теперь же он получил письмо от дяди, которое сначала привело его в волнение, затем поставило в тупик и "выдержки из которого я обязан вам передать" – при этом прилагалось все письмо, а не только выдержки.

Дядя-Шульман писал, что он всю жизнь очень успешно пропагандировал идеи социализма и коммунизма и достижения Советского Союза, но вот теперь получил журнал со статьей, якобы написанной советским гражданином в Москве, что СССР не доживет до 1984 года,

"народ восстанет против большевиков и компартии", и что он после этого всю ночь не спал, над ним смеются соседи, и он просит Шульмана-племянника узнать, правда ли это. Письмо, совершенно по-ленински, кончалось вопросом: "На свободе ли еще этот мерзавец?!" Шульман-племянник, по зрелом размышлении, все эти поручения своего дяди решил переложить на КГБ.

Меня удивило и огорчило, что человек, сам пользующийся полной свободой для высказывания своих взглядов, считает нужным, чтоб затыкали рот тому, кто с его взглядами не согласен, я смог убедиться, что таких людей на Западе не так уж много – но огромно число тех, кто готов идти за ними, явно не понимая, куда их ведут. Шульман-племянник был сначала включен в чило вызываемых в суд свидетелей, но затем вычеркнут: видимо, задумались, о чем же, собственно, он будет свидетельствовать.

Позднее, уже заграницей, я узнал о судьбе Михаила Борисовича Шульмана. Он родился в 1906 году – в один год с моим отцом, служил в ЧК, вступил в компартию, был одним из основателей Ансамбля песни и пляски Красной армии, в 1937 году был арестован и с 1939 по 1949 провел в лагерях на Колыме, возглавляя там подпольную парторганизацию. В 1950 году был снова арестован, получил восемь лет, отбывал их на Воркуте, в 1955 году был реабилитирован и восстановлен в партии – оставаясь убежденным коммунистом. Не знаю, каковы были его взгляды в 1970 году, когда он получил это письмо от своего дяди, но в 1974 году он заявил, что "порвал с КПСС", и выехал в Израиль, "словно очнувшись после долгого и наполненного ужасами и кошмарами сна". Жив ли сейчас его американский дядя и в каких он с ним отношениях, я не знаю.

Трагическая история

В начале марта я получил письмо с Урала, из Златоуста, подписанное "Альберт", Альберт слышал обо мне и спрашивал, как мне писать – это было предложение какой-то обходной связи, но, ничего об Альберте не зная, я ответил, что он может писать просто по моему адресу. Следующее его письмо уже было арестовано на почте – я обнаружил его в деле, там было сказано только, что в июне он приедет в Москву и хотел бы со мной встретиться. Письмо было "выделено в отдельное уголовное дело", и "Альберт" был разыскан – им оказался *"Булыга Борис Моисеевич, 1933 года рождения, образование высшее, член КПСС, не судимый, женатый, инженер".* Беру все эти сведения из "Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела",

постановленного в Златоусте 3 июля 1970 года. Далее там было сказано, что Булыга услышал обо мне по радио в марте, написал мне, что одобряет мои действия, 25 мая, уузнав о моем аресте, в 8 часов утра пошел в областное управление КГБ, но никого там не застал из-за раннего часа. Тогда на металлургическом заводе, где он работал, он зашел в прокатный цех и бросился в нагревательную ячейку температурой 12500^{o}с; через двое суток были извлечены две металлические пуговицы – все, что осталось от Бориса Булыги.

Почти все в этом постановлении ложь. Во-первых, Булыга в своих письмах ни о каком одобрении не писал, он хотел только встретиться и поговорить. Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы Булыга пришел в УКГБ сам, тогда как было уже поручение о его допросе. Наконец, просто бессмысленно, что в УКГБ никого не было, всегда есть дежурный. Я уверен, что ни с каким доносом на самого себя Булыга не ходил, а был вызван УКГБ, как были в то время вызваны другие свидетели, и был настолько запуган, что, выйдя оттуда, кончил жизнь самоубийством: не единственный известный мне случай самоубийства после допросов в КГБ. Например, дело Елизаветы Воронянской, повесившейся после того, как она выдала КГБ рукопись "Архипелага ГУЛАГ".

Булыга ничем не мог выдать меня, и сомневаюсь, чтобы он вообще кого-нибудь выдал, скорее, его самоубийство – следствие одиночества и подавленности в атмосфере советского провинциального города. Здесь КГБ особенно распоясывается, а человек чувствует себя особенно беззащитным, и когда ему говорят: мы вас раздавим, мы вас уничтожим, мы – это сила, вы от нас не уйдете, ваш Амальрик уже в тюрьме, а завтра вы там будете – не трудно понять, какое отчаяние может охватить человека, лишенного чьей-либо поддержки и не уверенного в себе. Только в начале июля у Булыги был сделан обыск и допрошена жена; и обыск, и допрос – пустые; неторопливость, с какой был сделан обыск, и его результат подтверждают, что Булыга ни с кем связан не был и покончил собой не из чувства вины, а из ужаса перед советской жизнью.

Детективная история

31 июля была допрошена работающая на Казанском вокзале в Москве буфетчица Бабушкина. На вопрос Киринкина, не жил ли у нее кто-нибудь во второй половине июля, она без всяких экивоков ответила, что в это время у нее "никто из мужчин не ночевал". Я не только ни у какой буфетчицы не ночевал, да не мог ночевать в июле, но даже не знал о существовании Бабушкиной. Показывал, что он несколько дней жил у нее, Геннадий Михайлович Соснин.

27 июля дежуривший на Казанском вокзале милиционер Ефимов увидел, цитирую его показания, человека, *"который ходил и собирал бутылки; кроме того, ко мне еще подошел один неизвестный гражданин и сказал, что у мужчины, который привлек мое внимание, имеется антисоветская литература".* Геннадий Соснин, отсидев несколько лет в Грузии по неизвестному мне уголовному делу, приехал в Москву "хлопотать о пересмотре". Во время этих хлопот он ночевал на вокзалах и у случайных знакомых, поддерживая свое существование сбором пустых бутылок. В начале июля, отдыхая в сквере наискосок от главного здания КГБ на площади Дзержинского, он заметил под скамейкой чемодан. Раскрыв его в укромном месте, он увидел плотно скатанный в трубку сверток. "Деньги!" – подумал Соснин, но, к его разочарованию, это оказалась рукопись под названием "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?".

По словам Киринкина, рукопись понравилась Соснину, он хотел передать ее иностранцам, но не знал, как это сделать, и тогда решил отнести автору, мой адрес был в рукописи. Он заходил трижды, последний раз 26 июля – какая-то старуха сказала: "Дома нет!" На следующий день Соснин был задержан на вокзале, рукопись изъята и – поразительная осведомленность начальника милиции Казанского вокзала – уже 28 июля вместе с рапортом милиционера и объяснениями Соснина направлена в Свердловск.

Не трудно понять, что за Сосниным было наблюдение, когда милиционер задержал его по совету "неизвестного гражданина". Но с какого момента? Когда он приходил к нам домой – но едва ли за домом наблюдали, тем более, что Гюзель не было в Москве? Как только он нашел чемоданчик – но он более двух недель беспрепятсвенно ходил с рукописью? Кто подбросил чемоданчик? Распространитель самиздата – но они не раскидывают по городу рукописи в чемоданах? Кто-то хотел отделаться от рукописи или передать другому – но не на самом же людном месте Москвы и не напротив КГБ? Тогда сотрудники КГБ – но зачем? Наконец, кто такой Соснин, действительно ли он случайно обнаружил чемодан?

Не могу с уверенностью ответить ни на один из вопросов. Думаю все же, что это была провокация КГБ: начать "случайное" распространение книги и проследить цепочку передач, ведь никакого "распространения" рукописи мной установлено не было, даже упрекал меня Киринкин, что я в самиздат ее не передал – а вот, пожалуйста, рукопись циркулирует. Но Соснин с Бабушкиной оказались едва ли удачными распространителями самиздата, и тогда на операцию решили махнуть рукой.

– Как, Андрей Алексеевич, нравится вам наш город? – с гордостью спросил заместитель тюрьмы, он и другой офицер шли по обе

стороны от меня, у обоих было по пистолету, и меня предупредили, что будут стрелять при попытке к бегству. Утром 2 октября меня неожиданно вывели за ворота, мы шли парком, с уже пожелтевшей, но еще не опавшей листвой, и была такая прозрачность в воздухе, какая бывает в несолнечную, но ясную погоду. Не знаю, почему меня повели пешком, а не повезли в воронке – видимо, решили применить такую меру психологического воздействия перед судом.

Идти было не долго – до прокуратуры, где показали мое телеинтервью. Собралось много народу, дамы в задних рядах ахали, Убожко в наиболее сильных местах аплодировал, начальник тюрьмы широко улыбался мне, я же чувствовал себя маленькой кинозвездой. Мне самому интервью очень понравилось, огорчило только, что при ответах я раскачивался взад-вперед, словно ванька-встанька или китайский болванчик, видимо, от непривычки. Суховатый еврей радом со мной всем своим видом показывал отвращение ко мне на экране и неприязнь в зале, это был адвокат Убожко Хардин, которого настойчиво предлагали и мне. Как же бы ты защищал меня, голубчик, подумал я.

Начальник следственного отдела Левин попросил объяснить ему, зачем я писал свои книги. Я ответил, что лучше всего это сумеет сделать Киринкин, полгода изучавший этот вопрос, и Левин тут же завел разговор, что вот-де некоторые евреи просятся в Израиль, а потом жалеют об этом. Советскому начальству всюду мерещатся евреи, еврейские козни, не исключаю, что Левин – сам еврей, а значит антисемит вдвойне, ибо его еврейство портит ему карьеру. У него были скверные отношения с Киринкиным, тот мне потом пожаловался, что у него уже просто терпения нет работать со своим начальником.

Часть кинопленки первого интервью Коулу все же удалось вывезти, а магнитную запись конфисковали целиком, ее через несколько дней прокрутили мне в тюрьме – все это называлось "предъявлением вещественных доказательств". Жена радиотехника, молодая, но изнуренная женщина, следователь милиции, зашла послушать и принесла своему мужу две сдобных булочки, после некоторой внутренней борьбы, однако, одну протянула мне.

Знакомясь с делом, я расписывался по прочтении каждого тома и после просмотра и прослушивания пленок, и 6 октября, говоря языком заключенных, "подписал двести первую", то есть расписался в том, что на основании ст. 201 УПК РСФСР со всеми материалами дела ознакомлен. Швейский вылетел в Москву, а Киринкина я увидел последний раз через неделю, он познакомил меня со своими постановлениями в ответ на просьбы адвоката признать меня работающим, снять арест на инвалюту и разделить дела Убожко и мое. Последнее было отвергнуто, а два первых удовлетворены – прокурор все равно назвал меня на суде "тунеядцем", а валюту позднее у Гюзель отобрали. На прощанье я посоветовал Киринкину "уклоняться в будущем от подобных дел" –

он не сказал ни слова.

29 октября в кормушку сунули обвинительное заключение, но не успел я рассмотреть его, как: "Амальрик, без вещей!" Меня ждал человек маленького роста, с сухим лицом и блеском в глазах – следователь по особо важным делам Рижской прокуратуры Какитис, бывший следователь Яхимовича. Он сказал, что вызвал меня по делу Лидии Дорониной, обвиняемой в распространении моих книг в Латвии. Допрос происходил так:

– Были ли вы в Риге, знакомы ли там с кем-нибудь?

– Был в 1965 году, ни с кем не знаком.

– Вы ли автор произведения "Просуществует ли СССР до 1984 года?", кому вы его давали?

Я отвечать отказался, сославшись, что вопрос имеет прямое отношение к моему делу, а я по нему показаний не даю – это была маленькая ловушка, чтобы потом на мой ответ сослаться как на доказательство моего авторства.

– Кто передавал в Ригу произведение "СССР до 1984?"

– Не знаю.

Следователь снова схитрил, записал мой ответ: "Не знаю, кто передал мою книгу..." – и я его заставил вычеркнуть "мою". Затем он осторожно спросил, какого я мнения о Киринкине, он, дескать, следователь неважный, позднее я узнал, что в КГБ были недовольны, как Киринкин провел дело. Я сказал, что Киринкину поручили дело и он провел как сумел. Это были представители разной породы: Киринкин был бонвиван, я замечал, что как только стрелка часов приближалась к пяти, он начинал нервничать и елозить в кресле, как бы лишней минуты не переработать, Какитис же, чувствовалось, готов был вытягивать сведения и строчить протоколы ночами напролет, и вся жизнь его была в хорошо составленном протоколе допроса.

Затем начался светский разговор. Сначала о моих книгах, которые он называл "произведениями", так что я спросил его, не учился ли он в дореволюционной гимназии, где гимназисты при чтении вслух объявляли "Пророк, произведение господина Пушкина", на что Какитис заметил, что в гимназии он не учился и имеет в виду "произведение в кавычках". Далее о том, что мне следовало бы дать семь лет, а не три, что после Сталина народ распустили, единственное в моей книге верно, что оппозиция началась с довольно невинных вещей, а значит, хочешь-не хочешь, а надо сажать.

– Сколько же можно сажать?! – заорал я на него так, что подслушивавший за дверью надзиратель забеспокоился.

– Так вот вы и пожалейте советских граждан, Андрей Алексеевич, а то вы пишете "произведения", распространяете их, а потом мы вынуждены сажать тех, кто их читает, – ответил мне Какитис и неожиданно спросил, что мне известно о взглядах Майи Плисецкой, Мстислава

Ростроповича, Аркадия Райкина и еще назвал несколько фамилий из артистических кругов. Я ответил, что я скромный почтальон, откуда я могу знать взгляды Плисецкой или Ростроповича?

– Ну нет, ну нет, вы теперь вашей книжкой до некоторой степени стали в их ряды, – с улыбкой возразил Какитис, пригласил меня заходить к нему в прокуратуру, когда я буду в Риге, и отпустил в камеру.

11 ноября из Москвы прилетел адвокат: суд был назначен на завтра. Швейский рассказал, как он хочет строить защитительную речь, а я дал ему копии своего заявления на суде и последнего слова. Я спросил его, сможет ли он после суда передать их Гюзель – "спросил" значит написал на бумажке, которую тут же уничтожил. Швейский ответил, что он должен подумать – и после суда категорически отказался. Конечно, это был удар для меня, я рассчитывал передать свои слова через адвоката на волю. Мне трудно судить, согласился ли бы он в других условиях, но известную роль сыграло то, что Гюзель прилетела не одна, а с двумя знакомыми. Я сам через Швейского передал ей, чтобы она приехала на суд с кем-нибудь, но боюсь, что она сделала неудачный выбор – когда я узнал, что с ней прилетела Лена Строева, я прямо похолодел.

Я познакомился с Леной в 1962 году, она произвела на меня впечатление женщины доброй, но неуравновешенной. После возвращения из ссылки я ни разу не видел ее, и Гюзель не была с ней знакома, но как только меня посадили, она предложила Гюзель свою помощь. Она как-то не отдавала себе отчета, что мой адвокат – не диссидент, как я, а государственный служащий, во время суда настраивала Гюзель против Швейского, мне кричала в коридоре, что им нужно мое последнее слово, после чего за мной даже в туалет стали заходить конвоиры, того же громогласно потребовала у Швейского – представляю, как он был напуган. В 1971 году КГБ предложил ей на выбор: или эмигрировать, или сесть в тюрьму, так она оказалась в Париже, где быстро разочаровалась в жизни заграницей и в русской эмиграции и написала письмо в советское посольство, что если ей разрешат вернуться, она даст показания против всех диссидентов. Не давая разрешения, в посольстве начали допрашивать ее по делу Якира и Красина – и наговорила она довольно много. Представляю, как Швейский, читая ее показания в деле своего подзащитного Красина, радовался, что в свое время не дал ей мои записи. Вскоре после этого она повесилась в своей парижской квартире.

Глава 13.

СУД

Я волновался, дадут ли мне побриться вовремя, вот стучат чайниками по коридору, вот разносят кашу, вот, успокаивая меня, приносят бритву и помазок — я бреюсь новой бритвой, а безденежным давали затупленные бритвы богачей. Наконец, с грохотом растворяются двери камеры, в день суда даже у надзирателей вид церемониймейстеров.

Областной суд был рядом с тюрьмой, но воронок все ехал и ехал — нас завезли на самую окраину, в один из районных судов, побоявшись, что в центре может собраться толпа, здание было оцеплено милицией, перекрыт этаж, где происходил суд, подходить к окну нам не разрешали.

Еще в боксе в машине я слышал чей-то уверенный, несколько бубнящий голос, как лектор бубнит с кафедры, да и что-то похожее было на лекцию о международном положении — неужели политработа с личным составом не прерывается и при перевозке заключенных? Оказалось, однако, что это агитирует конвой Лев Убожко, он продолжил свою беседу и в комнате, куда нас ввели. Начальник конвоя растерялся, спорить с ним или молчать; сунулся политрук, послушал немного и испуганно ушел. Из наших конвоиров я запомнил двух молчаливых казахов, русского с неразвитым лицом доносчика и разбитного чеченца. Он сказал, что на месте властей, вместо того, чтобы сажать диссидентов, собрал бы их и выслушал, чем они недовольны и чего хотят. Он спросил меня также, слышал ли я об Авторханове — историке, живущем в Западной Германии, и очень был обрадован, что я даже читал его, чеченцы как маленький народ гордятся каждым известным земляком. По окончание срочной службы хотел он поступить в школу КГБ, и я подумал, что в таком случае не стоит ему при своих товарищах говорить об Авторханове. Убожко горячился, что если снова будут волнения и беспорядки, как в Новочеркасске в 1962 году, войска стрелять в народ не будут: "Вы же вот не будете стрелять в ваших матерей и братьев?!" Чеченец, помявшись, сказал, что не будет, остальные промолчали.

Зашел полковник в очках в золоченой оправе — такие очки носит Брежнев, а вслед за ним все начальство до определенного уровня, и полковник, видимо, находился на самой нижней границе, чином поменьше такие очки были бы "не по чину" — и, блистая очками, потребовал, чтобы мы дали на просмотр суду свои записи. Убожко дал — это были конспекты и выписки из Ленина, с помощью которых он хотел защищаться, но я отказался — я не хотел, чтобы заранее знали, что я

собираюсь сказать. Полковник и капитан, начальник конвоя, угрожали отобрать бумаги силой, я ответил, что в таком случае ни слова не скажу на суде.

— Да не говори, вот напугал! — сказал капитан, но в интересы высокого начальства это не входило. После того как я начал кричать: "Кто вы такие?! Что вы вообще здесь делаете?!" — полковники вышел и был достигнут компромисс, что бумаги при мне просмотрит только начальник конвоя, тот перелистал их с полным безразличием.

Суд начался в 10.30, в зале было человек пятьдесят, все с явно чиновными лицами. Мы сели на скамью за барьером, по обе стороны: двое солдат, перед нами наши адвокаты, а напротив обвинитель — помощник прокурора области Зиновий Зырянов, лет пятидесяти, с какой-то кожной болезнью: все лицо его было в красных пятнах и прыщах. Красные пятна прокурора как бы бледным отсветом ложились на лицо девушки-секретаря, этот цвет часто можно встретить у девушек, недоедающих, чтобы купить себе сапоги или кофточку.

— Прошу встать! — воскликнула она, и вошли наши судьи. Председательствующий, член облсуда Алексей Сергеевич Шалаев, был, напротив, внешности довольно благородной, седой, старше прокурора, он походил отдаленно на Жана Габена, а еще более отдаленно на моего отца — и носил то же имя и отчество, процесс он вел спокойно, был вежлив, но, как многие люди, начавшие учиться поздно, говорил безграмотно и читал по бумажке, запинаясь. Я совсем не запомнил "народных заседателей" — помню только, что это были мужчина и женщина.

Последовала обычная процедура: объявление дела, состава суда, запрос о свидетелях, их удаление из зала, выяснение личности обвиняемых. На вопрос, нет ли отводов к суду, я кратко ответил, что нет, Убожко долго и невразумительно говорил, что судить нужно по совести и если судьи народ совестливый, то у него отвода нет. Были заданы вопросы, получили ли мы копии обвинительного заключения, заявлены и отклонены ходатайства о вызове дополнительных свидетелей и разделении дел. Судья зачитал обвинительное заключение, после чего спросил сначала Убожко, а затем меня, признаем ли мы себя виновными.

Убожко, зная, что я не признал себя виновным, заявил теперь, что и он себя виновным не признает, а частичное признание на следствии объяснил тем, что следователь неправильно написал, а он подписал, не подумав как следует. На политических процессах главная задача предварительного следствия и суда — заставить обвиняемого признать себя виновным и покаяться; если он вину не признает — дела его плохи, но если сначала признает, а потом отрицает — плохи вдвойне. Если бы Убожко "вину" признал и объяснил все своей "политической незрелостью", сказав, что он дозрел на следствии в тюрьме, как

дозревает помидор в темноте, то получил бы года полтора, а если бы меня осудил при этом, то год. Он, как человек честный, этого делать не стал, но вместе с тем до конца суда не понимал, что судьба его решена, и воспринял происходящее сюрреально, так, он сказал мне, что один из заседателей смотрит на него с сочувствием – и это обнадеживающий знак. Конфликт Убожко с системой был конфликт идеально понимаемого ленинизма с ленинизмом на практике; воспитанный в советской идеологии, он ее воображаемые черты все еще переносил на действительность – его поэтому и сами власти признали "психопатической личностью". Он говорил мне, что советская система сошла с намеченного Лениным пути – и наша задача ее на этот путь вернуть, с выводами моей книжки он согласен, но я пришел к ним "методом стыка", случайно, а следовало придти к тем же выводам на основе здорового марксистского анализа.

Я зачитал приготовленное заявление, что *"никакой уголовный суд не имеет морального права судить кого-либо за высказанные им взгляды. Противопоставление идеям, все равно, истинны они или ложны, уголовного наказания само по себе кажется мне преступлением... Этот суд не вправе судить меня, поэтому я не буду входить с судом ни в какое обсуждение моих взглядов, не буду давать никаких показаний и не буду отвечать ни на какие вопросы суда. Я не признаю себя виновным в распространении "ложных и клеветнических измышлений", но не буду доказывать здесь свою невиновность, поскольку сам принцип свободы слова исключает вопрос о моей вине".* Когда я кончил и протянул заявление судье, тот взял со словами: "Для протокола".

Поскольку я отказался, судья предложил давать показания Убожко. Как лектор-международник, Убожко был на встрече лекторов с секретарем МГК КПСС Шапошниковой, и отвечая на вопрос о романе Солженицына "Раковый корпус", она сказала, что роман не печатают как слишком мрачный – все зааплодировали, кроме Убожко, который решил сначала прочесть роман. В Москве, в Проезде Художественного Театра, он познакомился с неким Виктором, и тот доставал ему "Хроники", Сахарова, а потом и Солженицына. Когда Солженицына исключили из Союза писателей, Убожко согласился подписать письмо в его защиту. Ему назначили свидание в метро, где девушка, имени которой он не помнит, дала ему письмо для подписи и спросила, нет ли у него машинки. Машинка была на работе, девушка сама напечатала "Письмо Анатолию Кузнецову" и один экземпляр дала ему – при этом Убожко оборотился ко мне и сказал, что ему понравилось, как я критикую Кузнецова за бегство, но что письмо очень длинно и разбросанно, надо писать яснее и короче, он также не может поверить, что я уже мальчиком имел какие-то убеждения: "У нас у всех убеждений не было!" С приобретенными у Виктора бумагами он

приехал в Свердловск, где читал своим знакомым Ходакову и Устинову главы о Сталине из "Круга первого" Солженицына.

— Здорово кроет Сталина! — восхищенно добавил Убожко.

— По-моему, глупо кроет Сталина! — перебил его судья.

Убожко закончил, что "Хроники" и мое письмо он дал своему другу Смирнову, чтобы тот прочел, если захочет. Фразу же, что он "скоро будет в Кремле или на Колыме" он просто в шутку сказал одной знакомой.

Я передаю общую канву его показаний, главным же образом он говорил о своих отношениях с женой, думаю, борьба с женой и превратила Убожко в того непримиримого борца, каким он предстал на суде. Уроженец Урала, он после окончания института захотел остаться в Москве, и друзья посоветовали ему фиктивный брак: жених платит невесте обусловленную сумму, они регистрируют брак, и "невеста" уже как законная жена "прописывает" его у себя — конечно, "муж" устраивается как-то иначе, но имеет право жить в Москве. "Жену" для Убожко нашли, и он даже "захотел с ней жить по-настоящему", но выяснилось, что у нее до свадьбы был любовник, от которого она ждет ребенка. Убожко бросился разводиться, разведенная "жена" доказывала, что Убожко — это и есть отец ребенка. Состоялось двенадцать судов об отцовстве, каждый из которых принимал другое решение, а тем временем мать ребенка потребовала уплаты алиментов. Думаю, получив сррок, Убожко, по крайней мере был утешен, что "невеста" осталась у разбитого корыта — с зэка много не возьмешь. Говорил он и о своих конфликтах на работе, в которые вовлекал постепенно министров, перескакивал с одного на другое, но снова и снова, как на заколдованное место, возвращался к семейной истории. Судья несколько раз просил его держаться ближе к делу, вместе с прокурором спрашивал, знаком ли он со мной, с Якиром, где взял бумаги. Убожко отвечал, что со мной он не знаком, а у Якира был несколько раз, но никаких бумаг у него не брал.

После этого запутанного допроса объявили перерыв, и я внезапно увидел Гюзель в коридоре, мы обнялись и поцеловались, не успели конвоиры опомниться. Когда я увидел, что ее нет в зале, Швейский успокоил меня: им только в последний момент сказали, где будет суд, его повезли с прокурором, а Гюзель с ее друзьями пришлось добираться самим. Лену и ее товарища задержала милиция при входе, я говорил с судьей, и на следующий день оба были допущены, хотя записей делать им не дали. Гюзель как свидетельницу пустили в зал только в конце дня, у нее был с собой портативный магнитофон, но батареи сели.

Первым свидетелем был Смирнов, по доносу которого якобы началось дело. У него был вид интеллигентного рабочего, печальный и спокойный, он хромал на одну ногу. Он сказал, что раньше работал вместе

с Убожко, сблизило их то, что у обоих были машины, Убожко научил играть в шахматы, человек он добрый, но горячий – в ответ на вопрос адвоката, в январе Убожко дал ему бумаги, которые он просмотрел и отнес в органы – в ответ на вопрос прокурора. Здесь Убожко, как человек добрый, но горячий, закричал: "Женя, не расстраивайся, я знаю, что у тебя КГБ делал обыск и заставил задним числом написать заявление!"

СУДЬЯ (перебивает). Нет больше вопросов?

Я. У меня есть.

СУДЬЯ. Пожалуйста.

Я (подражая прокурору). Так вы все же взятые у Убожко бумаги прочитали или только перелистали?

СУДЬЯ. Встаньте! Вопросы нужно задавать стоя.

Я (вставая). Но прокурор, я вижу, задает вопросы сидя.

СУДЬЯ. Ему так положено.

Я (Смирнову). Так можете вы сказать точно, вы читали мое письмо?

СМИРНОВ. Нет, не читал, только перелистывал.

Я. Не читали, но сказали, что оно "показалось враждебным". Почему?

СМИРНОВ. Там говорится о лагерях.

Я. Разве у нас нет лагерей? Разве не лагерь ожидает Убожко и меня? Вы сказали, что сдали в органы, в органы прокуратуры? (Тут я расставлял маленькую ловушку Смирнову: хотя следствие вела прокуратура, его заявление было адресовано в КГБ).

СУДЬЯ. Задавайте вопросы, которые касаются только вас лично.

Я. Но вы же сами признали наше дело общим, значит все, что касается Убожко, касается и меня.

СМИРНОВ (не попадаясь в ловушку). В органы КГБ.

Я. Убожко назвал вас старым другом, вы назвали его другом, почему же вы не поговорили со своим другом, не постарались переубедить его, а пошли сразу в КГБ?

СУДЬЯ (отвечая за Смирнова). Это его право, такого мнения он придерживается.

УБОЖКО (отвечая за Смирнова). У него был обыск, и КГБ его заставил.

СМИРНОВ (отвечая за себя). Убожко упрямый человек, он не стал бы меня слушать.

Я сказал Смирнову, что так поступать нельзя, а здесь хотел написать, что вот до чего извратились у нас все моральные понятия, если человек – пусть по принуждению – доносит на другого, свидетельствует против него, и оба продолжают считать себя друзьями. Но история Смирнова – это оборотная сторона истории Булыги. Оба из провинциальных городов, лишенных общественной жизни, оба с большим

любопытством к борьбе, которая происходит где-то вне их мира, но прямо касается их, оба хотят узнать или сделать что-то, но не успевают они прикоснуться к "запретному плоду", как тяжелая рука ложится на них, и им начинает казаться, что есть только два выхода: гибель – для Булыги, или предательство – для Смирнова.

Ходаков и Устинов, которым Убожко читал Солженицына, держались по-разному. Психиатр Ходаков, рыхловатый блондин еврей, старался свои показания на предварительном следствии смягчить, говорил, что к чтению не прислушивался, и не Убожко им дал Солженицына, а они сами с Устиновым попросили у него, было видно, что он чувствует себя неловко. Журналист Устинов и его крысиномордая жена держались уверенно: да, Убожко высказывал враждебные взгляды, выдавал себя за сотрудника ЦК ВЛКСМ, за члена "организации Якира", советовал "проветрить мозги" и так далее. Устинов "первый обратил внимание, что книги враждебные", а смотрел "только из профессионального интереса".

– А жене зачем давали? – спросил судья.

Допрошен был начальник Убожко, показавший, что Убожко вместо работы играл в шахматы и читал лекции о международном положении, а подчиненным поручил ремонтировать свой автомобиль. Учительница Кучина, толстенькая девушка лет тридцати в очках, показала, что с Убожко ее познакомила подруга, и она "была удивлена странным освещением им некоторых проблем", он, в частности, "допустил три антисоветских высказывания": во-первых, сказал, что в правительстве должна быть интеллигенция, во-вторых, похвалил Хрущева, в-третьих, говорил, что хочет стать членом политбюро. Под смех в зале Убожко пояснил, что он имел в виду сменяемость людей у власти, чтобы руководители не обюрокрачивались.

Я. Скажите, Кучина, что антисоветского вы усматриваете в словах, что в правительстве должна быть интеллигенция? Разве теперешние наши руководители, по-вашему, не интеллигентные люди?

КУЧИНА. Нет, Убожко неодобрительно о них отзывался, говорил, что должна быть интеллигенция в правительстве.

Я. А что антисоветского в том, что Убожко хвалил Хрущева? Он что, антисоветской деятельностью занимался на посту первого секретаря ЦК КПСС?

Кучина промолчала, и я спросил, что – хотя это и вызвало смех – разве это не естественное желание для настоящего советского человека стать членом политбюро, ведь теперешние его члены тоже когда-то хотели ими стать? Так сказать, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, или наоборот, хорош тот, кто несет в солдатском ранце маршальский жезл. Судья не дал Кучиной ответить и объявил перерыв на 30 минут. Сам Убожко довольно игриво отнесся к ней, сказал: "Привет, Света!" – и, когда она выходила из зала после своих замечательных

показаний, хлопнул ее рукой по заду прямо со скамьи подсудимых.

По моему делу были допрошены всего двое свидетелей: служащий таможни Станишевский и Гюзель.

СУДЬЯ. Что вам известно по данному делу?

СТАНИШЕВСКИЙ (долго думает). По данному делу мне ничего не известно.

СУДЬЯ. А вы не помните обстоятельств, при которых была изъята пленка у американского журналиста Коула?

СТАНИШЕВСКИЙ. Я выполняю на таможне в Шереметьево функции политического контроля. Я остановил Вильяма Коула, корреспондента СиБиЭс, аккредитованного при АПН, который при выезде из СССР хотел пронести несколько бобин с кинопленкой. Я спросил, что у него такое. Тот отвечает: музыка. Поскольку вывозить кинопленку 16 мм и шире можно только с разрешения Министерства культуры, я задержал его и подверг пленку досмотру. Оказалось, что это не музыка, а запись интервью.

СУДЬЯ. Что именно за интервью?

СТАНИШЕВСКИЙ (долго думает). Телефильм я не видел. Пленку слышал частично, но не помню, боюсь ввести суд в заблуждение, было давно. Помню хорошо, что когда мы пленку изъяли, быстро отреагировали соответствующие товарищи.

ПРОКУРОР. Значит, пленку изъяли только потому, что была 16 мм?

СТАНИШЕВСКИЙ. Конечно.

Ни Швейский, ни я вопросов не задали. Можно было спросить, что если дело упиралось только в 16 мм, так не проще было бы, не изымая пленки, направить Коула в министерство за разрешением.

Задав Гюзель, как и всем свидетелям, вопросы о месте и годе рождения, национальности, месте проживания и занятии, судья торжественно сказал, что хотя она и моя жена, ее гражданский долг говорить правду – что ей известно по данному делу?

ГЮЗЕЛЬ (робко). Известно, что мой муж, Андрей Амальрик, незаконно арестован.

СУДЬЯ (любезно). Незаконно арестован следственными органами?

ГЮЗЕЛЬ. Да.

СУДЬЯ. Что вам известно о публикации за рубежом книг вашего мужа? Он автор книги "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?"?

ГЮЗЕЛЬ (как я учил ее). Я ничего не знаю.

СУДЬЯ. Но вы-то читали книги вашего мужа "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", "Нежеланное путешествие в Сибирь" и другие?

ГЮЗЕЛЬ (гордо). Конечно, читала! (В зале смешки).

СУДЬЯ. А что вам известно о телеинтервью?

ГЮЗЕЛЬ. Ничего не известно.

СУДЬЯ. Мы вам напомним. Там, кстати, есть и ваш голос.

Судья сказал, что поскольку я от показаний отказался, будет прослушана запись интервью – телеинтервью показывать не стали, чтобы не вводить людей в соблазн. Прослушали маленький кусочек – о психбольницах и об отношении "советских людей" к США, заседатели всем видом показывали ужас и негодование.

СУДЬЯ (выключая магнитофон). Я думаю, достаточно. (Мне.) Это ваш голос?

Я Я не буду давать показаний.

СУДЬЯ (Гюзель). Вы узнаете голос вашего мужа?

ГЮЗЕЛЬ. Не знаю. Может быть, это монтаж. (Негодование в зале.)

Следующее заседание началось в 10 часов утра речью прокурора. Недавно мы отпраздновали пятидесятилетие советской власти, с первых дней ей предсказывали крушение – сначала через недели, потом через годы, пророчества не сбылись, что "пророков" не остановило. Жена Амальрика сказала, что он автор разбираемых книг, он этого не отрицает, не правда ли? "СССР до 1984?" – несерьезная книга, сам пишет, что это – результат "не исследований, а наблюдений и размышлений", следовало бы сказать "измышлений", а "вот что говорят его единомышленники": "произведение незрелого ума" (цитата из передач Радио Свобода). Предсказание термоядерной войны с Китаем – вздор, захват власти армией – вздор, 1984 год – взят с потолка, "очевидно, что это клевета". Как вообще клеветник может дать правильную оценку?" Прокурор дважды процитировал Сахарова: положительный отзыв о социализме (как противопоставление моим "измышлениям") и отрицательный о сталинизме (как пример распространяемой Убожко "клеветы"). Мои книги объяснил озлобленностью после ссылки – с точки зрения властей, им должны быть благодарны за репрессии как за воспитательную меру и ожесточение рассматривается как противоестественная неблагодарность. Об Убожко прокурор говорил мало, но потребовал нам обоим по три года. Речь его была мягче, чем я ожидал.

Хардин, адвокат Убожко, делал упор на то, что Убожко – психопат, увлекался самим процессом борьбы, видел "фактики", но упустил "главную правду", был любопытен, но не враждебен, не ставил цели распространения, процитировал слова его матери: "Выброси этот мусор из головы!" – нельзя ставить Убожко на одну доску с тем, кто сознательно писал и действовал враждебно. Свел он к тому, чтобы Убожко дали срок по фактически отбытому. Хардин строил свою речь по-профессиональному убедительно, но, по-моему, не следовало безоговорочно осуждать все, что говорил его подзащитный, а также

выгораживать его за счет другого.

В начале своей речи Швейский полностью присоединился к данной прокурором оценке советских достижений. Мои убеждения он находит странными и даже враждебными, но – не касаясь их существа, что значило бы разойтись с интересами подзащитного, – являются ли они "клеветническими и заведомо ложными"? Он анализировал смысл и область применения ст. 190[1] и доказывал, что книги – выражение моих убеждений, пусть ошибочных, но никак не клевета. Он упомянул мое исключение из университета, необоснованную ссылку, привел цитату из постановления XXII съезда КПСС, что разоблачение "культа личности" может вызвать "издержки и подавленность", отнеся меня к этим издержкам, и воскликнул, что "доказывать нашу правду нужно не судом, а успехами коммунизма и силой наших убеждений". Поскольку все, написанное мной, – не клевета, он просит дело прекратить и освободить меня из-под стражи.

Это была хорошая речь, если учесть возможности советского адвоката на политическом процессе, где ему положено соглашаться с прокурором и только просить о снисхождении. С началом Движения за права человека появились и адвокаты в Москве, которые строили защиту или отрицая часть эпизодов, утверждаемых обвинителем, или давая им иную оценку, первой очень смелой речью была речь Бориса Золотухина, адвоката Гинзбурга на процессе 1968 года. Он был исключен из партии и из коллегии адвокатов, и власти начали более или менее независимых адвокатов лишать так называемого "допуска", то есть права участвовать в политических процессах. Право это, нигде в законе не оговоренное, представляется президиумом коллегии адвокатов по согласованию с КГБ, а точнее – по указанию КГБ.

Швейский – впоследствии он повторил эту тактику и на других защитах – от оценки моих взглядов уклонился, распространения не касался и сосредоточился на вопросе умысла, то есть саомооценки – при этом он преступил запретную черту, потребовав оправдания. Он всячески подстраховывал себя, нахваливал, например, виденный им колхоз в отличие от описанного мной, но едва он вернулся в Москву, тут же начался процесс его исключения из партии. Ставилось ему в вину, что он "по-партийному" не осудил мои взгляды на суде, и на его исключении настаивал член политбюро Кириленко, пока еще не смененный моим подельником Убожко. Говорили, что наш процесс из зала суда транслировался в Москву, не знаю, правда ли это, какая-то аппаратура с выводным кабелем в зале была. Швейский сообщил Гюзель, что он не сможет участвовать в кассационном разбирательстве, но исключен он не был, на кассации присутствовал и "допуск" сохранил.

Власти понимали, что всегда найдутся решительные подсудимые, которые предпочтут отказаться от адвоката, чем брать слишком

зависимого, а это создаст трудности процедурного и пропагандного характера: вот, мол, даже без адвоката осудили – власти чувствительны к этому, а также им не всегда нужен прямой нажим, но иногда неуловимое давление, неформальный передатчик от суда к подсудимому и наоборот. Швейский перед моим последним словом спросил, не смогу ли я, пусть не признавая вины, сказать или что я многое продумал во время этого суда, или что суд открыл мне глаза на вещи, о которых я раньше не думал. Не сомневаясь, что говорит он это не по своей инициативе, я ответил: "Какой смысл, все равно три года", – тоже для передачи, ибо "органы" не понимают и не верят, когда говорят об убеждениях, но практические доводы схватывают на лету. Швейский, умевший балансировать где-то на самом острие, был для властей наименьшим злом, и в процессах с достаточно упрямыми и известными подсудимыми он и впоследствии участвовал и требовал их оправдания.

Последнее слово Убожко начал с цитаты Ленина, что советскому строю угрожает бюрократическое перерождение, и, желая ленинскую мысль проиллюстрировать, перешел к своим конфликтам на работе, лекциям о международном положении, женитьбе, двенадцати судам из-за ребенка – и на этой теме окончательно увяз. Последнее слово, в котором просят обычно снисхождения или оправдания, законом не ограничено, но как правило бывает кратким – между тем прошло уже более часа, а Убожко все продолжал говорить о жене. Маленького роста, но по-спортивному крепко сбитый и мускулистый, с рыжеватыми волосами вокруг ранней плеши, он чувствовал себя как бы снова на трибуне лектора-международника, тем более, что в зале сидел партийный актив, и так энергично взмахивал рукой, что я отодвигал от него стоящий на барьере стакан: один из конвоиров время от времени подносил ему воду, от долгой речи у него пересыхало в горле.

Временами мне было интересно его слушать, временами из-за вызванного судом напряжения я начинал ненавидеть его за эту болтовню, в зале слышались смешки, зевки и покряхтыванье. Несколько раз судья прерывал его: "Убожко, ближе к делу", – а в ответ на ленинские цитаты сказал: "Вы цитируете хорошие вещи, мы Ленина читали, читаем и будем читать, но сейчас это к делу не относится". Но Убожко продолжал цитировать Ленина и рассказывать о своей борьбе с женой и властью, с горечью заметив: "Кого это не коснулось, тот этого не поймет, вот прокурор раздает срока: этому три года, тому три года, а посадить бы его самого хотя бы на три месяца!"

– Убожко, не оскорбляйте прокурора! – вскричал судья.

– Я его не оскорбляю, – ответил Убожко и, кое-как закруглив с женой, перешел к подробнейшему анализу обвинительного заключения, затем пространно заговорил о пьянстве, росте преступности – в зале раздалось шиканье, кто-то крикнул: "Есть ли жизнь на Марсе?"

– Убожко, это к делу не относится! – но судья постучал и в адрес тех, кто шумел.

– Дело в том, что у людей нет сознательности! – воскликнул с горечью Убожко, имел ли он в виду, что у сидящих в зале нет сознательности или у всего народа, от того, что народ разочаровался в ленинской идеологии, а разочаровался он в ней по вине перерожденцев-бюрократов, которые в этом зале не хотят выслушать Убожко, но как бы то ни было, он махнул рукой и кратко сказал, что просит суд его оправдать и вынести два частных определения: о восстановлении его на работе и признании ребенка его жены не его ребенком – и с облегчением выпил стакан воды, тут же поднесенный конвоиром.

С таким же облегчением судья объявил перерыв на полчаса. Не знаю, хотел ли он устроить передышку, или же рассчитывал, что за эти полчаса Швейский уговорит меня смягчить линию.

В своем последнем слове я сказал, что преследование за взгляды напоминает средневековье с его "процессами ведьм" и индексами запрещенных книг. Власти понимают, что развалу режима предшествует его идеологическая капитуляция, но могут противопоставить идеям только уголовное преследование и психиатрические больницы. Страх перед высказанными мною мыслями заставляет сажать меня на скамью подсудимых, но этот страх лучше всего доказывает мою правоту, мои книги не станут хуже от бранных эпитетов, какими их здесь наградили, мои взгляды не станут менее верными, если я буду заключен за них в тюрьму. Главная задача моей страны – сбросить с себя груз тяжелого прошлого, для чего ей необходима критика, а не славословие. Я лучший патриот, чем те, кто, разглагольствуя о любви к родине, под любовью к родине подразумевают любовь к своим привилегиям. Ни проводимая режимом "охота за ведьмами", ни этот суд не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что многие будут запуганы, и все же думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим. Никаких просьб к суду у меня нет.

Я читал заранее написанный текст с большим напряжением, ожидая, что судья прервет меня с первых слов, но он не прервал меня. Несколько секунд было полное молчание, затем судья объявил: "Суд удаляется на совещание, которое продлится примерно пять часов".

Около восьми вечера нас снова ввели в зал. Приговор повторял обвинительное заключение, оба мы получили по три года: я усиленного режима, Убожко – общего*. Кроме того, суд вынес частное

* Существуют четыре лагерных режима: общий – для впервые совершивших преступления; усиленный – для впервые совершивших опасные преступления; строгий – для совершивших преступления повторно, а также особо опасные государственные преступления; особый – для рецидивистов.

определение, но не о жене Убожко, как тот просил, а о моей: милиции было поручено проследить, работает ли Гюзель и не занимается ли "антисоветской деятельностью".

Суд был проведен корректнее, чем я ожидал, однако с точки зрения правовой – даже в рамках советских законов – ниже всякой критики. Очевидно, суд, исходя из смысла ст. 190[1], должен был изучить три пункта:

1. Ложность написанного и сказанного мной, то есть несоответствие действительности, а также порочащий характер этого. Судом этот пункт считался само собой разумеющимся, только в речи прокурора содержался некоторый анализ одной из инкриминируемых мне книг – "СССР до 1984?", но не с точки зрения ложности приводимых в ней фактов, а с той, что она "порочит советский строй". Так же и в приговоре всякий критический отзыв о системе приводился как синоним ложного, у системы существует нечто вроде "презумпции правды".

2. Заведомость лжи, то есть вопрос, искренне ли я заблуждался или знал, что все написанное мной – клевета; при условии, конечно, что ложность уже была ранее доказана. Речь адвоката целиком была посвящена этому, но прокурор и суд этого не коснулись.

3. Распространение. Суд тоже считал его само собой разумеющимся, раз мои книги изданы заграницей. В деле, однако, не было ни одного показания, что я передавал их кому-то, в конце концов рукописи "Путешествия в Сибирь", "СССР до 1984?" или "Письма Кузнецову" могли быть похищены у меня и изданы без моего ведома – в этом случае я не мог нести ответственности за их распространение. Не было установлено, действительно ли я давал интервью Кларити и правильно ли он цитирует мои слова. Статья о живописи не была нигде опубликована, обнаруженный у меня экземпляр не обязательно предназначался для распространения. Единственно установленным фактом можно считать интервью Коулу, но его распространение имело место в США и в Западной Европе, следовательно относилось более к компетенции американских и европейских судов.

При выходе из зала Гюзель бросила мне цветы, которые начальник конвоя вырвал и тут же растоптал – видимо, в нем сказалась накопившаяся за два дня злоба. Гюзель подобрала эти цветы, засушила и хранила, пока их не постигла судьба всех засушенных воспоминаний: рассыпаться в прах. Когда нас заталкивали в воронок, я последний раз увидел Убожко.

Глава 14.

ТУДА, ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА

Приговор переживается почти как новый арест. На следующий день Швейский сказал, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР; исходя из непризнания суда, сам я решил приговор не обжаловать. На вопрос, сможет ли он передать Гюзель текст последнего слова, он твердо ответил: нет. Оставался последний шанс: свидание с Гюзель. Пока я говорил со Швейским, последнее слово в буквальном смысле слова навязло у меня в зубах. Еще рано утром, подтачивая карандаш заранее припрятанным лезвинм, я мелкими буковками переписал свои речи на суде, плотно сложил, обмотал целлофаном и перевязал ниткой — маленькую капсулу я спрятал во рту и держал там все время, чтобы привыкнуть и говорить естественно. Я записал то же самое на обычном листе, который спрятал в брюках — я надеялся, что на обыске перед свиданием найдут этот листок и успокоятся, я нарочно смял его, чтобы сказать, что вовсе не собирался передавать его жене, а захватил как туалетную бумагу, и правда, при вызове к следователю или прокурору, моим врагам, я оставался спокоен, но перед встречей с Гюзель или с адвокатом начинались спазмы кишечника.

Я не мог переписать все незаметно от Жени — хотя осужденных сразу переводят, меня оставили с ним в той же камере. Он мог меня выдать и когда меня водили к адвокату, и теперь, когда меня сразу же вновь вызвали. Двое надзирателей обыскали меня, нащупали бумагу под хлястиком брюк — и с удовлетворенными лицами отнесли в соседнюю комнату. Затем меня ввели в комнату свиданий, и я увидел Гюзель. Женя не выдал!

Нас посадили по обе стороны длинного стола и предупредили, что нельзя целоваться и касаться друг друга, под столом шел сплошной металлический барьер. В конце сидели две надзирательницы, внимательно слушали и смотрели. Но, по крайней мере, мы видели друг друга и могли говорить — такой разговор всегда начинается немного сумбурно, хочется сказать о чем-то важном, но выскакивают пустяки. Я хотел узнать, не трогали ли Гюзель все эти месяцы, и она рассказала, как за ней перед поездкой в Свердловск ездила черная машина, и оттуда кричали: "Гюзель, смотри, хуже будет!" Мне казалось, что у нас впереди еще много времени, свидания дают до двух часов, но не прошло и двадцати минут, как надзирательница сказала: "Свидание закончено!" И хотя мы заспорили, ясно было, что это бесполезно, они уже тянули нас в разные стороны, и тогда, перегнувшись через широкий стол с повисшими на нас надзирательницами, мы

с Гюзель обнялись и поцеловались, и, целуя ее, я попытался просунуть ей языком в губы свой целлофановый пакетик – мысль о нем сидела у меня в голове все время свидания, – но Гюзель не понимала меня, онао она видела в этом поцелуе только прощальную нежность и любовь – и пакетик чуть было не упал на стол, Гюзель, однако, подхватила его и быстро сунула в рот.

– Она что-то проглотила, проглотила! – закричали обе надзирательницы.

– Деточка, проглоти, а потом покакай! – успел я крикнуть, я не сомневался, что изо рта у Гюзель могут вытащить мое послание, но едва ли станут резать живот. Я услышал, как Гюзель спокойным голосом отвечала надзирательницам, что она ничего не глотала, а просто у нее от волнения выпала слюна изо рта.

В течение месяцев я повторял свои речи наизусть, думая, что если у Гюзель их все же отобрали или они растворились в желудке, я снова продиктую их на личном свидании в лагере. Гюзель рассказала потом, что от волнения у нее так пересохло в горле, что она никак не могла проглотить капсулу, наконец, судорожно глотнув, проглотила – и тут же появился врач, и Гюзель действительно испугалась, что ей будут делать кесарево сечение, и стала возбужденно повторять свою версию с вылетевшей слюной, но врач недоуменно и с некоторой усмешкой послушал ее и ушел, сказав, что медицина бессильна что-либо сделать. Продержав Гюзель около двух часов, ее выпустили.

– Мы думали, что тебя арестовали, – бросилась к ней Лена, которая дожидалась со своим другом у тюрьмы. – Ты получила последнее слово? Да? Где оно?

– Оно здесь, – сказала Гюзель, указывая на желудок.

Боясь, что мои речи там долго не выдержат, они бросились в ближайший ресторан. Под удивленными взглядами с соседних столиков, Гюзель смешала водку с портвейном, поперчила и один за другим выпила два стакана и, почувствовав, что ее мутит, нетвердыми шагами пошла в туалет: "С первой попытки ничего не вышло, но я поднатужилась, и меня вырвало еще раз – и, о радость, в раковине лежит неповрежденный пакетик, так хорошо упакованный, что только одно слово растворилось."

Гюзель рассказала еще, что когда они прилетели в Свердловск, в аэропорту кто-то кричал в рупор: "Товарищи, кто на конференцию энергетиков?" – и несколько человек с их самолета, молодых и пожилых, но все с солидными портфелями, бросились к нему. На следующий день Гюзель входит в зал суда – все "энергетики" уже здесь, мы так и прозвали этот суд "конференция энергетиков".

Через три дня меня перевели в другую камеру, необычайно тщательно обыскав и изъяв все записи. "За что сидите? За политику? О, это дело сложное, почти как шмон", – сказал старшина, держался

он со мной вежливо. Вскоре молодой человек в штатском возвратил мне мои бумаги, за исключением английских упражнений, отосланных на проверку в Москву. Несколько дней я провел один, а после моей жалобы ко мне посадили полуидиота лет восемнадцати, со сплюснутым затылком, сидел он за изнасилование и привел то же объяснение, что и более здравомыслящие насильники: "Сама дала". Я проводил дни за чтением, делал долгую зарядку по утрам и даже продолжал заниматься боксом, подвешивая и колотя свою подушку, по принципу блатных: бей своих, чтобы чужие боялись. Мой сокамерник, когда не спал, молча смотрел на меня из угла, не делая мне ничего дурного, но его присутствие действовало тяжело, так что в конце концов я сам попросился сидеть один.

1 декабря мне сообщили, что дело направлено в Верховный суд, а через день рано утром взяли на этап. В тюрьме всякое перемещение внезапно, но это было совсем необычно: приговор в законную силу еще не вступил, этапировать в лагерь меня было нельзя, неужели в Москву? Час проходил за часом, а я продолжал сидеть на истертой скамье или расхаживать по тесной этапной камере, любуясь на закиданные бетоном и забрызганные грязнорозовой краской стены – в снах о тюрьме, которые мне снятся до сих пор, всегда присутствует этот цвет. Я взглянул на часы в коридоре, когда меня выводили: была полночь. После небрежного обыска дежурный как-то растерялся и наконец повел по длинному коридору.

– Куда меня повезут? – спросил я.

– Машинист паровоза знает! – ответил майор с нежной улыбкой и распахнул дверь, предлагая войти.

Я вошел и встал на пороге – большая комната была полна женщин. Очевидно, был приказ держать меня "изолированно от людей", но свободных камер не было, и майор рассудил по русской поговорке "курица не птица – баба не человек". Все толпились рядом с дверьми в мужскую камеру, но когда ввели меня, начался постепенный отлив, так что в конце концов большинство окружило меня и стало расспрашивать, за что я сижу и почему посажен вместе с ними. Было несколько женщин лет за сорок, но больше молодых, некоторые совсем девочки. Уже по числу этапируемых видно было, что поезд пойдет не в Москву, женщин этапировали в Новосибирск, в лагерь, – но куда меня?

Мы проехали около четырех часов, когда лязгнул замок – я спал в одиночке, положив рюкзак под голову, – и конвоир сказал: "Выходи!". Поезд стоял на маленькой уральской станции, еле освещенной качающимся под пронзительным ветром фонарем. Был страшный мороз, снег отчетливо скрипел под сапогами конвоиров, скалились собаки, нас человек шесть, в том числе одну девушку, выстроили подвое на снегу и повели по безлюдной платформе. "Камышлов" –

прочитал я на здании вокзала.

Тюрьма была рядом, город был маленький; как мне говорила потом Гюзель, с красивой церковью и вкусным хлебом – конечно, церкви я не видел, а хлеб получал отвратительный. Наутро меня ввели в кабинет начальника, черноволосого капитана лет сорока, в валенках, тут же сидели его заместители по политработе и оперработе. Меня встретили настороженно, но не враждебно, расспросили о деле, поспорили – но без взаимных оскорблений, – хороша ли советская власть, и начальник сказал, что камеру, по крайней мере, мне приготовили хорошую. Предстояло снова сидеть одному: хотя одиночное заключение запрещено законом, мне пояснили, что своим примером я могу оказать дурное влияние на других, после моих жалоб через два месяца вынес районный прокурор специальное постановление. Как я мог понять, перевод и одиночка – наказание за речь на суде.

Первый вечер тяжел и тосклив, потом рутина все сглаживает. Людей, не склонных к внутренней работе, одиночное заключение – даже не очень долгое – может привести к психическим расстройствам. Для более интеллигентных оно переносимо легче, иногда в лагере, где почти невозможно побыть одному, я даже мечтал о спокойной камере, но все же одиночество тяжело. Я не мог получить никаких книг для занятий, даже учебника английского языка, и вообще никаких хороших книг: библиотека была еще беднее свердловской. Чтобы занять свой мозг, я каждый день заучивал наизусть какую-нибудь страницу, должен признать, что механическая память у меня слаба. Я продолжал зарядку, избиение подушки, а также сминал клок газеты, обтягивал носовым платком и бросал об стену получившийся мячик. Не могу сказать, что я замечал в себе сильное отклонение от нормы, но стоило услышать скрежет ключа, как начинало колотиться сердце. Мне также часто снился сон, что меня внезапно освобождают, я приезжаю в Москву – и мне не к кому идти, никто меня не ждет, я никому не нужен, и вдруг я вспоминаю, что есть Якир, Якир ждет меня и будет рад встрече со мной.

Пожалуй, мое одиночество не было полным. Три раза в день меня кормили, и однажды раздатчица прошептала: "Напишите потом, как нас здесь кормят". Два раза в день заходил дежурный офицер, и я докладывал, что в камере один человек – на третий месяц, пресыщенный одиночеством, я молча смотрел на него. Раз в день меня выводили на прогулку, тоже одного; несмотря на сильные морозы, я старался гулять час, хотя надзиратели торопили, чтоб самим не мерзнуть на вышке; однажды я пропустил несколько дней, и заметил, что мне стало хуже. Раз в неделю меня водили в баню, неплохую, и я мог сказать два слова с молчаливым банщиком.

Заключенный обязан мыть свою камеру, но, возвращаясь с прогулки, я видел, что все вымыто, даже бумажки и книжки аккуратно

разложены: мыли полы женщины из соседней камеры, к их чести надо сказать, что за все время они у меня ничего не украли, кроме присланного Гюзель куска мыла — это простительно для женщин, учитывая черное и крощащееся подобие мыла, которое нам выдавали. Скоро я нашел записку: кто я и за что сижу? — а затем у меня завязалась переписка с одной из соседок, иногда мы оставляли письма под деревянной решеткой в туалете. Лида — я видел ее мгновенье, пока дежурный не захлопнул кормушку, — оказалась невысокой блондинкой, несколько толстоватой, ей было двадцать шесть лет, она работала учительницей, перешла директором в быткомбинат и через четыре месяца получила четыре года за растрату. Мои письма носили отвлеченный характер — так Вольтер писал Екатерине II, но ее с каждым разом становились все более страстными, она писала, как мечтает отдаться мне, хочет хранить мне верность все время, пока я буду сидеть, и упрекала за холодность.

Время от времени ко мне заходил или вызывал к себе добродушный врач. После медицинского он кончил исторический факультет, но перейти работать замполитом отказался. "Я врач, — говорил он с улыбкой, — держу полный нейтралитет". Часто я обращался с разными просьбами к начальнику тюрьмы капитану Рубелю — вроде того, чтоб воду для чая кипятили, а не давали холодной. Рубель относился ко мне по-человечески, как по-человечески он отнесся к Гюзель, когда она приехала на свидание. В Камышлове не делалось попыток унизить меня, напротив, если Рубель что-то мог сделать, не нарушая своих инструкций, он шел мне навстречу — например, приказал давать мне книги не раз в неделю, а по требованию.

Раз в месяц тюрьму обходил одноглазый районный прокурор, однажды был инспектро УВД с лицом язвенника и начал придираться, почему у меня четыре тетради, нельзя больше одной, — и тут же спросил, есть ли у меня какие-нибудь пожелания.

— Только одно, — ответил я, — чтобы вы ушли из моей камеры.

Настолько же любезней, насколько важней, был первый секретарь Камышловского райкома, и пока его свита стояла у дверей, мы присели на мою железную койку и побеседовали дружески.

— Вы же не будете отрицать, что уровень жизни у нас с каждым годом повышается? — спросил секретарь, выслушав мои туманные рассуждения о скорой гибели советского режима.

— Не буду. Но уровень жизни и в Китае повышается, и почти во всем мире, это не есть особенность нашей страны.

Мы вчера смотрели с женой ваш фильм по телевизору, — обрадованно сказал мне начальник тюрьмы, когда меня ввели к нему с очередной жалобой на холодную воду. — Нам очень понравился, и вдруг смотрим — режиссер Амальрик.

— Это мой дядя, — отвечал я, очень огорчив начальника, что

режиссер такого замечательного мультфильма не сидит у него в тюрьме. Этому дяде, после того как вышли мои книжки, на студии намекнули, что с такой фамилией лучше фильмы больше не делать.

Слегка уязвленное, чувство гордости за свою тюрьму у капитана Рубеля было вскоре восстановлено: 17 декабря об одном из его заключенных, а именно обо мне, поместила статью "Правда". Не могу сказать, что вся статья "Нищета антикоммунизма" была посвящена мне, начиналась она с того, чем кончилась речь секретаря райкома, с "бурного роста материальных сил Советского Союза", затем с неодобрением говорилось об "агентах империалистических разведок", "маститых профессорах дезинформации", "продажных писаках из буржуазной прессы", "заокеанских мракобесах" – но с похвалой о противостоящих этим темным силам Бенджамине Споке, Дике Грегори, Нормане Мэйлоре, Поле Гудмане, Анджеле Дэвис, Ральфе Абернети и сенаторах Вильяме Фулбрайте и Маргарет Смит. Кончалась эта статья тем, что "советские люди повышают политическую бдительность... и это должны твердо усвоить организаторы и исполнители антисоветских идеологических диверсий."

Цель была "дать установку", как относиться к Нобелевской премии Солженицыну, моему осуждению и предстоящему аресту Буковского. Обо мне автор статьи "некий" И. Александров – говорят, что это псевдоним "главного идеолога" М. Суслова – писал: *"Взять к примеру некоего А. Амальрика, которого "Вашингтон Пост" величает "историком" и автором "захватывающих, блестящих" творений... Чуть ли не каждый день Амальрик обивал пороги иностранных корпунктов, подсовывая их хозяевам грязные слухи и сплетни: из них потом лепились "достоверные корреспонденции". Из этих же слухов и сплетен падкие на антисоветчину западные издатели изготовили целые две книги, одну из них сейчас навязывают американскому читателю по цене 6 долларов 95 центов. Именно последнее – доллары – и привлекло больше всего Амальрика..."*

У советской печати есть несколько градаций для врагов: "некий" – самое пренебрежительное; "небезызвестный" – выше рангом, но по-настоящему известности не заслуживающий; наконец, "известный" – этой чести я удостоился только семь лет спустя, когда та же "Правда" написала обо мне "известный скандалист Амальрик". В лагере я достал в библиотеке "Правду" с "Нищетой антикоммунизма" и охотно показывал ее зэкам, которые здраво говорили: "Какая же нищета, когда ты кучу долларов огреб!" Один валютчик – уже настоящий, а не "Мелкий клеветник-валютчик", как я был назван, – сказал: "Ну, они действительно не доживут до 1984 года, если у них нет других аргументов". В конце концов статья у меня была конфискована как используемая в целях враждебной пропаганды.

– Как же так, – был озадачен начальник тюрьмы, – тут пишут

"пришлось познакомиться с органами правосудия", изъята валюта — между тем в приговоре сказано, что вы ранее не судимы, и ни слова о валюте.

— Вот и судите, какую "правду" пишет "Правда", — ответил я. "Правда" была тогда полна статей о "героической Анджеле Дэвис", члене американской компартии. Она купила оружие для черного подростка, который застрелил судью и еще несколько человек, и за это была арестована и судима. Всех встреченных мной убийц, насильников, грабителей доводило до исступления, что превозносят как героя возможного соучастника убийства — когда г-жу Дэвис оправдали, стон стоял в лагере.

По тому, что пишут советские газеты о загранице, можно понять, что волнует их дома — процесс г-жи Дэвис был выбран как своего рода противовес политическим процессам у нас, в частности, моему. Анджела Дэвис не подвела своих защитников: когда к ней обратились за поддержкой арестованные в Чехословакии либеральные коммунисты, она ответила, что социалистическое государство вправе наказывать своих врагов. Читая в той же "Правде", как тяжело приходится уругвайским коммунистам, я действительно сочувствовал им безотносительно к их идеологии, в уругвайской тюрьме — лучше ли, хуже ли, чем в советской, но достаточно тяжело. На примере г-жи Дэвис я понял, что идеология может убить в человеке наиболее человеческое — способность к сопереживанию, к сочувствию, к состраданию.

Прочитав заметку, что она в тюрьме дала интервью о "нечеловеческих условиях", в которых ее содержат, я спросил начальника, почему же ей в "нечеловеческих"условиях дают встретиться с телевизионной командой, а мне в "человеческих" условиях не разрешают свидания с женой. "Потому что у них капитализм, а у нас социализм", — ответил капитан Рубель.

В конце февраля, однако, мне разрешили свидание с Гюзель, после того, как пришло определение Верховного суда. Необычайно долгий срок ожидания заставлял и надеяться на лучшее — такова уж неисправимая природа человека, и опасаться худшего — переквалификации на ст.70; только после упоминания трехлетнего срока в "Правде" я успокоился. Определение без изменений повторяло приговор. Свидание нам дали на два часа, сидел рядом молодой начальник оперчасти, но в разговор не вмешивался.

С вступлением приговора в законную силу я из подсудимого превратился в осужденного и ждал отправки в лагерь. Мне вручили письма и телеграммы, которые я раньше не имел права получать, и я сам мог написать первое письмо — одно из трех в месяц. Я писал уже летящей в Москву Гюзель: *"Я смотрю на себя как на исследователя и путешественника, который на три года отправился изучать жизнь диких зверей в пустыне и обычаи папуасов в Новой Гвинее, и хотя*

путешественник понимает, что его ждут лишения, неприятности и даже опасности, научный интерес и жажда исследований все перевешивают".

Ночью второго марта меня принял конвой этапа, идущего на Новосибирск. Мое привилегированное положение кончилось: впервые я очутился вместе и наравне с другими зэками, несколько фигур в грязно-серых бушлатах и с такими же серыми и одинаковыми лицами сидели и лежали в купе. Я думал, что меня повезут в ближайший к Камышлову лагерь, но начальник тюрьмы перед отъездом ничего не сказал и посмотрел как-то странно, так же посмотрел на меня сквозь решетку вагона пожилой старшина, держа в руках пакет с моим делом.

– Антисоветчик, что ли? С таким сроком – и на Колыму!

Вот оно, роковое слово. Так значит меня не оставят на Урале, не повезут на Алтай, в Западную Сибирь, в Забайкалье или даже на Сахалин: представлялись бескрайние ледяные просторы Колымы, дующие с Северного ледовитого океана ветры, колымская трасса, выстроенная на человеческих костях, золотые рудники – самая отдаленная и страшная часть лагерного архипелага тридцатых-сороковых годов, и самая знаменитая лагерная песня вспоминалась:

Будь проклята ты, Колыма,
что названа чудом планеты,
сойдешь поневоле с ума –
отсюда возврата уж нету...

– Антисоветчик, – сказал я, почувствовав даже гордость за то, куда меня решили загнать.

– Ну, выходи, – старшина отодвинул решетчатую дверцу и молча повел по проходу. – Здесь будет поудобнее, – и он с улыбкой распахнул дверь предпоследней камеры, где нас оказалось трое на три полки.

Мне еще случалось встречать не злых начальников конвоя, но, сравнивая с 1965 годом, конвой стал и жестче, и распущеннее, особенно молодые лейтенанты, недавние выпускники офицерских училищ МВД. Отсутствие контроля сверху и споротивления снизу, делая грубого и неустойчивого молодого человека полным господином над двумястами людей на двое суток, растлевало их довольно быстро, то же происходило и с солдатами, особенно если давал пример офицер. Меня на перегоне Свердловск-Камышлов так швырнул здоровенный ефрейтор, что я пролетел из конца в конец вагона, другой раз лейтенант, с которым я заспорил, начал орать: "Прав был Берия, что вас, антисоветчиков, расстреливал!" Со мной как политическим считались все-таки больше, а так тот же конвоир-бериевец прямо сапогом затрамбовывал зэков в купе. Могли издеваться, не давая воду или не выводя в туалет, случалось, избивали зэков – тех, кто особенно надоедал

конвою, а какую-нибудь женщину, правда, с ее согласия, заводили в купе к начальнику. Не хочу обеливать и зэков, особенно малолеток, они иногда нарочно злили конвой, все же если конвоиры спокойны, вовремя выводят в туалет, дают воду, отвечают без грубостей, то и зэки ведут себя сдержанней. Иногда от конвоиров можно услышать, что служба их тяготит и они ждут — не дождутся, когда она кончится.

— Пошел быстрей, ёбаный в рот! — кричала миловидная женщина в форме, стоя в дверях камеры и подгоняя нас, пока мы, только что высаженные из воронка, тянулись по коридору новосибирской тюрьмы. В так называемом приемнике — камере для новоприбывших — стояла уже плотная толпа. Молодой красивый парень, явно блатной, в меховой шапке, с нервным лицом, еле протискиваясь, кружил по камере.

— Слушай, друг, у тебя срок впереди, а мне через месяц на волю, махнемся шапками? — сказал кто-то. Ни слова не говоря и даже не останавливаясь, тот снял с себя шапку и напялил на просителя.

Подземными переходами с тусклыми лампочками на мокрых стенах нас развели по камерам. Стояло несколько шатких вагонок, но мест свободных не было даже на полу, пришлось устраивать гнилой матрас под вагонкой, вроде шахтера в старом забое. Неожиданно мне уступил место на койке малолетка, с лицом немного калмыцким и с доброй улыбкой, и правда добрый: его назначили в колонии баландером, и в первый же день он раздал недельный запас сахара. Перейти по достижении восемнадцати лет из колонии для несовершеннолетних в лагерь называется "подняться с малолетки на взросляк", некоторые до "малолетки" успели побывать в "короедке", то есть в колонии правонарушителей до четырнадцати лет. Кто попадет в лагерь взрослым, есть еще надежда вырваться из этого круговорота, но кто прошел малолетку — для того надежды нет.

— Ты за политику? Трояк получил? — спросил мужик лет пятидесяти, говоря по-лагерному, понтовитый, он и на особом режиме побывал, и в Заполярье, и там, и сям. — Ну, ты так скоро не выберешься, я тебя такого не первого вижу, вашему брату дают трояк для затравки, а как подходит конец, набавляют новый.

— Выберешься, выберешься, уйдешь по звонку! — тут же вмешался добрый малолетка.

По закону на этапе не должны держать больше двух недель, что само по себе много без возможности занять себя чем-то, но могут держать и дольше. Чтобы вырваться скорей, я решил подать жалобу на тяжелые условия, с наивным расчетом, что администрация скажет: отправим скорей этого кляузника дальше. Нашлись еще любители, а те, кто писать не умел, попросили других, так что мы корпусному при обходе вручили целый пук жалоб — не исключаю, что он тут же направил их в ближайшую мусорную корзину. Однако возникший в

камере дух недовольства и неповиновения искал выхода – и я предложил не отдавать после обеда миски, пока не получим ответа.

Едва мы подкрепили силы водянистым борщом и подгнившей капустой, как в кормушку просунулась упитанная морда баландера. "Миски сдавайте!" – крикнул он, как обычно. "Сам забирай, падла!" – ответил ему мой малолетний друг. Показался дежурный контролер – в Москве их называют вертухаями, а в Сибири дубаками, затем корпусной с уговорами и угрозами, но возбужденная камера шумела и кричала: "Забирай сам! Отправляй нас отсюда! Пошел на хуй!" – а наиболее отчаянные стучали мисками, начался Великий Мисочный Бунт.

Увы, опьянение борьбы было недолгим – через полчаса дверь распахнулась, и старшина скомандовал: "Выходи!" За его спиной стояли несколько надзирателей и наряд солдат. Камера зашумела, те, кто был подальше от двери, застучали мисками, солдаты, говоря военным языком, начали перестраиваться для атаки и тут наши ряды дрогнули, кто-то первый, оторвавшись от толпы, вышел из камеры, за ним потянулись остальные, последними покидали камеру мы с малолеткой, оставляя за собой кучу грязных мисок, те же, кто хотел подчеркнуть свою лояльность к властям, выходили с миской в руке.

Тут же происходило отделение овец от козлищ: большинство разводили по соседним камерам, а нескольких жалобщиков, и меня в том числе, повели в подвал, и мы оказались в камере смертников: с вмурованными в стену и в пол металлическими койками и столом, с кормушкой, устроенной так, что не видишь контролера. А то водившего нас в баню старшину с сиплым голосом и буденновскими усами однажды, когда он сунул голову в кормушку, малолетки схватили с двух сторон за усы и держали, пока не подоспела помощь: он осип от крика, но усы не сбрил. Крошечное окно под потолком выходило в цементную яму, дневной свет не проникал в камеру, а лампочка едва светила. Где-то произошел засор, и из унитаза, булькая, стала подниматься зловонная жижа.

Через несколько дней у меня стала кружиться голова, затошнило, становилось все хуже, начало рвать, камера плыла и раскачивалась перед глазами – я едва добрался до койки. Я слышал, как сокамерники стучат, вызывая врача, но надзиратель из-за двери отвечает, что врача не будет, мы вас сюда болеть не звали. Последнее, что я помню: входит старшина и выкликает мою фамилию на этап...

Комната, очень маленькая, белая и светлая, я лежу на кровати и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, не могу вспомнить, где я, что со мной, кто я, только на следующий день я вспомнил свое имя и через два-три дня фамилию. Я вспоминаю какие-то вагоны, куда-то везут меня – но все это как бы в дымке, неясно, и вдруг всплывает совершенно отчетливо: мешок, у меня был мешок с вещами – и этот

мешок связывает меня, как бы нереального, с реальной прошлой жизнью. Я перевожу взгляд и вижу, что у другой стены на койке сидит мужчина, то ли в сером, то ли в белом, и смотрит на меня – я не знаю, что полчаса назад он уносил труп с этой койки.

– Где мешок? – с трудом поворачивая язык, спрашиваю я.

– Смотри-ка ты, очнулся, – говорит он удивленным и обрадованным голосом. – А мы думали, ты помрешь.

Меня бреют, чтобы показать, как говорят, "генералу", какое-то лицо в очках склоняется надо мной – но не генеральское, и мне кажется, что это мои очки на нем, я говорю: "Зачем украл мои очки?" – и на этом впечатления первого дня кончаются. Неделю я пролежал в этой комнате, поняв сначала, что я в больнице, потом, что я в лагерной больнице, а уже потом, что я лежал в палате смертников, куда помещали безнадежных перед отправкой в морг.

Когда в камере старшина выкликнул мою фамилию на этап, я уже не мог подняться, на меня надели бушлат и, взяв под локти, протащили по коридору со скрюченными уже руками и ногами – начальник конвоя, увидев, что я без сознания и в параличе, отказался меня принять, боясь, что я умру в дороге. Я провел ночь в тюремной больнице, все время бормоча что-то, вскрикивая и делая странные движени левой непарализованной рукой, санитары говорили: "Вышивать начал". В одиночке я часто штопал рубашки, брюки и носки и выработался автоматический жест продевания иголки. На следующий день меня перевезли в лагерную больницу, сделали первую пункцию – потек один гной – и поставили диагноз: гнойный менинго-энцефалит. Я уже замолк и не двигался, меня кололи и вливали антибиотики, зад мой потом походил на решето, и я долго не мог ни лежать на нем, ни сидеть. Когда делали вторую пункцию и начали вводить иглу в позвоночник, я неожиданно матерно выругался, и врач сказала: "Будет жить!". Впрочем, врачи считали, что если я чудом и выживу, то останусь полуидиотом, впоследствии они называли меня "человек, вернувшийся с того света".

Без сознания я пробыл неделю, недели две еще не мог ходить, а правую ногу волочил несколько месяцев, но постепенно ко мне возвращались и твердая память, и, надеюсь, здравый ум. Первое время я страдал от бессонницы, были состояния не бреда, но полубреда: еще в палате смертников я слышал, как в соседней радио повторяет без конца: "Товарищ Сталин сказал... Товарищ Хрущев сказал..." Готовился XXIV съезд КПСС, допускаю еще, что могли упомянуть по радио Сталина, но уж никак не Хрущева, и еще вертелась у меня в голове песня: "Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой!" Третью пункцию сделали через полмесяца, и результат был хороший.

Я понимал, что мог и могу умереть, но, видимо, в тяжелой болезни, когда человек приближается к роковой черте, появляется

безразличие к смерти, я тогда думал о смерти совершенно спокойно. Между тем однажды, когда мне было двадцать шесть лет, внезапная мысль о том, что я когда-нибудь умру, не сейчас, но вообще умру и меня не будет, привела меня в такой ужас, что у меня похолодели руки, и я подошел к своей подруге и схватил ее руку своей холодной рукой, чтоб почувствовать прикосновение к чему-то живому.

Что до мешка, мысль о котором связала меня с жизнью, то большую часть вещей, конечно, украли. Во время войны мой отец, тяжело раненый, лежал в госпитале, и генерал – снова генерал! – пожелал увидеть находящегося при смерти героя. "Какое будет ваше последнее желание?" – спросил он отца. Отцу, как назло, не приходило в голову никаких желаний, наконец, он вспомнил, что у него пропал чемодан. Чемодан тут же разыскали, и генерал полюбопытствовал, что же герой хочет получить перед смертью. Все было украдено, но отец мой был редактором полковой стенгазеты – и на дне остался портрет товарища Сталина. "Вот это настоящий герой! – вскричал генерал. – Хочет перед смертью взглянуть на любимого вождя. Наградить его посмертно орденом Красного знамени!" Отец мой выжил, но вместо ордена получил справку, что он не получил ордена, так как орденов на складе не оказалось. В моем рюкзаке не нашлось, увы, портрета Брежнева, так что я даже справкой награжден не был, если не считать наградой, что воры пренебрегли моими теплыми подштанниками, в которые я без сознания помочился. После стирки я носил их до конца срока, согревая себя от колымских морозов.

Первым, кого я увидел, когда очнулся, и у кого спросил про мешок, был санитар Иван Мельниченко, сидевший за дорожную аварию. Он ухаживал за мной, подавал судно, приносил компот, а я долго не мог есть, только пить, дежурил возле меня, пока я был без сознания. Так же он ухаживал и за другими тяжело больными – в нем было нечто от Платона Каратаева, безличность любви, которая сосредотачивалась вокруг тех, кому нужна помощь. Потом нам достался санитар по прозвищу Жлоб, здоровенный и малоподвижный мужик.

– Гад, пропидер, утку дай, – стонет какой-нибудь лежачий больной.

– Чтоб ты, гад, подох скорее, – отвечает ему санитар, – не наносишься уток на вас, дохляков.

Большая палата произвела на меня впечатление бедлама, но постепенно я начал осваиваться, попробовал ходить, держась за спинки кроватей и, наконец, рискнул на поход в уборную. Это была не настоящая уборная, ставили в маленькой комнате ведро для тяжело больных, которое затем выносили санитары, канализации не было, а выгребная яма с сооруженным над ней сарайчиком была во дворе, и идти туда зимой по снегу в мороз, или весной в холод по грязи было не очень приятно больным, между ними и санитарами всегда был спор,

достаточно ли они уже выздоровели или еще имеют право помочиться в ведро. Самой страшной оказалась баня — в больнице не было даже ванны, в другой конец лагеря я добирался через снежный буран, по рытвинам, ведомый другим больным, слепым, вот они "слепые поводыри слепых" — евангельскую эту фразу, употребленную Солженицыным, приписал прокурор на суде мне, и в бане в пару и в чаду среди раздраженных зэков пытался поднять шайку с водой — и не мог, шайка эта была едва ли не тяжелее, чем я сам в то время, во мне не было и 50 кг. В общем, и уборная, и баня были серьезным испытанием.

Начал я понемногу читать, хотя первое время строчки сливались перед глазами. Когда вышел на улицу, возобновил зарядку, и туберкулезник из соседнего корпуса, увидев, как я на крыльце машу руками, заорал: "Эй ты, не пугай зэков мускулатурой!" — а занятия боксом пришлось оставить. Кормили нас, по счастью, тут же в больнице, довольно скудно, но лучше, чем здоровых.

Моим соседом был блатной лет сорока, не знаю, с каким уже по счету сроком, это был столь часто наблюдаемый мной потом сгусток тяжелой ненависти ко всему и ко всем, кто как-то устроен. "Вот у тебя жена есть, а меня жена бросила, это справедливо, да?" — сказал он мне однажды, и такая злоба промелькнула в его глазах ко мне, к моей жене, за то, что она не бросила меня, и к его жене, за то, что она его бросила. Койки через две на специально подложенных досках лежал молодой человек с больным позвоночником по кличке "спина", настроенный ко всем, напротив, весьма благожелательно; сел он за грабеж: пошел с ножом на какого-то верзилу, и тот так оттолкнул его, что он упал в лужу и из-за больного позвоночника сам не мог вылезти, пока его не подобрала милиция. Много было блатных, вечно вымогавших что-нибудь, я дал апельсин одному, и он тут же стал говорить, что у него есть хороший друг, надо дать и ему, на что я ответил: он твой друг, вот и отдай ему апельсин; другой канючил шариковую ручку "на память", я ответил: ты меня и без того запомнишь. С двумя у меня была стычка: держась рукой за спинку кровати, чтоб не упасть от слабости, мы другой пару раз слабо ткнули друг друга в живот, при этом обещали "порезать" меня в будущем. Была у них привычка выпрашивать у других таблетки от разных болезней и потом проглатывать штук двадцать сразу: "ловить кайф".

Однажды ночью привезли молодого блатного: он "задвинул фуфло" — проиграл в карты, а платить было нечем, донес в оперчасть на своих партнеров, те отсидели в карцере, а затем при удобном случае влили ему асматол в чай. Он в беспамятстве испускал звериные стоны; когда же ему стали вводить в зад наконечник клизмы, чтобы промыть внутренности, он диким голосом заорал: "Контролер! Контролер!" Ему, видимо, мерещилось, что его насилуют товарищи по карточной игре — лагерный способ расплачиваться с долгами чести.

– Небось, друг твой, тебя зовет, – шутили зэки со своих коек, обращаясь к дежурному контролеру, который с глупой улыбкой стоял тут же, наблюдая за операцией. Другие были настроены более мрачно: "Вот падла, теперь всю ночь спать не даст". "Матерьял для ваших будущих воспоминаний", – сказал, подходя, начальник отделения.

Этот блатной пролежал еще несколько дней в нашей палате, придя в себя, но ни с кем не разговаривая; проходя мимо, я заметил в его взгляде ненависть – не скажу звериную, потому что я пришел к сорока годам к мысли, что самый опасный зверь – это человек. Скоро его перенесли в ту комнату, где лежал я, – туда, "откуда нет возврата".

Самое страшное впечатление производили раковые больные. Один из них – скелет, обтянутый сизой кожей, начинал кричать, как только кончалось действие морфия. Он был при мне актирован, то есть освобожден от наказания в связи с тяжелой болезнью, актируют только безнадежных больных по принципу "умри в любой дыре, но не у нас во дворе", для лучшей статистики смертей в системе МВД. Как сказал врач, жить ему оставалось меньше месяца. Другого больного всего полмесяца назад выписали как здорового, а он, хватаясь за кровати, когда его выволакивали контролеры, кричал: "Бляди, что вы делаете, у меня рак, я умираю от рака!" Вскоре он снова попал к нам, и аутопсия подтвердила, что у него рак. Он был в ссоре со всеми, блатные ненавидели его за то, что у него лежал в тумбочке кусок увядшего сала, которое он сам не мог есть, но никому не давал, а на меня он окрысился, когда я сказал, что он со временем выздоровеет: попытка умалить его болезнь привела его в ярость. Он был полковник авиации в отставке и сел на три года за "хулиганство": когда от него ушла жена, топором порубил всю мебель у себя в комнате.

Кроме полковника, у нас был "сын полковника". За годы заключения, особенно на этапах, я повидал немало "сыновей" полковников, прокуроров, генералов, адмиралов, секретарей обкомов и других высокопоставленных лиц, а если уж какой-нибудь бродяга никак не мог выдать себя за "сына полковника", то говорил, что на воле сам был майором. Но Коля Устинов, судя по всем его замашкам, был не с "улицы". Из своих пятидесяти лет просидел он в общей сложности более половины, в основном за кражи, сохранив необычайную веселость духа. "Я иногда тосковал на воле по лагерю, – рассказывал он, – хотелось снова в эту жизнь окунуться, побазарить на этом языке". Нет места пересказывать его многочисленные истории, половину которых он привирал, печальный недостаток, роднящий его с генералом Иволгиным, который рассказывал князю Мышкину, что похоронил свою ногу на Ваганьковском кладбище и поставил надгробие с надписью "Покойся, милый прах, до радостного утра".* Но его приговор

---

*В действительности генерал Иволгин жаловался князю Мышкину,

по последнему делу я сам читал: пьяный, он забрел в Польшу, зашел в расположение советской воинской части, вытащил на кухне из котла все суповое мясо и съел его, распив бутылку водки с поваром, — получил он три года за "нелегальный переход границы". Каждый день один-два раза с ним случался эпилептический припадок, эпилептика провоцирует резкий крик, стук, выстрел, не говоря уже о том, что припадок одного сразу же вызывает припадок другого. В сталинские годы, чтобы не возиться с заключенными эпилептиками поодиночке, кто-то додумался собрать всех в один лагерь: Устинов до сих пор с ужасом вспоминает этот припадочный лагерь.

Однажды у него начались особенно сильные припадки, несколько человек наваливалось на него, укладывало в кровать, отгороженную доской — и так семь раз, пока он совершенно не обессилел. "Знаешь, из-за чего меня било, — сказал он тихо, подсев на второй день ко мне, — из-за тебя. Меня с утра вызвали к оперу, был еще один из УВД и один в штатском из КГБ". Устинов сказал в палате, что знает меня две недели, но доверился бы мне скорее, чем многим, кого знает годами. А ему доверился КГБ и предложил эпилептику следить за паралитиком: вы-де хоть и просидели четверть века за разные небольшие проступки, человек наш, советский, а этот — опасный идеологический диверсант и несправедливо хочет отделаться тремя годами. Перед этим врач водил меня, еле держащегося на ногах, к лагерному оперу, толстомордому калмыку, чтобы тот прикинул, кого для меня вербовать.

По вечерам происходили дискуссии. Обычно начиналось с того, нужно ли открывать окно, чтобы проветривать палату — эту точку зрения отстаивал один я, или же свежий воздух губителен для здоровья — эту точку зрения поддерживало большинство. Иногда спор переходил в более теоретические плоскости, например: нужна ли наука? Точка зрения, что наука нужна — ее придерживался опять же один я — легко разбивалась доводами остальных, что простому человеку нет от науки никакой пользы, а ученые — ловкие мошенники, околпачивающие народ и живущие припеваючи.

— Но вот же медицина вам помогает, врачи лечат вас.

— Куда там лечат — калечат. Любая бабка деревенская вылечит лучше профессора, да и денег меньше возьмет, за то этих бабок и поизводили, — отвечал народ.

Помню яростный спор двух бывших пленных, хорошо или плохо обращались с ними, когда они вернулись из немецкого плена. Опыт у них был одинаков, но один доказывал, что все было хорошо, а

что это Лебедев рассказывал генералу про свою ногу в насмешку над его, генерала, достоверной историей, как он был пажом у Наполеона и посоветовал ему покинуть Москву. (Примечание для тех, кто не читал "Идиота" Достоевского).

другой, что все было плохо. Конечно, даже из одного лагеря можно вынести разные впечатления. Есть люди, которые на воле рассказывают, что они в лагере жили, как теперь на воле не живут, а в лагере говорят, что здесь-то их жизнь прижала, а уж на воле они от жизни брали все.

– Что все? Что все? – раздраженно спрашивает какой-нибудь скептик. – Ты что брал от жизни?

– Ну как же, – возражает рассказчик, – возьмем бывало с ребятами ящик водки, да так нажремся, что хоть ставь нас раком и еби!

От водки, естественно, переходили к бабам. У кого не было жен, коротали больничное безделье за сочинением писем заочницам – с которыми не были знакомы, но достали где-то адреса. Поскольку привлекающая женщин мужская брутальность от письма исходить не могла, а фотографии были запрещены – да они скорее способны были отпугнуть заочниц, то главная ставка делалась на женскую жалость. Наиболее нетерпеливые уже со второго письма намекали, что в лагере жрать особенно нечего.

Один попросил у моего эпилептического друга конверт с маркой, тот ответил, что не всякая заочница стоит пяти копеек. Каково же было посрамление Устинова, когда заочница обещала выслать посылку. Посылку ждали многие, недавние насмешники заранее набивались заочнику в друзья, строили проекты, что там будет: сахар, масло, сало, колбаса, тушенка, сигареты, фрукты. Наконец, посылка пришла и была дежурным контролером торжественно открыта на вахте: там оказалась печеная картошка! Осыпаемый насмешками обманутых друзей, заочник от ярости разбросал ее по зоне, о чем сам впоследствии искренне жалел: домашней картошки с солью в лагере неплохо навернуть.

К концу апреля я гулял немного, заглядывая в окна лагерных бараков, и ужас брал меня, что и мне предстоит два года жить так.

– Ну что, погулял, увидел: ловить нечего, – встречал меня тяжелым взглядом мой сосед, сам он вставать не мог из-за больного сердца.

– Эй, землячок, ты что ль Альмарик? К тебе жена приехала! – кричал мне туберкулезник через разделяющую наши зоны колючую проволоку, и бежал уже Устинов с сообщением: "Видели бабу, по всем признакам твою жену, стояла на косогоре и махала платком".

Как только я смог писать, я послал Гюзель три письма, но не получил ответа, я думал, что письма не дошли из-за цензуры. Я заковылял на второй этаж к окну – но косогор был пуст, заспешил на вахту – никто ничего не знает. Наконец, пришел парикмахер меня побрить и сообщил, что жена приехала. Но свидание, законом разрешенное, нам не дали, под тем предлогом, что меня, больного, свидание с женой может слишком разволновать, и это отразится на моем здоровье. Как некую слабую компенсацию Гюзель разрешили передать законом запрещенную посылку, даже шоколад и икру, содрали только

иностранные этикетки с продуктов из опасения, что они содержат шифрованные указания иностранных разведок.

Хотя я ходил, немного читал и даже писал, мое состояние было неважным, температура держалась повышенная. Я получил инвалидность второй группы, освобождающую меня от обязанности работать в лагере, и врач сказала, что о Колыме не может быть и речи, в начале мая меня выпишут в тюремную больницу, а оттуда – в один из ближайших лагерей. Она предупредила, что всю жизнь я буду страдать от головных болей. Уже после выхода из тюрьмы были дни, когда я не мог прочитать и написать ни строчки, от долгого чтения или пребывания на холоде мой затылок как бы сжимает тяжелая рука, прежняя работоспособность не восстановилась до сих пор – но головных болей у меня почти не бывает. Впрочем, это не значит, что их никогда не будет.

Начальник терапевтического отделения Николай Буюкли и лечащий врач Зинаида Донцова относились ко мне хорошо и старались меня спасти. Через несколько лет мне рассказали с их слов, что они получали для меня лекарства из Кремлевской больницы, так как власти не хотели моей смерти в лагере. Шла и обработка врачей, Донцова, обычно приветливая, увидела, что я читаю статью о буддизме, и с поджатыми губами спросила: "Что это вас на сионизм потянуло?" Еще до приезда Гюзель меня отвели к главному врачу; он спросил, доволен ли я тем, как меня лечат, и не хочу ли написать благодарность врачам. Я действительно испытывал к врачам благодарность, но вместо естественного человеческого чувства эту благодарность выразить, я сразу же заподозрил, не кроется ли здесь ловушка, и ответил, что с удовольствием напишу, но перед самой отправкой.

29 апреля, без всякого осмотра врачей, за мной пришел контролер и сказал собираться. Когда, уже одетый в свой черный бушлат и с отощавшим мешком в руках, я стоял в коридоре, начальник терапевтического отделения увидел меня и удивленно спросил, куда я собрался.

– По крайней мере недельку вам еще надо побыть у нас, – сказал он, пораженный больше меня, и пошел к главному врачу выяснять. Через полчаса он с виноватым видом сказал, что я выписан Донцовой, врагом буддизма и сионизма, накануне ее выезда в командировку. Конечно, начальник отделения мог ее решение отменить, но не они это решали, а кто-то в областном УВД или УКГБ, с кем они не посмели тягаться. Когда Буюкли заговорил об обещанной благодарности, я только с удивлением взглянул на него. Врачи не стали бы делать зла сами тем, кто от них зависел, но не могли противостоять злу, идущему от тех, от кого зависели они.

Глава 15.

ЭТАПЫ

В изысканных выражениях я сказал дежурному офицеру Новосибирской тюрьмы, что меня переводят в тюремную больницу.

— Кому ты там нужо́н! — ответил он, взглянув на меня с насмешкой, и меня ввели в камеру на том же этаже и точно такую же, как та, где два месяца назад я начинал мисочный бунт. На пять двухместных вагонок было человек сорок, я заметил слева от двери пустое пространство между стеной и вагонкой и сунул туда свой матрас, в этом подобии пещеры я проспал пятнадцать дней, пол, хотя омерзительно грязный, был, по счастью, деревянный, а свет круглые сутки горящей лампочки не бил в глаза. После больницы мне даже понравилось в камере — несмотря на тяжелые условия, здесь не было духа болезни и смерти, специфического больничного духа, который охватывал меня, если даже на воле я заходил в больницу, и который один может сделать больным.

В камере оказался хирург из Крыма, он считал мне пульс, определял температуру — она еще долго была повышенной, и этот суррогат медицинского наблюдения действовал успокаивающе. Только недавно заглоченный этой системой, он удивлялся — как меня могли выписать из больницы и отправить в тысячекилометровое путешествие. Каждый день в кормушку заглядывала сестра, раздавала желающим порошки от гриппа и записывала меня к врачу, несколько раз я подал письменные просьбы, но тюремного врача увидел только перед этапом: еще молодая женщина, она сидела в предбаннике и следила, чтобы у всех были выстрижены волосы в паху.

— Знаю про вашу болезнь, — раздраженно сказала она, — но вы же у нас не умерли.

— А если я умру в дороге?

— Вот и обращайтесь к врачам по дороге.

— Наболтал лишнего — теперь сиди! — злорадно сказал кто-то, едва я вошел в камеру. Но тут же нашлись горячие защитники, в том числе бывший инструктор райкома. Он же рассказывал, что на Украине в лагерях тяжелее, чем в Сибири, ничего мясного не разрешают даже в передачах, а в зоне прикрепили к стенду кусок сгнившего сала с надписью: "Позор салоедам!"

— Что ж у вас начальник лагеря иудей или мусульманин, что запрещал свиное сало есть?

— Да просто сам свинья.

Меня занимало отношение народа к власти: как к институции, в основе которой лежит определенная политическая философия, и как

к власти определенной группы лиц – к ним отношение почти поголовно отрицательное, причем молодежь настроена наиболее антиправительственно. Спорный вопрос, насколько общество зэков репрезентативно по отношению ко всему советскому обществу. Те, кто делает ставку на преступление как на форму существования, негативно относится к любой власти – но таких в лагерях меньшинство. Большинство хочет вернуться к нормальной жизни и живет представлениями, совпадающими со взглядами значительной части социально низких слоев, – лагерь, обнажающий механизмы управления, только дал им окончательную шлифовку и развязал языки. "Эта масса... представляет собой девяносто процентов населения России, – писал Марголин. – Можно было в один день освободить все эти миллионы и посадить на их место другие – с тем же правом и основанием".*

Среди народа считают, что чем менее человек образован, тем большую "свободу слова" позволяет ему власть. Я разговаривал со студентом, дважды сидевшим за грабеж, его больше всего поразило, как изменилось отношение зэков к власти за годы между его первым и вторым сроком: никогда раньше он не слышал столько антисоветских высказываний, и я, сравнивая свой опыт пять лет назад с теперешним, согласился с ним. Показывают фильм в лагере о гражданской войне, герой патетически восклицает: "Да знаете ли вы, что в нашем городе белые расстреляли 10 000 коммунистов!" "Мало! Мало!" – кричит половина зала. Власти, обеспокоенные этим, нашли соломоново решение, в 1972 году по лагерям зачитывался приказ о расстреле нескольких заключенных "за антисоветскую деятельность" – не говорили, какую им дали статью, но офицеры поясняли, что те "много болтали", после этого зэки попритихли на время.

Не хочу, однако, сказать, что общее отношение народа к советскому строю негативно, к строю, а не к личностям. Это отношение можно назвать пассивным приятием, даже "любовь народа", о которой все время твердит пропаганда, не есть чистая фикция. Если вас ежедневно насилуют, вы должны насильника или возненавидеть, или полюбить, но ненависть требует бо́льших усилий, и "любовь народа" к власти – этого сорта. Когда я слышу, что можно отбросить шестьдесят лет и вернуться к ценностям дореволюционной России или воспользоваться западными ценностями, я отношусь скептически к обеим точкам зерния. Сравнивая опыт советского народа с тюремным опытом человека, можно сказать, что зэк, конечно, согласится, что до лагеря ему жилось лучше, и что тот, кто жил на воле, пока он

---

* "Путешествие в страну зэка" Юрия Марголина вышло в 1952 году – в разгар антисемитской кампании в СССР – и никакого внимания не привлекло, его лекции в Тель-Авиве, заполненном тогда плакатами с приветствиями Сталину, не собирали и десяти человек.

вкалывал в лагере, сумел достичь большего, но не поверит, что тюремный опыт напрасен, что он ничего не приобрел, кажется, что выстрадано нечто значительное, и как зэк говорит о вольном с чувством превосходства "он того не пережил, что я" – так скажет народ в целом и никогда от опыта революционного полувека не откажется как от потраченного даром времени. Если пользоваться гегелевской триадой, то "тезисом" революции был "февраль" – попытка европеизации России, "антитезисом" – "октябрь" – реакция русской азиатчины против европеизма, "степняков" против "горожан", и наиболее существенный вопрос: будет ли и какой синтез нашей революции?

Мне приходилось встречаться и со сталинистами – тут в камере тихий мужичок начал прямо-таки брызгать слюной и размахивать руками, когда заговорил о сталинской мудрости. В глазах таких вот малограмотных и затравленных мужичков Сталин превращался во вселенского Робин Гуда, защитника обиженных и угнетенных, который уничтожал злое начальство – секретарей райкомов и обкомов, наркомов и директоров, маршалов и генералов, профессоров и академиков, писателей и артистов, уничтожал, уничтожал, да уничтожил слишком мало – и они опять сели на шею работягам. А что Сталин давил в первую очередь сок из работяг, это не то что забывалось, но казалось второстепенным, почему бы не пострадать ради хорошего дела. Вспоминались также военные победы – о чем власти все время напоминали, и ежегодные "снижения цен" – о чем власти не напоминали никогда.

Не успел я осмотреться, как ко мне подошел молодой человек с нервным взглядом, назвался Игорем и спросил, знакома ли мне фамилия Убожко. Он сидел с ним в Омской тюрьме, и Убожко, как он сказал, его за неделю сагитировал. Повел он себя так, словно мы трое принадлежим к одной подпольной организации, но Убожко не успел дать ему явки в Москве, которые должен дать я. Все это меня насторожило, а вечером его приятель Олег тихо сказал: "Не доверяй Игорю, его вызывали к оперу и он согласился стучать, надеялся, что срок сократят". Через два дня Игоря перевели в другую камеру, а Олег остался, повторяя, что сочувствует мне и мог бы передать на волю письма – постепенно у меня сложилось впечатление, что оба играли в одну и ту же игру, намечено было – прием классический, – что, выдав Игоря, Олег войдет ко мне в доверие, они и подобраны были так, что в Игоре было что-то неспокойное и отталкивающее, а в рослом спортсмене Олеге – спокойная привлекательность, сидели оба за изнасилование. Время от времени я встречал на этапах сидевших с Убожко зэков: как я и ждал, в Омске на него завели новое дело по той же статье, на этот раз "сочли целесообразным" направить в специальную психбольницу.

В Новосибирске я впервые наблюдал систему обирания и вымогательств, распространенную на этапах и в меньшей степени в лагерях.

Сбивалась в камере группка блатных и полублатных – состав ее менялся, но они узнавали друг друга, как масоны, – располагалась на лучших местах и понемногу начинала вымогать у других вещи и продукты, называлось это "шушарить" или "беспредельничать", то есть переходить все пределы. Начиналось с просьб "подарить" или "поменять" – многие предпочитали откупиться, а если жертва сразу не сдавалась, следовали угрозы, а затем могли побить, при мне избили одного шофера и отобрали у него пачек сорок сигарет – он доставал по сигаретке из своего мешка и пытался курить тайком. В таких случаях несколько пачек кидается "на стол": нечто вроде акта экспроприации у богатых и неделения бедных и одновременно вовлечения всех в грабеж. На вещи блатари играли в карты, делая их из газет и хлебного клейстера, а у кого ничего не оставалось – на приседания, один "пацан" проиграл 1000 приседаний – и после 300-т повалился на пол.

Иногда обобранная жертва во время проверки вскакивала и жаловалась корпусному, начинали отбирать вещи назад, блатари нехотя отдавали: "Сам же, падла, подарил", – жертву переводили в другую камеру, но там, как правило, случалось то же самое. Раньше даже передачи в камеру не давали, а вызывали покушать в коридор. Устинов вспоминал, как в обед выдал себя за ушедшего на этап зэка, а в ужин его снова выкликают – и только он вышел в предвкушении домашних шанежек, как попробовал сапог от надзирателей.

За обираниями стоит "воровская идеология": как и все революционные идеологии нашего века, она опирается на Ницше и Маркса, хотя блатари могли и не слышать их имен, это право сильного пренебрегать интересами слабого, активного пренебрегать интересами пассивного, с одной стороны, и право бедного экспроприировать богатого, идея социального равенства, с другой. Позднее я дискутировал с таким "идеологом", который под одобрение малолеток говорил: "Сын директора получает все, а сын работяги – ничего. Значит имеет он право украсть? Имеет!" Это отличается от той "воровской идеи" и встреченные мной блатные от тех воров, о которых я слышал от своего отца или читал у Шаламова. Та "идея" заключалась в полном отрыве "воров" от мира и в полном освобождении от всех человеческих законов и морали, нечто вроде мистического ордена, впечатление такое, что все это отошло в прошлое.

Блатные помоложе, "пацаны", как они себя называют, производят наиболее тягостное впечатление, некоторые шепелявят по-блатному, носят "фиксы", ощущение иногда такое, что никаких чувств – кроме животных – у них нет. Потребность все время что-то у других урывать инстинктивна, сидим мы с "пацаном" на нарах, и он постепенно поджимает и поджимает меня к краю – вроде как Советский Союз поджимает несчастный Запад, – и не потому, что ему места мало,

а просто по привычке. Тут я поднатужился и тоже подвинул его немножко.

Есть, однако, уголовники с зачатками благородства, хотя и извращенными, такие отчаянные, что иначе не могли выразить свой протест против несправедливости, как преступлением. Одному в помиловке я написал, что на преступление его толкнуло "ложно понятое чувство собственного достоинства". Он посмотрел на меня как ошалелый: "Как?! Как ты сказал? Да я сам так чувствовал, но не умел сказать!" Также встречался я с двумя типами грубости: как что-то органическое и как следствие неуверенности в себе. Человеку первого типа лучше всего отвечать еще более грубо, второго – спокойно и вежливо; если он видел, что вы не относитесь к нему свысока, тон его менялся довольно быстро.

Блатных усиливала готовность рисковать – ее нет у тех, кому "есть что терять", к тому же блатные действовали группками, а остальные каждый за себя – если удавалось объединиться, блатные давали задний ход. В камере был казах, которого трое "пацанов" хотели обчистить в боксе, он двум разбил в кровь лицо, а третий заорал и забарабанил в дверь, вокруг казаха объединились несколько человек, и я в том числе, и блатари присмирели на время. С первых дней тюрьмы я поставил себе за правило никого не задевать и ни перед кем не унижаться, я решил, что если у меня начнут что-то вымогать, ничего не отдам, пусть уж лучше изобьют: унизительно уступать.

Меня не трогали, только однажды молодой белозубый блатной, бывший чемпион Якутска по стрельбе, разглядывая мою шариковую ручку, сказал: "Хорошая ручка, ты мне ее, конечно, подаришь?" – на что я ответил ему: "Конечно, не подарю". И так мы с напряжением смотрели друг на друга, каждый не желая изменить своему принципу, пока, чтобы обстановку разрядить, я не добавил: "Я писатель, для меня ручка все равно что для тебя финка". Продуктами же, когда они у меня были, я всегда сам делился, даже без намеков, что "надо поделиться", ибо трудно есть одному на глазах голодных, но и меня иногда угощали. Через полтора года – уже с лагерным опытом – пришлось мне еще раз совершить путешествие по этапам, с большим рюкзаком, в норвежском лыжном костюме и в меховой шапке – все это в целости и сохранности пронес я по этапным камерам Урала и Сибири, пока на колымской трассе не начало рвать меня, и я отдал шапку за зэковскую – в нее меня и выворачивало. В Хабаровске молодой блатной сказал мне: "Ну ты наглый, я смотрю, ты наглый". Высшая, с точки зрения блатного, похвала, по их поговорке "наглость – второе счастье".

Конечно, дойди дело до драки, мне – с неумением и нелюбовью драться, с очками на близоруких глазах, истощенному и не пришедшему в себя после менингита – пришлось бы плохо. Но отношение

к вам определяется не вашей силой, а манерой держаться, уверенностью или неуверенностью в себе. Играло, конечно, большую роль, что я сидел "за политику". Если в тридцатые и сороковые годы быть "политиком" значило в глазах блатных быть "фашистом" и первой жертвой обираний, да и сами "политики" чаще всего имели отдаленное отношение к политике, то сейчас "отрицаловка" относилась скорее с уважением.

В Новосибирске я впервые познакомился с взаимоотношением "отрицаловки" и "актива". "Отрицаловка", или "отрицалово", – то ли это сокращение от "отрицательные элементы", то ли от глагола "отрицать", то есть те, кто отрицает установленный порядок, – самосознание заключенных, которые не хотят сотрудничать с администрацией и пытаются руководствоваться собственными законами. "Актив" – напротив, те, кто активно сотрудничает с администрацией. И если в лагерях, с помощью администрации, актив держит верх, то на этапах отрицаловка хочет отыграться, тем более, что их-то чаще всего и переводят "из зоны в зону", чтобы "разбить лагерные группировки", "актив" же, попадающий на этап, это, как правило, бывшие "химики".

Число заключенных быстро росло, а промышленные стройки нуждались в рабочей силе, и еще при Хрущеве, в период провозглашения программы расширенного строительства химических предприятий, заключенных со сроком до трех лет, иногда больше, не имеющих нарушений режима и не инвалидов стали по отбытии трети срока направлять на такие стройки под наблюдением милиции. Называлось это официально "условное освобождение на стройки народного хозяйства", а в просторечии "химия"; с 1971 года малосрочники с первыми сроками – не по всем статьям, конечно, шли "на химию" сразу из зала суда. С одной стороны, это было полуосвобождением, к тому же "химик" получал право освободиться по истечении половины срока на "химии", но, с другой, если он нарушал режим или не угодил начальству, или в рабочих руках нужды не было, его посылали обратно в лагерь, не засчитывая срока на "химии". Из нашего лагеря, например, дважды в год отправляли "на химию" по ста человек – примерно треть возвращалась. Помню рыжеусого мужика, который вышел "на химию" только для того, чтобы в неделю пропить заработанные за шесть лет лагерного труда деньги, а затем вернуться в лагерь как бы после короткого отпуска и с приятной мыслью, что "наебал коммунаров". В 1972 году очередную отправку "на химию" торжественно преподнесли как амнистию по случаю 50-летия СССР – похоже, что решили сократить число "химиков".

Таких химиков-возвращенцев из "актива" было полно в нашей камере, и вот дверь распахивается – и входят несколько человек из "отрицаловки", как входит в свою квартиру уверенный хозяин, и тут

же начинается выяснение, кто кто, и тот, кто еще недавно с важным видом лежал на койке, с позором загоняется под нары. Я разговорился с двумя новоприбывшими: немолодым узбеком с печальными глазами и по-восточному сдержанными движениями, и русским, низкорослым, худым, но так и кипящим изнутри, так и ждущим свести счеты с кем-нибудь. В их глазах я был тоже вроде "отрицаловки", и русский все хотел выразить мне симпатию самым понятным для него путем, набив морду кому-нибудь. "Ненависти к коммунарам у меня много, – говорил он, – ума не хватает, не знаю, что делать".

Мне еще во многих таких камерах пришлось побывать, и они кажутся мне удобной моделью для изучения человеческого общества – моделью примитивной, но очень обнаженной и достаточно точной. Формируются свои законы, своя этика, свои лидеры, свои угнетенные и угнетатели, свое "молчаливое большинство". Лидер в камере выдвигается как бы сам собой – не демократическим голосованием; не надо думать, что это наиболее физически сильный или даже наиболее отчаянный зэк, прежде всего необходимо, чтоб он наиболее полно выражал идеологию большинства сокамерников. Я был в камере тем же, кем и на свободе – аутсайдером, ни к кому не примыкавшим и никем не принимаемым за своего.

Вызову на этап радуешься чуть ли не как освобождению. Камера, куда собирали этапируемых на Иркутск, была еще пуста, сидел мужик за столом, а на полу в углу совсем еще мальчик с очень чистыми и правильными чертами лица. Я что-то сказал ему, но он не ответил ни слова и все сидел так же молча и неподвижно, только раз поднялся попить воды и мне показалось, что он ходит как бы с трудом. Тут с гиком и криком вбежали малолетки – и для них этот мальчик не представил никакой загадки, он был пассивный педераст, причем стал им только что и помимо своей воли, какой-то ужас стоял в его глазах. Еще в предыдущей камере я обратил внимание на молодого человека, постарше этого, с затравленно-злобным взглядом, нахального и пугливого, и вдруг увидел, как он стирает в раковине носки и рубашки блатным, и понял, что это "Машка" – в лагерной иерархии наиболее презираемая "масть".

"Педерастами" называют в лагерях только пассивных педерастов, для них есть еще разные прозвища – "пидер", "козел", "Машка", активные же педерасты оскорбились бы, если бы их назвали педерастами; молодые блатари своими "победами" гордятся, в больнице один из них, вызывая у меня чувство отвращения, хвастал в палате, что он так "козла" обработал, что вытащил у себя на члене "килограмм говна". Пассивные педерасты – это не только и не столько склонные к этому зэки, сколько слабохарактерные, запуганные другими, проигравшиеся в карты, в общем, каждый раз грехопадению предшествует, а часто подстраивается некоторое нарушение блатной этики, и получив эту

репутацию, отделаться от нее уже невозможно, она тянется за каждым из лагеря в лагерь, некоторые делают потом из этого источник дохода, отдаваясь за масло, сахар, сигареты или миску супа. Превратить кого-то в педераста называется "опидарасить", зэки постарше стараются действовать не таской, а лаской, уговаривая и подкупая мальчиков, образуются даже устойчивые парочки, а блатари помоложе угрозами: "Выбирай, падла, или на нож сядешь, или на хуй".

Малолетки, вбежавшие в камеру с веселым шумом резвящихся школьников, сразу же захотели воспользоваться этим мальчиком, заспорили даже, как его иметь – через зад или через рот, и угрозами заставили залезть к себе на верхние нары. Сверху слышалось тяжелое пыхтенье и угрозы: "Разожми, сука, зубы, хуже будет". Этот несчастный мальчик и сопротивлялся, и уступал молча. Мне тяжело вспоминать эту сцену – еще и потому, что я мог бы не допустить этого. Но пожилой зэк потом сказал мне в вагоне, что здесь этим людям ничем не поможешь и кончится история этого мальчика тем, что он или примирится со своим положением, или пырнет ножом кого-нибудь.

Малолетки эти не были как-то особенно дурны, я видел и гораздо худших, но в молодости легко принимаются предлагаемые окружением нормы поведения. Один сел за убийство отчима, мучившего его мать, с чувством юмора рассказывал о колонии и по своей психологии блатным не был. Среди ночи он вдруг будит меня: "Андрюха, научи, как мне стать антисоветчиком". "Зачем тебе это?" "Хочу коммунистов мочить", – отвечает он с доброй улыбкой.

– За что они меня бьют?! За что они меня бьют?! – Мы все уже внизу, после обыска перегнаны в другую камеру, и к нам вталкивают человека с перевернутым лицом, трясущимися руками и порезами на груди.

– Что?! Менты избили? – бросились к нему малолетки, но его тут же вывели, а затем отделили и меня, в столыпине посадили в отдельное купе – и снова его вталкивают. Он закричал так, как будто его вводили в клетку с дикими львами: "Я не пойду сюда! Везите меня одного! Я не пойду сюда!" Однако, разглядев мои очки и расслышав рассудительный голос, он успокоился и, наоборот, не захотел уходить. Это был пример борьбы "отрицаловки" и "актива" – везли группу зэков из Молдавии на Сахалин, и по дороге они начали сводить счеты. Меня снова поместили к малолеткам, встретившим меня криком: "Ура!" – но двухдневное путешествие с ними я проклял: они задирались с конвоирами, и те в отместку не давали нам пить. На дорогу дают даже не селедку, а так называемую хамсу – слипшиеся соленые малосъедобные кильки, так что без воды плохо. Разлегшись на узких полках, малолетки пели тоскливыми голосами:

Прости мне, мама, за все мои поступки,
прости, что я не слушался тебя,
я думал, что тюрьма – простая шутка,
но этой шуткой я испортил сам себя.

– Руки назад! Головные уборы снять! – приветствовал нас дежурный офицер Иркутской тюрьмы. – Претензии к конвою есть?

Толпа зэков угрюмо молчала. Началась перекличка – фамилия, место рождения, возраст, статья, срок, – вызванных разводили по боксам, пока не остался один я.

– Вы из Москвы, я тоже, но я настоящий москвич, я защищал Москву от немцев, – сказал мне офицер, черноволосый пожилой лейтенант, звание его явно не соответствовало возрасту.

– Думаю, что я тоже бы защищал Москву, если бы был вашим ровесником, – ответил я.

Завел он меня не в бокс, а в просторный кабинет, оказывается, слышал обо мне по Голосу Америки и Радио Свобода. Его взгляды представляли странную и тем не менее нередкую смесь сталинских симпатий – часто это форма ностальгии по ушедшей молодости – с неприязнью к неосталинской бюрократии; видно было, что он хочет не только сам высказаться, но и понять меня. Я убеждался многократно, что не прямая оппозиция, но сознание, что мы живем не так, как надо, сознание, противоположное общему настроению десять лет назад, распространяется все шире, хотя какие должны быть перемены, мнения разные и смутные.

– Ты тут расселся разговоры вести, а уже пять минут как пора посты сменять, – просунулся в дверь толстомордый и раздраженный офицер.

– Сколько вы еще тут грубостей наслушаетесь в тюрьме, – сказал мой собеседник и, сдав меня надзирателю, поспешил сменять посты.

Меня поместили в одиночную камеру, сырую и холодную, так что спал я, не снимая шапки и ботинок, да и гулять выводили в сырой и мрачный дворик. Здесь я провел десять дней – читать было нечего, даже газету не давали, мыло и паста у меня были завернуты в обрывок газеты, и каждый день я заучивал оттуда куски наизусть, чтобы дать мозгу работу. Меня мучил голод, передач уже не было, выздоравливающий организм требовал пищи, я грезил постоянно, как после освобождения посещаю московские рестораны – своего рода гастрономический онанизм.

В Иркутске у меня произошло еще одно соприкосновение с тюремной медициной. Голова у меня, как я боялся, не болела, но я почувствовал жжение в паху, думал сначала, что тело чешется от грязи, но, присмотревшись, увидел маленьких букашек, которые прыгали

и резвились наподобие обезьян в джунглях, это были лобковые вши, в просторечии мандавошки, очевидно, подхваченные в бане. Чтобы получить у врача серную мазь, утром я записался у корпусного. Услышав, как врач обходит камеры, не заглядывая ко мне, я застучал в дверь. Подошла женщина в белом халате, маленькая, рыжеволосая, какого-то неясного возраста, с мордочкой хорька, и раздраженно сказала, что я не записывался, у нее нет времени со мной разговаривать. Я настаивал на своем, контролер пошел разыскивать корпусного. Прошло минут десять, я и врач молча стояли по обе стороны раскрытой кормушки. Наконец, появился корпусной и подтвердил, что утром я записывался.

– Что у вас? – спросила врач.

– Лобковые вши.

– Дадим мазь! – кормушка захлопнулась, а через час санитар-зэк дал мне баночку мази, которой я должен был натереться на глазах у контролера, чтобы не проглотить ее с целью уклонения от отбытия срока.

– Это тебе не Москва, – с гордостью за Иркутск говорил контролер. – У нас и не то поймаешь.

Перегон Иркутск-Хабаровск самый тяжелый: четверо суток в набитом купе. Мне удалось занять нижнюю полку, и мужик с наколкой на руке "За измену – смерть!" скулил все время, что вот он, работяга, и на воле ночевал, прислонившись к столбу, а интеллигенция и в тюрьме разлеглась как на диване, пока я не сказал ему: "Ты работяга – так вкалывай, а я интеллигент – так полежу и отдохну!" Этот довод показался ему неотразимым, и он замолк.

Другой ночью меня обокрали: я увидел утром, как немолодой вор перебирает свой мешок – и насторожился, как-то явно он хотел показать, что у него моих вещей нет. Я вытащил свой рюкзак из-под лавки, ба, как он похудел. Подсаженные в дороге малолетки, пока я спал, как на диване, обчистили его – остатки сахара они съели ночью, тетради и конверты я отобрал у них, а мыльницу и мыло со скромным видом вернул мой ровесник, с которым накануне я играл в шахматы. Он разозлил меня особенно, не малолетка же он, и я в раздражении вырвал у него мешочек в поисках бесследно пропавшей зубной щетки. Видя, что я сам начал беспредельничать – свой человек – малолетки завыли от восторга. Авторучки и носки, как я понял, еще ночью выменяли на чай у конвоиров, без ведома которых кража не удалась бы. Иногда специально подсаживают блатарей к каким-нибудь только с воли мужикам с сидорами, тех безжалостно обирают – и что-то перепадает конвоирам.

Когда соседи по купе меня спросили: "Чего ж тебя, политика, посадили с нами?" – я им мог ответить: "Для того и посадили с вами, чтоб мне пришлось как можно тяжелей". Я говорил пожилому

вору, что кража не обошлась бы без его благословения, и он подарил мне облезлую заячью шкуру, сказав, что она мне на Колыме пригодится. Я принял ее безразлично, как некую символическую компенсацию за украденные ручки, но оказалось, что это был дар бесценный: благодаря поясу, который я сшил из этой шкуры, я не получил радикулита в шестидесятиградусные морозы. Этот человек, уверенный в своей силе, сказал, что случись переворот, так пошел бы в палачи, с огромными запасами человеческой ненависти столкнулся я в тюрьмах.

Пока мы тянулись жалкой колонной через двор Хабаровской тюрьмы, я глянул в зарешеченное окошко подвала, словно глянул в один из последних кругов Дантова ада: пронзительная голая лампочка освещала камеру, огромную, как вокзал, с черным потолком, изрытым бетонным полом, на столе, на полу, по-двое на железных прутьях кроватей валялись скрюченные полуголые зэки. ”Неужели и нас туда?” – подумал я с ужасом, и действительно – туда. Три дня я провалялся на впивающихся в тело железных прутьях, глотая суп по-собачьи, ни книг, ни газет, даже радио еле хрипело, ни при отъезде из Иркутска, ни по прибытии в Хабаровск не сводили в баню, несмытая мазь начала разъедать мне кожу, и потом в Магадане заподозрили, что у меня опасная венерическая болезнь.

В Магадан везли в самолете: с тех пор, как на Колыме оставили лагеря только для местных, кончились морские конвои. Под любопытные взгляды остальных пассажиров нас четырех завели в задний салон. Стандартный самолетный ужин – событие для зэка, разносили мятные конфеты, и я взял только одну, заметив оттенок уважения во взгляде стюардессы. Но при посадке в Магадане я разочаровал ее, схватив целую пригоршню: из-за плохой погоды пришлось сначала приземлиться в Якутске, почти сутки нас не кормили, и голод оказался сильнее желания понравиться. Мы летели над Охотским морем, покрытым льдом, хотя было начало июня, затем над Колымой и Якутией, уже темнело, нигде не было видно признака огня или человеческого жилья, только безлесые сопки, будто мы летим над луной.

В Якутске мы провели ночь в камере милиции в аэропорту. Здесь я увидел бичей, слово это произошло от английского tu beach – нечто вроде ”оказаться на мели”, остряками оно расшифровывается как бывший интеллигентный человек. Людей опустившихся и спившихся достаточно по всей матушке России, но в портовых городах, где возникло слово, и на Севере бродяжничество связано с сезонным характером работы – на добыче рыбы, на золотых приисках, в геологоразведке, где рабочие нужны только летом. На колымских приисках применяется такой трюк: летом водка не завозится, а как только наступают морозы и добыча золота заканчивается – водка появляется, рабочие напиваются вдрызг, и есть легальные основания уволить большинство за прогул. Многие, нанимаясь так из сезона в сезон, зимой

спиваются и опускаются, существуя случайными заработками и не имея постоянного жилья. Во всех аэропортах, автовокзалах, почтах можно видеть группки оборванцев, издающих запах алкоголя и грязи. В холода некоторые ночуют в городской канализационной сети, за что их прозвали также танкистами: они появляются на поверхности, откидывая крышку люка, как выходящий из танка танкист. Власть борется с бичами, устраивая облавы и сажая их за бродяжничество – но по выходе им некуда деться, к тому же их слишком много, чтобы всех пересажать, по официальным неопубликованным оценкам около миллиона. В Якутске дежурный обыскал задержанного бича и, обнаружив у него немного денег, распорядился купить ему билет в ближайший городок, чтобы там с ним местная милиция возилась.

В Магадане меня сразу же отвели к капитану Пинемасову, нервному желотоволосому оперу, любителю политических дискуссий, на Колыме он служил с середины сороковых годов и, по его словам, дискутировал с многими оуновцами – боюсь, не кончились ли эти дискуссии выстрелом в затылок.

– Вот вы на родину клевещите, а сало-то русское едите, – сказал он. Увы, подумал я, последнее сало я съел в дороге и теперь придется довольствоваться тюремной баландой. Когда хотят попрекнуть всякого рода "космополитов", "сионистов" и "абстракционистов", то прежде всего попрекают съеденным салом, характерный пример желудочного мышления советских идеологов, хотя я сомневаюсь, чтобы настоящие сионисты вообще ели сало. Пинемасов посожалел, что меня не на особый режим послали, там такая публика, они бы раком поставили, и совершенно неожиданно закончил жалобой на сына, совсем отбился от рук, наслушавшись Голоса Америки.

– Антисоветчиком что ли стал?

– Да пока еще нет, – со вздохом сказал Пинемасов, и я был отведен в карцер. Надзиратель разъяснил мне при этом, что меня помещают не в наказание, а просто нет свободной камеры, дал мне матрас, простыню и пару потрепанных книжек. Едва был проход между постелью и стеной, вместо окна – металлический щит с просверленными в нем узкими отверстиями для воздуха, в карцере я провел полмесяца, и только бегающие по стенам мокрицы скрашивали мое одиночество.

Начальник тюрьмы подполковник Подольский, очень солидный, в золотых очках, и, как я понял, человек с характером, вызвал меня и сообщил, что моя жена подала прошение о помиловании в связи с моей болезнью, им поручено составить характеристику, хоть, добавил он, это и не их дело. Не хочу ли и я подать прошение? Я ответил, что нет. Хотя Гюзель и потом неоднократно подавала просьбы о помиловании, меня больше не запрашивали, но на этот раз месяц продержали в Магадане, думаю, "наверху" были какие-то колебания относительно

моего будущего. Подольский сказал, что его предупреждали, что смотрите, мол, к вам едет Амальрик, наберетесь с ним хлопот – и он представлял меня иначе.

– Едва ли вы чего-нибудь добьетесь, – добавил он. – Власть устойчива. Для большинства людей важны ведь не идеи, не свобода слова, а материальная обеспеченность – а уровень жизни растет.

– Что ж большинство! – сказал я. – Муки много, а дрожжей мало, но тесто всходит на дрожжах. Кроме того, революции совершаются не голодными, а сытыми, которых день не покормили.

– Советую вам все же в лагере ничего этого не говорить, – сказал Подольский.

Распространенный взгляд, что "большинство" озабочено не какой-то там "свободой слова", а материальным положением, вообще не кажется мне верным: да, озабочено, но не только им. Потребность "сказать – и облегчить душу" глубоко заложена почти в каждом, и невысказанность разрушает человека, сознает он это или нет.

Вскоре я был переведен в общую камеру без намордника на окнах, так что увидел дневной свет. После одиночки испытываешь повышенную потребность в общении с людьми, в разговоре, это и следователи учитывают. Я много спорил в эти дни и так громко кричал, что однажды в кормушку просунулось раздутое лицо надзирательницы и рявкнуло: "Эй ты, кончай выступать!"

Один из троих сокамерников был начальником электрослужбы на заполярном аэродроме, при прокладке траншеи завысил объем земляных работ – и сел за "хищение социалистической собственности". Он ждал решения кассационного суда, как все новички надеясь или на снижение срока или на то, что выйдет "по половинке", даже вместо "шесть лет" говорил "три года" – увы, за полгода лагеря мечты его полиняли. Попав в тюрьму неожиданно и за вещи, повсеместно распространенные, он все еще никак не мог понять, что с ним произошло: "Как же так, я читал в газете, как распространяли антисоветские листовки, посягали на наш строй – и получили по трояку, а я старался для государства, ездил кабель доставал, немного траты себе компенсировал – и мне шесть лет!" Я напоминал ему, за что сам сижу, и тогда, меняя тон, он говорил: "Ну так ты, как выйдешь на волю, напиши про мой случай, пусть на Западе знают, за что у нас срока дают". Я выполняю его просьбу, и если не весь Запад, то, по крайней мере те, кто прочтет эти записки, о судьбе Виктора Иващенко узнают.

Другой сел за драку; он как стрелок вневедомственной охраны МВД охранял магазины от воров, теперь, попав в их компанию, выдавал себя за музыканта. Потом добавили еще милицейского, тоже растратчика, имевшего привычку скучно и обстоятельно докладывать Подольскому, что он сам был майором. Для бывших чинов КГБ, МВД и других "органов" есть специальные лагеря – я встречал на этапах

таких бывших, которые шли на Урал или в Иркутскую область, они скрывали обычно, кто они, но втихомолку жаловались мне на распущенность зэчьих нравов. Майор смертельно боялся этапа до Иркутска, и поскольку он раздражал меня, я живо описывал ему ужасы, которые ему придется претерпеть от блатных, так что он начал умолять Подольского никуда не отправлять его.

Прошение Гюзель оказалось бесполезным — утром солнечного июньского дня меня взяли на этап. В воронке можно было сидеть, но нельзя повернуться: так мы проехали свыше 300 км. на север по неасфальтированной колымской трассе до поселка Талая. Последствия менингита дали себя знать: меня рвало всю дорогу, и к концу дня я был без сознания, пользуясь этим, ухаживающий за мной сосед украл мой сахар. Я утешал себя тем, что еду в таких условиях последний раз, в этом лагере я должен пробыть до конца срока. Если бы мне сказали, что я совершу это ужасное путешествие еще семь раз, все мои внутренности семь раз вывернулись бы наружу!

Глава 16.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ 261/3: ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Уже темнело, когда машина остановилась у вахты. Я увидел двухэтажный побеленный барак, забор, колючую проволоку сверху, шлагбаум и маленького солдата с плоским лицом.

— Погорячился парнишка — понаписал чего не надо, — сладким голосом сказал дежурному офицеру скопческого вида нарядчик, записывая мою статью и срок в амбарную книгу. Услыхав через несколько дней по радио передачу обо мне — конечно, весьма нелестную, — он пришел в восторг, что сидит вместе с человеком, о котором говорит московское радио, и хотел поддерживать со мной хорошие отношения, от чего я уклонился. Среди приближенных к начальнику зэков, своего рода лагерного истаблишмента, как среди московского, тоже упорно держался слух о моих связях с КГБ. Из Москвы, с небольшим сроком и непонятным делом — и еще когда я был в дороге из обрывков офицерских разговоров создалось впечатление, что едет под видом зэка эмиссар КГБ проверять, какие условия в лагерях, как настроены зэки и администрация, вечная русская история, что "к нам едет ревизор".

Выйдя с вахты, я увидел поднимающуюся за сплошным забором сопку, поросшую редким лесом, как бы зеленый задник печальной

лагерной сцены. Ужас охватил меня при мысли, что мне предстоит пробыть здесь два года. Едва нам указали барак, как меня снова вызвали на вахту, я подумал, было, что со мной, как с важной персоной, хочет говорить начаальник лагеря, но меня ждал всего лишь дежурный контролер – старший сержант Кочнев.

– Убери это! – показал он на валявшиеся в коридоре остатки выданного нам на дорогу хлеба. Конечно, я не стал убирать, но понял, что на снисхождение мне здесь рассчитывать не придется: ты там на воле книжечки писал, а здесь мы тебя быстро в чувство приведем!

Я уже засыпал, лежа на грязных нарах полупустого барака, как вдруг раздался голосок: "У вас не найдется молоточка прибить табличку?" Я удивился обращению на "вы" и благовоспитанному виду соседа, а он пояснил, что с начала срока не имеет ни одного замечания и раз велено к нарам прибить табличку с фамилией, он хочет немедленно это сделать.

– Какой же у вас срок? – спросил я образцового заключенного.

– Пятнадцать лет! – ответил он с гордостью; сел он за изнасилование трех своих малолетних дочерей. Я заснул с мыслью, что мне предстоит провести время в хорошей компании.

Наш лагерь, как каждый советский лагерь, – впрочем, он уже назывался не лагерь, а исправительно-трудовая колония (ИТК-261/3) – делился на две зоны: жилую и рабочую, зэки почти не говорят "лагерь" или "колония", но "зона". Жилая зона занимала пространство не более гектара, где были расположены: три жилых деревянных двухэтажных барака, одноэтажная школа, столовая – она же клуб, продуктовый ларек, при мне построенная каменная баня, санчасть, штаб, где начальство принимало зэков, и уборная. Между жилыми и служебными бараками зэки играли в футбол или волейбол, пока футбол не запретили. Обнесена была зона двумя сплошными деревянными заборами и несколькими рядами колючей проволоки между ними, по проволоке пропущен ток, в проходах бегали собаки, ходили часовые, но вышек не было. В зоне росло одно дерево.

Зэки были разделены на пять отрядов, примерно по 120-160 человек, каждый занимал этаж барака, разделенный на две секции, с деревянными или металлическими двухэтажными койками и тумбочками между ними. На тумбочки и стены зэки наклеивали вырезанные из журналов картинки, бараки периодически обходил заместитель начальника по политико-воспитательной работе капитан Гарафутдинов и, срывая эти картинки, со страстной убежденностью говорил: "Любите однообразие!" Временами борьба против картинок ослабевала, зато усиливалась борьба против хранения вещей под матрасами. В лагерной песне был даже куплет:

Мы марафет наводим как на флоте,
из-под матрасов на пол все летит.
Спасайтесь, зэки! Нас шмонает Монтик,
ему на помощь сам Шмыгло спешит!

Монтик и Шмыгло – дежурные контролеры, Монтик – настоящая фамилия, а Шмыгло – прозвище, но могло бы быть наоборот.

Капитан Гарафутдинов выступил перед новичками с речью: кто будет работать хорошо – получит льготы, кто плохо или уклоняться – будет наказан, затем он зачитал, кто на какую работу направляется, я же как инвалид второй группы был предоставлен сам себе. Разлегшись на нарах, я читал взятое в лагерной библиотеке ”Преступление и наказание” Достоевского, гулял по пыльному плацу перед столовой или слушал визгливые звуки поп-музыки, которые извлекал из электрогитар ансамбль хулиганов – вообще, как сказали бы американцы, наслаждался жизнью.

Услышав обо мне, в барак одним из первых зашел молодой человек с сухим лицом и пристальным взглядом, лагерный кузнец Куцкий. В армии он организовал группу для изучения марксизма, нашелся в группе ”антимарксист” или слишком хороший марксист, который донес на них, Куцкий вытащил нож и воткнул в стол со словами: ”Вот это тебя, падла, ждет!” – ему и дали шесть лет ”за нож” как хулигану. В лагере он тайком писал ”Бумажный социализм”, имеющий цель окончательно разоблачить советский ”не социализм”; еще в детстве, читая, как большевики собираются на маевки и говорят: ”Будет и на нашей улице праздник!” – он думал, что они имеют в виду время, когда будет свергнут советский режим, потом только сообразил, что этот-то режим и есть ”праздник”. О моем последнем слове на суде он сказал, что так выступил бы Джефферсон – не с одобрением, но с насмешкой; впрочем, когда он выходил из лагеря, мы простились с ним дружески. Но с другим левым коммунистом мы поругались через два дня после знакомства – и больше не разговаривали. При общении с левыми доктринерами при всей их порядочности и зачастую тонкой критике советской системы всегда остается впечатление, что истина, как складной метр, лежит у них в кармане, и они сейчас этот метр достанут и все, что вы им говорите, промерят.

Вскоре я познакомился с еще одним ”леваком” – или ”правым реакционером”, не знаю уж, как сказать. На прогулке ко мне подошел рабочий, с лицом немного кошачьим, черноусый и улыбчивый, и назвался Петей Васильевым, сыном чапаевского бойца. Сидел Петя за убийство и знаменит был тем, что писал многочисленные жалобы властям – при этом не снисходил до какого-нибудь областного прокурора, не говоря уже о районном, а направлял прямо Брежневу. Для письма не нужно было особенного события, Петя увидел в зоне

плакат ”Ты сильно виноват перед своим народом”, и тут же пишет Бержневу: ”Чем я виноват перед своим народом?! Я расценки рабочим не снижал, цены не повышал, народ танками не давил – чем же я виноват?” В другой раз старший сержант Шмыков, известный более по прозвищу Шмыгло, выбрасывает его портянки из-под матраса – тут же в Президиум Верховного Совета идет жалоба, начинающаяся пространной цитатой из Маркса, Ленина или Брежнева, затем упоминается Чапаев, далее Петя пишет, что раньше считал своим главным врагом фашистов, а теперь чекистов, что над ним ”занес кровавый меч” сержант Шмыков – ”кровавый меч” фигурировал во всех жалобах – и уже затем переходит к судьбе портянок, жалобу он обычно заканчивал так: ”Я пишу пока что вам, но в случае чего могу обратиться и в посольство ФРГ!” Когда в 1971 году начались ”реальполитик”, он с горечью говорил мне: ”Уж от кого-кого, а от Вилли Брандта такой подлости не ожидал!”

Петя выписывал огромное количество журналов, откуда брал цитаты из Маркса и Ленина, но потом переменил тактику. В исторических и социологических журналах попадались – конечно, с целью их лучшего разоблачения – отзывы американских профессоров о Советском Союзе, например ”по мнению прогрессивного экономиста Гелбрайта” или ”по мнению реакционного историка Пайпса” – и далее куцая цитата, которую Петя тут же вписывал в жалобу, предваряя словами ”по моему мнению”. ”Уж они там в президиуме поломают головы, откуда я такой умник, – говорил Петя, – у меня-то образование всего восемь классов”. Однако, как ни был этот метод хорош, но взгляды Гелбрайта и даже Пайпса на советскую систему казались Пете слишком умеренными, и он стал списывать отзывы советских профессоров о США, выдавая их за свое мнение об СССР. Подтирал ли его жалобами зад сержант Шмыков или они доходили до Верховного Совета, но единственным ответом было помещение его в ШИЗО* , особенно когда Петя пустил в дело высказывания советских профессоров.

Скоро я познакомился с культоргом зоны – мой ровесник, очень ладный, маленького роста, плешивый, с хитрыми глазками, в очень аккуратном синем комбинезоне, Леша Иванченко еще не раз появится на этих страницах. На воле он работал шофером, вез овес для лагеря, где ему самому предстояло потом сидеть, и на заправочной станции познакомился с пятнадцатилетней девушкой, попросившей подвезти ее. В дороге они распили бутылку водки, после чего все и произошло, по словам Иванченко, ”с обоюдного согласия”. Обессиленные долгой дорогой, водкой и любовью, Иванченко и его жертва – или его подруга – тут же заснули, поставив машину у обочины, девушка даже не успела натянуть штаны. Между тем, ее мать

---

* Штрафной изолятор, то же, что карцер в тюрьме, куда могут заключать на срок до пятнадцати суток.

отправилась на поиски, и, распахнув дверцу одиноко стоявшей машины, первое, что она увидела – огромный голый зад своей дочери. "Я просыпаюсь от того, что меня трясут за волосы, – рассказывает мне Иванченко, – вижу: какая-то женщина в ярости спрашивает: "Отвечай, что у тебя было с моей дочерью?!" Мне бы ответить, что я просто подвез ее, а штаны соскочили от тряски по неровной дороге, а я нагло говорю: спросите об этом у своей дочери!"

Эта фраза и погубила Иванченко: его арестовали, а девушку повезли на освидетельствование, она, по словам приговора, "находилась в рвотных и каловых массах, плакала, пела и говорила, что хочет стать киноактрисой". "Дурак ты, дурак, – сказал Леше начальник милиции, – Выеб бы ее и выбросил в канаву – и все дела, а теперь тебе уж точно дадут трояк!" "И вот сижу я на суде и думаю: неужели три года? Ну что я сделал – она ведь сама дала, нет, не может быть, чтоб три года! И тут судья зачитывает приговор: червонец! Я так и присел". Вписали даже в приговор, что он изнасиловал не просто девушку, а "активную пионерку", что придало преступлению более зловещий характер.

Иванченко хотел стать учителем – не знаю, какую роль сыграл тут его опыт с пионеркой, выписывал журнал "Семья и школа", а по вечерам, сидя в библиотеке, заучивал наизусть "Евгения Онегина" – и к середине срока дошел до второй главы. Часто, похлебав за ужином баланду из недовезенного им овса, я заходил к нему поиграть в шашки, и наливая мне пустой чай, он повторял бессмертные строки Пушкина:

Еще бокалов жажда просит
залить горячий жир котлет...

Когда через шесть лет я познакомился с Владимиром Набоковым, сделавшим английский перевод и комментарий к "Евгению Онегину", я первым делом рассказал ему об Иванченко.

Не надеясь сразу стать учителем, Леша загорелся мыслью работать у меня в Акулове: "Перегородим ручей у дома, сделаем пруд, заведем уток и будем продавать".

– А не помешает ли мне писать кряканье уток?

– Да ведь мы же будем продавать их! – вскричал Иванченко. – Кому до сих пор мешал звон золота?

Библиотека занимала две комнаты: в маленькой хранились и выдавались книги, большая называлась "читальным залом" – там лежали подшивки газет и висели стенды с названиями: "Уголок политических знаний" (несколько тощих брошюрок и портрет Брежнева), "Уголок правовых знаний" (выставленный там сгоряча "Исправительно-трудовой кодекс" на следующий день украли, достать кодексы почти

невозможно, чтоб зэк не узнал о своих правах и пределах наказания), "Наша славная Советская армия" (фотографии из журнала "Огонек"), "Наши активные читатели" (написанные масляными красками фамилии зэков, многие из которых успели уже освободиться и даже схватить новые срока). Вся эта наглядная агитация до некоторой степени не достигала цели, так как никто почти в читальный зал не заходил, а тех, кто хотел зайти, Иванченко пускал с разбором, чтоб не наследили, не порвали газет и не украли чего-нибудь, главным образом все это было предназначено для глаз начальства.

Подобия читального зала существовали в каждом отряде под названием "ленинская комната" – с теми же "уголками", хотя и поскромней, фотографиями членов политбюро и растрепанными книжками, комнаты были предназначены для "культурного отдыха" заключенных, где можно почитать или написать письмо, но, как правило, ключ хранился у старшего дневального, который тоже давал его не всем. Наряду с лозунгами, важным орудием агитации и пропаганды были стенные газеты, выпускаемые обычно к 1 мая и 7 ноября, с обязательными заметками "Праздник советского народа", "Наши передовики" и "Кто мешает нам жить" (три-четыре фамилии в каждой) – зачастую все заметки писал один и тот же активист. Уже при мне стали вывешивать в зоне стенд с фотографиями "злостных нарушителей", а также расставлены были писанные маслом карикатурные портреты типичных преступников: убийцы, насильника, хулигана, грабителя, растратчика, сцена насилия выглядела особо волнующе.

В обязанности культорга входило два раза в год подписывать зэков на газеты и журналы. Ни на какие западные издания, кроме коммунистических, подписываться было нельзя, потом запретили и их, потом югославские, потом все восточноевропейские, к концу моего срока только советские, да и то не все. В среднем зэки выписывают больше вольных, чтение – компенсация несвободы. Журнал "Человек и закон" имел более ста подписчиков (на 700 человек), "Известия" – пятьдесят, "Правда" – одного, многие выписывали местные газеты, некоторые – свыше десяти разных изданий, половина – ничего. Большинство предпочитало журналы с картинками, более всего ценились и читались статьи о преступлениях и судебных делах. Сидит на соседней койке мрачный мужик, досиживающий шестилетний срок, и, шевеля губами, читает в "Огоньке", как аспирант Московского университета Дмитрий Михеев пытался бежать на Запад. "Дадут, вероятно, трояк, как тебе, – сказал он в середине, – то-то его здесь все называют "Дима, Дима", а с нашим братом разговор короткий – получил шесть лет и пошел, ебаный в рот!" Получил Михеев восемь лет, которые отсидел уже, и сейчас на Западе, мой же сосед, очень боюсь, не сидит ли снова на Колыме.

Библиотека выписывала только три-четыре газеты, книг не

покупала и комплектовалась интересным способом. Заключенные имели право закупать книги по почте, раз в два месяца приезжал фургон от книжного магазина, но книг держать было негде, а потом и запретили одновременно более пяти книг каждому, так что большую часть безвозмездно отдавали в библиотеку. С другой стороны, часть "активных читателей" взятые из библиотеки книги разрывала для подтирания зада, газеты выписывали не все, а туалетной бумаги и в помине не было, так что поддерживался некий баланс, и число книг не росло и не падало. В книгохранилище мы играли в шашки, беседуя на разные темы, — я не знал тогда, что здесь, по поручению заместителя начальника лагеря Золотарева, установлен микрофон: бывший радист Ковалев, сидевший за изнасилование, к его странной судьбе я еще вернусь.

В начале 1972 года так хорошо налаженную "культурную работу" залихорадило: добрый капитан Гарафутдинов недостаточно настойчиво пропагандировал любовь к однообразию, и на его место был послан капитан Овечкин, получивший прозвище "дурак" — редкая честь для офицера внутренней службы, где никто особенно умом не блещет. Готовясь к его приезду, Иванченко нервничал и хотел "показать товар лицом", я посоветовал составить "график роста числа активных читателей" как свидетельство успешной работы библиотеки.

— Но оно не растет, — трагически отвечал Леша, — да и никакого учета не ведется.

— Тем лучше, давай бумагу! — сказал я и через несколько минут изобразил график, где кривая, имея общую тенденцию повышаться, тем не менее колебалась, пока резко не пошла вверх в предвидении приезда нового замполита. Увидев, что все в его руках и рост достигается так легко, Иванченко воспрял духом и решил, что удержится на месте культорга.

Новый замполит начал со знакомства с личными делами, а затем осмотрел зону. Всюду были развешены так раздражавшие Петю Васильева лозунги о вине перед родиной, честном труде, добросовестном выполнении требований режима, и в том числе "Самая трудная победа — это победа над собой" — бывший культорг Чернов вычитал это у Блеза Паскаля и повесил на заборе с разрешения начальства. К несчастью, в нашей зоне сидел за скупку золота Паскаль, еврей из Одессы, и увидев знакомую фамилию, замполит чрезвычайно рассердился. "Кто это поразвесил всякие жидовские изречения! — сказал он напуганному Иванченко. — Все это снять, а ты подбери десять-двадцать умных мыслей из Ленина, дай мне на утверждение, и художник напишет новые лозунги". Зайдя вечером в библиотеку, вместо привычного "Евгения Онегина" я увидел нагроможденные друг на друга тома Ленина и обливающегося потом Иванченко за последним томом. "Сорок томов просмотрел — ни одной умной мысли!" —

сказал он в отчаяньи. "Кому теперь нужен Ленин, Брежнев у тебя есть?" – спросил я. Тут же нашелся томик Брежнева под названием "Ленинским курсом", едва мы его раскрыли – мысль за мыслью, мысль за мыслью, только успевай выписывать, кое-где мы даже сокращали его, чтобы не утомлять ум Овечкина и бедных зэков. "Вот, Леша, – сказал я, – всегда в трудную минуту обращайся к трудам Леонида Ильича Брежнева" – Иванченко эту фразу запомнил.

Я думаю, что он не знал о микрофоне в библиотеке, хотя впоследствии у меня возникало чувство, что он заводит со мной разговор как будто на заданную тему. Как член Совета коллектива колонии (СКК) и Секции внутреннего порядка (СВП) был он, конечно, с оперчастью связан. Лагерная система представляет в миниатюре советскую систему в целом: общество активно помогает власти себя угнетать и за собой следить. Существует как бы выборный совет из заключенных и при нем несколько секций: санитарная, культурная, по надзору за пищеблоком и так далее, членство в которых дает известные бенефиции, член санитарной секции может без очереди помыться в бане, а пищеблочной – получить лишнюю порцию баланды, но главная секция – это СВП, внутрилагерная полиция. Надев красные повязки, ее члены периодически патрулируют лагерь, и когда одному отрезало руку на пилораме, зэки злорадно говорили: "Как раз ту руку отрезало, на которой повязку носил!"

Кто в этих общественных организациях участвовал, назывались официально "актив", в просторечии – "сучня". Число "сучни" стало расти, когда до зэков дошло, что это единственный путь выйти досрочно. Если в начале моего срока еще кто-то мог выскочить на волю через санитарную или культурную секции, то скоро "досрочка" стала возможна только через СПВ, причем щеголять раз в неделю в красной повязке было мало, надо было писать "рапорта" на других (впрочем, соблюдая чувство меры: кто слишком много стучал в оперчасть о "нарушениях" в своем отряде, мог настроить против себя начальника отряда). Люди с идеологией "активизма", кто и на воле занимал какое-то местечко, часто бравировали повязками, другие говорили: что ж, мол, поделать, и рад бы не вступать – а куда денешься. Особенно долгосрочники искали лазейки на свободу, хотя неэтичным считалось капитулировать сразу. "Я его не за то презираю, что он в стенгазету пишет, – говорил один зэк о другом, – а за то, что он с первого дня ссучился".

Трудно судить, насколько "исправляло" преступников участие в "общественной жизни" и сдерживала ли СВП хулиганов в зоне, но в общем эффект "активизма" был разрушительным – ничто так не калечило морально людей, как сознание, что их благополучие может быть построено только на чужих несчастьях, что самый короткий путь к свободе – это продление срока товарищу. Конечно,

”тихушники” – те, кто на словах порицал эту систему, но тайно поддерживал связь с опером, были самыми опасными.

Противоположностью ”актива”, как я писал уже, была ”отрицаловка” – в нее входили ”пацаны” и часть ”мужиков”, за ними тоже стояла своя идеология, и тон задавали люди, на воле обществом отверженные, на некоторых из них можно было положиться. Основная же масса ”мужиков”, или ”работяг”, располагалась между, стараясь не задевать ни тех, ни других.

Менее важная, но более красочная часть ”общественной работы” была ”художественная самодеятельность”. Музыканты в большинстве своем были из ”отрицаловки”, занятия музыкой ”за падло” не считались. Были еще разные кружки, большей частью существующие только на бумаге, вроде акробатического. Два-три раза в год устраивались концерты, сначала выступал неизбежный хор, и пятнадцать-двадцать наиболее отчаянных активистов фальшивыми голосами пели: ”Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам...” Кто-то читал стихи, кто-то плясал, кто-то играл на баяне, но кульминацией каждого концерта было выступление Бронислава Жука, горбатого зэка семидесяти лет по прозванию ”Божья коровка”. Он сел за растление детей из детского сада, где работал завхозом, и при мне досиживал свой пятнадцатилетний срок, так что ловить ему было нечего, он участвовал в концертах из одного эстетического удовольствия. Едва он появлялся на сцене, зал начинал шуметь: ”Божья коровка! Пропидер! На чердак его!” – на чердаках происходили гомосексуальные совокупления, и слова ”на чердак” считались оскорбительными. Не смущаясь этим, Жук начинал свой номер – выступал он в двух амплуа: с чтением глав из ”Поднятой целины” Шолохова и с показом фокусов и манипуляций.

Трудно сказать, что производило наиболее сильное впечатление. Чтение ”Поднятой целины” прерывалось постоянными репликами, весьма обидными для актера, а также замечаниями из первого ряда, где сидели офицеры: ”Которые там шумят – в ШИЗО захотели?!” – и едва чтец-декламатор произносил ”колхоз”, десяток голосов кричало: ”Хуй тебе в нос!” – так что все это, смешанное с корявым текстом Шолохова было абсурднее самой залихватской драмы Ионеско. Не менее удачно проходили и фокусы: под гогот зала Жук показывал газету и начинал рвать ее. Не смущаясь провокационным выкриком: ”Падла, портрет Брежнева порвал!” – Жук разрывал газету, сминал ее – здесь зал замирал – и вдруг разворачивал целую! Несколько секунд царила полная тишина – зэки напоминают детей и склонны верить в чудо, но вдруг раздавался чей-то пронзительный голос: ”Порвал ”комсомолку”, а показываешь ”Магаданку”! Честных зэков наебываешь!” – и снова невообразимый шум.

Главный враг Жука не снисходил до криков. Михаил Чернов, его

ровесник, сидел за растление своей дочери, но вражда между ними возникла не из-за того, чьих детей лучше растлевать – своих или чужих, а потому что только они двое видели Ленина и не могли согласиться, чья встреча была важнее. Один видел Ленина в коридоре Кремля, другой – во время митинга на Красной площади. Один говорил, что важнее увидеть Ленина в неформальной обстановке и тем самым быть сопричастным его мыслям и чувствам. Другой отвечал, что гораздо важнее увидеть вождя, когда он обращается к широким массам и тем самым направляет движение истории. Впоследствии я говорил Буковскому, что такая же вражда может возникнуть между нами: он видел президента Картера в укромном уголке Белого дома, а я стоял под его трибуной в исторический момент инагурации.

Надо отдать должное Чернову: он видел не только Ленина и читал не только Паскаля, заходила ли речь о Солженицыне, оказывалось, что он служил с ним в одном батальоне, говорили ли об американской подводной лодке, которая прошла под Северным полюсом, так он был на советской, которая шла следом. Когда у меня изъяли "Введение в психоанализ" Фрейда по-английски, он объяснил оперативникам все теории Фрейда, да с таким знанием дела, что можно было подумать, что он слушал лекции Фрейда или встечался с ним на венских площадях.

К области "духа" можно отнести еще четыре лагерных институции: радио, кино, школу и политзанятия.

Репродуктор в зоне над столовой одно время орал так, что я не мог выходить на улицу. Во всех жилых секциях стояли трансляторы, прозванные "ящик-парашник", что хорошо выражало отношение зэков к тем "парашам", которые исходили оттуда: лился поток пропагандных нечистот из Москвы и Магадана, прерываемый запинающимся голосом капитана Саласюка, объявляющего отбой, вызывающего на вахту или сообщающего о воскреснике:

Он по парашнику базарит про воскресник
и всех отказчиков грозит ларя лишить...

Политические передачи зэки не слушали, хотя некоторым был необходим словесный шум, чтобы заполнить пустоту в голове. Но когда объявляли "концерт по заявкам слушателей", то включали динамик на полную мощь: правда, и тут, прежде чем исполнить песню, диктор долго размазывал, что она исполняется по просьбе такого-то рабочего или колхозника, перевыполнившего план на столько-то процентов.

Кинофильмы показывали в столовой, раз или два в неделю, в основном на революционную и "военно-патриотическую "темы, с повторением раз в два-три месяца, и хотя новые фильмы время от времени появлялись, зэки, сидевшие пять лет, могли видеть некоторые по

двадцать раз, я бросил ходить в кино приблизительно с середины срока, но большинство жило "от кино до кино". Демонстрировались два раза "воспитательные" фильмы, снятые МВД, на экране видеть истощенных зэков еще тяжелее, чем в жизни.

— Что вы нам все время фильмы о Ленине показываете, неужели ничего хорошего нет? — обратились к Овечкину бывшие малолетки.

— А вот пока вы будете нарушать режим, я вам все время буду показывать фильмы о Ленине, — ответил замполит.

Школа-десятилетка занимала лучшую и большую часть барака, в другом конце которого ютилась библиотека. Восьмилетнее образование было обязательно для всех моложе пятидесяти, десятилетнее — для желающих, занятия проходили после работы, по ускоренной программе и без изучения иностранных языков — считалось, что, изучив язык, озлобленный на родную власть зэк сразу же бежит заграницу. Преподаватели в основном женщины, но было трое мужчин во главе с надутым директором. Учителя, будучи по своему положению, конечно, гораздо выше зэков, офицерами рассматривались как люди второго сорта, поскольку воинских званий не имели.

Политзанятия — неизбежный элемент советской жизни — проводились сначала раз в неделю, а с середины 1972 года ежедневно, кроме воскресений. Минут тридцать, а то и час офицер или учитель бубнили по бумажке переписанные из "Правды" фразы, отнимая у зэков остатки свободного времени. Занятия проводились в жилых секциях, летом всех уклоняющихся загоняли в бараки, зимой просто некуда было деться. Бубнеж лектора никто не слушал, что понимали сами пропагандисты, говоря, однако: если каждый раз пусть хоть одна тысячная попадет вам в голову, что-то у вас там наберется. И хотя зэки, как все "советские люди", посмеивались над лекциями, воскресниками, лозунгами — но привыкли считать их необходимыми, как иконы в церкви, сама повторяемость ритуала создает ощущение, что так надо. Раза два при мне приезжали лекторы из Москвы — срочно нужно было разъяснить преимущества разрядки, тогда лекции устраивались в столовой и многие хотели послушать. Один раз нам сделали доклад о латиноамериканских революционерах.

Мне в голову приходило, что для большинства зэков — далеко не все знали, где Латинская Америка — была бы полезнее лекция, как пользоваться уборной. Уборная - дощатый сарайчик над выгребной ямой, где сидеть при 20 — 60° С ниже нуля было не очень приятно, к тому же была завалена кучами замерзшего кала и залита потоками замерзшей мочи. И вот, сидя как-то на корточках среди этих, пользуясь словами знаменитого приговора, "каловых масс", я спросил своего молодого соседа: "Слушай, друг, не пойми это как упрек или замечание, но почему ты сейчас ссышь не в дырку, а прямо на пол?" В свою очередь посмотрев на меня с удивлением, он ответил: "А не все

ли равно?" Позднее я сидел в Магадане с аферистом, который, выдавая себя за врача, знакомился с женщинами якобы с целью брака и занимался вымогательством денег. К пиджаку у него был привинчен "поплавок" – значок высшего образования, и даже липовый диплом был в кармане, но часто он "горел", едва обнаруживалось его нижнее белье в говне, что несовместимо с "высоким званием советского врача". Увидев, как ловко я подтирал зад мягкой бумажкой – а нас в уборную выводили всех сразу, – он пришел в восторг, горячо благодарил меня за науку и говорил, что теперь уж ни одна баба от него не уйдет.

Некоторые зэки пытались заниматься самообразованием: языками, философией; как правило, из-за нехватки времени, слабой подготовки и трудных условий, ничего из этого не выходило, занятия философией носили скорее комический оттенок как заманчивый путь для малообразованного человека сразу достичь вершин знаний. Был даже в зоне зэк по прозвищу философ, который три раза в неделю подходил ко мне, предлагая ответить, что такое анархизм, жил ли действительно Иисус Христос, чем парадигма отличается от синтагмы. Он мне также жаловался на необстоятельность Максима Горького – читает уже четвертый том "Жизни Клима Самгина", а все еще не ясно, много ли Самгин зарабатывает.

Я говорил уже о писательском зуде у зэков – если один что-то пишет, то еще десять начинают доказывать, что они не хуже. Действительно, в зоне было несколько поэтов. Один, лет пятидесяти, задумав, как настоящий романтик, кончить жизнь самоубийством, решил дать сначала из охотничьего ружья двадцатичетырехзалповый "солют наций", чтобы смерть поэта не прошла незаметно, и был арестован на десятом выстреле. Были сочинители научных трактатов, вроде уже упомянутого "Бумажного социализма" или "Рассуждения о важности поджелудочной железы", а также беллетрист, писавший роман "Климат меняется" – о заводской жизни. Юнченков, довольно интеллигентный и сдержанный шофер, сел за драку в автобусе, когда часто хватают правых и виноватых; на его вопросы, сколько он за роман получит, будь он напечатан, я отвечал, что как шофер он заработает гораздо больше. Роман был написан стилем заметок для стенгазеты, свидетельствовал о полном отсутствии таланта, но и о большой настойчивости. Продолжай Юнченков писать, мог бы выбиться в писатели-середнячки, которых так много знает советская литература. Был он, однако, заподозрен в связи со мной, рукопись изъяли и отправили на рецензию в Магадан в две родственных организации – КГБ и Союз писателей. Роман ему возвратили, но к тому времени он вышел на свободу и вопрос о писании сам собой отпал до нового срока.

Видя, как он сидит в сушилке среди расставленных для сушки валенок и сапог и пишет, один из зэков подошел к нему: "Что ты, друг,

все пишешь – можно глянуть?" Польщенный Юнченков протянул ему первые главы романа. "Так ты, падла, коммунаров хвалишь!" – прочитав две страницы, воскликнул тот – и треснул писателя с размаху его же рукописью по голове, так что листки разлетелись в разные стороны. Рассвирепевший писатель схватил читателя за грудки, но оба успокоились, когда Юнченков пояснил, что он только для того похвалил коммунаров в начале, чтобы как следует обругать в конце.

Писатель и читатель даже выпили чаю, пригласив и меня, причем читатель несколько раз спросил, не пахнет ли от него говном, на что мы отвечали: "Нет, вроде не пахнет", – а вечером бросился со второго этажа и сломал себе руку. "Дуру гонит, в больничке полежать захотелось!" – рассудили зэки. Но сидеть ему оставалось два месяца из пяти лет, и я сомневаюсь, чтобы он стал сознательно калечить себя. Это явный случай психического заболевания, психов в лагере немало. Конечно, некоторые пытались симулировать, как правило, долго не выдерживали, некоторые стояли как бы на колеблющейся грани, так что трудно было судить. Один из таких "полупсихов" открыл, что такое счастье: это соответствие способностей человека положению, занимаемому им в обществе. Сам он был явно несчастлив.

Кроме зэка, которому казалось, что от него пахнет говном, в нашем отряде был зэк, от которого действительно пахло, каждое утро он просыпался в собственных испражнениях. Соседи били его, но ничего не помогало, в больницу его тоже не брали, случилось это с ним после того, как его избили в милиции при аресте. Третьим психом у нас был бич по имени Николай Павлович, не состоя ни в каких "общественных организациях", он необычайно любил при появлении начальства надевать красную повязку и докладывать, при всей его безобидности во время обыска у него нашли три громадных ножа, вроде тех, какими мясники свежуют туши. Срок у него был год – и чем ближе он подходил к концу, тем более Николай Павлович мрачнел: я впервые встретил человека, который не хотел идти на волю, так как идти ему было некуда.

В каждом отряде было несколько таких больных, один сел нормальным, был бригадиром, потом одного бригадира убили и пригрозили ему – с тех пор он уже несколько лет ходит, разговаривая сам с собой, не отвечая на вопросы, напевая, и собирает мусор. Однажды из всякой дряни он устроил нечто вроде клумбы посреди зоны: капитан Овечкин самолично раскидывал клумбу сапогами как одно из возмутительных нарушений однообразия. Больные годами жили среди здоровых, вызывая не сочувствие, а неприязнь и подозрение, что они "гонят", чтобы избавиться от работы или выйти досрочно.

Месяца через полтора по прибытии я услышал, что едет психиатр – не ради, конечно, несчастных сумасшедших, но осматривать меня. Я был в ужасе, думая, что решили все же сунуть меня в психушку,

где я буду лишен даже минимальных средств самозащиты и где держать меня можно будет сколь угодно долго под предлогом болезни – только что перенесенный менингит давал хороший повод для этого, никто меня кроме зэков и тюремщиков не видел, просто было сказать, что я сошел с ума. Психиатр, или, как он назвал себя, психоневролог, оказался пожилым бородатым евреем, вида действительно ученого. Осмотр был скорее невропатологический, и я немного успокоился. Он слышал обо мне от новосибирских врачей, удивился, как я выжил и в каком хорошем состоянии нахожусь. "А теперь я хотел бы задать несколько интимных вопросов наедине", – сказал он лагерному фельдшеру. Я ждал, что он спросит, не педераст ли я и не занимаюсь ли онанизмом, но, как только фельдшер вышел, психиатр, ни слова ни говоря, достал из кармана письмо и протянул мне. Это было письмо к нему от одной знакомой Есенина-Вольпина, что я нахожусь за Талой, и не может ли он, имея связи в Управлении МВД, осмотреть меня. Он получил командировку на Арарат, находящуюся недалеко колонию для алкоголиков, а заодно ему разрешили мой осмотр. "А вот вам пить больше не придется, – добавил он, – малейшая доля алкоголя может вызвать рецидивы". Впоследствии он оказался первым, с кем я выпил, выйдя из лагеря.

Меня перевели из временного барака, где кантовались возвращенцы-химики, в барак третьего отряда, преимущественно малосрочники. Тут же я попал под опеку старшего дневального, представительного мужчины лет сорока. На воле Образцов был буровым мастером, за особо жестокое убийство получил "вышку", замененную пятнадцатью годами, из которых еще пять ему сократили по помилованию, он досиживал последний год. Сразу он произвел на меня отталкивающее впечатление, он, однако, поместил меня на нижнюю койку, нашел место для занятий, дал электроплитку, одолжил сахар – и поскольку человеческое сердце раскрывается навстречу добру, то первое впечатление как-то смазалось. Он мне объяснял, что в лагере жить можно, не нужно только лезть на рожон, а советскую власть сравнивал с зэком, который если один бутылку водки не выпьет, то лучше выльет, но не угостит другого. Было у него прозвище "жид", но был ли он действительно еврей, сказать не берусь, русские склонны называть "жидами" всех, кто похитрей.

Еще в старом бараке я достал учебник английского языка и снова стал заниматься, выписывая на карточки слова и заучивая, но трудно было сосредоточиться среди шума и криков "в натуре", "в рот меня ебать", "завязывай, парчуха" – теперь же я получил в свое распоряжение ленинскую комнату. Позднее я на джентльменских началах делил ее с блатными: полдня я занимался английским и конспектировал "Экономику" Самуэльсона, полдня они играли в карты. Впрочем, я и не мог заниматься более чем полдня: быстро уставал после

менингита, я старался больше гулять по зоне, пока не наступили холода, а по вечерам читал Джона Стейнбека, Курта Воннегута и "Колымские рассказы" Костерина, найденные в библиотеке. Я прибил над койкой полку для книг, на полу расстелил облезлый коврик, а на тумбочку поставли цветы– я нарвал их, просунув руку за колючую проволоку. Роскошью мне пришлось наслаждаться не долго: коврик и цветы – они особенно разозлили начальство – выбросили, полку сломали.

Когда я сидел со своими карточками в ленинской комнате, вдруг вошел старший лейтенант Борков, по-собачьи сделал с порога стойку и подзывающий жест рукой, каким подзывают тоже собаку, – жест этот означал, что я должен встать и поздороваться с ним. Солженицын пишет, как перед своим последним арестом он готовился в тюрьме перед офицерами не вставать, но когда в последний его вечер в России вошел к нему в камеру начальник Лефортовской тюрьмы и спросил: "Почему не встаете?" – то все же встал. Он спрашивает, не встань он, вступи в пререкания, не истощило бы это его силу и волю, нужную для более важной борьбы со следствием. Каждодневная борьба, зэковское "отдай, что положено" и начальническое "делай, что приказано" истощают зэка, разумнее многих конфликтов избежать – но не всегда. Если уступить в том, если уступить в этом, то сама линия между "мелочами" и "важным" начнет податливо изгибаться, если воля зэка начнет крошиться в его столкновениях с администрацией, то и следствию будет легче его согнуть. Наконец, что есть более ценного у человека, чем его достоинство?

Тем из офицеров, кто говорил мне "ты", я тоже говорил "ты" – и они сразу же переходили на "вы"; к зэкам на "вы" обращаются редко, и я встречал теоретиков одностороннего тыканья: один доказывал, что он меня старше, другой, что у него есть высшее образование. Чтобы избежать столкновений из-за вставания, я в тюрьме, едва заслышав скрежет ключа, уже вставал, чтобы встретить гостей стоя, а не вставать перед ними, но уж коль скоро мне приказывали встать, да еще махали рукой как собаке – я не встал, и несколько секунд мы с Борковым молча глядели друг на друга. Был он человек горячий, что называется, горлохват, и начал орать, вытаращив глаза – не лучшая тактика для него, разумнее было бы ссылаться на постановления и параграфы, предписывающие вставать перед начальством. Я не встал, и он ушел со словами, что я ему весь день испортил. Типичный "заблатненный" офицер, он у себя в кабинете бил зэков, а позднее за избиение своей жены был разжалован и пошел работать в соседний совхоз, как и многие его бывшие подопечные, тут уж он был тише воды, ниже травы.

Вслед за Борковым произошла у меня стычка с ДПНК* капитаном Шевченко, приказавшим снять мои ботинки и переодеться в

---

* ДПНК – Дежурный помощник начальника колонии.

казенные сапоги, слово за слово, и с криком: "Вот как надо с вами обращаться!" – он потащил меня в ШИЗО. Тут содрали с меня одежду, саданули головой об стену – что, конечно, было не очень приятно для моей больной головы, и я провел ночь в бетонном мешке, пока утром капитан Гарафутдинов не освободил меня. Вскоре я схлестнулся с начальником оперчасти, по лагерному "кумом", из-за того, что мои письма пропадали. "У нас нет времени вашими малограмотными письмами заниматься!" – сказал капитан Жмак и дело пошло.

Он вызвал меня через несколько дней после приезда и, соединив два скрюченных пальца, сказал, что он надеется, что отношения у нас будут такого рода. Отношения наши, однако, стали такого рода, что Жмак не мог произнести моего имени без зубовного скрежета. Несмотря на высокую подтянутую фигуру, вид у него всегда был уязвленный, усиливалось это тем, что он только-только был переведен с "материка" – так колымчане называют весь СССР кроме Колымы, – и местные его в свою компанию еще на равных не приняли. В той или иной степени ущемленность чувствовалась почти во всех офицерах – на службу в МВД часто идут люди с тайной потребностью компенсировать чувство собственной неполноценности властью над другими, а социальная и географическая изоляция от общества, отупляющий и развращающий характер работы усиливают иногда доходящее до садизма желание выместить это на зэках, особенно на тех, кто не чувствует себя ниже их. Отношения надзорсостава с зэками проще, держались контролеры без больших претензий, а потому были менее уязвлены, однако непрерывная борьба с зэками нравственно изнуряла их, в тюрьме многие быстро увольнялись, говоря, что так недолго и с ума сойти, но были и любители своей работы. Прапорщик Монтик говорил мне с гордостью, что сын его, правда, не уважает – зато боится; вероятно, и дома был микролагерь.

Кроме Жмака и Боркова, в оперчасти был молоденький и маленький лейтенант, который вдруг вообразил, что китайцы напали на Магадан, прибежал ночью на вахту – и ДПНК Саласюк, человек простой и доверчивый, позвонил в Магадан, чтобы узнать о ходе сражения и получить инструкции. Саласюка обматерили, а лейтенанта на месяц отправили на курорт подлечиться, после чего он вернулся к своим обязанностям. Капитан Саласюк, по прозвищу "горох", или "голубая лошадь", был наиболее безобидным и служил предметом общих насмешек. Когда я однажды сказал ему, какой хороший и аккуратный у него полушубок, он так обрадовался доброму слову, что полчаса мне рассказывал, как он ухаживает за своим полушубком; его слабостью была любовь к речам по радио, и в его дежурство по каждому поводу произносилась им длинная речь. Другой ДПНК, капитан Цимарный по прозвищу Канарис, был раньше начальником оперчасти и прозвище получил за разведовательные успехи, а потом слетел за избыток

усердия. Во время приезда первого секретаря обкома Шайдурова он приказал расставить посты вокруг поселка, но вместо того, чтобы перед Шайдуровым выслужиться – напугал его, когда тот увидел, что с сопки целится автоматчик. Цимарный был один из немногих, на лагерной службе нашедших себя, любой офицер или сержант какими-то сторонами своей работы брезговал, утешая себя тем, что "кому-то это делать надо", он же с удовольствием залез бы в задний проход своей матери, проверить, нет ли там "запрещенных законом предметов".

Капитан Золотарев, заместитель начальника по оперативно-режимной работе, крупный, но рыхлый, как Павел Литвинов, с немного отечным лицом и внимательным взглядом был уверен в себе, неглуп, считал, что заслуживает лучшей участи, и немало приложил усилий, чтобы свалить начальника лагеря подполковника Ничикова. Но не еврей Золотарев был назаначен начальником, а инженер-майор Бутенко с Украины, и в результате борьбы "между хохлом и жидом" Золотарева перевели в другой лагерь – без повышения. Меня Золотарев встретил с долей любопытства и без неприязни, в дальнейшем, однако, вражда с ним мне жизнь затруднила, так что я вспоминал первые месяцы в зоне как самое спокойное время.

Глава 17.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ 261/3: ПЛАЧИ И СТОНЫ

Я имел права на два трехдневных свидания в год, и по прибытии в лагерь подал заявление, на котором Золотарев начертал: "Разрешить!" Вопрос о свидании решали начальник колонии или его заместители, со временем процедура усложнилась: надо было запрашивать разрешение бригадира или начальника цеха, председателя СКК, начальника отряда. Получив разрешение, я должен был стать в очередь за комнатой, и свидание было назначено на октябрь.

Гюзель прилетела, но свидание не давали, два дня проходил я нервничая из конца в конец зоны, оказалось – ставили микрофон, да так поставили, что на время свидания отключили радио в зоне и лишили капитана Саласюка удовольствия произносить речи. Пока что для Гюзель нашла комнату любовница Образцова, официантка на курорте Талая: лагерь и был организован сначала для строительства единственного на Севере курорта, у источника минеральных вод.

Наконец, обыскав и переодев, в своей одежде я мог зашить что-то, меня впустили в узкий коридорчик – и я увидел в проеме боковой двери плачущую Гюзель. Она не выдержала унижения обыска, обшаривания сумок, одежды, волос – в маленькой старушке-цензоре, которая читала письма зцков и обыскивала их жен, было что-то от обнюхивающей и перебирающей лапками крысы, да и не была она старой вовсе, а просто выглядела старой от одиночества и ненависти. По счастью, женские слезы быстро сохнут, и вот Гюзель уже смеется, и мы расстилаем привезенную ею красную скатерть, чтобы поужинать при свечах, обстановка совсем как в номере очень бедной гостиницы, если бы не решетка на окне да командные голоса за стеной.

Не знаю, как Гюзель дотащила на себе столько продуктов, она сварила куриный бульон, но от непривычки есть и от нервного напряжения у меня начались острые боли в желудке, пришлось на следующий день вызывать врача и делать укол, и есть в остальные дни я не мог. Из-за моей болезни Гюзель попросила два дополнительных дня – подполковник Ничиков, к моему большому удивлению, дал полтора. Случай этот исключительный – чаще три дня урезают до двух или одного, с выводом на работу, так что зэк видит жену или мать только утром и вечером. Мы же провели вместе почти пять дней, правда, пять дней с женой в тюремной камере это очень странный опыт. Вместе с Гюзель приехали на Талую прокурор области Винокуров и двое гебистов; может быть, для них было интересно еще в течение двух суток послушать наши разговоры. Но как бы то ни было, в адрес мой был сделан жест доброжелательства.

Однако именно со свидания началась моя настоящая вражда с администрацией. Давно уже я был обыскан и выпущен в зону – а Гюзель все еще держали в комнате, туда на помощь цензору Цыганковой отправились врач Царько, надевший резиновые перчатки для гинекологического осмотра – и просидели они втроем пять часов, так как Гюзель себя обыскивать не давала. Наконец, прокурор велел ее отпустить, и, к моему облегчению, в тот же вечер мы перекинулись парой слов через форточку на вахте. Все издевательства над Гюзель я воспринимал гораздо больнее, чем над собой, а кроме того, я был потрясен, что сыскные функции выполняет врач, был некоторый неизжитый идеализм во мне. Письмо от меня Гюзель действительно везла, и вскоре переправила его Карелу Ван хет Реве.*

На свидании Гюзель сказала, что зашила деньги в переданный еще в Камышлове бушлат, а теперь хотела передать трусы с деньгами, но я не взял, понимая, что при обыске их сразу нашли бы. Даже мой бушлат распороли – и 10 рублей конфисковали "в пользу государства", но поскольку все государственное – это наше: поля, леса, заводы и уж,

---

* Впоследствии Гюзель описала это свидание. См. "Континент" № 10.

конечно, деньги, то можно считать, что я просто переложил их из одного кармана в другой, вернее из одного рукава в другой; кстати, в другом рукаве десятку не нашли. Но деньги в трусах у Гюзель изъяли, хотя ей деньги иметь было не запрещено, а держала она их в сберкассе, сумке, чулке или мужских трусах – это ее дело.

Это казалось мне хорошей зацепкой "свести счеты" за ее задержание, и я написал жалобу в областную прокуратуру: пропажа писем, избиение в ШИЗО, дурная пища, задержание жены и конфискация денег. Копии я послал в обком и областную газету, чтобы одни контролировали других. Я не стал, конечно, бросать письма в "ящик для жалоб" у вахты: молодой грабитель из-под Москвы Володя Трегубов "как земляку" помог мне с письмами. Освобождаясь, он вывез некоторые бумаги, но, по-видимому, обратил на себя внимание КГБ, во всяком случае до Гюзель они не дошли, хотя он и побывал в Москве.

Жалобы я послал в ноябре, а в начале февраля меня потребовал прокурор. Едва войдя в кабинет, со словами: "Вот чем нас кормят!" – я положил перед ним кусок неудобоваримого хлеба с запеченной в нем веревкой. С еще более брезгливым видом, чем когда-то Киринкин от каши, прокурор отодвинулся. Выяснилось, что мои письма движутся по просторам нашей родины, Шмыков и Шевченко показывают единодушно, что я сам чуть ли не избил их при заключении в ШИЗО, свидание мне было дано свыше срока – что верно, а посылка досрочно – что тоже верно; единственный козырь не могли побить – изъятые деньги, и их перевели мне на счет. Через полтора года я узнал, что все же Жмаку, Шевченко и Саласюку, на которого я не жаловался, но на него все шишки валились, объявили выговора – объясняю это тем, что я вовлек в дело обком и газету. Я одержал победу и над цензором: из посланного Гюзель ценного письма пропала ее фотография, и я потребовал возмещения.

– Неужели у вас поднимется рука на мою зарплату? – еще более сморщилась цензорша-крыса.

– Поднимется, – спокойно сказал я, но, глядя на ее жалкую фигурку, пожалел ее, о чем потом тоже пожалел.

Думаю, что фотографию украл КГБ "для выяснения личности" снятой с Гюзель подруги.

Еще на свидании я почувствовал боль в ушах, скоро потек гной и уши внутри покрылись экземой, я почти перестал слышать – воспаление среднего уха на Севере нередко, в зоне несколько человек оглохло. Жаркое лето кончилось в конце июля, а в ноябре иной день морозы доходили до 60° С – ничего не было видно на расстояние вытянутой руки, но и в обычные дни при 20° С, едва я выходил на улицу, начиналась резкая боль в ушах. Казенная шапка не грела, так что я сшил себе нечто вроде наушников из двух старых шерстяных

носков. "Ну, у тебя вид радиста", – шутили зэки, а наиболее рьяные стукачи заподозрили, не слушаю ли я Голос Америки в своих наушниках. После обыска Гюзель я не обращался к лагерному врачу, да и чем она могла мне помочь: вершина ее мастерства – после двадцати пяти лет службы в лагерях – была вырезать чирьи у зэков. Я брал у сестры, толстой и апатичной, пузырек борного спирта, а также прогревал уши кварцевой лампой – лучше от этого не становилось. Я писал просьбы о враче-специалисте и Гюзель просил, чтобы она похлопотала в Москве и она получила телеграмму Бутенко, что врач осмотрел меня, и все в порядке.

"Действительно, – писал я Гюзель, – *приезжал начальник медчасти Магаданского УВД майор Бессонов и 3 февраля осмотрел меня. Он, может быть, прекрасный начальник, но по специальности хирург, так что моим ушам от его осмотра не стало ни лучше, ни хуже. Осмотр происходил так: начал он с нервной системы – очень расшатана, есть остаточные явления менингита; перешел к желудку – обострение гастрита; измерил давление – повышенное; взвесил меня – 53 кг вместо 69 кг перед арестом; прослушал сердце – митральный порок; измерил температуру – повышенная, тоже следствие менингита; осмотрел уши – воспаление среднего уха. Вывод: "общее состояние хорошее". Мне показалось, что он приехал сюда не столько с целью оказать мне помощь, сколько, во-первых, доказать, что все хорошо, во-вторых, отправить меня в больницу. Я сказал ему в конце осмотра, что если мое состояние хорошее, зачем же он настаивает на больнице.*

Он прописал мне уколы, которые я, однако, боюсь делать. Его приезду предшествовала не очень приятная история. Ты помнишь женщину-врача, которая назначила мне укол на свидании, а потом ходила тебя обыскивать, это начальник лагерной медчасти капитан Раиса Царько. 1 февраля в медчасти в мое отсутствие зашел разговор, что у меня очень истощенный вид, и Царько сказала, "что вы говорите об Амальрике, мне до него дела нет, мне все равно, здоров он или болен", "его не следовало бы кормить советским хлебом", потому что "он не наш человек". Мне, конечно, это сразу пересказали. Я был поражен, как может врач так говорить о своем больном, и на следующий день спросил ее, правда ли это, и она все в глаза мне повторила, крича при этом: "Почему о вас Голос Америки передает, а обо мне не передает?!" Я ответил, что, может быть, и о ней что-нибудь передаст Голос Америки, раз уж ей так этого хочется.

В это время в колонии был старший помощник прокурора Магаданской области по надзору за местами заключения Б.Р.Воронцов, которому я рассказал о словах Царько, и он сказал, что примет меры, чтобы приехал непосредственный начальник Царько майор Бессонов. Они пригрозили Николаю Жуку – заключенному, с которым Царько разговаривала обо мне, что пошлют его в психбольницу, а Василию

Ступаку, который присутствовал при разговоре, Царько сказала, что даст ему такие таблетки, что он станет невменяемым. Мне так прямо Бессонов не говорил, но намеки довольно прозрачные делал, что моего доверия к нему не увеличило. А когда я через несколько дней зашел в санчасть попросить у сестры вату для ушей, она мне говорит, что Бессонов назначил уколы, и не противопоказано ли мне такое сильно действующее лекарство, как... Тут Царько ее перебила: "Не спрашивай! Не спрашивай! Ничего не говори и коли его!" Конечно, я сразу же ушел, на уколы не хожу, и с Царько не буду даже говорить. Меня только успокаивает, что, по-видимому, эти угрозы – не указание сверху, а местные попытки "защитить" Царько. Но теперь я в больницу добровольно ни за что не поеду, и не только потому, что боюсь дороги, но еще больше боюсь таких "врачей", у которых буду полностью в руках."

Одну копию письма я отправил через цензуру – оно было конфисковано как "клеветническое", вторую через Образцова – она не дошла, а третью через Володю – она дошла. Я, конечно, знал, что письмо конфискуют, но хотел им немного "надавить" на начальство, чтоб прислали все же врача. Я понимал, что Царько, обиженная, что я к ней не обращался, и напуганная приездом прокурора, по-бабьи не сдержалась – я даже обрадовался ее высказываниям, как возможности "подловить" ее, но видя корпоративную солидарность врачей и слыша намеки на психбольницу, я был действительно напуган, к тому же ехать с менингитом 700 км в воронке в морозы я считал смертельным. Так что я решил, по словам Мао Цзе-дуна, рассчитывать на собственные силы – весьма небольшие, так как ко всем прочим болезням меня мучил авитаминоз, все тело покрылось прыщами и изо рта текла слюна. Еще до приезда Царько фельдшер поставил меня на так называемую норму 1-Д, то есть давали мне кружку порошкового молока и кусок белого хлеба, баланду я уже есть не мог. Царько мне эту норму сначала продлила, потом отобрала, но во время ее отъездов фельдшер снова назначал. В апреле Гюзель и мне все-таки удалось добиться приезда специалиста из Магадана – к тому времени слух мой почти восстановился. Он осмотрел и других больных, чьи дела, может быть, были еще хуже, но кто держал себя скромней и потому без моих хлопот остался бы без врача.

К концу моего пребывания в лагере медчасть состояла из трех врачей (хирурга, зубного и санитарного), фельдшера, сестры и санитара – на 700 зэков; пропорция, которой может позавидовать любой американский город, если не учитывать, что главная задача этого отряда была не лечить больных, а поддерживать их в более или менее трудоспособном состоянии и распознавать случаи уклонения от "общественно-полезного труда". Приходит больной и стонет: "Ох, гражданин капитан, голова болит". "А жопа у тебя не болит?!" – спрашивает Царько, и от этих чудодейственных слов ему сразу становится лучше,

могут еще дать таблетку потерявшего все качества аспирина. Но даже если представить, что на месте Царько хороший врач и добрый человек, все равно его возможности очень ограничены: он не может накормить страдающих от голода – голод одна из "воспитательный мер"; он не может согреть страдающих от холода – даже в морозы роазрешены только хлопчатобуаажные куртка, брюки и ватник; он не может освободить от работы всех больных – установлен сверху их определенный процент; он не может лечить их как следует – нет аппаратуры, нет лекарств; наконец, начальник медчасти не единственный ее начальник, распределением "диэтпитания" ведает в значительной степени оперчасть, которая заинтересована подкормить своих здоровых осведомителей, а не "нарушителей" с язвой желудка.

Царько не была дурным человеком – она была средним человеком, который принимал все условия системы: за годы службы человеческое как-то деформировалось в ней, она говорила, что уже не может смотреть на заключенных как на людей, скорее у нее был взгляд ветеринара, которому поручена выбраковка скота. Не знаю, сожалела ли она о выбранном пути – однажды она сказала, что, пойди все иначе, из нее "мог бы получиться хороший хирург", но, может быть, ее утешал высокий заработок. Некоторым она помогала, не исключаю, что она хорошо отнеслась бы и ко мне, прими я как должное обыск Гюзель – но я это принять не мог. Ее семейная жизнь была несчастлива, муж ее, бывший зэк, спился, а сын стал хулиганом.

В сущности, и майор Бессонов, о котором я иронически писал Гюзель как о "прекрасном начальнике", был неплохой начальник медчасти УВД: после его назначения стало улучшаться снабжение лекарствами, появилась кое-какая аппаратура, добавилось двое врачей, пригласил он психиатра, который нескольких настоящих больных направил в больницу, но в то же время не дрогнула бы у Бессонова рука, в своих ли личных интересах, в интересах своего ведомства, или по просьбе КГБ здорового человека послать в психбольницу, а больного оставить без лечения.

– Вы вот жалуетесь на тяжелые условия, – сказал он мне. – Еще десять лет назад на Колыме вольные в морозы жили в палатках, а теперь зэки живут в тепле – наше государство этого добилось.

– Но ваше государство сначала добилось, что люди в морозы жили в палатках, – сказал я ему. – Колыму еще во времена Дежнева стали осваивать, тогда в палатках не жили.

Начальство говорит о трудностях, о нечеловеческих условиях как об оправдании этой системы, хотя система и есть их причина.

Лейтенанту ракетных войск Николаю Жуку, которому Бессонов и Царько угрожали психушкой, человеку спокойному, интеллигентному и въедливому, при выходе в 1973 году, заподозрив, что он хочет что-то передать Гюзель от меня, в Магадане оперативники КГБ

проломили голову и поместили на полгода в психушку якобы для излечения. Ему удалось окольным путем переслать письмо мне в лагерь, а потом побывать у Гюзель, и мы получили от него два письма с Украины, что КГБ не оставляет его в покое. Но не надо думать, что помещение здоровых людей в психбольницы – это прерогатива КГБ, для любого начальства это распространенный путь сведения счетов или устранения свидетеля. В Дубне в Институте ядерных исследований из-за недостаточных мер безопасности было облучено несколько рабочих, один начал жаловаться – и его сунули в психбольницу. В Магадане местный хирург поругался со своей женой и с начальником облздрава, тот попросил жену хирурга написать заявление, что ее муж невменяем – и на несколько месяцев его в психбольницу упрятал.

Несмотря на мои славные победы над оперчастью и медчастью, а скорее благодаря им, Золотарев стал пользоваться каждым случаем надавить на меня. Шкала ценностей тем более снижается в тюрьме и лагере, чем более сужается ограниченное для вас колючей проволокой пространство. "Ты пишешь, деточка, чтоб я не тратил свои нервы по мелочам, – писал я Гюзель, – но я живу сейчас в мире мелочей и среди людей, которые сделали мелочи своей профессией". Когда я шел получать посылку, так меня уже трясло заранее – сейчас начнется: то не положено, это не положено. Особенно унизительными были бессмысленные запрещения: я еще мог понять, почему в тюрьме отбирали мой шарф и я ходил с открытым горлом в морозы – считалось, что я могу повеситься на своем шарфе, постеснявшись использовать казенную простыню, но почему запрещали в лагере электробритву, а в тюрьме мочалку – чем чистый и выбритый зэк опаснее грязного? Но и я, со своей стороны, выискивал, на что бы подать жалобу, я видел в этой писанине, как и в жалобах Пети Васильева, элемент комизма, вместе с тем это едва ли не единственное легальное орудие сопротивления для зэка, и чем скорее пропадет ваша воля к сопротивлению, тем скорее вы начнете разрушатсья как личность. "Если бы все зэки были такие как вы – никто не пошел бы в тюрьму работать", – раздраженно сказал мне офицер в Магадане, и это был один из самых больших комплиментов за мою жизнь.

Конечно, в борьбе со мной офицеры на разные лады повторяли, "он, мол, посягнул на наш строй" – однако не задень я их лично, они бы про "советский строй" даже не вспомнили; к моим "идеям" относились скорее с любопытством, чем с неприязнью, мало того, и в лагере, и на этапах я встречал офицеров и солдат, которые выражали мне сочувствие, когда были уверены, что их никто не слышит. Также и среди зэков я редко встречал к себе неприязнь как к "антисоветчику", то же бы сказал и про общение с людьми на свободе. Часто диссиденты сами изолируют себя от тех, кто к ним тянется, у интеллигенции комплекс "вины перед народом" сменился своеобразным

комплексом "вины народа".

Несмотря на ссору с Царьку, я иногда пользовался одним из благ санчасти – ванной. Любезность санитара Рытова, степенного техника моих лет, севшего за растрату, простиралась так далеко, что иной раз после ванны он приглашал меня выпить мензурку казенного спирта и поговорить "о стране и мире". Работа при санчасти, с отдельной комнатой, одна из главных лагерных бенифиций, и у меня было смутное чувство, не приглашает ли меня Рыков не из человеколюбия, а по заданию оперчасти – так оно и оказалось. Тема осведомителей в нашей стране – неисчерпаема, число их – безгранично, приносимое ими зло – неизмеримо. В лагере, где все упрощеннее и обнаженнее, они и заметней, и опасней.

Я бы выделил три общих типа. Во-первых, осведомители по слабости, кто согласился на это с чувством стыда, под угрозой или в надежде получить что-то крайне необходимое, такой осведомитель чувствует вину перед своей жертвой, часто проникается симпатией к ней – и старается сделать что-то доброе в виде компенсации за доносы, а иногда и не обо всем донесет, потом часто люди удивляются, как такой приятный человек оказался стукачом, пример такого осведомителя – Иванченко. Рытов был примером безразличного овсведомителя, кто занимается осведомительством только ради своей выгоды и к жертве безразличен, ничего хорошего он для нее делать не будет, но и ничего дурного, пока не прикажут, он исполняет свою работу "от сих и до сих". Наконец, третий тип – это азартный осведомитель, готовый свою жертву провоцировать, наговаривать на нее с три короба, и огорченный, если его доносы не дают немедленного результата. Такими осведомителями была тройка – Федосеев, Моисеенков и Скворцов, им даже места дали рядом со мной и они сами между собой очень по-приятельски сошлись, как говорят в лагере, "скентовались".

Моисеенков как работяга был у них на вторых ролях, вида придурковатого, сидел он за хулиганство и имел прозвище "телега" и действительно дребезжал все время, как несмазанная телега. У Федосеева вид был посолидней, работал он механиком и сел за то, что пырнул ножом свою любовницу, у меня он украл тетрадь с копиями моих жалоб и носил в оперчасть на просмотр. Скворцов когда-то был военным летчиком и чинов МВД пренебрежительно называл "профсоюзная армия". Он сказал своей жене и ее подруге: "Улететь бы туда, где вас, блядей, нет", – жена написала донос, что он хочет улететь за границу, и его сняли с полетов, так началось его падение, ускоряемое любовью к водке. Выйдя в отставку, он сначала болтался на "материке", а затем очутился на одном из колымских приисков. На прииске случилось убийство, убийцу связали и поручили Скворцову везти его в милицию, по дороге он его, связанного, убил, за что

получил три года – учли, что убийца бывший зэк, Скворцов же после преподанного женой урока поддерживал связь с КГБ. Впоследствии он давал показания, что я выпытывал, как он относится к советской власти, и на его ответ: "В любой момент готов встать под знамена!" – заметил: "Здорово тебя в военной школе вымуштровали!" Он принадлежал к тем, кто считает, что чем больше людей расстрелять, тем лучший порядок воцарится в мире, – и вместе с тем пронзительно пищит, если хоть чуть-чуть прижмут самого.

С весны 1972 года я нашел источник существования: писание кассационных и надзорных жалоб. Авторитет мой был высок, за жалобу я брал килограмм сливочного масла и полкило сахару – эквивалент заработка знаменитого адвоката. Трудно сказать, имели ли жалобы практический результат, при мне никому по ним срок не снизили, но гораздо важнее было их терапическое действие: во-первых, озлобленный зэк получал внимательного слушателя, увы, в нашем жестоком мире сама возможность быть выслушанным заслуживает килограмм масла; во-вторых, пока жалобы совершали путешествия по инстанциям, зэк мог жить надеждой.

Так я лучше познакомился с теми, кто сидит в лагере, преобладали следующие пять групп: убийцы, насильники, хулиганы, грабители, растратчики.

Наиболее приятное и спокойное впечатление, пожалуй, производили убийцы, впечатление до некоторой степени иллюзорное. Убийцы, "моряки", от "мокрого дела", как правило были не блатные, а обыватели, совершившие убийство в состоянии аффекта – зачастую пораженные содеянному, а иногда относящиеся безучастно, половина или больше из них – убийцы жен и любовниц. Они охотно соглашаются стучать, не любят блатных и идут в "актив".

Вот тучный старик лет шестидесяти, бывший старшина, прозванный малолетками "жопа-пузо", его пятидесятилетняя жена в маленьком северном поселке – отношение мужчин и женщин там примерно 4:1 – работала поварихой и сошлась с двадцатилетним поваром. "Ты что ж, не наеблась за пятьдесят лет?" – спросил ее муж. "Я только во вкус вхожу", – ответила она, и этим ответом судьба ее была решена, он убийство жены переживал тяжело, даже из окна бросался.

Убийства иногда бывают зверские – но и жены живучи: скромного вида юноша порубил жену топором за то, что она его "не любила", она выжила и свидетельствовала на суде, получил он двенадцать лет. "Мудак ты, добил бы ее – сидел бы на два года меньше" , – говорили ему более счастливые убийцы, обычно за убийство жены дают десять. В приговоре было написано, что он нанес жене двенадцать ударов, и он думал, видимо, что ему дали по году за удар. "Я и на следствии говорил восемь раз, и на суде восемь – а они, бляди, пишут двенадцать. Разве можно после этого верить в человеческую

порядочность?!" – с горечью спрашивал он. "Да, поверить трудно", – отвечал я, составляя обстоятельную жалобу, и, видя, как по-человечески я подхожу к его несчастьям в этом полном непонимания мире, он тоже по-человечески потянулся ко мне: "Наконец-то есть с кем по душам поговорить, вообще-то я ее, суку, не двенадцать, а раз тридцать топором ебанул!" Он работал в столовой, и я писал ему жалобы за лук, которым спасался от авитаминоза.

Слесарь Ваня, всегда с улыбкой на лице, сидел за убийство проститутки. Он труп прикрыл простыней и три дня в той же комнате пропьянствовал, пока деньги не кончились, и тогда заявил на себя. "И не страшно тебе было с трупом?" "С бутылкой не страшно!" – отвечает Ваня, улыбаясь еще шире. Были убийства из мести: механик не выписал шоферу правильно деньги за ремонт, тот – для храбрости выпив, или, как сказано в приговоре, "приведя себя в состояние алкогольного опьянения путем распития спиртных напитков", – пошел скандалить, механик с сыном побили его, и шофер вернулся с охотничьим ружьем. Объяснял он все случайностью: случайно взял заряженное ружье, случайно подошел к дому механика, ружье случайно выстрелило. Человек он был на редкость безобидный, видно, никак иначе не мог постоять за себя, кроме как убийством. Другой, приблатненный мужик громадного роста, за себя постоять мог – ни обстоятельства убийства, ни то, почему он получил пятнадцать лет, а не расстрел, ясны не были: он топором отрубил головы начальнику прииска и парторгу. Он любил гадать по руке, и нагадал мне, что жизнь у меня будет долгая и путаная, и любить всю жизнь я буду одну женщину. Некоторые вообще не могли объяснить, почему они убили: мол, черт попутал. "А раскаяние хоть испытываешь какое-то?" – спрашиваю я. Мнется некоторое время, как бы заглядывая себе в душу: "Да нет, ничего вроде не испытываю".

С просьбой написать жалобу чаще всего обращались насильники, как их называли "медвежатники", взломщики "лохматого сейфа". Некоторые изнасилования, особенно групповые, оличались крайней жестокостью, иногда, издеваясь над жертвой, вбивали во влагалище бутылку. Встречается тип настойчивого насильника: бывший дружинник получил за изнасилование как друг милиции только "химию", но едва прибыл на "химию" – сел за изнасилование снова. Однако у меня создалось впечатление, что примерно в половине случаев настоящего насилия не было. Каждому преступлению отвечает не только определенный тип преступника, но и жертвы, можно выделить типы женщин, кторые чаще всего подвергаются насилию, даже насилие провоцируют, подчас "насильник" и "жертва" не понимают друг друга. Но очень часто "жертва" просто оговаривает "насильника" – или за отказ жениться, или чтобы оправдаться перед родителями или мужем. Поскольку для возбуждения уголовного дела, а зачастую и для

приговора достаточно заявления потерпевшей, это открывает возможности для шантажа.

В маленьком поселке пьяный плотник увидел одиноко идущую женщину и что-то крикнул ей, допускаю, что непристойность. Та испугалась, побежала, застряла в снегу и завизжала; он испугался ее визга, тоже побежал, тоже застрял в снегу и был задержан солдатами из близлежащей казармы. Как видно из приговора, он даже не подходил к ней, женщина решила, что раз поздно вечером к ней приближается пьяный, значит, хочет изнасиловать, так она повторила на суде – и на основании этих показаний он получил шесть лет, отягчающим вину обстоятельством была признана плотницкая отвертка в кармане – отверткой что ли хотел "лохматый сейф" вскрывать? Вот другая история с солдатами: пошли они к знакомой девушке, и ни тот, ни другой ничего не смогли сделать, она стала смеяться, оскорбленные за свое мужское самолюбие, они ее избили, а соседка посоветовала: "Подай в суд, что они тебя изнасиловали". Она подала – и оба получили по шесть лет, по существу за то, что не смогли изнасиловать.

Самое тяжелое впечатление производят хулиганы, по-лагерному "бакланы", почти все молодежь. Следователи для удобства под "хулиганство" подгоняют другие преступления, например, избиения жен, но настоящее хулиганство лишено каких-либо рациональных мотивов, вроде корысти, мести или наслаждения, и хулигана можно узнать по его бессмысленно-злобному взгляду: он ненавидит всех. В ряде случаев за хулиганством можно различить искаженную форму социального протеста. "Я это общество ненавижу, – говорил мне довольно спокойный молодой человек, – выйду на волю – снова что-нибудь подожгу или разрушу".

Севших за грабеж и разбой неизмеримо больше, чем за кражу: растет число преступлений, основанных на насилии, а не на ловкости или профессионализме. Грабители, "гоп-стопники", как их называют, от "поставить на гоп-стоп" – это тоже преимущественно молодежь, притом блатари, то есть люди с идеологией. Тут встерчаются и очень дурные, и совсем не плохие, ко мне они относились хорошо, но писать жалобы почти не просили: знали, на что идут и какие срока получат.

Среди насильников в "активе" была примерно половина, среди хулиганов гораздо меньше, среди грабителей почти никого, зато растратчики входили в "актив" стопроцентно. На воле они были коммунистами, и коммунизм понимался так: "Все равно равенства никакого не будет и быть не может, значит надо занять место получше". А уж заняв хорошее место, хочется им пользоваться. Здоровенный мужик по прозвищу "бандюхайло", завхоз зоны, сел за то, что, работая прорабом, вырытый бульдозером котлован "оформил" как вырытый вручную – а разницу положил в карман. "Ну как, придуряешься?" –

спрашивает он каждый раз меня при встрече, он вообще со всеми хочет поддерживать хорошие отношения, и с "отрицаловкой", и с "мужиками", и с "сучней", к которой сам принадлежит, и со мной, "политиком". "Да нет, вроде не придуряюсь", – отвечаю я. "Напрасно, напрасно, надо придуряться, русский народ дураков любит", – и идет дальше с глупой рожей и напяленной на глаза пилоткой. И что же – из своихх шести лет отсидел он неполных два года, действительно "русский народ дураков любит".

Часто возникали споры, сколько всего заключенных в СССР, назывались фантастические цифры от тридцати миллионов до трехсот тысяч, статистика вся засекречена. В Магаданской области на 400 000 населения 1 лагерь общего режима, 1 усиленного, 3 строгого, 1 особого, 1 колония-поселение, 1 колония для алкоголиков, 1 лагерная больница, 2 следственных тюрьмы и около 20 камер предварительного заключения, причем женщин, несовершеннолетних и тех, кто получил "крытку", отправляют на "материк". Общее число заключенных, по самым осторожным подсчетам, около 6 000, то есть 1,5% от всего населения. По Свердловской области я мог провести более косвенные подсчеты, получалось от 1 до 1,5%. Если эти данные экстраполировать на весь Союз, получится около трех миллионов заключенных, не считая "химиков", ссыльных, административно-высланных, лиц под административным надзором и с ограничениями всвязи с судимостью.

Многие соглашаются, что "исправительно"-трудовой лагерь никого не исправляет, число повторных преступлений в несколько раз выше числа первичных. Сложный вопрос, должно ли быть наказание жестоким или мягким, но во всех случаях оно должно человеческую личность восстанавливать, а не разрушать – лагерь ее разрушает. Чтобы исправиться, надо испытывать чувство вины – мало кто в лагере его испытывает; считают, что осуждены несправедливо: за изнасилование – 77,5%, за убийтсво – 69,7%, за хулиганство – 68,9%, за грабеж и разбой – 68,3%. Сидящие за хозяйственные преступления стопроцентно считают себя осужденными справедливо – не трудно догадаться, что это все члены СВП, "осознавшие", чтобы выйти досрочно; сидящие за "государственные преступления" и сопротивление властям – так же стопроцентно считают себя осужденными несправедливо*.

Если так настроено подавляющее большинство заключенных, оказывают ли они сопротивление "исправительно-трудовой" системе? Есть, конечно, сильный антагонизм между зэками и администрациий, "мы" и "они" – как вообще в СССР между народом и властью, но "они" – целенаправленная и эффективная система, "мы" –

---

* По данным опроса 2 500 человек в разных лагерях. "К новой жизни", 1973, №2, стр.56. (Журнал МВД, в общую продажу не поступающий).

разрозненная масса, которая сама себя поедает. Я писал уже о жалобах как форме сопротивления: не достигая в большинстве случаев успеха, они все же сдерживают администрацию, но одни не умеют писать, другие на хотят портить с начальством отношений, коллективные жалобы запрещены. Другая форма сопротивления – более редкая – голодовки, у нас в зоне их не было, но я знаю случаи в тюрьме: иногда администрация в мелочах уступает, чтобы зэк прекратил голодовку, но чаще он сам не выдерживает. Случаи отказа от работы тоже редки: за них давали сначала пятнадцать суток ШИЗО, а потом шесть месяцев ПКТ**.

Более типичной формой протеста, особенно для блатных, были оскорбления офицеров, порча имущества, поджоги, членовредительство. Случались избиения сотрудничавших с администрацией зэков, чаще бригадиров, потому что тут дело касалось оплаты, было даже убийство при мне. Во многих "буйных" проявлениях протеста роль играла водка, каждый почти день в ШИЗО доставляли пьяных: голодные быстро дурели от водки, а так как достать ее было делом престижным, то зэки помоложе хотели показать всем, что они пьяны. Несколько раз друзья из "отрицаловки" приглашали меня выпить с ними, я не отказывался, но более полстакана не пил. Распространено было нюханье ацетона, который доставали в малярке, один из ацетонщиков, нанюхавшись, свалился в снег и замерз.

Дневальный нашего отряда в кабинете начальника выпивал со своими "кентами", и начались взаимные обвинения в стукачестве. Из-за двери доносились крики, стоны, звуки ударов, звон стекла – все в бараке притихли и слушали, с любопытством, но с полным равнодушием, убьют там кого-нибудь или нет. Все же какой-то активист дал знать на вахту, начальник отряда с контролерами дверь сломали: мебель раскорежена, кругом кровь, битое стекло – и никого в комнате, все попрыгали из окна со второго этажа. Дневальный – приемный сын одного из областных партийных начальников – получил только пятнадцать суток. Но когда несколько человек избили бригадира, им дали срока от четырех до шести лет. Бригадира после больницы я встретил в тюрьме, ему отбили почки, и он полчаса должен был стоять над парашей, чтобы помочиться. Шел он в другой лагерь, чтоб остаться в живых.

Более прямой формой эскапизма были побеги как отказ от наказания явочным порядком. При мне было два побега: одного беглеца схватили на следующий день – он добрался до Магадана проверить, не изменяет ли ему жена, за изнасилование срок у него был двенадцать лет, за побег добавили два; другого схватили в тот же день недалеко от лагеря – ему срок даже сократили, так как тут выяснилось,

---

** Помещение камерного типа, раньше БУР – барак усиленного режима.

что он несовершеннолетний и посажен во "взрослый" лагерь по ошибке.

Самым эффективным сопротивлением могло бы стать групповое – при мне такая попытка была сделана только раз. Зэков нашего отряда сначала водили за четыре километра в деревообделочный цех колонной под конвоем, потом решили возить в закрытом прицепе. В первый же день фургон отцепился и начал съезжать под гору – на краю обрыва он остановился, так что жертв не было, но на следующий день вся смена не вышла из барака. Как пишет Гоголь, одного картуза капитан-исправника оказалось достаточно, чтоб подавить бунт: пришел Золотарев и, начав с шуток и успокоительных слов, а кончив угрозами, заставил всех идти грузиться.

Для зэка искусство жить значило уметь применяться к установленным правилам и обходить их. Две проблемы, названные еще Шиллером, напоминали о себе: голод и любовь.

Я еще застал либеральные порядки, когда миску можно было отнести в барак, в столовую ходили толпой и рассаживались, где кто хотел. Затем ввели хождение строем по отрядам, постоянное место за столом – новички получали его не сразу. Утром, днем и вечером давали суп – жидкий, иногда отвратительный, на завтрак еще бурый раствор с пятнадцатью граммами сахара, на обед – кашу без масла, а на ужин – тем, кто выполнял рабочую норму, половник жидкого гороха с маслом, скорее всего машинным. Над раздаткой висели таблицы с нормами питания – в среднем 3/4 от нормально необходимого числа калорий – и плакат: "Хлеб к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори!" Пайку то давали на руки, то хлеб лежал на столах, иногда есть можно было только корку, а мякотью "сорить", иногда что-то не срабатывало – и неделю кормили белым хлебом. Забракованную на ферме чернобурых лисиц селедку отправляли в лагерь, стоило ее взять в руки, она расползалась, давали ее дважды в неделю. Суп в обед варили на мясе: на двенадцать человек ставили котел, в котором было несколько кусочков мяса, но меньше двенадцати – и вот каждый несся скорей к столу, чтоб зачерпнуть первому, и я тоже. Потом я понял, что становлюсь на страшный путь, и стал действовать с бóльшим чувством достоинства: я брал половник и всем разливал суп, а себе последнему – впрочем, кусочек мяса я себе оставлял.

Многие страдали от авитаминоза, язв, гастрита, недоедания, но в целом зона голодной не была, кто попадал с "материка", удивлялся: "У вас хлеб на столах лежит!" Сама Магаданская область, по советским меркам, хорошо снабжалась – это сказывалось на лагере, а кроме видимого распределения через столовую, ларек (на 6 рублей в месяц), посылки (5 кг в полгода с половины срока) существовало еще невидимое распределение.

В зоне были мебельный цех, сапожная и авторемонтная

мастерские. Если офицер, или вольнонаемный хотели, чтоб им сделали, скажем, кресло, они должны были пронести зэкам продукты, водку или деньги, которые опять-таки шли на продукты или водку. Гюзель и сейчас носит торбаза – чукотские сапоги из оленьего меха, – сшитые в нашем лагере за две бутылки водки. Шофер, чья машина ремонтировалась в зоне, знал, что если он механикам водку не привезет, то его машина из зоны выйдет, но через два километра напрочь остановится.

Деньги также передавали зэкам жены и матери на свидании, не всех так строго обыскивали, как меня. Продукты за эти деньги проносили "вольняшки" – шоферы, мастера, кочегары, или "бесконвойники" – расконвоированные зэки, которым разрешалось выходить днем за зону; проносили, конечно, не бескорыстно: из оставленных мне Гюзель продуктов я получил только половину от Образцова; пронесла их подруга его любовницы, приходившая в зону морить тараканов. Инспектор оперчасти Барков, в обязанности которого входило эти нарушения выслеживать, сломал свою машину – и жена одного зэка высылала ему запчасти из Москвы, а он в обмен на Новый год передал ее мужу водку и колбасу в своем кабинете. Под тот же Новый год сделал он обыск в столовой и нашев под полом ящик водки и полдюжины бутылок шампанского.

Сахар, сгущенное молоко и мясные консервы я закупал у кладовщика, он же брал их у заведующего столовой: шофер завозил в зону больше, чем положено по норме, часть продуктов просто воровалась у "бедных" зэков и продавалась "богатым". Но от постоянного притока продуктов в лагерь выгадывали все: так как "богатый" не брал свою пайку в столовой, "бедный" мог взять лишнюю порцию хлеба, супа и каши. Коррупция, как и на воле, скорее очеловечивала советскую систему.

На воровстве грели руки не только зэк-заведующий со своими приближенными, но и администрация. То, что ДПНК по ночам за счет зэков носили ужин, было пустяком, но деньги за часть продуктов шли в карман начальнику части интендантского снабжения. Заведующих столовой, когда они уж слишком распоясывались, снимали, а через несколько месяцев назначали снова, так что чередовались одни и те же. Один из них, грузин, у которого изъяли ящик водки, даже завел себе гарем из подкармливаемых мальчиков.

Так решалась вторая шиллеровская проблема – проблема любви. Не могу сказать, сколько было в зоне педерастов, активные вели себя по-разному: кто постарше говорили, что ж, мол, поделаешь, человеческая природа несовершенна, молодые – в духе времени – хвастали этим. Педерастия уголовно наказуема в СССР, при мне нескольких осудили и дали по три-четыре года, угроза срока как будто никого не останавливала. В оперчасти был список пассивных педерастов –

и время от времени самых заметных отправляли в другие лагеря, впрочем, их там сразу распознавали.

Немало было и онанистов, некоторые взбирались на крыши бараков, расстегивали штаны и высматривали где-то вдали, в поселке женщин в качестве объекта своей любви. Другие при этом довольствовались рассматриванием картинок – "Плейбой" в зону не попадал, и это были физкультурницы и доярки из "Огонька", даже портрет Крупской мог идти в дело. Картинки вообще весьма ценились, было также много любителей "ловить сеансы" – то есть подглядеть какие-то более или менее скрываемые части женского тела, много зэков таскалось в санчасть и школу, где работали женщины, полюбоваться на женский зад или ногу. При школе была отдельная уборная для учителей, и наиболее отчаянные "ловцы сеансов" забирались со двора в выгребную яму, чтобы подсматривать снизу в тот волнующий момент, когда учительница будет делать пи-пи. Как-то завхоз – "бандюхайло" заметил залезающего "пацана" и велел плотнику заколотить люк, вытащили поклонника женской красоты через несколько часов, без сознания, всего в нечистотах, и в таком виде сразу же сунули в ШИЗО. Стоило среди зэков начаться разговору о весьма отвлеченных предметах, вроде космических полетов или египетских пирамид, как постепенно, но неизбежно разговор сводился – к пизде.

Меня неприятно поражали отзывы зэков о женах, с которыми они жили до ареста и собирались жить после, мол "все бабы – бляди". С другой стороны, для многих мать, жена, сестра или дочь были каким-то светлым пятном в окружавшем их мраке; я вынес впечатление, что счастливые браки лагерь не разбивал. Счастливцы эти иногда не удерживались от рассказа, какие у них хорошие жены. Но как говорит новгородская былина: на пиру "умный хвастал старым батюшкой, а безумный – молодой женой".

Зимой и весной из-за зараженной воды в зоне несколько раз вспыхивали эпидемии дизентерии. Приехал майор Бессонов, зэки были выстроены перед столовой, и он скомандовал: "Кто болен – шаг вперед!" Не сдвинулся ни один человек – а на следующий день почти сто слегло с высокой температурой. Отвели барак для больных, так как в больницу всех везти было невозможно, делали анализы и уколы, от которых у меня начала слезать кожа на голове, дизентерией я, правда, не заболел. Меры эти не очень помогали, так как воду продолжали брать из того же колодца. Объявлен был карантин, неизвестно , на какой срок, и я забеспокоился, что не состоится свидание с Гюзель, назначенное на 12 мая, день моего рождения. Я спросил начальника отряда капитана Богачева, не послать ли мне телеграмму жене, чтобы она не выезжала. Богачев всегда был вежлив и спокоен, службой своей тяготился, и то, что он быстро запросил начальство и ответил, что пусть жена приезжает, я приписал его человечности.

Когда приехала Гюзель, оказалось, что карантин не снят, но и тут Богачев не подвел: обратился к майору Бутенко, тот позвонил Бессонову, и Бессонов свидание разрешил. Началось оно, впрочем, не двенадцатого, а тринадцатого – дурной знак.

У Гюзель на этот раз отобрали все ручки и карандаши, так что мы писали губной помадой и палочкой для покраски ресниц, ей запретили выходить в поселок, мало того, нас запирали на ключ, и если надо было выйти в уборную, мы стучали в дверь, дневальный докладывал ДПНК – и тот открывал нам; чтоб Гюзель не выходила на кухню, нам в комнату поставили элктроплитку и холодильник – другая пара обходилась без них. Так мы провели три счастливых и несчастных полуфантастических дня, и на этот раз Гюзель выехала беспрепятственно, 17 мая я получил телеграмму *"Благополучно доехала до аэропорта. Нежно целую."* Почти тут же прибежал дневальный: меня срочно зовут в санчасть.

Торжественным голосом Царько сообщила, что Гюзель снята с самолета в Магадане в связи с карантином на Талой и отправлена в больницу, а меня поручено госпитализировать и сделать анализ. Ярости моей не было границ: я понял, почему Богачев сказал не посылать телеграмму, а Бессонов разрешил свидание: 22 мая 1972 года в Москву прилетали Никсон и Киссинджер, и КГБ удалял диссидентов и еврейских активистов, многих, как я узнал потом, подвергли превентивным арестам, а помещение в больницу – к тому же хороший предлог для самого тщательного обыска. Никакого неудовольствия этим г-да Никсон и Киссинджер не высказали, считая, что аресты – побочный, но естественный продукт разрядки и делаются для их же спокойствия.

Обругав Царько и Богачева, никакого анализа я делать не стал – да на нем и не настаивали – и срочно написал друзьям в Москву о задержании Гюзель. Шесть моих писем перехватили на почте в Талой, седьмое было отправлено из другого поселка и дошло. Через несколько дней я получил письмо от Гюзель, в каком ужасе она была, когда в аэропорту перед посадкой ее схватили женщина в белом халате и мужчина в штатском. По счастью, она не везла от меня на этот раз никаких писем. Никакой дизентерии у нее в магаданской больнице, конечно, не нашли – но с "кровоточащей язвой в кишечнике" продержали две недели, в Москве даже следа этой мифической язвы не смогли обнаружить. После всех этих потрясений, однако, у Гюзель действительно началась язвенная болезнь.

Едва я узнал, что Гюзель в больнице, как новое событие: обыскали и уволокли в ШИЗО "Гаврилыча". Юрий Гаврилович Шабалин, пожилой уже зэк с фигурой мальчика, досиживал второй десятилетний срок за убийство и ограбление, мы с ним иногда играли в шахматы и довольно откровенно разговаривали, держался он спокойно, ни во что не вмешивался, но среди блатных пользовался уважением. После его

задержания стала ясна роль Скворцова, полгода назад он вышел в колонию-поселение якобы показаться врачу, появился в зоне накануне приезда Гюзль, сообщил мне, что получил от Гюзель куртку аз обещанные продукты, продукты теперь польются рекой, тут же мы сговорились, что от Гюзель он через вольного кочегара все передаст Гаврилычу в деревообделочный цех, а тот пронесет в зону. Кроме продуктов, Гюзель привезла письмо от Карела и рецензии на постановку моих пьес в Лондоне, я на свидании попросил ее письмо уничтожить, а продукты и резензии передать Образцову. И вот Гаврилыча взяли на вахте.

Через десять дней Гаврилыча выпустили, и он рассказал, что когда у него в сапоге нашли пачку сахара и газетные вырезки, Золотарев, Жмак, Борков так на них набросились, хотя по-английски никто читать не умел. Театр назывался "84 Клаб", и, разобрав это слово, Золотарев спросил Гаврилыча: "Ты в клуб восьмидесяти четырех вступил?" Ему надо бы ответить: вступил восемьдесят пятым! В ШИЗО дежурил пожилой, толстый и необычайно корыстолюбивый старшина по прозвищу "Гришка, Машку ебут": он служил раньше в колонии-поселении, где зэки расконвоированы, и жена его, видимо, строгостью не отличалась, так что все время кто-то кричал ему: "Гришка, Машку ебут!" "Где?!" – хватался за пистолет Гришка. "Как же ты, Гаврилыч, с антисоветчиной связался, – сказал он, подойдя к двери камеры, – ведь тебе новый червонец корячится. А впрочем, – добавил он, подумав, – доллары тоже деньги". С Гаврилычем мы потом встречались в Магадане, был он из интеллигентной московской семьи, но родители его рано умерли, и он начал беспризорничать. В его рассказах о прошлом всегда была какая-то неясность, удивляло меня также, что за второе убийтсво сидел он не на строгом режиме. Впоследствии майор КГБ Елисеев говорил мне, что Гаврилыч был офицером МВД, служил в лагере, но потом сошелся с цыганкой и перешел к блатным. Не знаю, насколько этому можно верить, говорилось это явно, чтобы бросить тень на Гаврилыча.

Несмотря на блестящее проведение операции, результат ее был ничтожен: я сам никому ничего не передавал и ни у кого ничего не брал, ничего как будто не показал и Гаврилыч. Тогда Образцов решил действовать "внагляк": позвонил с вахты в отряд и сказал мне, что у него есть вещи, которые он хочет передать. При смотрящем мне в лицо дневальном я ответил, что встречаться с ним не буду и никаких вещей не возьму, и тут же я и Гаврилыч заявили Золотареву, что Образцов хочет нас втянуть в нелегальные операции. Может быть, впервые доносы не обрадовали Золотарева, свидетельствуя о провале его агента, тем более, что приехала комиссия из Москвы, и я начал перед ней всячески размазывать, что как это зэк зэку может звонить с вахты в отряд.

Перед приездом комиссии, которая ревизовала дальневосточные

лагеря, лагерное начальство вообще занервничало, Царько даже сказала мне, что сожалеет о случившемся – если и следовало о чем-то сожалеть, то только о том, что зэков мало давили: приказ коллегии МВД №20, о внутреннем распорядке был началом ужесточения режима. Ходили "параши", что едут два генерала, оказался один полковник, мне он свою фамилию назвать отказался: "Можете просто называть "полковник из Москвы"!" Комиссия начала прием с сыновей местных начальников, хотели, что ли, москвичу показать, что и у нас сидят люди "не с улицы". После юных грабителей, педерастов и наркоманов перед обсевшими стол офицерами появился я. "Ну вот, целый час ведем прием, а Амальрика все нет", – встретил меня начальник ОИТУ подполковник Кузнецов. Он недавно сменил полковника Рубцова, беспредельщика сталинской закалки, ранее был секретарем райкома, и первое время зэкам говорил: "Товарищи!" Позднее он сказал мне в Магаданской тюрьме: "Вот вы говорите, то не так, это не так, а я вижу, что система – он имел в виду тюремную систему – так идеально отработана, что в ней едва ли что-нибудь изменишь".

В июле появился в зоне незнакомый подполковник, маленького роста и с интеллигентным лицом, зашел к нам в барак и сказал' "Простите, что я не узнал вас сразу, Андрей Алексеевич", – настораживающее начало для того, кто привык слышать: "Пошел быстрее, ебаный в рот!". Хотел он узнать мое мнение о начинающейся разрядке – мнение мое было скорее эйфорическим, несмотря на то, что Гюзель уже пожертвовала ради разрядки двумя неделями свободы. Подполковник оказался заместителем начальника УВД по политработе, вслед за ним приехал инструктор политотдела, вежливый до приторности капитан Глотов: как я себя чувствую, что думаю, какой была моя прежняя жизнь? Наконец, меня пригласили замполит Овечкин и прокурор Шолохов, и начался прямо светский разговор – Овечкину давался он тяжеловато, но Шолохов рассказал о своем знакомстве с женой Трояновского – ныне советского посла в ООН, а я, чтобы не ударить лицом в грязь, о знакомстве с вдовой Литвинова – в прошлом наркома иностранных дел. Когда мы, как два нэймдроппера, обменялись этой информацией, Овечкин почувствовал, что наступил решительный момент и, напыжившись, спросил, не хочу ли я написать письмо в "Известия" с отказом от "СССР до 1984 года?". Я ответил, что не хочу.

Весной был освобожден Красин, и в этих трех разговорах усмотрел я то,е намек на перемену к лучшему. Но буквально через несколько дней я услышал по голосу Америки, что арестован Якир. Запрещенные транзисторы попадают в зону тем же путем, что и водка; когда через месяц приемник конфисковали, хотели обвинить меня, но я ответил, что зашел в барак случайно и ничего не слышал. Голос Америки – из всех западных станций только он достигает

Колымы – все вольные на Талой слушали; когда передали о моем пребывании там и упомянули Ничикова, в колонии-поселении бросили валить лес и сгрудились у радиоприемников. "Ну, Талая на весь мир прогремела!" – говорили все с гордостью, и лагерные "параши" стали теперь приписывать Голосу Америки, а позднее на Талой к Гюзель подошла женщина и сказала: "Срочно сообщите Голосу Америки – меня уволили с работы!" Возникновение "параш" всегда на стыке искаженного факта, явной лжи и живого воображения: кто-то слышал, что готовится новый кодекс, и вот уже рассказывает, что этот кодекс видел, да так рассказывает, что сам верит.

Сопоставляя предложение Овечкина с арестом Якира, я думаю теперь, что властям было нужно какое-то "развенчание попыток буржуазного влияния" внутри СССР – как противовес сближению с Западом. Быть может, действительно, как и год назад, подумывали о моем освобождении в обмен на покаяние, чтобы так сказать "подмазать" колеса разрадки – увидели, однако, что разрядка и так идет полным ходом, СССР с радостью принимают какой он есть, так что впору думать о домашней стороне разрядки – арест Якира был первым сигналом того, что будет означать "разрядка" внутри.

– Почему вы нас так ненавидите? – спросила меня рыжеволосая врачиха из Сусуманской лагерной больницы, приятельница Царько, когда в начале августа я предстал еще перед одной комиссией – врачебной.

– Да потому, что вижу в вас не врачей, а прикрывающихся белым халатом чекистов, – ответил я. Комиссия, включая психиатра, признала меня годным для работы: я был переведен на третью группу инвалидности. Но работать мне пришлось еще не скоро.

Глава 18.

Я ВИЖУ КОЛЫМУ

– Скорее с вещами на вахту!

Лагерь не тюрьма, где "с вещами" может значить перевод в соседнюю камеру, меня увозят – но куда и зачем? В другой лагерь – где контроль будет жестче? На следствие – за новым сроком? Освобождать – чтобы порадовать милосердных "творцов разрядки"? Свидетелем – по чьему делу? Лагерное начальство, не чая меня больше увидеть, делает последнюю гадость: скрывает только что пришедшую посылку Гюзель, и вот я уже трясусь по колымской трассе, Магадан,

пустая камера, перебираю костяшки домино: направо – отсиженные месяцы, налево – оставшиеся, и засыпаю, склонив голову на стол, что-то смутное мне снится, и как будто кто-то встряхивает меня, я просыпаюсь с криком: "Где я?!" А мне со смехом отвечают: "Да ты в тюрьме".

– Амальрик?! Мы о тебе слышали! – соскочил с вагонки вертлявый и явно дружелюбно настроенный зэк, когда меня после "санобработки" ввели в общую камеру. Юзек Даманский и его подельник Лю Фу-у – а у всех еще были в памяти столкновения с китайцами на острове Даманском – вместе производили маленькую сенсацию. Зубные врачи, они с чемоданом инструментов и небольшим запасом золота прилетели с Украины: поставить зуб из их золота стоило 60 рублей, из-за тяжелого климата в Магадане почти все беззубые, очереди в государственной поликлинике приходится ждать более года, иногда безрезультатно, так что встретили их как благодетелей – а через месяц арестовали за "торговлю золотом путем вставления зубов" и дали по три года. Дали бы и больше, если бы они через адвоката не сунули взятку судье.

Без видимых оснований нас перевели в камеру в только что достроенном крыле; чтобы скоротать время, я начал лекции по русской истории, с большим интересом слушал их Юзек и, как я узнал через год, начальник следственного отдела УКГБ – через микрофон. Не знаю, как подполковник Тарасов, но Юзек был в восторге и от моих рассказов о лагере.

– Мы прямо обхохотались, как один идиот "активную пионерку" изнасиловалГ – сказал он потом Иванченко.

– Я и есть этот идиот! – раздраженно ответил Леша.

Десять дней я провел в ожидании – обычный прием, чтобы жертва понервничала, хотя человек с волей может, наоборот, собраться, и 31 августа – руки назад – был отведен вниз, в маленький кабинет, где стояли только стол, стул для следователя и табурет для допрашиваемого. Человек в штатском, роста небольшого, с лицом невыразительным, но скорее приветливым, предложил мне садиться. На столе лежали два кодекса – уголовный и уголовно-процессуальный, как бы показывая, что все мои права будут обеспечены. Следователь даже указал рукой на кодексы, я могу-де пользоваться ими, однако – сила привычки – предупредил, что за отказ от показаний или дачу ложных показаний наказание до семи лет, хотя я знал, что за отказ – шесть месяцев принудработ.

Старший следователь Магаданского УКГБ капитан Денисов, Борис Григорьевич, завел разговор, как я себя чувствую и какая погода в Магадане, а затем спросил, что мне известно об "антисоветской деятельности" Якира. Я ответил, что хотел бы узнать сначала, по какому делу и в качестве кого привлекаюсь, даже на лежащие передо мной

кодексы сослался – и он сказал, что я вызван как свидетель по делу Петра Якира, обвиняемого по ст. 70 УК РСФСР. Есть разница между следователем, ведущим дело, и получившим его поручение коллегой в другом городе, во втором случае – "дело чужое", и Денисов без всякого азарта начал спрашивать меня, сверяясь с присланным из Москвы вопросником. Я отвечал, что с Якиром знаком, никаких его "антисовестких заявлений" не слышал и не видел, ничего о его "антисоветской деятельности" или "связи с антисоветскими организациями" не знаю, видел у него разных людей, но их имен и фамилий не помню.

– А иностранцев не встречали у него? Его с ними не знакомили?

– Сам не знакомил и не помню, чтобы встречал у него.

– Эх, Андрей Алексеевич, – сокрушенно сказал Денисов, – все "не знаю", "не слышал", "не видел", "не встречал", боюсь, что вам стыдно потом станет, ведь мы не с пустыми руками вас вызвали.

– Понимаю, что не с пустыми, что-то у вас в этой черной папочке, вероятно, лежит, но стыдиться мне нечего.

Тогда Денисов действительно полез в свою дермантиновую папочку и зачитал мне отрывок из показаний Якира. Было много риторических фраз, что "СССР до 1984?" – "антисоветская, клеветническая, враждебная "книга, а в своей фактической части показания сводились к следующему: я познакомил Якира с корреспондентом СиБиЭс Коулом и устроил интервью с ним; я передал Якиру рукопись "СССР до 1984?" в октябре или ноябре 1969 года на квартире у Зинаиды Григоренко; я сам написал и только дал Якиру на подпись в марте 1970 года хвалебный отзыв о моей книге, а затем переслал его за границу. Денисов зачитал еще отзывы Якира обо мне, все нелестные, вроде того, что ко всем прочим качествам я пьяница и чуть ли не насильник – с довольно прозрачной целью, что уж теперь и я не пожалею красок для описания Якира.

Я думал, что арест будет для Петра очищением – все произошло наоборот, арест разрушил последние преграды, сдерживающие развал личности. Я почти всю ночь не мог заснуть, таким неожиданным ударом это было – и вместе с тем не совсем неожиданным, может быть, под одним якировским образом у меня лежал некий неосознанный другой. Поэтому я выслушал Денисова внешне спокойно и сказал, что все это неправда. Меня разозлило больше всего, что, по словам Якира, я сам себе написал похвальный отзыв, я уже рассказывал историю этого письма. О показанной мне печатной копии я сказал, что не могу судить, то ли это письмо, которое имеет в виду Якир, но я за него ничего не писал. Рукопись "СССР до 1984?" ему не передавал, да и был в октябре и ноябре 1969 года на даче.

– А интервью для СиБиЭс, встречи с иностранными журналистами?

Я отвечал, что сам Якир показывает, что корреспонденты СиБиЭс

и "Нью-Йорк Таймс" спрашивали у него, не агент ли я КГБ, очевидно, не стали бы договариваться об интерлью через агента. Что до встреч с иностранными журналистами, то тут я его показаний не подтверждаю, но и не отрицаю, потому что просто не помню: журналисты былали у меня, бывал я у многих, возможно, он мог случайно зайти ко мне в это время или я встретить его у кого-либо.

– Если вы ничего не помните, может быть, запишем, что ваша память ослабела в результате менингита?

– Нет, зачем же, сейчас не помню, а потом, знаете, вдруг вспомню. Написать, что я потерял память, так на меня Бог знает что можно будет свалить.

В действительности я познакомил Якира с корреспондентом СиБиЭс и предложил взять интервью, примерно в то же время дал и рукопись "СССР до 1984?", тем более, что он стал обижаться, что "все о ней говорят", а у него ее нет – но не пересказывать же это следователю КГБ. На втором допросе я сказал, что показания Якира объясняю тем, что на него, учитывая проведенные в заключении годы, очень тяжелое впечатление оказал арест и из желания угодить следствию он оговаривает себя и других. Я попросил также внести в протокол, что показаний Якира не видел, а только слышал зачитанные мне с машинописи. Денисов удивился, вздохнул обиженно, но вписал – и меня оставили в покое, даже перевели в другую камеру, к моим речам интерес утратив.

Вскоре к нам посадили горбуна лет сорока, история которого заслуживает быть рассказанной. При перевозке пустых бутылок фальшивый "бой" шофер и экспедитор оформляли как заново сданные бутылки, а выручку делили с ним как с бухгалтером, получил он около двух тысяч рублей – и восемь лет лагеря. На Талой единственным утешением для него была встреча с бывшим соседом, киномехаником Ковалевым, который когда-то установил микрофон прослушивать мои разговоры. Как-то горбун заходит к нему в кинобудку, Ковалев ест пирожки, и неловко не угостить приятеля. Но едва он надкусил протянутый ему пирожок, не знаю уж, с вареньем, с мясом или с капустой, как увидел, что такие пирожки ему всю жизнь пекла жена, и понял, что она была любовницей Ковалева – и не законному, но нелюбимому мужу, а любовнику послала пирожки в лагерь. Он не показал виду, а на следующее утро дежурный контролер обнаружил труп лучшего активиста с ножом между лопаток. Кинобудку опечатали, началось следствие; видя, как убит горем горбун, его утешали: "Не грусти, найдут убийцу твоего друга!" Особенно сильно переживал мой приятель Иванченко, наконец, он не выдержал: "Я понимаю твои чувства, но пойми и ты мои: чтоб было в чем выйти на волю, я от шмона в кинобудке спрятал туфли, – ты их не заметил до того, как твоего друга убили?" "Я так тебя хорошо понимаю, –

ответил горбун, – у меня самого там остались две банки сгущенного молока". Доверив друг другу свои чувства, они разошлись, поняв, что делу не поможешь. Но в конце концов соболезнования так надоели горбуну, что он сам сознался – будку открыли, Иванченко вышел на волю в новых туфлях, а горбуну добавили два года. Наша юридическая система скалькулировала так: за битые государственные бутылки – восемь лет, за жизнь зэка – два года.

11 сентября спецконвоем я был доставлен в Москву. Первый и, может быть, последний раз я летел в салоне самолета один, если не считать троих охранников и фельдкурьера КГБ. Начальник конвоя, немолодой капитан МВД, так был взволнован своей миссией, что опрокинул поднос с едой, ефрейтор потом елозил по полу, подбирая крошки риса. Я понял, что значит быть важной персоной: если я хотел в туалет, конвоиры оттесняли очередь пассажиров переднего салона и как почетный караул стояли у двери. "Для депутатов Верховного Совета СССР" – прочел я табличку, когда меня высаживали в Домодедовском аэропорту. В воронке везли одного – так плотно закупоренном, что щелки не было взглянуть на московские улицы, и тем не менее я как-то физически ощущал, что я в Москве, еще острее я понял, что значит сидеть за 8 000 км. от родных мест.

– Знаете, где вы находитесь? – спросил дежурный.

– В Лефортово.

– Я сам не знаю, мы ему ничего не говорили, – испуганно сказал начальник конвоя. Догадаться было не трудно: дежурный был в форме КГБ, а Лефортово – их единственный изолятор в Москве.

– Отдохните пока, – сказал дежурный, вводя меня в просторную светлую комнату, так не похожую на боксы Бутырской и Магаданской тюрем, – сейчас придут врач и сотрудник, который вами займется.

Меня небрежно осмотрела медсестра, зато "сотрудник" тщательно прошмонал вещи и книги. Камера тоже была светлая, с окном только забеленным, но без намордника, с унитазом, раковиной, деревянным столом, двумя табуретками и двумя койками – но в камере был я один. Заместитель начальника тюрьмы подполковник Степанов, крупный, гундосый, большой любитель поговорить – он даже пересказывал мне парадоксы древнегреческих софистов – сказал, что в одиночках держать теперь запрещено и мне дадут соседа.

– Пожалуйста, поинтеллигентнее кого-нибудь.

– Какой разговор, – ответил Степанов, и через два дня меня перевели в такую же точно камеру, к молодому человеку, низкорослому, жилистому, в наколках, побывал, значит, "в местах не столь отдаленныя Сибири", а сейчас шел по второму разу за золото же. "Экономическими делами" – золотом, бриллиантами, валютой – КГБ начал заниматься при Хрущеве, когда кончились массовые репрессии – и громадной машине террора нужно было найти применение.

Золотишники и валютчики люди, в общем, не плохие, с юмором, не тяжелые в общежитии, но редко кто из них в состоянии понять, что в мире есть другие ценности, кроме денег. Гюзель, сдавая передачу, призвала их жен помогать друг другу – они шарахнулись от нее. Мой сокамерник когда-то учился в музыкальной школе, играл иногда в ресторанных оркестрах и напевал в камере песенки вроде:

О Зяма, Зяма, забудь про Анжелику,
она для лучшей жизни создана.
Ты что-то пишешь, пишешь, сочиняешь –
скажи, какая она тебе жена?!

От него же я слышвл анекдот: какое самое высокое место в Москве? Лефортово – оттуда Колыму видно.

"В круге первом" Солженицына есть сцена, как стукачей опознают по денежным переводам: положено на старые деньги 150 ежеквартально, но 2% за доставку берет почта, а КГБ в отличие от настоящих родственников почтовые расходы оплачивать не хочет, и получается странная сумма 147 рублей. Сокамерник мой говорил, что никого у него на воле нет – и вдруг получает перевод на 29 рублей 40 копеек. Когда меня через месяц переводили в другую камеру, он заплакал, обнял меня и поцеловал.

Я много слышал о Лефортово, прежде чем попал сюда: в конце тридцатых годов здесь пытали тех, кого не удалось сломить на Лубянке. Тюрьма – на уровне достижений тюремной архитектуры начала XX века – построена буквой К, с пустыми межэтажными пролетами, и в точке схождения четырех ее крыльев стоит регулировщик с флажками и машет, кому идти; надзиратели, как и четверть века назад, пощелкивают пальцами, предупреждая других: веду зэка. Два верхних этажа и два крыла тюрьмы законсервирова́чы, при мне сидело около двухсот человек, надзирателей было много, так что порядок обеспечивался идеальный. В обслугу, кроме вольных, набирались уголовники из Бутырской тюрьмы, если они случайно оказывались на пути ведомого надзирателями зэка, поворачивались и смотрели в стену. Я ни разу не коснулся дверной ручки: все двери на моем пути открывали и закрывали надзиратели. В тридцатые годы к тюрьме буквой П был пристроен следственный корпус, посредине – прогулочные дворики.

После подъема разносили черный хлеб и туалетную бумагу – на вес золота, никакие ссылки на понос не действовали, вместе с бумагой возвращали очки, которые на ночь отбирали – вероятно, когда-то кот-то стеклами очков порезал себе вены, днем в глазок заглядывали каждые пять минут. Кормили лучше, чем в других тюрьмах, но так, чтобы зэк слегка голодал; в ларьке без разрешения слведователя

нельзя было на месяц взять масла более полукилограмма, сахара более килограмма, те же огарничения были для передач. Из-за обострения гастрита меня мучил черный хлеб, а без хлеба донимал голод, белый же мне давать отказывались, "у половины человечества гастрит", по счастью половина человечества еще не сидит в тюрьмах. Я решил взять медчасть измором: записывался сначала раз в неделю, потом два, а потом каждый день – брезгливолицые врачихи, старая и молодая, с ненавистью смотрели на меня, сделали анализ желудочного сока – нормальный.

– Как же нормальный, когда у меня боли в желудке.

– Что же, мы ваш сок подменили, что ли?

– Конечно, подменили, – не растерялся я и их все-таки додавил, в одно прекрасное утро в кормушку сунули кусок белого хлеба. Я положил его на полку, чтобы съесть с чаем, а до чая полюбоваться как на зримое свидетельство победы – но перед завтраком вбежал возбужденный старшина и с криком: "Где хлеб?!" – схватил кусок: медчасть мне хлеб дала, но оперчасть списки просмотрела и спохватилась – "не ту линию" вел я на следствии, чтоб белый хлеб получать.

Зато в Лефортово давали две простыни, а в Магадане – одну, в других тюрьмах – ни одной. Лишь в конце 1972 года МВД провело важные реформы: разрешили не стричь наголо следственных, отпускать волосы за три месяца до конца срока, водить в баню стали не раз в десять дней, а раз в неделю, и в тюрьмах выдавать простыни. Главное же, чем Лефортово выгодно отличалось от других тюрем, – это библиотекой, составленной из конфискованных книг. "Правду", правда, давали одну на десять камер: КГБ экономил 20 копеек в день.

Я уже имел право на свидание с женой, но Степанов отвечал, что "этот вопрос" должен я решать с тем "органом", который меня вызвал. На восьмой день я увидел представителей этого "органа" – следователей Тулиева и Александровского. Тулиев, человек еще молодой и чем-то напомнивший мне Киринкина, был командирован из Калининской области, московских следователей не хватало. Допрос мне показался бессмысленным: не жаловался ли Якир на материальное положение и чисто ли у него в квартире? Следователю пришлось протокол переписывать, так как я не подписал, что у Якира в квартире было грязно, не хотел участвовать в поливании грязью друг друга или хотя бы квартиры друг друга. На вопрос, как я могу охарактеризовать Якира, мне-де "как писателю" и карты в руки, я ответил, что я не писатель, а студент-недоучка. После допроса я дал заявление, что до тех пор, пока не получу свидания с женой, показаний давать не буду. Тулиев сказал, что все будет по закону, но никто меня больше не вызывал и свидания не давали, так что я через три недели подал жалобу Генеральному прокурору СССР. "Закон вы знаете, – сказал Степанов, – и закон этот никто не отменил, но в данном конкретном случае

применение его практически нецелосообразно".

Меня перевели в камеру, где сидели двое: высокий тостопузый белобрысый рабочий лет пятидесяти, Мосякин, и пониже, черный, вихлявый студент, Царенков.

Мосякин работал на заводе "Кристалл", началось дело с задержания перед вылетом в Израиль некоего Глода, у которого "славные органы" то ли во рту, то ли в заду или еще в столь же подходящем месте нашли бриллианты. Техника дела была проста: гранильщик приносил на завод крошечный бриллиант – и затем сдавал его как якобы ограненный алмаз, и так постепенно у него в руках оставался алмаз все большего и большего размера, пока он не гранил его уже для себя. Увеличиваясь в цене, он переходил от перекупщика к перекупщику, пока не оседал в заднем проходе Глода. Посажен был весь цех, включая парторга, потом я встретил на пересылке юношу, получившего 10 лет и иск в 2 000 рублей – так оценили алмазы по государственной цене, сам он выручил едва ли одну десятую. Мосякин, как новичок, надеялся на условный срок, писал прошения, что он рабочий с большим стажем, – думаю, лет двенадцать ему дали.

Царенков сидел за золото. Он занимался безобидным делом, по почте обменивая с англичанками советские пластинки на английские и американские попсы, которые продавал раз в тридцать дороже; жадность, однако, погубила его: он начал скупать золото у побывавших заграницей спортсменов – и попался. Сначала следствие вел МУР, и он со страхом вспоминал Бутырскую тюрьму и блатных. У одного его подельника при обыске нашли "антисоветскую литературу", и делом занялся КГБ. По золоту все "раскололись", но о книгах подельник показывал, что "нашел на улице". Царенков обо всем "антисоветском" говорил полушепотом и с ужасом в глазах, я даже сказал ему: "Чего ты боишься? Я за книги получил три года, а ты за золото восемь!"

Между Мосякиным и Царенковым существовал некоторый антагонизм: Царенков, закончив заочно Институт иностранных языков, давал понять, что необразованный рабочий ему не ровня, на что Мосякин раздраженно отвечал: "Ты жизни не знаешь! Чему в твоих институтах научишься – только книжки читать!" Одной ногой, как человек без образования, я был с рабочим Мосякиным, другой, как писатель, – с интеллигентом Царенковым, также я взывал к их "передовой идеологии": "Один коммунист, другой комсомолец, разве это вас не сближает?". Впрочем, жили мы дружно и иногда поднимали такой шум и смех, что надзиратели стучали в дверь. От сокамерников я узнал о Кузнецове, сыне военного прокурора, он возглавлял группу десятиклассников, задумавших похитить Косыгина и обменять на нескольких политзаключенных, в том числе и на меня. Они убили школьного военрука, майора, чтоб завладеть его пистолетом,

но на похоронах один мальчик не выдержал – выдал себя и других.

Через сорок дней после первого вызова меня с пощелкиваньем пальцев провели по коридорам тюрьмы, через железную дверь, в правое крыло следственного отдела, и следователь, назвавшийся Анатолием Александровичем Истоминым, приготовился задавать вопросы. Я сказал, что ни на какие вопросы отвечать не буду, пока мне не дадут свидания с женой.

– А дадут вам свидание, так будете давать серьезные показания или по-прежнему пустые?

– Посмотрим, – ответил я точно тем тоном, как отвечали мне.

Тут вошли Геннадий Васильевич Кислых – он возглавлял бригаду следователей по делу Якира, и подполковник Поваренков, фамилия каждого отвечала его виду: у Истомина вид был вялый и томный, у Кислых – язвенника с повышенной кислотностью, у жирненького Поваренкова – поваренка при генеральской кухне.

– Вот, Амальрик, ты тут все жалобы пишешь, – начал он снисходительно.

– Мы ведь, кажется, в одной школе не учились и в одном лагере не сидели, чтоб друг другу "ты" говорить, – сказал я, по-лагерному это называлось "оттянуть".

Поваренков как-то вмиг переменился и, наподобие Чичикова, с улыбкой подскочил ко мне, протягивая бумажку: "Ваша жалоба удовлетворена, вот разрешение начальника 10-го отдела КГБ генерала такого-то" – на бумажке, действительно, было написано, что свидание разрешено и стояла подпись.

– Это вы – генерал? – спросил я сурово, хотя видел, что передо мной подполковник.

– Нет, нет, я подполковник Поваренков, временно исполняю обязанности начальника тюрьмы.

– Ну, теперь можно перейти к вашим показаниям, – сказал Кислых.

– Нет, я ведь прошу свидания, а не постановления о свидании.

– Но туфли же от жены мы вам передали! – вскричал Поваренков.

Домашние туфли от Гюзель мне передали, но я хотел видеть ее самое. Я понимал, что решение начальника 10-го отдела никто, конечно, не отменит, но "в данном конкретном случае применение его может оказаться практически нецелесообразным", во всяком случае сначала посмотрят, что за показания я дам. После десятиминутных пререканий Истомин начал зачитывать и записывать в протокол вопросы, на которые я отвечать отказывался. Я пояснил, что отказываюсь от показаний, поскольку мне, по словам Степанова, свидание не дают "в интересах следствия", используя это как метод давления.

Кислых приказал отвести меня в камеру, но не прошло и часа,

как меня ввели в тот же кабинет: майор Кислых слева от двери, прокурор Илюхин у окна, и за столиком справа – солидный мужчина в свитере и с бородой, я принял его сначала за прокурора, удивился только, что прокурор в свитере. Он, однако, едва меня ввели, встал и поклонился, насколько позволял его толстый живот – ясно было, что никакой прокурор зэку кланяться не булет, в лучшем случае кивнет, и, вглядевшись, я увидел, что это – Якир.

Кислых объявил очную ставку. Я сказал, что в очной ставке участвовать не буду, пока не получу свидания с женой.

– Вы не забывайте, где находитесь, – примерно так сказал следователь.

– Жаль, прошли те времена, когда к вам применили бы другие методы, – примерно так сказал прокурор.

– А вы что думаете по этому поводу? – спросил Кислых Якира, вполне на себе тридцать лет назад эти методы испытавшего.

– Андрей знает законы, – немного помявшись, ответил Якир, – если он просит свидания с женой, значит имеет на это право. – И, повернувшись ко мне, добавил. – Пойми меня, мне угрожают смертной казнью!

– Никто вам смертной казнью не угрожает! – с насмешкой сказал Кислых и начал зачитывать вопросы. Якир, тоном не столь императивным, как в предыдущих показаниях, подтвердил, что я дал ему рукопись "СССР до 1984?" и организовал его интервью по телевидению, правда, он не сказал, что подписал написанное мной письмо не читая, но что оно отвечало его "тогдашним убеждениям" и потому он подписал его – это и Кислых, и Илюхина заметно разозлило. Говоря об интервью, Якир сказал, что мы были у корреспондента ЭйБиСи.

– Может быть, СиБиЭс? – прервал следователь.

– Наводящий вопрос! – заметил я.

– Весь вы в этом, Андрей Алексеевич! – вскричали в один голос Кислых и Илюхин.

Это, впрочем, было единственное мое замечание. На каждый вопрос, подтверждаю я или нет показания Якира, я однообразно повторял, что отвечать отказываюсь. Во время этих, как рефрен, повторяющихся вопросов и ответов, Илюхин говорил по телефону, и из его разговоров я понял, что только что снова арестован Красин.

– У Якира статья до семи лет, он держится скромно, а у вас до трех, вот вы нагло себя и ведете, – подытожил Илюхин результаты "очной ставки" и, как прокурор по надзору за КГБ, добавил. – Если у вас будут какие-то жалобы или претензии, сразу же обращайтесь ко мне.

Я ответил, что как прокурор он потерял всякое мое доверие, не разрешив законное свидание с женой, да еще угрожая "прежними методами". Тут же меня вывели, а Якира оставили – сделать внушение.

Хотя я держался, по словам прокурора, "нагло", меня на протяжении всей этой сцены не покидало чувство ужаса. Илюхин, от которого я запомнил только потертый черный костюм и тонкие подошвы черных туфель, произвел на меня самое омерзительное впечатление изо всех до и после виденных мной сотрудников наших разнообразных "органов" – не могу объяснить даже почему, какое-то инстинктивное чувство. Подавленность, которую я испытал, объяснялась, думаю, не только подобострастием Якира перед следователями, но и неосознанным тогда ясно предчувствием – что и мне готовится тяжелый удар.

– Свидание вам дадут в четверг, на полчаса, – сообщил через два дня Степанов. – И это нарушением закона не будет, поскольку в законе сказано: **до** двух часов.

– Вот и прекрасно, – сказал я, – не дай Бог, дали бы **более** двух – и без того достаточно нарушений закона.

– Поздравляем, своего добился, увидишь жену, – зашептали Мосякин и Царенков, едва Степанов вышел, громко выражать свои симпатии они боялись.

– Подождите, увижу жену, тогда и скажу, что своего добился, – ответил я и вечером следующего дня услышал: "с вещами!"

Воронок, Краснопресненская пересылка, знакомая дыра в заборе у Казанского вокзала, оцепленный зарешеченный вагон на заснеженных путях, собаки, деревянные лица конвоиров, "шаг влево, шаг вправо..." – и впереди опять Колыма, которую видно из Лефортово. Третий раз предстоит мне в тюремном вагоне перескать всю Россию! Гюзель рассказывала потом, как она надела на свидание лучшее платье, чтоб услышать в окошечко равнодушный голос: "Ваш муж убыл!"

При регулярных шмонах в тюрьме я еще иногда развлекался: делал вид, что нервничаю, и надзиратель в ожидании добычи шарил все более возбужденно. Но на этапах не до шуток: под крики: "Скорей! Скорей!" – кое-как запихиваете вы в рюкзак выброшенные и перерытые конвоем вещи только для того, чтобы принявший вас конвой снова начал вас трясти и выворачивать.

Перед этапом из Свердловска дежурный офицер хотел забрать у меня английский консервный нож как "режущий предмет" – ясно было, что он ему самому понравился. Я кричал, что консервные ножи разрешены, а хочет конфисковать, пусть составляет протокол. Наконец, он в сердцах кинул мне нож со словами: "Революционер хуев! Все ездишь – только народ волнуешь!" Когда неделю назад мне Мстислав Ростропович сказал в Бостоне: "Что ж ты все ездишь – то Вашингтон, то Бостон, то Сан-Франциско..." -- я ответил: "Надо же волновать народ!" Этот эпизод и навел меня на мысль назвать мою книгу "Записки революционера", хотя я понимал, что наши остряки тут же переименуют ее в "Записки хуева революционера".

Едва мы устроились в Новосибирске на полу, как из дыры

вылезла громадная крыса в сопровождении маленьких крысят, а с тыла атаковали клопы.

– Клопы не наши, вы их с собой привезли, – сказал корпусной.

– А крысы? Мы их тоже с собой привезли?

– Нет, крысы наши, – отвечал старшина с гордостью за крыс, действительно, крысу с клопом не сравнишь.

Моя несчастная память, я ничего не могу забыть, передо мной вереница людей, виденных на этапах, словно я сам только что с этапа. Вот соседка Надя, заглянув в глазок, кричит: "Вова, нештяк!" – каково же возмущение карманника Вовы, когда оказывается, что она приняла меня за него. "Надя! Ты меня обижаешь! Проститутка!" – кричит он, приложив кружку к стене, и слышит: "Пошел ты на хуй! Я теперь Андрюшу люблю!" Солидный вор рассказывает, как "культурно отдохнул" в "Метрополе", в зале с фонтаном, этот фонтан в ресторанном зале волнует многих блатарей как символ невообразимой роскоши. Малолетка объясняет другому, что если убивают кого-нибудь, пусть не вмешивается – а вдруг убивают за дело. Печальный насильник слышал обо мне, знает даже, сколько мне заплатили за книги – "семь миллионов". Низкорослый зэк, по виду работяга, говорит, что будь у него в двадцать лет "такое понимание, как сейчас," то в тридцать он был бы профессором.

А вот действительно молодой профессор – крепыш с рыжей бородкой, в очках, в вязаной лыжной шапочке, доктор Машков из Ленинграда – сел он за убийство начальника лаборатории; вместе с другом, тоже ученым, они расчленили труп на куски, но потом скрывать передумали, получил он "вышку", замененную пятнадцатью годами. Сидя за выщербленным столом, он объясняет мне свои антидарвинистские теории: в долгосрочной перспективе не тот выживает, кто наиболее приспособлен к окружающей среде, а тот, кто приспособлен наименее: перлый гибнет с изменением среды, второй плохо, но приспосабливается к новой. С этой точки зрения, у нас с ним были шансы выжить, мы вели этот разговор за столом, только что дохлебав баланду, а в переполненной камере за столом, "в президиуме", едят далеко не все.

Закрывая разбитое окно иркутской камеры, свисал черный матрас с вылезающей черной от грязи ватой, как черный пиратский флаг, а под ним уже пиратничали малолетки. Один из них поделился со мной своей мечтой: когда выйдет на волю, ограбить киоск с мороженым, он уже такой присмотрел в своем городе – хорошо все-таки, когда у человека есть цель в жизни. Режиссер Циммерман из Ленинграда, высокий и грустный, читает написанный им в лагере рассказ: любовница молодого зэка, думая, что он страдает без женщин, просит свою подругу, лагерного врача, отдаться ему; с его согласия, она привязывает его к столу, и вот, когда он уже чувствует приближение

оргазма, она слезает и говорит: "Следующий сеанс через неделю". Сам Циммерман получил двенадцать лет за участие в групповом изнасиловании.

Молодой бакинец с красивым и интеллигентным лицом сразу же занял главенствующее место в блатной компании, едва у нас появился; мне он сказал: "Я блатной мир ненавижу, но хочешь, чтоб с тобой считались, приходится быть, как они". Послушав наш разговор о политике, один блатарь заметил: "Не завидую вам. Чем меньше знаешь – тем легче жить". Молодой хулиган, которому еще в Свердловске я подарил старый свитер, приносил мне от кормушки миску, то есть, по-лагерному, "шестерил" немного; чтобы показать ему, что мы равны, я тоже время от времени приносил ему миску – на что он сам и другие зэки смотрели как на нарушение лагерной этики. Но вообще я "заблатовал" немного, блатной грузин, с которым я познакомился в дороге, спал на двух матрасах и оставил их мне – так что я спал на трех.

На этапах мучит голод, и я – с учетом уроков "мисочного бунта" договорился с несколькими малолетками не брать в обед кашу, требуя, чтоб давали гуще. "Не возьмем! Жри сам! Голодуем!" – загалдели малолетки, сбившись у кормушки. Видя, что нас целая группа, остальные тоже побоялись взять. Дежурный, не обращая внимания на орущих малолеток, выхватил меня из задних рядов и повел к заместителю начальника тюрьмы. Я объяснил, что каша сварена не по норме, и предложил ему вместе с сидевшей у него молодой женщиной, помощником прокурора по делам несовершеннолетних, пойти и попробовать самим. Пошли мы втроем, но не прямо, а кружным путем – и по дороге он указывал на баландеров, сующих в кормушки миски: "Видите, как все берут охотно!"

– Так пусть гражданин прокурор попробует, – предложил я.

– Ложки нет, – сказал сокрушенно начальник.

– Ложка есть, – и я вытащил из кармана украденную мной ложку. В Иркутске ложек не хватало: кто первым не успел схватить, ждал другого или хлебал без ложки; я однажды ее не стал сдавать и сунул за висящие на стене "Правила внутреннего распорядка" – в таком священном месте искать не стали.

– Какой вы нехороший товарищ! – вскричал в сердцах начальник, но прокурор моей ложкой есть не стала. Возле нашей камеры стоял большой котел – но что это была за каша, она, можно сказать, лоснилась от жира, и шел от нее волнующий запах шкварок. Нашлась тут же ложка, и прокурор сказала: "Прекрасная каша". И правда, вся камера отдала ей должное, чтобы на следующий день получить опять водянистую кашицу. Я немного утешился, попросив прокурора заглянуть к нам и увидев растерянность на ее лице: никакой рафаэлевой кисти не хватит описать нашу камеру!

В этапном боксе грузин с сухим лицом, желая помочиться, открыл парашу – и тут же с брезгливым выражением захлопнул крышку: кто-то уже успел сделать туда по-большому.

– Что, плохо пахнет русское говно? – спросил я. Малолетки одобрительно захохотали, не подвело, мол, наше русское говно – шибануло в нос "зверям". Грузин этапировали на Дальний Восток за растраты, всех с большими сроками, самого толстого из них с еще более толстым "сидором" я успел возненавидеть, он немилосердно храпел, а в набитом купе занимал место за троих, так что я уминал ногами его раздутый живот.

Обобщая впечатления от встреченных мной грузин, армян, ингушей, казахов, узбеков, литовцев и других нерусских, должен сказать, что в целом они спокойнее, увереннее, доброжелательнее и вежливее русских, а стукачей среди них меньше. Играет, я думаю, роль, что каждый из них себя чувствует как бы представителем своего народа и не хочет уронить его честь, русские же чувствуют себя народом общесоветским, им терять нечего. Если сравнить, как характер народа проявляется в революциях – сравнить не с английской революцией, не с французской, а с китайской, уж китайцев-то мы считаем народом жестоким, то и это сравнение окажется не в нашу пользу. Русские расстреляли не только своего императора, но и всю его семью – китайский император, который был вдобавок японским коллаборантом, просидев несколько лет в тюрьме у коммунистов, был выпущен, работал в ботаническом саду и даже был избран во Всекитайское собрание народных представителей – можно ли представить Николая II в Верховном совете? Дэнь Сяо-пин, "правый коммунист", дважды смещенный во время чисток "культурной революции" как "враг народа", через несколько лет вернулся к руководству страны – можно ли представить возвращение в сороковые годыБухарина, который не реабилитирован до сих пор?

Четверо суток до Хабаровска везли меня с туберкулезниками – я ел и пил с ними из общей кружки, утешая себя, что это последний перегон и мое последнее путешествие в столыпине. Зато в самолете стюардесса, стюард, молодые конвоиры и я проговорили как в компании друзей.

– Чего вы хотите? – спрашивал начальник конвоя. – Без властей не обойдешься.

– Так пусть будет сменяемость, – сказал я, вспомнив Убожко. – Надо ограничить срок пребывания у власти.

– Ограничь им срок, так они опыта не наберутся.

– Сбрить эту пиратскую бороду! – скомандовал подполковник Подольский, увидев, как меня вводят в приемник Магаданской тюрьмы с отросшей за время путешествия бородкой. Молодой контролер с холодными липкими руками обшарил меня всего, заглянул в

зад, перебрал каждый листок каждой книжки и сказал с ненавистью: "Ты английские книжки читаешь, а я вот шмоном занимаюсь!" И поделом тебе, подумал я. Несмотря на этот прием, я был рад Магадану чуть ли не как дому родному, двухмесячная дорога измотала меня.

Все зэки ждали в декабре амнистии к пятидесятилетию образования СССР, уж до трех-то лет должны амнистировать, думал я, или хотя бы сократить срока, еще в Лефортове мне контролер обиженно сказал: "Не одних же уголовников мы амнистируем!" Начинало мне уже казаться, что не выдрежу я оставшегося срока без амнистии, и амнистия была провозглашена: не только все политические статьи исключались, но даже у мелких воришек были невелики шансы. На Талой из семисот человек по амнистии "вчистую" ушло двое и "на химию " двадцать, причем "амнистирование" заняло пять месяцев.

Лагерное начальство встретило меня с ликованием: мне предстояло досиживать трое суток в ШИЗО. В тюрьме я поругался под Новый год с пьяными надзирателями, которые двух молоденьких солдат — только что с воли — уложили без матрасов на цементном полу, матрасов я для них добился, а для себя — карцера. Офицеры МВД держались со мной осторожней, чем с уголовниками, но тут и КГБ хотел на мне зло сорвать. Стояли пятидесятиградусные морозы, в бетонной одиночке с разбитым окном даже ночью я не мог надолго прилечь, делал зарядку, чтоб как-то согреться, или сидел, подняв топчан и прижавшись к проходящей в двух вершках над полом трубе отопления. Суп давали через день, а ежедневно — кусок хлеба с солью и кружку кипятка. Чтоб занять себя как-то, я сочинял стихи.

Наконец, день освобождения, и морозным январским утром, еще до подъема, я выхожу в зону, освещенную прожекторами, сворачиваю за угол школы и вижу: на металлической арке деревянный щит с надписью "Спортгородок", чуть пониже плакат "В труде и спорте за рекорды спорьте!", а за ним — виселица! Как оказалось, спортгородок был воздвигнут по замыслу замполита Овечкина для молодежи, чтобы она, вместо того, чтобы "шпилить беса" и "тюльку гнать", проводила досуг, раскачиваясь на качелях, — тюлькогоны, однако, раскачивались так лихо, ударяя ногами в стены школы, что качели приказано было срезать: осталась только гигантская перекладина со свисающими обрезками веревок.

Глава 19.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ 261/3: ТРУДЫ И ДНИ

Скоро и мне представилась возможность поспорить за рекорды в труде. Как инвалида гуманная Царько предложила направить меня в малярку: там красили мебель раствором на ацетоне маляры, обтянутые серым подобием кожи, с нездоровым блеском в глазах, так же выглядели и те, кто работал на прессе. Им, правда, выдавали в месяц два килограмма сухого молока, иногда подгнившего и тут же обмениваемого на чай. Идти в малярку я отказался и был назначен уборщиком в мебельный цех. *"Если в Сибири я чистил вонючий навоз, а сейчас – пахнущие лесом стружки,* – писал я Гюзель, – *то можно сказать, что эти годы не прошли для меня зря и что новое назначение – шаг вверх".*

В шесть был подъем – гремел и грохотал гимн в уши, а с восьми начинался развод на работу, в морозной мгле мы строились по пятеркам у ворот в промзону, ДПНК отсчитывал: первая, вторая... – и знакомая картина открывалась нам: разбросанные доски, железки, кирпич, бетонные блоки, лужи мазута. 1-й отряд работал в авторемонтных мастерских и на дизельной электростанции, 2-й – в мебельном цехе, 3-й – в деревообделочном цехе, 4-й – на лагерных стройках, 5-й – в хозобслуге и обувной мастерской. Мебельное производство было основным: я проследил процесс от сушки древесины до сборки, если такая мебель продержится год, то слава Богу, впоследствии купленный нами с Гюзель стол развалился меньше чем за год. Дерево везли за 100 км из колонии-поселения Буенда и за 1000 км с Амура, привозная древесина была дешевле.

Лагерь – ячейка социалистического общества – обеспечивает все социально-экономические права, которыми так гордятся советские власти и к которым стремятся социалисты: право на оплачиваемый труд, пищу, одежду, жилье и бесплатное медицинское обслуживание. Не думаю, что причина лагерной системы – экономические нужды, "хозяйственные обоснования" – это скорее рационализация бессознательных импульсов, вроде как камбоджийские социалисты нашли "рациональное объяснение" бессмысленному и страшному изгнанию всех горожан в деревни – невозможно-де было бы прокормить города.

Трудно судить, насколько лагеря рентабельны, я слышал о прибыльных, наш был на дотации. Начальство стремилось обеспечить "выход на работу", но вышедшему часто делать было нечего, в деревообделочном цехе, например, заработок брутто в месяц у многих

был 2-3 рубля. Износ оборудования был раза в два выше, чем на воле, потому что зэки станки не жалели, зато полностью изношенное оборудование не заменялось, и производственный травматизм был высок. Экономия, как вообще в нашей стране, достигалась за счет инфраструктуры — если к баракам и выгребным ямам применим столь научный термин — и заработной платы. Формально был восьмичасовой рабочий день и те же расценки, что и на воле, но без надбавок, фактически же работали больше, но платили меньше. Зарплата распределялась так: 50% — на содержание лагеря, 50% — на еду, одежду, койку в бараке, отопление, освещение, воду, на продукты в ларьке (6 руб. в месяц, а при выполнении нормы еще 4), на газеты, журналы и книги, а также на сбережения. "Лишить ларька" — любимое выражение офицеров — мало заработать деньги, нужно не иметь нарушений. Мой месячный заработок брутто был 96 рублей, за три месяца я чистыми деньгами получил 9 рублей. На более квалифицированной работе можно было откладывать по 20-30 рублей ежемесячно. Отношение к работе было двусмысленным: ее ненавидели, считая за благо "попасть в больничку", а с другой стороны рвались на работу — она позволяла быстрее провести время и выйти на волю с деньгами. Кто на воле привык работать добросовестно, тот даже в лагере старался, кто на воле работал спустя рукава, тем более не видел смысла "вкалывать" здесь. Кроме того, производство было так организовано, что результат и хорошей, и плохой работы был примерно один и тот же.

Потаскав ящик с опилками две недели, я сказал начальнику цеха Попову, зэку, занимающему взвешенное положение между заключенными и начальством, что я ящик больше волочить не буду, у меня больное сердце. Через день я был назначен убирать Конструкторско-техническое бюро (КТБ), производственный отдел, кабинет начальника цеха и лестницу, в КТБ я мыл пол, остальные комнаты подметал — занимало это два часа в день, а остальное время я сидел в КТБ, читая "Введение в психоанализ". Когда я как-то в одиночестве протирал столы, заглянул председатель Совета коллектива колонии. "Чего ты стараешься? — сказал мне активист №1. — Взгляни на меня: пока я на виду , я суечусь для них, а дойдет до дела — зачем надрываться!" Его совету я неукоснительно следовал, когда же мне указывали, что плохо вымыт пол, я ссылался на слова Маркса, что труд раба непроизводителен, и на этой марксисткой точке зрения продержался до конца. Офицеры искали случая придраться ко мне, и начальник надзорроты, самодеятельный художник с замашками хулигана, отобрал у меня шерстяную шапочку, которой я согревал голову после менингита. Он поручил столярам делать рамки для его картин, и я разорался на весь цех, что из-за этого не выполняется "социалистический план" и мой долг "сигнализировать". Начальник

КТБ, его приятель, намекнул, что донос – не совсем хорошее дело, на что я ответил:"Нас учили на примере Павлика Морозова, который на отца донес, уж на офицера-то МВД сам Бог велел донести!" Шапочку мне удалось возвратить.

КГБ занималось выпуском "спецификаций" на мебель и обувь: все, однако, было давным-давно спроектировано – если и вносились какие-то изменения в проекты с целью их ухудшения, то КГБ готовил "спецификации" задним числом, для отчета. Работало там четыре зэка: директор школы Брыгин, изнасиловавший свою ученицу; патологоанатом Ломов, за взятку то ли изнасилованную признавший невинной, то ли невинную изнасилованной; шахтер Лепешкин, убивший жену за то, что он ей слово скажет, а она ему десять, он до сих пор гордился ее густыми волосами, а еще более тем, что "закончил двухлетнюю школу машинистов на базе техникума"; четвертым был Иванченко, все же не удержавшийся на посту культорга.

Ломов был знаменит тем, что у него в Билибино украли морг вместе с трупом. Завербовавшийся шахтер с Украины разговорился с бичами в аэропорту, "С жильем туго, – говорит бич, – но я вижу, ты мужик неплохой, а у меня только что брат умер, мне дом не нужен – мне лишь бы поддать с утра". Осмотрели дом: дом хороший, мебель успел бич пропить, а на голом столе, правда, лежит труп брата. "Давай три сотни задатку, подцепляй дом и вези куда хочешь!" – говорит бич. И вот Ломов видит из окна кабинета, как его морг, который на полозьях стоял возле больницы, подцепили трактором и волокут куда-то. Шум, крик – пока разобрались и нашли бича, вся его компания и на ногах не держится!

Числились в КТБ, хотя бывали не часто, двое вольных – технолог и конструктор, и почти постоянно торчал начальник – инженер-лейтенант Гайворонский, бесцветный и безвольный, но после накачки сверху взвинчивающийся. Директор предприятия старший лейтенант Корпушевич, массивный и уверенный в себе, меня никогда не задевал. Главный инженер Рагозин, с нежным румянцем на щеках, чувствовал себя, напротив, не в своей тарелке, аттестован он был недавно, и прямо засиял, когда царедворец "бандюхайло" назвал его не лейтенант, а старший лейтенант. Подстрекаемый Борковым, Рагозин как-то попробовал указывать мне "по-офицерски", что я лестницу не мою, и я накричал на него, упомянул даже его "розовые щечки", и Борков молча стоял рядом: он-то как раз Рагозина за его интеллигентный вид и "розовые щечки" не любил. Инженер Рогов – молодой человек с уже порядочным брюшком приносил мне иногда шоколад, как я скоро понял, по указанию КГБ, чтоб втереться в доверие, так что шоколад оказался "клоком шерсти с паршивой овцы". Перешедшие недавно в систему МВД инженеры и врачи в отношениях с заключенными часто сбиваются на стиль своих новых коллег, но по

отношению к офицерам не могут поставить себя достаточно независимо.

Я был поселен сначала в "комнату придурков" в школьном бараке, куда одно время собрали лагерных психов, потом зэков, боявшихся чьей-либо мести, а также "лагерную аристократию" – двух нарядчиков и дневального штаба. Я расположился неплохо, "оттянул" уже одного нарядчика, но меня быстро перевели в барак 2-го отряда, "к чукчам", как говорили зэки, потому что там было много чукчей, якутов, эвенков, коряков и эскимосов, на воле занимавшихся охотой и оленеводством. В них было что-то детское, включая детскую обидчивость, отношение русских к ним было скорее насмешливо и враждебно: "Сидит весь в соплях, как чукча". Чукчи буквально погибают от алкоголизма и пьянеют от двух-трех рюмок. "Один рюмка пьем – хоросо! – говорит чукча. – Второй рюмка пьем – совсем хоросо! Третий рюмка пьем – траться ната! Цетвертый рюмка пьем – епаться ната!" Вспоминаю еще анекдот, как советские народы заспорили, кто был Ленин. Русские говорят – русские, чуваши – чуваш (отец чуваш), калмыки – калмык (бабка калмычка), немцы – немец, евреи – еврей (мать из семьи Бланк), а чукча слушал-слушал и говорит: "Нет, Ленин-таки цукца был!" "Как! Почему?!" "А оцень умный!" В цехе я работал сначала в паре с чукчей по имени Етон, неграмотным, но склонным хитрить немножко, как-то я увидел его с раскрытой книгой в руках и прочитал на обложке – "Справочник партийного работника".

В отряде в основном были долгосрочники. Папиашвили, грузинский еврей с апоплектическим затылком, черными усами и вытаращенными глазами, отличался редкой глупостью и настойчивостью, посещая несколько лет подряд один и тот же четвертый класс; за золото у него был срок 12 лет и иск 150 000 рублей – самый большой в зоне, вычитали у него ежемесячно из зарплаты по 3-5 рублей, и чтоб расплатиться, ему нужно было еще несколько тысяч лет. Полянников, сидевший за убийство жены, имел, напротив, кипящий ум и затевал дискуссии, что СССР будет существовать вечно, я осторожно намекал, что даже солнечная система не вечна.

Меня предупреждали, чтоб я был осторожнее: сразу же после моего этапирования многих в зоне обо мне допрашивали. Еще весной Иванченко странно себя повел, стал прятать глаза, попросил не заниматься в читальном зале, и я прекратил общение с ним. Теперь же он искал случая заговорить и рассказал, что Золотарев предложил ему сообщать о разговорах со мной и меня на разговоры провоцировать – отказаться он боялся, сказать мне тоже. Как только меня увезли, его сразу же допросил следователь КГБ, и теперь ходят слухи, что готовят новое дело, Золотарев сказал, что "с Амальриком вопрос еще не решен". Я надеялся, что меня просто хотят шантажировать для

получения показаний по делу Якира и Красина, я наивно думал, что властям в разгар разрядки не нужен лишний политический процесс, и энергично вычеркивал дни в календаре: их оставалось все меньше и меньше, но особенно медленно время тянется в начале и в конце срока.

15 февраля в двери появилось унылое лицо штабного дневального, уставив взгляд на меня, он сказал: "Зовут, приехал один..." "Один" оказался следователем КГБ капитаном Соловьевым, вальяжным, усатым, медлительным господином, слишком большим тугодумом, чтоб быть хорошим следователем. После того, как мы достаточно, по его мнению, помусолили вопрос о погоде, о моем здоровье и о том, должен ли он сообщить мне, по какому делу мнея допрашивает, выяснилось, что я вызван свидетелем по делу Юрия Шихановича, с которым я знаком не был, но о котором слышал, что он одаренный математик, – к этому мои показания и свелись. Через месяц я был допрошен им же по делу Красина и Белогородской – ничего об их "антисоветской деятельности" мне не было известно. На вопрос, о чем мы разговаривали с Белогородской, когда она пришла к нам, я ответил, что на ней было красивое платье с ромашками и мы разговаривали об этом платье. Я подумал, что когда она в тюрьме будет знакомиться с делом, ей приятно будет узнать, что ее платье произвело незабываемое впечатление. С требованием свидетеля записывать показания собственноручно Соловьев столкнулся впервые, сошлись на том, что он будет писать вопрос, а я ответ, Бедный Соловьев получил выговор из Москвы, оказывается, весь протокол должен быть написан одной рукой, либо следователя, либо свидетеля.

В последний день марта меня снова повезли в Магадан: с конвойными в воронке ехал капитан Шевченко, и глядя на его портфель, я был уверен, что он везет в Магадан мое "дело": Неужели новый срок?! Оказалось, он предпочел трястись весь день вместе с зэками и выслушивать их насмешки, чем заплатить рубль за автобус. Но в тюрьме новый удар: сажают меня не с осужденными, а с подследственными. У начальника райотдела ДОСААФ, севшего за взятки, постоянная тема: какие у райкомовцев привелегии, даже мандарины едят, а начальству поменьше – ничего, в то же время негодует на работягу, сказавшего, что в Америке, собирая пустые бутылки, прожил бы лучше, чем в СССР с утра до ночи вкалывая. У севшего за драку шофера рассказы попроще: выпивает он в парке и видит, как бич на бабу лезет, и только залез – как у него шапка свалилась, слез, поднял шапку, надел, забрался на бабу – опять та же история, тут шофер не выдержал и говорит: "Слушай, друг, ты или бабу раком поставь, или шапку подвяжи!" Под эти идиотские разговоры я ходил из угла в угол: неужели новый срок?!

Через полмесяца я был отведен к моему старому знакомому

прокурору Воронцову: сердце мое тяжело колотилось, пока он, сохраняя сухое выражение лица, перебирал какие-то бумажки на столе.

– Вы подавали заявление о встрече с сотрудником КГБ? Объявляю вам, что вы этапированы в сдественный изолятор в связи с этим заявлением.

В январе, сидя здесь в карцере и думая, чем бы досадить за это, я перед отправкой на Талую написал, что хочу встретиться с сотрудником КГБ, я рассчитывал, что пока заявление до КГБ дойдет, меня уже отправят, и КГБ сделает тюремной администрации выговор, если же меня потом спросят, я отвечу, что раньше надо было спрашивать. Так я и ответил на следующий день капитану Соловьеву. В состоянии эйфории, охватившей меня, я не подумал, зачем меня надо было вообще возить в Магадан и вызывать к прокурору, когда Соловьев сам ездил в лагерь. Он держался еще более добродушно, спросил, сколько мне осталось до полета в Москву – чуть больше месяца – и пожелал, как говорят на Севере, "счастливой посадки". Через месяц я вспомнил его слова.

В результате "челночной дипломатии" КГБ я снова очутился в лагере – но только для того, чтобы не принять участия в "ленинском воскреснике", одном из изобретений брежневского режима: раз в год, в день рождения Ленина, вся страна якобы добровольно работает бесплатно, как завещал великий вождь. Матеря по дороге "лысого", зэки, как и вольные, дружно шли на воскресник – в нашем отряде из 150 человек отказались трое: первый, хулиган, послал воскресник "на хуй", второй, убийца, объяснил, что он очень уважает Владимира Ильича Ленина и Леонида Ильича Брежнева и с большой радостью пошел бы на воскресник, если бы именно в этот день не почувствовал себя плохо, причем он не исключает, что на следующий год в этот же день его недуг снова даст знать о себе, я просто сказал, что поскольку день не рабочий, я работать не обязан. Гораздо больше, чем день рождения Ленина, меня волновала поломавшаяся оправа очков, бывший студент школы машинистов Лепешкин довольно профессионально починил ее – и тут же меня "дернули" на этап.

– Извини, не успел тебе дать даже пачки чая, – сказал я.

– Ты меня просто обижаешь, я ж не за чай это сделал, а по дружбе, – эти слова я тоже скоро вспомнил.

И вот я все в той же магаданской камере, на этот раз вместе с амнистированными "химиками", и совершенно не могу сообразить, кто же я теперь – свидетель, подследственный? Я не исключал, что меня, несмотря на пустые показания, могут все-таки повезти на суд над Якиром, хотя зачем мной портить так хорошо организованный процесс?

Допрошен я был по делу Красина начальником следственного отдела Магаданского УКГБ подполковником Леонидом Ильичом

Тарасовым, очень маленького роста, с быстрой следовательской хватой; увидев его, я сразу вспомнил гебиста, описанного мне Иванченко.

Красин показывал, что я бывал у него на "средах", он давал мне книжки, в том числе "Технологию власти Авторханова", мы ходили вместе на демонстрацию на Пушкинскую площадь, и он по дороге позвонил какому-то инстранному корреспонденту. Я отвечал, что бывал у него редко и не помню, по каким дням, разговоры о "средах" и собраниях – детская попытка придать себе значимость, ни он мне, ни я ему ничего не давали, о "Технологии власти" – я говорил о ней в лагере, и Тарасов знал это – известно мне не от Красина, а из передач Голоса Америки, и я совершенно не помню, ходили ли мы и когда на Пушкинскую площадь, и уж тем более, звонил ли он кому-нибудь по дороге. Видно было, что Красин занял ту же позицию, что и Якир, я ждал его показаний, что я делал вместе с Литвиновым "Процесс четырех" – но об этом его не спрашивали, зато он показал, что через Гюзель он получил из-за границы магнитофон.

"Покаяния" Якира и Красина были страшным ударом для Движения, особенно тяжело переживали их близкие, у дочери Якира, на которую он тоже давал показания и которая обожала отца, даже началась экзема, но и люди им не близкие рассказывали мне потом, что в течение полугода они просто не могли ничего делать. Оба не только "покаялись", но рассказали о связанных с ними людях, предлагали другим "каяться". Красину устраивали встречи в тюрьме – и Иру Белогородскую он уговорил давать показания, просил КГБ и со мной устроить встречу. Несомненно, что их "покаяние" поощрило власти требовать того же от других.

И в своих показаниях, и в письмах, и на суде, и в сделанных после суда заявлениях оба держались по-разному: Якир рубил с плеча, как бы сознавая, что терять ему уже нечего, Красин – с оговорками и реверансами – подводил подо все определенную философию. Философию эту он изложил в письме, отправленном из тюрьмы участникам Демократического движения, оно дошло не по тайным каналам, не проглоченное его женой на свидании, а было доставлено офицером КГБ: Красин писал, что Движение потерпело крах (читай: арестованы Красин и Якир), и единственное, что можно сделать, это изложить его историю для будущего, роль историка благородно взял на себя КГБ, все всё должны честно рассказать КГБ, и поскольку все добровольно разоружатся, то КГБ никого не накажет.

Вызванный ими разброд продолжался около полутора лет – до начала 1974 года, вдобавок началось "выталкивание" диссидентов за границу, и некоторым участникам Движения, не говоря уже о чинах КГБ, казалось, что с Движением покончено. Ликование же тех, кто называл Движение "мышиной возней", "делал свое дело" и терпеливо ждал милостей, было безгранично. Начиная от пьяного работяги,

который считал, что это он должен бояться власти, а не она его, и кончая трезвым академиком, который боялся и власти, и пьяного работяги, – общество ожидало казней и пыток; властям надо было сажать одних, чтобы успокоить других – не стыдитесь быть трусами, мы наказываем храбрецов!

Как-то получчалось, что с Якира, пьяницы и весельчака, спросу меньше, чем с более хитрого и с большими претензиями Красина. Якир по выходе из тюрьмы сказал: "Я сука!" – хотя в то же время наивно не понимал, почему его сторонятся. Красин пытался искать лазейки – только за границей он опубликовал письмо с самоосуждением, рассказал, что КГБ дал ему деньги на дорогу – по его словам, он их вернул. С другой стороны, Красин был взят, когда линия Якира уже определилась, и он следовал его примеру – не знаю, последовал ли бы он его примеру, если бы Якир занял твердую линию. Падение одного ускоряло и оправдывало в собственных глазах падение другого – взаимно, причем ни тот, ни другой не сопротивлялись, не торговались и никого не щадили. Просидев свыше года, получили он они на суде по три года каждый, замененные на кратковременную ссылку – под Москвой.

Говорили, что Якиру в камере дают водку, или какие-то наркотики обоим, или пытают их – думаю, что ничего им не давали и никак не пытали. Физические пытки – как правило, а не как исключение – применяются тогда, когда в короткий срок необходимо "провернуть " массу дел, получив настоящие или фиктивные признания: пытки применялись нацистами в Германии или во время "великого террора" в СССР, когда через следовательскую мясорубку пропускались миллионы. Но там, где над делом двух человек может работать бригада из двадцати следователей, когда следствие можно вести не неделю, не месяц, а год и больше, да и никаких "секретов" раскрывать не надо – зачем тогда прищемлять яйца, как делали в том же Лефортово в 1938 году? Сознание пятнадцатилетнего или даже семилетнего срока впереди, разлуки, быть может, навсегда со всем, что вам дорого, особенно для человека не молодого – это само по себе пытка, и пытка эта продолжается день за днем, и месяц за месяцем, следователи постепенно ищут ваши слабые места, они не минеры – и могут ошибаться много раз, психологическая обработка проста, но эффективна: я рассказал уже, как меня возили из лагеря в тюрьму и обратно, бросая от отчаяния к надежде и так расшатывая волю.

В поведении Якира и Красина, я думаю, решающую роль сыграли большие сроки в сталинских лагерях, оба попали туда молодыми в то время, когда никаких надежд не было, и лагерь сформировал в них бессознательный императив: выжить любой ценой, умри ты сегодня, а я завтра. Лагерь же загнал к ним в кости чувство страха,

сознание, что человеческая жизнь не стоит ничего, что в любой момент их могут уничтожить, оба они уверяли, что им грозили смертной казнью – хитрили или правда верили в это? "Лагерный комплекс" сработал в них, как только оба оказались в Лефортово – то, что мне, малообстрелянному новичку, казалось источником их силы, было причиной их слабости. Меня более удивляет теперь, что до ареста они нашли мужество бороться с бесчеловечной системой, не многие бывшие зэки протестовали после поворота властей к ресталинизации. Но все ли они, окажись на месте Якира и Красина, повели бы себя так же?

– Видите, как Якир и Красин показывают, они о себе думают, – сказал мне Тарасов, – а вы боитесь слово сказать.

– Я думаю о будущем, – сказал я, не зная еще, что Красин призывал ради будущего писать доносы в КГБ, – я думаю о том, что в будущем все эти протоколы будут читать и судить о нас.

– Но кто будет! Кто будет! – заволновался Тарасов, он всем своим видом хотел показать, что читать-то будут такие же "проверенные товарищи", как он сам. Верят, черт бы их побрал, в свое будущее.

После третьего допроса мы с Леонидом Ильичем распростились – увы, не навсегда, и я начал выяснять, кто и как выдаст мне деньги на дорогу. Оказалось, пока оформят документы, несколько дней, а то и недель надо ждать в гостинице для освобожденных, то есть просто в бараке, только не за колючей проволокой, я обещал, что ни секунды ни в каком бараке больше не проведу, а с МВД в крайнем случае взыщу деньги через суд. Чтоб мне одному не подстроили провокации, я попросил Гюзель прилететь. Передавая Подольскому телеграмму для нее, я сказал, что осталась неделя, надо думать, нового дела не заведут.

Я расспрашивал у моего сокамерника, механика, какую мне на воле купить машину – но купил я ее только пять лет спустя в американском городе Кембридже. Она большая, как наш рояль, и когда мне нужно ехать по загроможденным кембриджским улицам, все внутренности мои сжимаются от невозможности избавиться от нее, негде припарковаться. Этого я не знал в Магаданской тюрьме, но большую машину купил именно потому, что еще там задумал путешествие по Америке.*

17 мая, за четыре дня до конца срока, когда мы прогуливались в бетонном дворике, беседуя о машинах, меня неожиданно усадили в воронок. Предупредить, что ли, хотят напоследок, думал я, глядя на казенного вида здание прокуратуры, но едва меня ввели в кабинет и я увидел за столом человека в прокурорской форме – я без слов все понял.

---

* Мы с Гюзель проехали от восточного побережья США до западного в августе 1978 года, как только я закончил эту рукопись. В штате Индиана мы столкнулись со встречным грузовиком – но Божьим соизволением остались живы, пришлось только в тот же день купить новую машину.

Часть III

ВОЗВРАТ, 1973-1976

Глава 20.

УСТУПИТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Прокурор следственного отдела Магаданской облпрокуратуры Олег Сергеевич Ботвиник, пожилой, небольшого роста, похожий скорей на судейского чиновника времен реформ Александра II, чем на советского прокурора, задав мне несколько формальных вопросов, сообщил, что против меня возбуждено уголовное дело по обвинению в "распространении порочащих советский строй сведений в местах лишения свободы", то есть снова по ст. 190^1 УК СССР. Сквозь окно его кабинета на первом этаже я мог видеть магаданскую улицу, залитую весенним солнцем, за собой слышал сопение двух милиционеров – они сидели на случай, если я брошусь на Ботвиника.

Моя первая мысль была: Гюзель, ее ожидание, ее уходящая молодость, ее надежда, что через четыре дня мы будем вместе, а затем в секунду прошедшие годы – тюрьмы, лагеря, шмоны, этапы, зэки, афицеры, миски с кашей, ящики с опилками, вагонки, нары, бетонные стены, тусклые лампочки – развернулись удручающей вереницей, все это предстояло мне пройти: снова! В бессильной ярости я сказал Ботвинику, что обвинения фальшивы и что меня продолжают преследовать за мою книгу, поэтому я никаких показаний давать не буду.

– Ну и зря, вас обвиняют, вам лучше защищаться. Я говорил все громче и раздраженней, Ботвиник все тише и спокойней – и сказал, что через два-три часа меня доставят сюда снова, он рассчитывал, что я немного успокоюсь. *"Постановление вынесено на основании клеветнических показаний нескольких заключенных, и им за клевету на меня было обещано условно-досрочное освобождение...* – сразу же начал я в камере заявление Ботвинику. – *Мои убеждения не являются антисоветскими... все граждане имеют право на... высказывание своих взглядов... Поскольку вопрос о моей судьбе заранее решен, я в знак протеста против инсценированного обвинения отказываюсь от какого-либо участия в следствии и с сегодняшнего дня отказываюсь от приема пищи."* Я написал также заявление с отказом от гражданства, но подумал, что такой крайний шаг преждевременен.

Самое страшное, я не был готов к новому аресту – в 1970 году я знал, на что иду, почему же теперь не подготовился заранее, имея к тому же достаточно предупреждений? Видимо, слишком непереносима была мысль о продлении срока, мозг цеплялся за оптимистические знаки, которых тоже было немало. Большую часть дня я лежал, уткнувшись лицом в стену, в состоянии прострации и бессилия. Только что я получил письмо от Гюзель, она писала, что все подготовила к моему приезду, но старые бабушкины часы не завела – это была моя

обязанность, заводить часы, и вот почему-то эти незаведенные часы мне вспоминались особенно отчетливо. Если мне потом попадалось письмо, я сразу же запихивал его в другие бумаги – так мучительно было напоминание о несостоявшейся поездке домой. Я мог видеть, как сильный удар разрушает человека, как мои мысли сосредотачиваются на одном: как выйти? как выйти?! – и не исключаю, что явись сейчас в камеру Владимир Федорович Коломийченко, который скоро появится на этих печальных страницах, и скажи: подпишите отказ от всех ваших сочинений – и вы свободны, так ради того, чтобы дышать не воздухом тюрьмы, но воздухом сопок и моря и видеть не бича-сокамерника, но свою жену, я подписал бы. Но нет, не подписал бы!

Лежа на койке, я начал обдумывать план защиты. Правилен ли отказ от дачи показаний, когда обвинение построено на лжесвидетельствах? Непримиримая позиция, занятая мной – хотя и самая достойная, – не окажется ли смертельной, выживу ли я еще, после менингоэнцефалита, три года в тюрьме и лагере? И почему три? Если так просто продлить срок, то могут продлить и на третий раз – хоть бы я вообще выдавал себя за немого. У нас в лагере был немой, у которого в приговоре было сказано "оскорбительно скрежетал зубами", и меня бы обвинили, что я скрежетал на власть зубами. Три года, которые я день за днем вычеркивал в календаре, это фикция, и у меня может быть нечто вроде пожизненного срока, пока от меня не получат то, что хотят! Но и мысль об "отречении", "покаянии", "признании вины" была непереносима, да и во что я превратился бы после полной капитуляции!

В лагере я прочел "Ветка сакуры" В. Овчинникова, корреспондента "Правды" в Японии,* и вспомнил теперь рассказ об изобретателе дзю-до: увидев, как ветвь сосны все более сгибается под снегом, пока снег не соскальзывает – и ветвь распрямляется, он сформулировал принцип борьбы так: уступить, чтобы победить. Этим принципом я и решил руководствоваться: сделать вид, что я почти "каюсь", а дальше, может быть, "покаюсь" полностью. Было два предела, до которых я не мог доходить, но которые и были нужны власти: признание вины и письмо в газету с отречением от книг. Мне предстояло иметь дело не с простаками, которым можно все обещать и ничего не сделать, но с изощренными полицейскими умами, уже то, как меня "готовили" ко второму делу, это показывало. Ясно было, что они захотят получить не обещания, а документы. Но те, кто верит только в дурное в человеке – а это установка КГБ, – в известной степени так же наивны, как и те, кто верит только в доброе, на этом я и надеялся сыграть.

Не хочу создать впечатление, что я все точно рассчитал в первые

---

* Впоследствии я был описан им в статье "Как фабрикуют сенсации", "Правда", 23.4.1977.

дни первой голодовки, было скорее инстинктивное стремление что-то сделать, не ждать пассивно – и я написал Брежневу, что "в основе начатого против меня дела лежит тягостное недоразумение; я был бы готов отвечать за распространение своих взглядов, но не чужих и чуждых мне измышлений". Никакой практической роли письмо не сыграло, если не считать, что для КГБ оно послужило сигналом, что я начал "подтаивать". В разбитом состоянии духа и с несобранной волей, я не понимал, что выбранная мной тактика и характер моих партнеров не допускают заскакивания вперед: я должен был выжидать, что они мне предложат. Была в этом письме и наивная русская вера, что "наверху" отнесутся ко мне с меньшей жестокостью, чем "сотрудники на местах" – казалось бы, знал я уже систему, а хватался за соломинку!

Я сказал Подольскому при обходе тюрьмы, что хочу встретиться с Ботвиником, но продолжал голодать до вызова к нему 22 мая, накануне в бане я потерял сознание и боялся, что не выдержу допросов. Следователю я дал заявление, что, "не имея своей оценки дела, в целях установления истины готов давать показания" и потому отказываюсь от голодовки. Объявление голодовки сразу, от отчаяния, психологически не готовым к ней – было моей первой ошибкой, ее снятие через пять дней – второй.

С 22 мая по 4 июня у меня было четыре допроса и четыре очных ставки. Обвинение было построено только на показаниях заключенных – добровольных и подневольных осведомителей, большинство показаний кончались августом 1972 года, когда подполковник КГБ Тарасов приезжал в лагерь, никаких моих писем, статей, заявлений у следствия не было. Я опасался писать в лагере – но что и как я говорил? Конечно, трудно полтора года ни с кем не разговаривать – однако тех, с кем я был откровенен, среди свидетелей не было, за единственным исключением Иванченко, но и с ним я говорил обычно шутя. Первым "источником" показаний была запись моего интервью СиБиЭс, приложенная к делу и очень понравившаяся при чтении, следователь по ней инструктировал свидетелей, считая, видимо, что раз я то-то и то-то говорил корреспонденту СиБиЭс, так мог повторить и в лагере. Вторым "источником" было собственное воображение зэков, подогреваемое желанием угодить начальству. Показывая, что я постоянно выключал радио – что правда, добавляли, что я называл передачи "коммунистической блевотиной" – чего я не делал. Часто приписывали мне распространенные в лагере взгляды, там все время бранят режим, кому ж это и делать, как не "антисоветчику". Я де был недоволен тем, что СССР помогает развивающимся странам: общенародное мнение – потому сами плохо живем, что "черножопым помогаем"; я-де сказал: "Хрущев ездил за границу – и Брежнев доездится!": тоже общенародное мнение – нужно дома сидеть. Некоторые придумывали что-то от себя, а некоторые показывали просто, что разговоров не помнят, но

сложилось общее впечатление, что я клевещу на власть.

Следовательские интерпретации были не менее бесцеремонны. Образцов якобы слышал от меня, что "многие евреи хотят уехать из СССР, чтобы заниматься коммерческой деятельностью" – следователь переделал это в утверждение, что "СССР – духовная тюрьма для евреев". Если уж пользоваться этими словами, то СССР духовная тюрьма для всех населяющих его народов, но евреи – это какая-то форма помешательства власти, а также единственные, с кем власти вынуждены считаться. Даже Гюзель сказала мне на свидании: "Жалко, что ты не еврей, будь ты при всем, что ты написал и сделал, евреем – тебя б сейчас на руках носили!" Я называл молодых блатарей "армией головорезов, дай им в руки оружие – они любого убьют" – следователем это было изображено, как "клевета на советскую молодежь", блатари-то ведь все наши, советские. Одни показывали, что я писал им обжалования на приговоры – значит, не верил в справедливость приговоров; другие – что я им писать обжалования отказался, значит, не верил, что можно добиться правосудия. Эти тезис и антитезис были так синтезированы в приговоре: *"Амальрик... заведомо ложно утверждал об отсутствии в нашей стране социалистической законности..."*

В общих чертах обвинение сводилось к следующему: я утверждал, что в СССР существует диктатура, госкапитализм, нет демократических свобод, народ находится в бедственном материальном положении, молодежь не способна на подвиги, строй существует только за счет природных богатств и долго не выдержит, социалистические страны – "советские колонии", союзные республики – неравноправны, выражал презрение к героям войны и жалел, что СССР не потерпел поражение, одобрял территориальные претензии Китая, осмеивал советскую печать и радио, утверждал, что компартия не пользуется поддержкой народа, оскорблял ее руководителей и лично Леонида Ильича Брежнева – это был венец обвинения.

Образцов показал, что когда он вешал "с любовью" плакат с портретами членов политбюро, я сказал, что "им всем давно в крематорий пора", а по словам Иванченко, я, глядя на фотографию Брежнева и Никсона в "Правде", заметил: "Какая неприятная личность!" Меня перед судом Подольский хотел утешить немного, что вот недавно за убийство четырех человек и то не максимальный срок дали, я ответил: "Сравнили – убил четырех человек или назвал Брежнева неприятной личностью, там одного убьют, так другой родится, все в дело годится, а тут Леонид Ильич – он у нас единственный и неповторимый". На суде адвокат с прокурором заспорили, кого я имел в виду, Брежнева или Никсона – суд согласился с прокурором, да, впрочем, тогда и за Никсона могли дать срок, как за "творца разрядки". Когда меня теперь спрашивают, кого же я имел в виду, я отвечаю: обоих.

Я отрицал все приписываемые мне высказывания. На очной

ставке с Образцовым, уже свободным, я сказал, что он был осведомителем, вдобавок лично заинтересован в том, чтоб я не вышел на волю, так как мошенническим путем присвоил куртку и боится, что я через суд потребую за нее деньги. Образцов с достоинством ответил, что "Амальрик – человек с бедной душой и слабым интеллектом, утверждал, что в СССР нет свободы слова, а я написал письмо в газету, что в магазине "Нептун" подливают воду в сахарный песок, и теперь песок продают сухой!" Моисеенсков, дребезжа, как телега, врал безбожно о моей любви к Германии и Китаю, Федосеев склеивал какие-то обрывки подслушанных им разговоров, добавив, что я не доверял ему и с ним не разговаривал. Я сказал, что оба осведомители, крали у меня, так что обоих я назвал "крысятниками", а Федосееву говорил, что он потому порезал свою любовницу, что был импотентом, "а нож всегда стоит" – Ботвиник помялся, но все это в протокол записал. Грязнев, верзила со змеиной головкой, сидевший за грабеж, показал, что я называл радиопередачи "блевотина" или "блеф" – следователь предпочел "блевотину", Грязнев все время повторял: "Будь мужчиной, чего ж ты отказываешься от своих слов?!" – и обещал меня прирезать.

Младший советник юстиции Ботвиник вел допросы спокойно, держался вежливо, но порученное дело делал. Он все время хотел создать у меня впечатление, что в лагере я сидеть не буду, и даже поощрил написать заявление об освобождении из-под стражи до суда, тут же сам его отклонил, но сказал, что это не значит, что будет отклонено следующее – оно было отклонено тоже. Несколько раз он предлагал мне признать хотя бы часть обвинений – например, что в СССР нет свободы слова. Фраза "клаветнически утверждал, что в СССР нет свободы слова" – нечто вроде древнегреческого софизма, которые так любил подполковник Степанов: если утверждение "свободы слова нет" – клевета, то за эти слова надо посадить в тюрьму, но если за слова сажать в тюрьму, значит свободы слова нет и это утверждение не клевета. Я ответил, что ничего не призна́ю – есть свобода слова, и все тут! По поводу приписываемых мне слов "СССР – жандарм Европы" я сказал, что это, видимо, переделка фразы из школьного учебника "царская Россия – жандарм Европы". Ботвиник возразил, что это Александр I – "жандарм Европы", я заспорил, что корпус жандармов с полицейскими функциями появился только после его смерти, и на следующий день Ботвиник принес учебник своей дочери-восьмиклассницы и с торжеством показал фразу "Александр I – жандарм Европы": со времени моих школьных лет тяжелую обязанность жандарма с плеч всей матушки России переложили на одного Александра I. Прокурор даже на суде упомянул: вот, мол, наш следователь – посрамил "лжеисторика".

– Говоря о том, что содержащиеся в протоколе измышления не отвечают вашим взглядам, какие взгляды вы имели в виду? – спросил

Ботвиник на последнем допросе, давая понять, что многое для меня будет зависеть от ответа.

– Я имел в виду, что Октябрьская революция была закономерна для русской истории и советский строй не просуществовал бы 55 лет, не пользуясь поддержкой значительной части народа, – так был вписан в протокол мой ответ. Ботвиник сказал, что он не давит на меня, ограничиваясь этим, я ответил, что иногда давление может дать обратный результат. На вопрос о моем отношении к Израилю, я, как дипломат, ответил, что разделяю резолюцию Совета безопасности ООН № 242. Все же опасаясь, как бы из отказа от приписываемых мне "измышлений" не вытянули больше, я подал 14 июня заявление, что *"отвечают ли они смыслу ст. 190[1] УК РСФСР, я судить не могу, так как сам я подобных измышлений никогда не распространял, а давать им юридическую оценку со стороны не вправе".* Последним следственным деянием было изъятие фотографии Гюзель: на заднем плане был виден портрет Мао Цзе-дуна как свидетельство моих намерений отдать Китаю половину Сибири, через год фотографию мне вернули.

В том же кабинете, где я впервые увидел Ботвиника, я познакомился с "делом", все в одном томе. Дело было начато якобы по заявлению, записанному 20 марта Золотаревым "со слов" починившего мне очки Лепешкина, в день приезда на Талую капитана КГБ Соловьева. 21 апреля начальник лагеря майор Бутенко сопроводил заявление прокурору области Винокурову, и 23 апреля начальник следственного отдела прокуратуры Гуряев возбудил уголовное дело. Допрошено было 29 свидетелей, 18 из них – все заключенные – показали, что слышали от меня "антисовесткие высказывания". Можно было проследить, как давили на них: на первом допросе Ломов, понимая, что что-то дурное сказать надо, показал, что я ел очень неаккуратно, рассыпал крошки, этого показалсь мало, и через две недели из него выжали, что, по моим словам, "Израиль ведет справедливую войну"; Иванченко допрашивался трижды, начал он с того, что я отзывался о Брежневе, как о "способном руководителе", тут же был сделан перерыв – а затем дело пошло в нужном духе.

Медведеподобный прокурор области Винокуров, когда-то освободивший Гюзель из рук Царько, спросил, как генерал моего отца, о моих желаниях. Увы, я понимал, что не во власти прокурора освободить меня, и потому попросил всего лишь "диэту": "диэтпитание" в тюрьме – как антитеза диэте на воле – это более калорийная пища, с маслом и мясом, мечта голодных. Формально она в ведении врача, но не ему тягаться с прокурором – и врач только через месяц сумел ее у меня отобрать. Как добавочное утешение, прокурор сказал, что я человек еще молодой, а три года – не большой срок. Но вы отрываете эти три года не только у меня, но и у моей жены, подумал я, вы разрушаете лучшие годы ее жизни.

"Дорогая деточка, никуда не выезжай, жди моего письма, надейся на лучшее, крепко целую. Твой Андрей", – такую телеграмму я послал Гюзель 25 мая, первую весть после нового ареста – ей надо было перенести и этот удар. 6 июня через следователя я послал телеграмму с просьбой срочно искать адвоката, 28 июня мне передали обвинительное заключение – и тут же вслед за ним письмо, но нет, не от Гюзель, а от неизвестного мне Либермана, с лагерным индексом как в служебной переписке и обратным адресом до востребования. Письмо о моей жене было ударом ниже пояса, после которого я несколько дней даже прокурорскую диэту есть не мог. Подследственным писем не передают – я понимал, что КГБ хочет поссорить меня с Гюзель, чтобы лишить не только адвоката, но и вообще связи с миром, еврейскую же фамилию выбрали, думая, что еврею я больше поверю, или чтобы меня против вереев настроить. Я сказал Подольскому, что от местного адвоката категорически отказываюсь, и дал ему – а он с интересом ждал моей реакции – телеграмму для Гюзель: *"Дорогая деточка, вчера мне вручено обвинительное заключение, срочно нужен адвокат. Немедленно по получении этой телеграммы телеграфируй мне. Целую тебя. Твой Андрей."*

Как оказалось потом, Гюзель послала в июне несколько телеграмм – ни одну из них мне не передали, она получила для меня приглашение из Гарвардского университета и надеялась, что меня вместо лагеря отпустят в США, но в ОВИРе* ей сказали: "Что ж, в Америке нет что ли своих профессоров, что приглашают читать лекции недоучек?!" Гюзель не догадалась ответить, что наш советский недоучка ученей любого американского профессора. Швейский соглашался быть моим защитником, но не получал допуска, председатель Московской коллегии адвокатов Апраксин, от которого формально зависело разрешение, сказал Гюзель: "Если вам удастся добиться Швейского, я вас поздравлю. Но боюсь, что ваши усилия бу́дут напрасны". Между тем облсуд требовал от Гюзель срочно нанять адвоката, или же он будет назначен судом, а меня известили, что слушание состоится 10 июля на Талой и предложили магаданского адвоката. Получив из Министерства юстиции РСФСР отказ, Гюзель за шесть дней до суда обратилась в Международную коллегию юристов с просьбой содействовать назначению Швейского, передала копию письма иностранным корреспондентам, и на следующий день его транслировал Голос Амирики.

Я сидел в этот день в карцере "за неудовлетворительное состояние камеры". Называя меня "старослужащим", Подольский требовал порядка, каждый раз я обещал "учесть замечания", ссылаясь на слова Ленина "социализм – это учет", и в конце концов эта ленинская фраза – при полном социалистическом беспорядке – ему надоела.

---

* Отдел виз и регистрации иностранцев МВД ССР.

В субботу утром Подольский вошел в карцер, куда писем и телеграмм передавать не положено, с улыбкой сказал: "Поздравляю", – и протянул мне телеграмму: *"Дорогой мой мальчик, не волнуйся, поручение принял Швейский. Жди адвоката, надейся на лучшее. Нежно целую. Твоя Гюзель."*

– Давайте назад, телеграмма вам будет официально вручена в понедельник, – сказал Подольский и объявил амнистию: я смог возвратиться в свою камеру, где сокамерники уже доедали мой диэтический суп.

Швейский только вздыхал сокрушенно, читая дело: картина была совсем иная, чем три года назад. Несколько раз он спросил, может быть тот или иной показывают верно, я отвечал, что все ложь. Наш разговор, более предназначенный для микрофона в стене, тоже носил фальшивый характер: он говорил о мудрости политики разрядки, и я соглашался с ним. Я и у себя в камере произносил "идеологичкски выдержанные речи" – конечно, КГБ не верит, что под угрозой кто-то действительно меняет убеждения, но думает, что из-за срока от любых убеждений можно отказаться. Ниоткуда власть не выглядит так устойчиво, как из тюремной камеры, единственным источником информации были "Известия" – и известия были печальные: "покаяния" Якира и Красина, лишение гражданства Чалидзе и Медведева, единственной хорошей новостью – узнал я об этом не из газеты – было создание в США комитета писателей и издателей в мою защиту.

С судом торопились и окончательно назначили на 13 июля – дурной знак. На Талой, к моему удивлению, поместили меня в пустой двухкомнатной квартире: я расположился в спальне на мягкой кровати, в соседней комнате дежурил офицер, в кухне – автоматчик, а другой – под окном. Поведением на суде, однако, я таких роскошных апартаментов не заслужил, и на последний день был переведен в бетонную камеру ШИЗО, где уже сидел дважды. Со словами: "Молодец, держись!" – и с кружкой чая, для которой не пожалел своей заварки, появился старший сержант Кочнев – стычкой с ним началась два года назад моя жизнь в лагере, и он же навсегда оставил у меня чувство благодарности за этот чай.

По дороге в поселковый клуб на суд я первый и последний раз прошел по Талой, стояла жара, пыльные улицы без деревьев и унылые бараки напомнили мне десятки таких же поселков в России, я всегда думал: как люди могут жить здесь годами. У клуба, пятясь передо мной задом, суетился гебист с кинокамерой, так что я снова чувствовал себя кинозвездой.

Зал был переполнен, преобладали толстые офицерские жены, солидные люди в штатском держались особняком. У председательствующего Рыбачука вид был приказной крысы, один заседатель был круглолицый мужчина, шофер водовоза, про другого не могу даже

вспомнить, мужчина это был или женщина (сверился с приговором – женщина). Заплаканную Гюзель ко мне не подпустили и тут же удалили из зала под предлогом, что она должна свидетельствовать, посылала ли куртку Образцову. Я попросил вызвать свидетелем Золотарева, лишив его удовольствия послушать процесс. Замполит Овечкин, допрошенный на предварительном следствии, в суд вызван не был, и Швейский сказал, что "просят" не его вызове не настивать, Овечкин по поручению КГБ предлагал мне год назад отречение от книг, боялись теперь, что при допросе он запутается. Присутствовавшего при этом разговоре прокурора, Шолохова, допрошенного Ботвиником по моему настоянию, – в суд тоже не вызывали. Позднее, при обходе тюрьмы, он увидел у меня "Анти-Дюринга" Энгельса и по склонности к светским разговорам спросил мое мнение. В книге много цитат из немецкого социалиста Дюринга – кажется, глупее не скажешь, затем следует возражение немецкого социалиста Энгельса – нет, пожалуй, еще глупее.

Я начал свои показания с того, что обвинение основано на недоразумении и следствие упорно хочет выдать меня не за того, кто я есть на самом деле, навязывая мне то, что я не говорил, особенно я возмущен тем, что мне приписывают сожаление, что СССР выиграл войну с Германией; далее я павторил свои доводы на предварительном следствии о мотивах свидетелей.

Первыми свидетелями вызвали двух начальников отрядов, капитанов Богачева и Кожевникова, оба они ничего не слышали, хотя и считают, что я "поведением своим исправления не доказал". Следующий, санитар Рытов, мялся, потел, но показывал, что я называл движение феминисток "серьезным", говорил, что в США негры могут поступать в полицию, что евреи превратили Палестину в "цветущий сад", что у нас растет детская преступность, что школа не должна зависеть от государства.

– Кто может подтвердить это? – спросил Швейский.

– Никто, разговоры велись наедине.

– Почему же вас вообще допросили, как узнали о наших разговорах? – спросил я. Рытов промолчал. Обещали ли ему "химию" за это? Он ответил, что дает показания не за "химию", а из любви к истине: на "химию" он все же был отправлен, как получили те или иные льготы все свидетели.

Судья чем дальше – тем становился грубее. Грязнев показал, что я выключил речь Брежнева и он якобы пригрозил дать мне "по шее", я ответил, что этого не помню.

– Зря не дал по шее, тогда бы вы это запомнили!" – сказал судья, Швейский даже руками взмахнул, а судья обратился с поощряющей улыбкой к Грязневу:

– Значит, вы включили радио и прослушали речь товарища Брежнева?

– Зачем она мне нужна! – ответил тот под смешки в зале. – Я думал, песни будут, а услышал речугу, так ушел из барака.

На следующий день Моисеенков и Образцов тараторили без запинки – Моисеенкову никто вопросов не задал, показания его носили слишком фантастический характер, чтобы мне и Швейскому их опровергать, а судье и прокурору уточнять. Образцова же я прижал к стене, заставив признаться, что он лжет суду – суд отнесся к этому спокойно. С другими пошло тяжелей, одно дело давать показания с глазу на глаз следователю, другое – повторить все это на людях, и главное перед тем, кого вы вашими показаниями отправляете в тюрьму.

– Что можете показать? – спрашивает судья такого свидетеля.

– Ничего.

– Вы показания, данные на следствии, подтверждаете?

– Подтверждаю, – и снова молчит. Четырем пришлось зачитывать их показания, Швейский, заметно повеселевший, и особенно я каждого, можно сказать, потрошили – в перерыве Швейский сказал, что "просят" на свидетелей не давить, но я уже был разозлен и не остановился.

Вылезали наружу все натяжки: Полянников показал, что я говрил о бесхозяйственности в мебельном цехе, а не о том, что "социализму присуща бесхозяйственность"; Осипов, вместо того, чтобы подтвердить, что я Сибирь хотел отдать Китаю, сказал, что я ругал власти за слабый отпор китайцам; Юнченков пояснил, что я не утверждал, что в СССР существует госкапитализм, говорил только, что есть такая теория; Тиллаев на попрос, почему он молчит, ответил: "А меня на этот раз не подготовили"; Веселов сказал, что ему сначала в КГБ объяснили, как нужно отвечать; Ломов сначала поклонился судье и прокурору, а затем сказал: "Здравствуй, Андрей!" – и пожал мне руку.

– Что вы делаете! – заорал судья.

Ломов показал, что ничего "антисоветского" не слышал, а когда меня спросил кто-то про Израиль, я ответил, что эта страна существовала еще несколько тысяч лет назад.

– Он что же, за историка себя выдавал или за писателя?

– Ни за кого не выдавал, очень скромный парень.

– Я считал Амальрика английским шпионом, потому что он говорил, что умер его покровитель, английский посол, – пояснил Лепешкин. Когда в газетах появилось соболезнование в связи со смертью бывшего американского посла Томпсона, я, вспомнив Ратновского, сказал, что знал посла, но из лагеря соболезнования не выразишь – в нетвердой голове Лепешкина все немного сместилось.

– Вы жаловались, что вас заставляют писать рапорта на других заключенных, на меня написать вас тоже кто-нибудь заставил? – спросил я.

Судья снял вопрос, снимал он и другие мои вопросы, а если медлил, из зала кричали: "Вопрос наводящий!" – и он тут же обрывал меня.

Иванченко говорил мне весной, что если дойдет до суда, то он от своих показаний откажется. Теперь же на вопрос, слышал ли он от меня какие-то антисоветские высказывания, твердо ответил: слышал.

– Какие же? – спросил прокурор.

– Амальрик говорил, что у него при шмоне нашли фотографию генерала, так надзиратели сначала чуть честь не отдали, а потом все же отобрали. Я спрашиваю: что ж это за генерал, неужели антисоветчик? Он отвечает: да вроде того. А что ж он сделал? Да вот, говорит Амальрик, когда все Хрущева хвалили, он ругал, а когда все стали ругать, он начал хвалить. (В зале смех).

Худо-бедно, но что-то вытянули из Иванченко. Когда между адвокатом и прокурором зашел спор, кого я имел в виду под "неприятной личностью", прокурор спросил: "Скажите, Иванченко, а других высказываний Амальрика о Леониде Ильиче Брежневе вы не слыхали?"

– Слыхал, – ответил Иванченко, вспомнив нашу работу над лозунгами. – Он говорил, чтобы в трудную минуту я всегда обращался к трудам Леонида Ильича.

– Так это он в насмешку говорил! – подскочил прокурор. Я потом заметил, что же это – государственный обвинитель сомневается в силе идей Леонида Ильича Брежнева, не верит, что к ним можно отнестись серьезно?

– Какие отношения у вас были с Амальриком? Хорошие, – скороговоркой спрашивал судья каждого, и все, как один, даже те, кому я тут же плевал в лицо, отвечали, что хорошие, они дают показания не из личной вражды.

– Почему хорошие? – удивился Золотарев, с допроса которого начался третий день. – Отношения как между заместителем начальника по оперативно-режимной работе и заключенным.

– Значит, хорошие, – подытожил судья и предложил мне задавать вопросы: Золотерев был единственный свидетель, вызванный защитой.

– Не помните ли вы, свидетель, как я просил вызывать меня для проверки, если поступят сведения о якобы антисоветских разговорах? – спросил я, я ссылался, что будь такие разговоры, я получал бы в течение срока предупреждения от администрации.

– Не помню, – сказал Золотарев, хотя такой разговор был с ним.

– А как по-вашему, пользовался я таким влиянием в лагере, чтобы по моему приказу могли убить человека?

С удивлением на меня посмотрев и долго подумав, Золоторев ответил: "Нет, не пользовались, конечно, не пользовались". Ему со всех сторон зашептали, что надо было ответить, что могли убить – часть свидетелей на вопрос Швейского, почему же они, как честные советские люди, сразу не давали отпора моим враждебным высказываниям, отвечала: "А потому, что в лагере можно заснуть и не проснуться, Амальрик был со всей шпаной в друзьях, по его слову могли

легко зарезать". Впрочем, Федосеев и Моисеенков, несмотря на страх смерти, ходили в оперчасть – не в медчасть – просить, чтоб меня лишили белого хлеба.

В протокол суда и в приговор внесли показания свидетелей не на суде, а на предварительном следствии, записывали даже обратное тому, что они говорили: Брыгин сказал, что "не слышал антисоветских высказываний" – в протокол занесли "слышал"; Иванченко сказал, что слова "духовная тюрьма для евреев" слышал не от меня – записали, что от меня. По бесцеремонности, суд в Магадане не шел в сравнение со свердловским, разные ли дела причиной, разные судьи, разные ли области, или за три года общая ситуация изменилась к худшему. Речь прокурора Гуряева была очень груба, даже с блатными словечками вроде "прогнил", мои показания он назвал "словесной эквилибристикой" и потребовал трех лет строгого режима. Швейский, как и на первом суде, начал с полного согласия с прокурором, на этот раз в оценке высокого морально-политического уровня советских заключенных, которые дружно стали на защиту советского строя. Тем не менее показания их противоречивы, подтверждения не находят, зачастую вызваны личной враждой, я приписываемые мне утверждения категорически отрицаю, и потому он просит оправдать меня.

В последнем слове я сказал, что испытываю чувство безнадежности, тем, что я говорю, просто пренебрегают – если меня осуждают за слова, то должны принимать мои слова всерьез. Но вопрос предрешен, свидетели подготовлены – сюда для их обработки приезжал подполковник КГБ Тарасов, суд – пустая формальность. Мне упорно доказывают, что у меня антисоветские убеждения и я должен сидеть за них; если эта точка зрения возобладает, это будет значить, что мне нет места в советском обществе. Я невиновен. Выводы, которые я смогу сделать для себя из этого суда, будут зависеть от справедливости приговора. Прошу меня оправдать.

Первый день публика была враждебна, но постепенно настроение менялось, речь прокурора выслушали без одобрения; многие с симпатией подходили потом к Гюзель. Не найдя туалета в клубе, она на второй день постучалась в ближайший дом, и вдруг к ее удивлению и ужасу ей открывает – Раиса Царько. Сама Царько, однако, была необычайно обрадована, упросила Гюзель войти, предлагала ей отдохнуть, пообедать, помыть ноги и сказала: "Ваш муж держится замечательно, за словом в карман не лезет!" Любой здравомыслящий человек мог видеть, как разваливается система обвинения, впоследствии один офицер сказал мне, что суд этот буквально перевернул его отношение к режиму и прежним верующим "советским человеком" он себя уже не чувствует. Это хорошо понимают власти, даже подготовленные политические процессы избегая устраивать открытыми. "Советский человек" обладает чуть ли не врожденным чувством тела в

политическом пространстве; как инстинкт удерживает от края пропасти, так инстинкт – а вовсе не разум – удерживает "советского человека" от политически окрашенных речей и поступков, и потому, что это дело инстинкта, а не разума, "советский человек", с одной стороны, преувеличивает то, что ему нельзя, с другой, поражается жестокости, с какой система реагирует на всякое "нарушение". Он держится подальше от края пропасти, но когда кто-то падает, то ахает: неужели так глубоко!

Вечером 15 июля – после нескольких часов совещания, необходимых для соблюдения декорума, – суд вынес приговор: три года строгого режима.

Глава 21.

МАГАДАНСКИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР: ПЕСНИ И ПЛАЧИ

Воспользоваться для защиты методами врага – не значит ли отчасти быть им побежденным? Власти действовали обманом – и я им противопоставил обман, они пользовались демагогией – их демагогией, как бы глумясь над ней, воспользовался и я, меня охраняли солдаты с автоматами – а дай мне в руки автомат, удержался бы я от искушения полоснуть очередью по судье, прокурору и скромно сидящим в зале гебистам? Я не уступал в 1970 году – и получил три года, я уступал в 1973 – и тоже получил три года. Конечно, власти не добились моего "покаяния" и "признания вины", но увидели, что я колеблюсь и лавирую, и сделали вывод: надавить покрепче.

Первой мыслью было: зачем я не высказался на суде со всей резкостью, зачем давал показания – неприятные для них, но все же делающие меня участником их игры, зачем подыскивал осторожные формулировки, зачем понимал и делал намеки, что соглашение возможно?! После драки, однако, кулаками не машут, да и три года – не окончательный срок, а средство давления: предстоял еще кассационный суд.

Я получил двадцатиминутное свидание с Гюзель, в той же комнате, где мы провели восемь счастливо-несчастных дней, на этот раз тут же сидел начальник конвоя, прыщеватый прапорщик, все время шипевший, как змея. Мы обнялись и заплакали, плача, Гюзель сказала, чтобы я написал что-нибудь, чтобы меня отпустили, я ответил, что помиловку напишу, но от книг отрекаться не буду. Через четыре дня мы снова увиделись в тюрьме, я уже был уверен в себе. Я решил

продолжать намеченную линию: выйти живым, не предав при этом никого, в том числе самого себя. Предстояло мне сделать вид, что, во-первых, я больной человек, махнувший рукой на борьбу, во-вторых, я готов во внешне достойной борьбе переоценить свои книги, но сделать это на свободе, в-третьих, я достаточно тверд, чтобы не уступить, надо думать о взаимоприемлемом решении.

Я сказал Гюзель, что одновременно с подачей кассационной жалобы объявлю голодовку. Гюзель отговаривала меня, но, вне зависимости от того, какой эффект голодовка могла оказать на власти, она была необходима для меня – как реабилитация за первую неудавшуюся. *"Считая процесс инсценированным и приговор суда несправедливым, я с 20 июля с. г. отказался от приема пищи до вынесения справедливого решения"*, – написал я в жалобе в Верховный суд РСФСР, а 23 июля подал в Президиум Верховного Совета СССР ходатайство лишить меня гражданства как человека *"внутренне совершенно далекого"* от советской системы и заменить *"неотбытый срок наказания высылкой за границу. Я прошу вас о такой замене, имея в виду как тяжелое состояние моего здоровья, так и то, что высылка из своей страны не менее суровое наказание, чем заключение"*.

Чувство голода, сильное первый день, постепенно пропало – через неделю, если я садился или вставал, начиналось головокружение, но общее состояние было лучше, чем при первой голодовке, неделю я даже делал зарядку, хотя и не все упражнения, а на прогулку выходил все дни. Меня очень мучил холод, и я помню, как был рад, когда в конце сентября начали топить, однако я не простудился ни разу. Голодовка не была "сухой": я выпивал утром полкружки холодной воды, а вечером кипятку. 1 августа, когда я совсем ослабел, начали принудительное кормление: специальный раствор, приготовленный из сухого молока, манной каши, иногда на мясном бульоне, через воронку с кишкой вливают вам в желудок; кишку могут вводить через рот и горло как зонд для желудочного сока – есть специальные приспособления разжимать зубы, через нос и через задний проход. Я сопротивлялся только раз, несколько надзирателей скрутили меня – и фельдшер вводил кишку через зад, довольно мучительный способ кормления, а понос вслед за тем еще более мучителен. Хотя искусственное питание как-то возмещает теряемые организмом калории, в нем отсутствуют необходимые витамины и микроэлементы. Многое зависит от того, как кормят вас: можно приготовить раствор из неочищенной перловой крупы, или вливать его слишком горячим – и желудок начнет разрушаться быстро. На мое счастье, женщина-фельдшер относилась ко мне с сочувствием; она же мне рассказала про зэка, который, говоря,

что осужден за несовершенное им убийство, голодал семь лет: за это время у него был вырезан желудок и выпали все зубы; что с ним стало дальше, она не знала.

Кормили меня раз в день, с перерывом на субботу и воскресенье. По-моему, добрая фельдшерица вливала в меня больше раствора, чем положено; когда объявил голодовку еще один зэк, стали то же количество делить на нас двоих, но он продержался только неделю. Если сначала я не чувствовал голода, то за час-два перед каждым кормлением в желудке начинало сильно посасывать, в субботу и воскресенье это ощущение расходилось, но – как у сытого, которого день не кормили, кружилась голова. Цель искусственного кормления – не только сохранить жизнь зэка, но и принудить его отказаться от голодовки, время от времени делаются перерывы: когда изо рта у голодающего начнет попахивать ацетоном, кормление надо возобновлять – так изматывают волю. Не знаю, много ли я потерял в весе: меня не взвешивали, давление никогда не падало ниже 60/110, а если я раздражался, то подскакивало до 80/160, пульс же с 80 в минуту быстро опустился до 38. Я не испытывал резких болей, была общая слабость. Я старался больше лежать, часто предаваясь гастрономическим мечтам, как я попаду в лагерь и из муки и сухого киселя испеку себе лепешки. Обдумывая, как поступить, если приговор оставят без изменения, я решил тогда отказаться от работы и от казенной пищи, но есть то, что сам достану.

Слабость не мешала мне много читать – преимущественно Маркса, которого можно было достать в тюремной бибилиотеке: я хотел понять, несет ли он ответственность за то, что я в тюрьме. Читай я Маркса не в Магадане, а в Париже, я вычитал бы из него иные вещи – но сейчас я был поражен его антигуманизмом, для Маркса нет личности как целого, личность – только часть системы. Как заметил Уолт Уитмен, люди идут за теми, кто их наиболее презирает. Человек, однако, хочет быть личностью, трогательно смотреть, как престарелый Брежнев, получив возможность выделиться на полвершка среди своих коллег, начал энергично награждать себя орденами и званиями: это его загнанная личность кричит о себе, но увы, ничем другим себя проявить уже не может.

Многие замечания Маркса верны – он тонкий критик общества, блестящий журналист, его взгляд безжалостен, но поразительно односторонен, и верное, но частное наблюдение он делает основой всеобъемлющей философии. Гебисты были недовольны моим чтением: "Вы можете Маркса неправильно понять", – но как раз благодаря им я хорошо Маркса понял. Его философия – это рационализация мировосприятия не мифического "пролетариата", но обывателя из всех классов общества, марксизм – философия желудка – отражает взгляды "среднего человека", мало того, дает ему чувство, что он-то со своими "экономическими интересами" и есть мессия. На Западе почти все марксисты,

если не по названию, то по типу мышления, потому что все почти обыватели – они вам в один голос скажут, что материальные условия все определяют, отсюда и идея "конвергенции СССР с Западом" в результате "давления потребителей", и в 99 случаях из 100 эти люди правы, только в одном случае они ошибутся – но именно в этом случае, не в момент исторической последовательности, но в момент исторического разрыва, и происходят события, которые определяют развитие истории.

По правилам, голодающего сажают с одиночку – со мной же, чтоб я был под контролем, а микрофон не бездействовал, все время сидели один, двое, а то и трое. Вот с возгласом "Хайль Гитлер!" входит, с черными усиками, сын расстрелянного Сталиным чешского коммуниста, без отца ставший блатным, рассказывает, что работал заместителем директора универмага, хорошо жил.

– Чего ж ты грабежами занимался, рисковал, если жил хорошо?

– Да я потому и жил хорошо, что грабил!

Другой гастролер, обокравший как раз Магаданский универмаг, сидит уже третий раз и в надежде на снисхождение пишет покаянное письмо, предостерегая молодежь от грабежей и краж; не рассчитывая только на силу слога, он еще регулярно стучит оперу. Директор цементного завода, на машине сбивший одинокого рыболова и пытавшийся закопать в снегу, объясняет мне процесс производства цемента. Карманник "дуру гонит", предстоит ему экспертиза, и он советуется, выдавать ли себя за императора Ивана VI, погибшего два века назад в Петропавловской крепости, или предложить новый источник энергии – говно, собранное в большие резервуары, начнет бродить, выделять газ для отопления Магадана. Молодой грабитель, слышавший обо мне по Голосу Америки, горд, что сидит со мной, очень меня одобряет и тут же рассказывает, как ходил устраиваться на работу в КГБ.

– Зачем тебе КГБ? – спрашиваю я.

– Ну, не говори, они там в штатском ходят и с портфелями.

– Андрюшенька, не можете ли вы... – давно уже меня никто Андрюшенькой не называл, но этот старик с лицом, испещренным синими прожилками, так характерными для пьяниц, – бывший палач, или, говоря официально, исполнитель, он здесь расстреливал зэков в сороковые годы, а теперь попал в тюрьму как бич. Другой бич совершенно безобидный маленький мужичонка, но во сне он все время чмокает и пускает пузыри – и за это чмоканье я сам готов убить его. Бичей появляется невероятное количество, грязных, опухших, прямо из канализационных труб, по этим трубам пробрались они на винный склад, и все их разговоры – о выпитой водке. Один, поперек себя шире, бывший партизан, видя, как я сижу над учебником английского, говорит другому: "Ну что учит, с его делом все

равно никогда отсюда не выйти!" Из-за несовершенства человеческой природы сытый всегда раздражает голодного, и при ссоре я пригрозил: "Еще скажешь хоть слово – выброшу твой хлеб в парашу!" Тут же он что-то сказал – хлеб полетел в парашу, суп я вылил ему на голову и стукнул миской, а он плеснул в меня чаем, лишив себя последнего источника пропитания, и застучал в дверь.

– Ну вот, подрались с бичами, – укоризненно сказал Пинемасов, но спросил, не предпочитаю ли я сидеть с убийцами. "Убийца" оказался тихим мужичком, он бросился на кого-то с поленом и с криком: "Я тебя убью!" – и за крик получил восемь лет; обвинял его мой лжесвидетель прокурор Шолохов.

Стычку – с надзирателями – разбирал вернувшийся из отпуска Подольский, на которого сразу свалились и голодовка, и жалоба, что надзиратели протащили меня за волосы с третьего этажа в подвал. Он принял соломоново решение: остричь меня наголо, чтоб никто больше таскать за волосы не мог.

– Я слышал, вы лютовать начали, взяли надзирателя за руку, – сказал он: надзиратели, так сказать, оборонялись от моей руки.

– Надзиратель не юная девушка, чтобы брать его за руку и идти рука об руку по жизни, – ответил я. Ссориться со мной, однако, не хотели, и заместитель Подольского за надзирателей извинился.

Старший лейтенант Абрамов, врач, который назначал и отменял кормление, измерял давление и пульс, отбирал диэту и отказался засвидетельствовать мои синяки после стычки с надзирателями, был не злой и не добрый, со мной держался простецки, с начальством подобострастно, был он хирургом, говорили, был переведен из лагерной больницы в тюрьму после того, как ножницы зашил у больного в желудке. Моя голодовка натолкнула его на мысль написать статью, он расспрашивал меня, снится ли мне еда, и просил записывать сны – для науки.

Я одно время начал их записывать, но врачу не дал. Тюремные сны снятся до тюрьмы и после. За несколько месяцев до ареста приснилось мне, будто я, стремясь из какого-то замкнутого помещения выйти, борюсь с целлулоидными муляжами – и прорываюсь на улицу. Другой часто снившийся сон: я прохожу бесконечными великолепными залами с чувством все нарастающей опасности, и никак не могу найти выход из вереницы зал, иногда впереди идет кошка, и я думаю, что она звериным инстинктом сумеет вывести меня, как коровы из тайги выводили, и кошка очень дружелюбна ко мне, и вдруг я понимаю, что эта кошка – предательница, что, наоборот, она хочет завести меня туда, "откуда нет возврата". Я поворачиваю в другую сторону, открываю боковую дверь, вместо зала тамбур, как в бараке, – и выхожу на улицу! В Свердловске приснился тяжелый сон: погоня, вот-вот меня схватят и посадят в тюрьму – с сердцебиением просыпаюсь:

тишина: лучи солнышка лежат на желтых тюремных стенах, как все просто, оказывается. В Магаданской тюрьме я тоже проснулся с облегчением: приснилось, будто я в лагере на Талой. В лагере помню сон, будто Гюзель решила меня бросить и сойтись с каким-то немцем, так реально это приснилось, что тут же сел писать ей.

Еда не занимала большое место в моих снах во время голодовки. Вот я гуляю с отцом по Тверскому бульвару и ем виноград, мы спускаемся в подземелье, и отец говорит: иди не прямо, но сворачивай; замок без ключа, сводчатый потолок, я вижу кастрюлю с черепом в ней и понимаю: здесь убивают людей. Но вот я уже еду в крытом грузовике и смотрю на кортеж машин, на улицах только солдаты. Я на берегу реки, и знакомая художница обнимает меня, но я делаю вид, что хочу столкнуть ее в воду, и вижу, как на другом берегу коровы превращаются в оленей; потом я в лифте, который никак не может подняться. Вот ларешник привез сахар в синих пачках, груды лежат в ящиках на дворе; я ем черный хлеб с маслом, но через силу; я с удовольствием ем сыр.

После освобождения мне часто снилось, что я снова в лагере или тюрьме, иногда это тюремная камера и в то же время кабинет начальника Магаданского УКГБ, и я думаю, что как же он теперь, засадив меня в тюрьму, будет смотреть мне в глаза — таким дурацким вопросом можно задаваться только во сне. Мне и сейчас, когда я пишу эту книгу, снятся тюрьма и лагерь, и я просыпаюсь от судорог в ноге, как когда-то в Лефортово. Не знаю, каково это будет читать, но писать мучительно тяжело.

Я ждал до кассации зондажа КГБ, прошло, однако, почти полтора месяца — и ничего. Я понимал, что выжидают конца голодовки, заместитель начальника тюрьмы и врач время от времени уговаривали меня и пугали последствиями для здоровья, как-то подсунули "диэту" в кормушку — еще один пример "желудочного мышления". И вот в конце августа врач, друг науки и явно не враг "органов", заговорил что-то об Израиле, о моей жене, сбился и сказал, что он только врач и его дело — сторона, я подумал, что КГБ выбрал не совсем удачного посла или разведчика.

Через две недели меня повели на первый этаж: ждали меня Леонид Ильич Тарасов, мне знакомый, и незнакомый господин в штатском, Валентин Константинович Елисеев. Он утверждал, что он капитан, я подозревал, что подполковник, и в следующем году между ними произошел такой горячий спор, что он вытащил красную книжечку и показал мне: он был майор. Раньше он работал в партаппарате на "идеологической работе", и голос у него был как бы внушающий, ни разу не слышал я от него естественного человеческого слова, тип дореволюционного священника-карьериста.

Внушающим голосом он начал, что людей, которые меня знают,

можно перечислить по пальцам – и даже растопыренные пальцы показал. Я ответил, что все же человек семьсот знают меня, имея в виду своих товарищей по лагерю. Книги мои были распубликованы, интервью показано, даже советские газеты писали обо мне – так что начало разговора не казалось умным. Постепенно все стало проясняться: Тарасов сказал, что им поручено говорить со мной в связи с моим ходатайством о лишении гражданства, я там писал, что не все свои оценки считаю правильными – так какие же именно? Я перечислил несколько пунктов, оба так и заелозили на стульях, Тарасов все тщательно записывал.

– Так вот вам бы написать все это в виде письма в газету, суд безусловно учтет это, – последовало предложение заложнику платить выкуп.

– Хорошая идея, но как-то недостойно это девать из тюрьмы, подумают к тому же, что я писал под давлением. Я это сделаю, когда выйду.

Мы немного поспорили, и я сказал им, что пока держат мое тело в тюрьме, мои книги расходятся по миру – вот с чем им следовало бы бороться, оба прыгали от нетерпения побороться, да и я показывал, что не прочь отказаться от "неверных идей". Но пока что сказал, что из-за голодовки быстро устаю и хотел бы вернуться в камеру.

– Если захотите с нами увидеться, передайте начальнику тюрьмы, и мы сразу же заедем.

Вызывать их я, конечно, не стал, но через десять дней мог увидеться уже с двумя Тарасовыми: Леонидом Ильичом, подполковником, и Борисом Васильевичем, полковником, крупным, белобысым, с выражением уверенного благодушия на лице. Очень он внешне походил на французского министра внутренних дел Понятвского, и когда я увидел четыре года спустя, как Понятовский объясняет по телевидению, что "Амальрик не знает, что такое КГБ", я подумал, что это Борис Васильевич бежал во Францию или даже послан был "дать ответ" мне – уж он-то знал, что такое КГБ. Он пришел в КГБ не с партработы, а был оперчекистом в колымских лагерях, пошел очень в гору с 1968 года, когда оказывал "братскую помощь" чехословакам. Обладал проницательным полицейским умом, но в гебистах, как я писал, была не то что бы "наивность зла", а "наивность желудка", они убеждены, что все человеческие побуждения регулируются материальными интересами или страхом, теоретически они допускают духовные мотивы, но поскольку сами их не имеют, то и у других не схватывают интуитивно, и если пытаются сыграть на человеческом благородстве, то не всегда понимают его природу. Я понимал: чтобы договориться с ними, а в конечном счете, чтобы обвести их вокруг пальца, или, как сказал потом один из них, провести за нос, для всего этого мне нужно прикидываться хуже, чем я есть – тут и возникнет

точка взаимопонимания.

Разговор с Тарасовым, как в шахматной игре, начался с повторения заранее известных ходов, уже во время предыдущего разговора сделанных. Говорил все время полковник Тарасов, речь-де идет о соображениях идейного порядка, а вовсе не о торговле: я им – покаяние, они мне – освобождение. Я охотно соглашался, что тут, действительно, мы все стоим на высокоидейных позициях, и, поговорив достаточно об этом, Тарасов спросил:

– Ну а если уж поставить вопрос в плане торговли, так какая у нас гарантия, что вы, выйдя на свободу, действительно напишете письмо в газету с отказом от ваших печально знаменитых книг?

– А какая у меня гарантия, что, напиши я его сейчас, вы меня сразу же освободите, – сказал я. – Между нами все-таки та разница, что я и вне тюрьмы до некоторой степени буду у вас в руках, а вам достаточно выйти из этого кабинета – и поминай как звали.

Подействовал ли этот, для бюрократа понятный довод, но на следующее утро мне неожиданно выдали мой красивый лыжный костюм и усадили – не в воронок, а в "волгу". Изнывая от холода, костюма своего я добивался с начала голодовки, рассылая жалобы прокурорам и министрам и получая ответы, что костюм мне не положен, в момент ареста я был на усиленном режиме и правами подследственного пользоваться не могу. Ввели этот порядок потому, как объяснил мне капитан Пинемасов, что раньше зэки на ососбом режиме совершали убийства, чтобы попасть в тюрьму на следствие и покупать продукты в ларьке: довели людей, что они готовы на убийство ради возможности два месяца есть масло и сахар.

– Владимир Федорович Коломийченко, начальник управления, – сказал поспешно один из Тарасовых, когда нам навстречу поднялся и сделал несколько шагов человек маленького роста, в штатском, с зализанными волосами и взглядом не то, что исподлобья, а словно глаза его глядели из какого-то укрытия. На лацкане пиджака я заметил депутатский значок – возглавлял он комиссию Областного совета по надзору за соблюдением "социалистической законности", то есть "надзирал" за самим собой. Вообще нервный, тут он как-то заметно нервничал, ему, видимо, не приходилось вести переговоров с зэками, я же с любопытством глядел на того, кто "организовал" мой второй срок. Я, оба Тарасова и Елисеев уселись за покрытым зеленым сукном столом для заседаний, Коломийченко – за стоящий перпендикулярно письменный. С Елисеевым Леонид Ильич Тарасов держался на равных, перед своим однофамильцем лебезил немного, у Коломийченко ловил каждое слово и просил разрешения, прежде, чем закурить. Кабинет был просторен, над головой хозяина висел портрет Дзержинского, на противоположной стене – Ленина, а напротив больших окон – карта СССР.

– Что вы думаете о такой позиции Сахарова? – спросил Коломийченко, зачитав заметку из "Правды", что Сахаров прославляет чилийскую хунту, речь шла о письме Пиночету в защиту Неруды, что-то в том духе, что его преследование шло бы в разрез с объявленной политикой "национальной консолидации".

Я думал, что это естественная форма обращения с такой просьбой, едва ли и Брежневу, ходатайствуя о моем освобождении, писали: "Кровавый палач русского народа!" – но: "Многоуважаемый... зная вашу гуманность... престиж СССР..." и тому подобное.

Не помню наш разговор в деталях – в конце я выразил надежду, что он на пленку записан, так что для истории не пропадет, я понимал, что Коломийченко, который должен был принять ответственность за доклад в Москву, хотел сам на меня посмотреть и одновременно мне показать, что он берет ответственность на себя. Я сказал, что знаю, как КГБ готовил процесс надо мной, и Коломийченко раздраженно заметил: "Ну да, вы там полоскали на суде имя Леонида Ильича Тарасова". Я ответил, что "сполоснул" его всего раз, но спор, ездил он или не ездил на Талую повторялся при каждой встрече, пока я не сказал другому Тарасову, что, по рассказам свидетелей, и он с ними до суда встречался.

– На хуй послать всех этих свидетелей! – вскричал Тарасов, я мог рассматривать это, как признание правоты моих слов.

Коломийченко предложил, что я напишу письмо в газету с осуждением своих книг и деятельности в целом, хотя бы частично признав вину на втором процессе, – и взамен Верховный суд РСФСР мне в связи с болезнью и раскаянием приговор отменит и я смогу возвратиться в Москву. Я повторил, что сделать такое заявление смогу только после освобождения. Я и в разговорах с Подольским, надеясь, что он это КГБ передаст, делал вид, что готов к "почетному отступлению", но не к "безоговорочной капитуляции".

Меня снова попросили сразу же сообщить, если я захочу с ними увидеться, но я ждал шагов от них. Прошло три недели, прежде чем я снова оказался в том же кабинете.

– Я думал, что вас больше не увижу, – сказал я Коломийченко. – Давайте что-то решать, тюрьма – как холодная вода, войти в нее страшно, но потом привыкаешь, и уже не холодно.

Я не добавил, что слишком долго пробыть в холодной воде – смертельно. Опять начались "переговоры", когда вам повторяют одно и то же, в надежде, что ваша воля истощится и вы махнете рукой, важно, однако, достичь "пика давления" – если этот пик преодолен, вам начинают делать уступки, при условии, конечно, что вообще заинтересованы в некоем результате. Какой-то позитивный результат был им нужен, не стал бы начальник УКГБ говорить со мной, если бы в Москве не было принято решение изменить мою участь. Я, однако, не думал,

что смогу получить освобождение или даже смягчение безусловно: как удачно оговорился Коломийченко, должны "и волки быть целы, и овцы сыты". Но какую уступку с моей стороны они рассматривали бы как минимально необходимую?

– Хорошо, – сказал, наконец, Коломийченко, – вы не хотите до освобождения публично отказаться от ваших вредных книг. Тогда, как первый шаг, вы могли бы написать прошение о помиловании, в нем дав оценку книгам.

– Но ведь помиловка предполагает признание вины и раскаяние, а я своей "вины" не признаю.

– Так не пишите о признании вины, – согласился он, и мы договорились о следующем: 1) не признавая вины, я напишу в Президиум Верховного Совета СССР прошение об освобождении по состоянию здоровья; 2) не отказываясь от своих книг, я упомяну, что не со всем в "СССР до 1984?" теперь согласен; 3) после этого я буду освобожден – путем помилования или замены срока на условный; 4) после освобождения мы рассмотрим вопрос об "осуждении прошлых взглядов".

Переговоры наши продолжались два часа, и к концу, признаться, я был совсем обессилен: они и для здорового человека были бы тяжелы, а я голодал уже три месяца, к тому же последнюю неделю прекратили искусственное кормление. Так что я сказал, что сейчас писать не могу, отдохну в камере и напишу вечером или завтра утром – тут же Леонид Ильич Тарасов вызвался приехать в тюрьму.

"Мне кажется, что мое второе осуждение было результатом отношения ко мне как к человеку, которого считали враждебным советскому строю и чьи слова и действия поэтому... подвергали предвзятой трактовке, – так осторожно я описывал в своем прошении шантаж второго ареста. – *Некоторые места моих книг с самого начала были поняты неверно. В частности, в названии книги звучит не желание увидеть гибель советского строя до 1984 года, а этот год использован всего лишь как литературная аллегория... Меньше всего я хотел бы тяжелых потрясений для своей страны".*

Тарасов сделал несколько мелких замечаний – я их принял; он попросил добавить фразу, что я сожалею, что мои книги были использованы враждебными СССР силами – я сказал, что сожалеть или не сожалеть я буду только о том, что сделал сам, действий никаких других лиц или "сил" осуждать не буду. Пока я переписывал начисто, Тарасов углубился в книгу, и мне стало интересно, что читает подполковник КГБ.

– "Песни комсомола", – сказал Леонид Ильич, показывая мне с гордостью книжку, – песни моей молодости.

Гюзаль заплакала, когда в магаданской гостинице прочла мою "помиловку". Не могу сказать, что я с легким сердцем писал или что

мне доставляет удовольствие перечитывать ее. Вместе с тем – оставляя в стороне ее уклончивый стиль и условия, в которых она была написана – с ее существом я согласен и сейчас.

Я не признал своей "вины" ни по первому, ни по второму делу, не признал права судить за взгляды – верны они или нет, не отказался от своих книг и статей, не выразил сожаления, что они были написаны и опубликованы. Я упомянул, что некоторые места "СССР до 1984?" нахожу неверными – я действительно нахожу их неверными, я перечислил их в предисловии к новому изданию на Западе. Я отказался от опеределения России как "страны без веры, без традиций, без культуры" – я отказался бы от этой фразы и без защиты "традиций и культуры" со стороны КГБ. Я написал, что "я не враг советского строя" – я его друг. *"Когда Ленин выдвинул лозунг "Вся власть Советам!" – речь шла именно о власти многопартийных Советов, а не о власти одной партии...* – писал я в 1976 году уже на Западе. – *Таким образом, я, выступая за восстановления подлинной роли Советов, – настоящий советский человек, а г-н Брежнев, который возглавляет партию, узурпировавшую роль Советов, – типичный пример антисоветчика".** Еще в 1968 году я говорил Литвинову, что политически разумно сохранить слово "советский", к которому народ привык, восстановление реальной власти Советов было бы наиболее простым путем к демократическому парламентаризму, я предлагал лозунг кронштадского восстания 1920 года "За Советы без коммунистов!" заменить на "За Советы, в том числе и с коммунистами!" – компартия может сохраниться как одна из партий в многопартийном советском обществе.

Снова я был предоставлен сам себе, порой мне казалось, что я уступил слишком много, порой, что слишком мало и моей помиловкой не удовлетворятся. Кроме того, "наверху" всегда могла произойти передвижка, и сочли бы, что мое освобождение "нецелесообразно". На запрос о дне кассации я получил телеграмму от Швейского, что суд назначен на 13 ноября – снова дурной знак, но 14-го мая меня повели к Подольскому, и я понял, что если он сам хочет сообщить мне новость, значит новость хорошая.

– Пришла телеграмма от вашего адвоката, – сказал он, выжидающе глядя на меня, я молчал, и он с улыбкой закончил, – поздравляю, лагерь заменен ссылкой.

– Что ж, я не исключал и такого решения, – сказал я. Конечно, это было нарушением нашего договора с КГБ, ссылка – не освобождение, но, с другой стороны, я и сам ведь не собирался писать отречение. День тюрьмы засчитывался за три дня ссылки, почти полгода я в тюрьме просидел – оставалось полтора ссылки.

---

* Письмо в газету "Унита". "Континент" № 10.

– Голодовка закончена! – с этими словами я вошел в медчасть и, попросив ложку, похлебал приготовленный для меня раствор: вкуса его я не запомнил. Всего я голодал 117 дней, 70 из них меня кормили.

Вечером передали телеграмму от Гюзель, а на следующий день Коломийченко поздравил меня, как он сказал, "с переходом от худшего к менее худшему" и сообщил, что местом ссылки назначен Магадан. Особенно же радовался Леонид Ильич, провожая меня в коридоре, он шептал: "Андерй Алексеевич, держитесь с нами, не пропадете, всегда будут деньги, костюмчики хорошие будете носить". Гюзель рассказывала, что на кассационном суде, улучив момент, к ней подошел – не друг, но, как сказал бы Гверцман, "лицо" – капитан Сидоров, когда-то арестовавший меня в Акулово, и сказал заговорщицки: "Гюзель Кавылевна, с нами будьте, с нами вам обоим хорошо будет, не с ними", – и он указал глазами на Андрея Дмитриевича Сахарова. Я понимал, что КГБ хочет создать своего рода доверительные отношения – Коломийченко даже предложил, что когда меня будут вызывать в КГБ, я могу говорить жене, что иду, скажем, на работу. Я ответил, что КГБ – не любовница, так что я не собираюсь скрывать от жены, если пойду к ним. Я понимал также, что мне дали ссылку, чтобы легче "додавить", что мне предстоит сложная задача "спускать на тормозах" готовность к "отречению" – но так, чтобы не сесть снова. Как я узнал потом, КГБ стремился не столько даже принудить меня к отречению от книг, как привлечь на свою сторону.

Предстояло еще сидеть, пока не придет официально заверенное определение суда. Я выписал со своего счета деньги, чтоб мне купили продукты, и на эту операцию были брошены следователь по особо важным делам и прапорщик КГБ. После голодовки я попросил яйца – но правила магаданской тюрьмы запрещают давать соль в камеру, а что ж это за яйца без соли. Гебисты, из желания угодить мне, требовали от Подольского разрешить соль, но он был человек твердый и приверженный правилам, он сказал, что разрешит соль, но поместит меня в одиночку, чтоб эта зараза не распространилась на других.

– Это получится променять собеседника на соль, – сказал я, со мной сидел раздражавший меня своей вялостью молодой убийца, но все ж было живое существо в камере, вроде кошки. Я понимал душевные муки Подольского, который боялся КГБ, но хотел сохранить верность своему бессолевому уставу, я помнил, как он принес мне в карцер телеграмму Гюзель, и потому не стал давить на него: не беда, несколько дней поем яйца без соли. Эти дни, пожалуй, были счастливыми: сам процесс ожидания свободы радовал меня – я даже хотел оттянуть этот миг, занимало меня и поглощение пищи. Моим последним, доныне, сокамерником оказался шофер, севший за избиение жены, учительницы.

— Любил, небось, прихвастнуть перед шоферней, что у тебя жена с высшим образованием — вот и сиди! — сказал я, на что он сокрушенно кивал головой. Я вспомнил этого шофера, услышав от одного американца, какая это мука — иметь жену доктора наук. Его ничем утешить я не мог, но сокамернику как слабое утешение оставил свои продукты.

22 ноября я получил телеграмму: *"Вылетаю 67 рейсом в ночь с 22 на 23 ноября. Все прекрасно, жди, будем скоро вместе, нежно целую. Твоя Гюзель."* В этот же день заехал Борис Тарасов и сказал, что определение пришло и завтра утром я буду освобожден. Прошел, однако, обед, разнесли ужин — с каждым часом я все более нервничал.

— Амальрик, с вещами! — наконец-то — и в последний раз!

— Много мне, Андрей Алексеевич, пришлось потрудиться, чтобы освободить вас, — сказал Тарасов тоном полуупрека. — Пока нашел Кузнецова, пока нашел Подольского, кругом бюрократия.

Не знаю, сколько ему пришлось потрудиться, когда он сажал меня, и кому тогда жаловался на бюрократию. Тут я и сам попал в ее колеса: получал справку об освобождении, деньги, вещи, расписывался, заполнял формуляры — и потерял его из виду. Между тем мне сказали, что я — свободен! Подольский, как вежливый хозяин, провожающий гостя за порог дома, вышел со мной.

— Рады, что освобождаетесь от меня? — спросил я, пожимая ему на прощанье руку.

— Конечно, рад, — искренно ответил он.

Свобода! Стояла густая тьма, ни огонька не было видно в окружающем тюрьму поле, я даже не мог представить себе, в какой стороне город, тюремная стена снаружи казалась еще более неприветливой, дул ледяной ветер, так что я весь сжимался, никого не было, только черная "волга" с безразличным шофером стояла у входа. Тут, однако, появилась толстая фигура Тарасова, и широким жестом он предложил мне садиться.

— Поздравляю еще раз, — заулыбался посредине своего кабинета Владимир Федорович. Номер в гостинице "Магадан" мне уже забронирован, через час пойдет автобус в аэропорт "за сотрудниками", на нем я могу доехать встретить жену. — А может быть, вы захотите к ее приезду купить бутылку шампанского?

Я хочу, но не знаю ни где магазин, ни где гостиница.

— Есть у нас свободный оперативный работник? — спрашивает Коломийченко, и тут же появляется "оперативный работник" в красном шарфике — форма что ли у них такая? — и почтительно вытягивается.

— Вот у нас здесь Андрей Алексеевич Амальрик, слышали краем уха?

Оперативник — "Большое ухо" — все слышал, и вот он отводит

теня сначала в гостиницу, номер которой после тюремной камеры кажется мне роскошным, затем в магазин, где я сгоряча покупаю не только шампанское, но и коньяк, затем снова в гостиницу и в управление КГБ, где уже ждет автобус. От волнения я не замечаю, что разгуливаю в телогрейке с нашитым на ней лагерным знаком, хожу как в тумане, я потом еще недели две боялся выходить без Гюзель и терялся на улице.

Конечно, самолет запаздывает. Заказав такси, я с нетерпением расхаживаю по забитому пассажирами залу – но вот объявляют посадку, вот первые пассажиры, и вот, в дубленке, с коричневой сумкой на ремне – Гюзель, и пораженная, что я уже здесь, она бросается ко мне!

Глава 22.

СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ

Над морем сгущался туман,
ревела стихия морская,
вставал впереди Магадан –
столица Колымского края, –

это из той же лагерной песни о про́клятом крае, откуда "нет возврата". В сороковые годы "Магадан" звучало как Освенцим или Дахау: почти все население основанного перед войной города состояло из заключенных и охраны, на стройках бульдозеристы часто вскрывают залежи человеческих костей, несколько миллионов осталось навсегда в мерзлой колымской земле. Говорится об этом спокойно, все как бы знают прошлое Колымы, и вместе с тем оно забыто – Магадан для среднего "советского человека" символ не ужаса, а привилегий. Колыма и Чукотка – район добычи золота и редких металлов, для привлечения и удержания рабочей силы, как и везде на Севере, введен поясной коэффициент зарплаты: 170% и шесть надбавок по 10% каждые полгода – на Колыме, 200% и десять надбавок – на Чукотке; так что за работу, за которую в Москве платят 100 рублей, на Колыме – 230, на Чукотке – 300. Не удивительно, что все время течет миграционный поток – причем, в количестве большем, чем требуется. Местные власти хлопочут, чтобы Колыму снова сделали закрытым районом, хотя было бы проще, как я предложил Коломийченко, опубликовать в "Известиях" и "Правде" статьи, что не все здесь прекрасно. Кроме высоких заработков, в области, окруженной замерзающими морями,

необычайно тяжелый климат, родившиеся здесь дети даже получают медаль за это, здесь самая низкая в стране обеспеченность жильем, постоянная угроза безработицы, нет – кроме педагогического – вузов для подрастающих детей и надбавок к пенсиям для стариков. Старики, которые уезжают "на материк", из-за резкой смены климата умирают очень быстро. Все это вызывает быструю ротацию населения, что нигде так не заметно, как на старом кладбище – не сохранилась неповрежденной ни одна могила, нет даже следа чьей-то заботы.

Территория области – 1,2 миллиона кв. км – немногим меньше, чем вся Западная Европа, население – всего 400 000 человек, из них 100 000 в Магадане. Город расположен на перешейке полуострова, так что продувается всеми ветрами; улица Ленина, центральная, выстроена в духе сталинского классицизма, остальные – в дузе хрущевского функционализма. Со стороны обеих бухт и колымской трассы город охватывает самострой, по-местному, шанхай – самодельные засыпные домики, с насыпанной между двух дощатых стен землей для утепления, и бараки сталинской эпохи, где живет большая часть жителей, впрочем, бараков полно и в центре, с неизбежными выгребными ямами вокруг. В конце переулков, отходящих от центральной улицы, видны сопки; вид на море, еще со льдом или со свинцовыми волнами и белыми кораблями вдали – очень красив. Сопки покрыты низкорослым стлаником – неделю в году дующие с севера ветры обволакивают город нежным запахом хвои.

– Не вижу женщины! – сказал, войдя к нам и взглянув на автопортрет Гюзель, мужчина с толстым и добрым лицом, этакий рубаха-парень; Гюзель сказала мне, что это лучшее доказательство ее верности – за три с половиной года все женское постепенно уходило. Нашими первыми гостями оказались корреспонденты – не иностранные, конечно, а "Правды" и Всесоюзного радио, корреспондент радио летел в одном самолете с Гюзель, а правдист – знаток живописи – остановился в соседнем номере. Он был, видимо, человек не плохой, любитель выпить, и никак не мог понять, кто я такой, корреспондент радио осторожно над ним посмеивался.

Мы зашли к психоневрологу, который когда-то осматривал меня на Талой, назову его условно Марк, поскольку роль его осталась мне не совсем ясна. Был он человеком способным, но свой дар растворившим в мелочах, провел он несколько нанесших ему незаживаемые травмы лет в сталинских лагерях – перед арестом видел во сне Сталина, стирающего белье. Он написал диссертацию об алкоголизме на Северо-Востоке, и поскольку все данные засекречены, для защиты требовалось разрешеник КГБ – постепенно у меня создалось впечатление, что он хочет "обменять "меня на это разрешение. Если и был он осведомителем КГБ, может быть, еще с лагеря, то "страха ради иудейска", но пытался он на меня влиять – в нужном КГБ направлении. Впрочем,

я сам рассказывал ему, как и еще двум магаданцам, о своих переговорах с КГБ – рассказывал, чтобы не иметь с КГБ общих тайн.

Считая Марка человеком несчастным и слабым, я еще в начале ссылки хотел поговорить с ним начистоту, но ничего из этого не вышло, уже в глаза сказать, что я его подозреваю, было тяжело, но дальше разговор пошел все более бессмысленно, он все отрицал, да и я не был уверен. Вы не убьете жену из ревности, но если чувство ревности у вас есть, вы можете понять убийцу – я мог понять человека, который пишет доносы на того, кого ненавидит, но осведомительство без злобы оставалось для меня загадкой, я его сердцем не понимал. Марк почти убедил меня, что он не стукач, но уходя, сказал: "Если КГБ захочет, то будет даже знать, чем ты какаешь", – и я понял, что он работает на них. Когда Коломийченко сказал мне, что из Москвы поступил запрос, отпускать ли жену Марка заграницу, я передал ему это – и в КГБ об этом узнали.

К нам раз-два в месяц заходил журналист Асир Сандлер, бывший приятель Красина. Был он переводчиком с фарси, во время Тегеранской конференции разговорился с англичанином, и тот, желая показать знание русской поэзии, начал:

– На полярных морях и на южных...
– На просторах зеленых зыбей... –

тут же подхватил Асир. А прочти мне кто-нибудь:

– Меж базальтовых скал и жемчужных....
– Шелестят паруса кораблей, –

закончил бы я. На следующее утро Асир был арестован по обвинению в обмене шифрованными сообщениями с английским разведчиком. Чувствовалась в нем некоторая зависть, да и правда – в дни его ссылки с ним разговор был короче. Вспоминая прошлое, рассказывая магаданские сплетни или говоря о политике, он распускал свои речи как павлиньи перья – и мы с Гюзель после его ухода беззлобно посмеивались над ним, надо полагать, что и он над нами псмеивался.

Подруга одной моей знакомой снимала комнату вместе с машинисткой КГБ, и та, желая прихвастнуть важностью работы, сначала ей пересказывала, а потом показывала перепечатываемые ей оперативные материалы обо мне, приговаривая: "Ну, Андрюшечка, теперь не уйдешь, матерьяльчик набран!" Там были данные прослушивания – микрофон был и в гостинице, и у нас в квартире, вмонитрованный в дверной замок; регулярные отчеты осведомителя – тот подчеркивал, что вошел ко мне в полное доверие, для чего ему скрепя сердце приходится соглашаться с моими антисовесткими высказываниями; мои

фотографии – на них она с испугом увидела снятую со мной в кафе свою подругу. Она ей ничего не говорила, пока машинистка не переехала, захватив ее драгоценности, а в милиции ей сказали: "Быть не может, чтобы сотрудница наших славных органов украла ваши паршивые брошки!" Тут она и брякнула, что эта сотрудница выдает тайны органов – машинистка из Магадана исчезла, сожительница была предупреждена, но так и не получив драгоценности назад, все пересказала своей подруге, а та – почти год спустя – мне.

Она многое забыла, но все же сообщила столько деталей, что стало ясно: осведомитель Сандлер. Последний месяц он сам уже вызвал мое подозрение несколько назойливым любопытством о моих планах в Москве. Сначала мы с Гюзель хотели побить его – я даже ножку от стула приготовил, но трудно бить старого, больного, несчастного, юлящего перед вами и клянущегося памятью матери человека, я сам почувствовал чуть ли не неловкость перед своим стукачом, хотя ни у меня, ни у Гюзель сомнений не было. Рассказывая ему раньше о своих переговорах в КГБ, я всегда неплохо отзывался о Коломийченко и довольно насмешливо о Борисе Тарасове и особенно Елисееве – с каждым разом Коломийченко улыбался мне все шире и встречал все любезнее, а Тарасов с Елисеевым становились все суше и кислее.

Через месяц по выходе из тюрьмы я "отметился" в милиции и получил такой документ:

СССР
Министерство Внутренних Дел
Управление МВД Магаданской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(в замен паспорта)
№ СП 23
г. Магадан

Дано ссыльно-поселенцу Амальрик Андрею Алексеевичу, 12 мая 1938 года рождения, уроженец г. Москвы, по национальности русский, в том, что он ограничен в правах передвижения и имеет право проживать только в пределах г. Магадана.

Состоит под надзором УВД Магаданской области и обязан один раз в месяц являться на регистрацию в спецкомендатуру. При отстутствии отметки о своевременной явке на регистрацию удостоверение недействительно.

Начальник отдела

В. Кокорин

Удостоверение было сталинских времен, теперь во всем Магадане я

один имел такое – область из мест спецпоселений исключена, спецкомендатур не осталось, и я ходил расписываться в УВД. Не все понимали, что это за документ с неразборчивой печатью – а в России-матушке "документ" требуют на каждом шагу, врач-окулист при поступлении на курсы водителей заподозрила подделку, я ответил, что если бы подделывал документы, сделал бы себе что-нибудь лучше удостоверения ссыльного.

С врачами у меня было больше кофликтов, чем с КГБ; сначала никто не хотел осматривать меня: я в Магадане не прописан, топал я ногами на главного врача областной поликлиники, но бесполезно, только по указанию КГБ осмотрели. Когда же я был прописан, оказалось, что наш участковый врач служила в лагере, у меня так подскочило давление от разговора с ней, что я решил: опасно для жизни ходить к врачу. Морской климат был тяжел для меня, только первую половину дня я мог работать, иные дни не мог ни читать, ни писать – не исключаю, что попади я в лагерь, то не выжил бы. На Севере лишился трех зубов, начался парадантоз, но – опять по протекции КГБ – попал к врачу и смог лечиться. У Гюзель начали выпадать волосы – я дважды остригал ее наголо, и часть волос уцелела, а приходилось там встречать женщин довольно облезлых. Гюзель много болела, провела в больнице месяц, я не только ежедневно носил ей еду, но должен был закупать или заказывать в Москве лекарства – в больнице лекарств не было. Сам я пробыл в больнице только четыре дня, когда мне гланды вырезали, и не хочу бросить тень на врачей, среди них много хороших, но низкая оплата и тяжелые условия работы так их изматывают, что трудно больному уделять много внимания.

В день освобождения Коломийченко сказал, что он доложил первому секретарю обкома – и мне дадут однокомнатную квартиру. В Магадане квартиру ждали десятилетиями, и дать квартиру ссыльному значило в его сторону сделать огромный шаг, даже для КГБ это было не так просто – я получил ее через три месяца. С присущей мне неблагодарностью я не оправдал надежд КГБ, даже потом слегка посмеялся над их квартирой, но и КГБ не остался в накладе: как бы по наследству с моим отъездом квартира перешла к ним.

В полукилометре за нами возвышалась сопка, зимой мы ходили там на лыжах, а летом взбирались на вершину, но город был невелик, и наша окраина была недалеко от центра. Магадан снабжался хуже Москвы, но лучше Свердловска, особенно пиво было хорошее, магазин был недалеко от дома – тот самый "Нептун", где Образцов боролся с доливанием воды в сахар. На рынке весной и летом грузины продавали овощи: килограмм помидоров в марте стоил 20 рублей, в июле – 5. Гюзель слетала в Москву за вещами, потом она летала каждые полгода, чтобы не лишиться московской прописки.

Первый и пока последний раз мы попробовали вести буржуазный

образ жизни: купили мебель и даже столовый сервиз, на котором угощали гостей-осведомителей. Порой мы чувствовали себя тоскливо и, следуя Пушкину в ссылке, могли сказать:

А ты, вино, осенней стужи друг,
пролей мне в грудь отрадное похмелье,
минутное забвенье горьких мук...

Пушкину, я думаю, никогда не приходилось пить алжирское вино или египетский коньяк – ступень, за которой следует политура. Радость освобождения, радость встречи с Гюзель соединялась иногда, особенно первые месяцы, с чувством подавленности и безразличия – думаю, знакомого многим, кто побывал в тюрьме. "Вы человек волевой", вы это преодолеете", – сказал мне обнадеживающе полковник Тарасов.

Как-то вечером на мусорной куче я увидел котенка, жалобно кричавшего, и пожалел его, кошечку мы назвали простым именем Мурка. Она была очень одаренной, даже гениальной, если это слово применимо к животным, и необычайно любила, чтобы я бросал ей пробку или свернутую бумажку, она неслась за ней и приносила мне назад. Стоило мне лечь с постель, как она уже прыгала ко мне с пробкой в зубах – играй со мной. Иногда я бросал пробку в нее – и она ловила, как вратарь мяч, но тут я не сразу приучил приносить ее назад. Как у многих одаренных существ, у нее была неустойчивая психика, к тому же в раннем детстве, видимо, она пережила травму: странно боялась улицы, забивалась в щель между домами и даже на мой голос не выходила. Она пользовалась ящиком с песком, но как только у нее был понос, залезала под кровать и обгаживала разложенные там акварели Гюзель – и сама тут же бежала на "виноватое место", за дверь в прихожей, куда я сажал ее в наказание за провинности.

Я боялся, что дела Мурки будут плохи, когда она захочет познакомиться с котом – так оно и оказалось. Она убежала от нас, и я ее не мог найти в течение полутора месяцев, но Боже мой, что от нее осталось – это был скелет с изогнутой спиной тщедушного динозавра, а на животе – огромная рана. Многие коты жили беспризорно, питаясь на помойках и давая отпор небольшим собакам, – одного такого кота, толстомордого, как завхоз – "бандюхайло", мы прозвали Прораб, а другую кошку – Ларечница, но не Мурке было тягаться с ними. Постепенно она пришла в себя, и перед отъездом мы оставили ее у наших друзей, но она и от них сбежала – и пропала навсегда, она принадлежала к числу натур страстных и беспомощных, жизнь которых часто бывает коротка и трагична.

Как только пришло известие о ссылке, меня спросили в КГБ, где бы я хотел работать: в библиотеке, в театре или в институте. В Магадане была хорошая библиотека, где я впоследствии часто занимался, но

меня смутило, что библиотекаршами были одни женщины, и я был бы как петух среди кур. Магаданский музыкально-драматический театр был когда-то крепостным театром Дальстроя* – актеры были зэками, пел Вадим Козин, режиссировал Леонид Варпаховский; "выйдя на свободу", театр деградировал. Мы с Гюзель были на двух опереттах при полупустом зале, все это живо напомнило мне послевоенные "халтурки", в которых участвовала моя тетя. До зарезу нужну была пьеса на магаданскую тему, чтобы выехать с ней на гастроли в Москву, даже мне делались намеки, не могу ли я написать. Но в театре все места оказались заняты – и он тоже отпал.

Из четырех институтов – проектно-строительного, геологического, биологического и комплексного – наиболее престижным был Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Академии наук СССР, он, кроме геологических, имел исторический и экономический отделы. Лабораторию комплексных экономических проблем возглавлял интеллигентный еврей с армянской фамилией Эдуард Борисович Ахназаров, и я попросился к нему. Когда он узнал, что это мне Марк посоветовал, то набросился на него с бранью, а мне рассказывал, как был моим предстоящим появением напуган, ждал, что войдет здоровенный бородатый мужик вроде Пугачева и крикнет с порога: "Долой советскую власть!" – и что тогда делать, вязать меня, заявлять в КГБ или затыкать уши. В дальнейшем мы стали друзьями, но, как царь Мидас своим прикосновением превращал все в золото, так и я метил тех, кто приближался ко мне: после моего отъезда лабораторию как зараженную тлетворным духом распустили, и большинство сотрудников перешло в другие институты.

Внешене Ахназаров напоминал Луи де Фенеса, маленький, немного вертлявый, с живым умом и грустными глазами, был он как-то не на месте среди чугунных магаданцев – но воли у него не хватало уехать. Он был знаменит тем, что, зарабатывая около тысячи в месяц, раза в четыре больше среднего магаданца, никогда денег не имел, ходил в потертых ботинках, купленном в складчину его сотрудниками пальто, вдобавок задолжал несколько тысяч. В кубышку он деньги не складывал, но мог покупать по две бутылки шампанского в день – сам почти не пил, кормил родственников жены, заполнивших его маленькую квартирку слоновыми телами и ослиными голосами, так что он вздыхал: "Это сама Россия ко мне пришла!" – а нередко деньги просто терял. В СССР кредитных карточек нет, приходится таскать с собой наличные, я ему даже посоветовал нанизать пачку денег на веревочку, как сушеные грибы, и привязать к карману, так что вырони он их, деньги за ним потянутся.

---

* Управление МГБ на Северо-Востоке, до организации Магаданской области в 1953 году.

– А не будет ли народ смеяться? – забеспокоился Ахназаров.

– Плохо вы знаете русский народ, – ответил я. – Народ скажет: видали мы скупердяев, но чтоб деньги на привязи держал – первый раз, вот это действительно мужик крепкий, пальца в рот не клади.

По образованию горный инженер, Ахназаров стал заниматься экономикой, увлекся социологией и антропологией и хотел, оставаясь в рамках марксизма, построить теорию происхождения человека и развития человеческого общества на противоречиях между умственным и физическим трудом, на что заведующий отделом науки обкома сказал: "В Магаданской области наука не делается!"

Правой рукой Ахназарова была Батаева, женщина умная и добрая, но начетчица-марксистка, на примере которой я мог отчетливо наблюдать, как – из осторожности или страха – человек очерчивает вокруг себя "магический круг", за который его ум уже не переходит. Двое способных ученых пришли, как Ломоносов, чуть ли не в лаптях из глубин Сибири: Килин, бывший при мне парторгом, и Ядрышников, который всего боялся. Боялся он даже защитить кандидатскую диссертацию, к чему стремятся все молодые ученые.

– Чего вы, собственно, боитесь, – спрашивал его Ахназаров. – Какая опасность в том, чтоб защитить диссертацию?

– Никогда не знаешь, откуда придет настоящая опасность, – отвечал Ядрышников и, поспешно надевая шапку на свою умную русскую голову, уходил, чтобы не продолжать неприятный разговор. Нечего и говорить, что я внушал ему не страх, а просто ужас.

Его противоположностью был крупный и громкоголосый Краснопольский, стремящийся как можно скорее диссертацию защитить, карьеристская натура вылезала в нем на каждом шагу, но он был еврей, что блокировало ему путь наверх. Кто-то принес в лабораторию тест для определения характера, у большинства получился ответ – "мягкий интеллигент", у меня – "ограниченный учитель", поучать я действительно люблю, а у Краснопольского – "подонок". Он немножко посмеялся, тест и был шуточный, но сказал, что ответит на вопросы более серьезно – и снова вышло "подонок". Перед пасхой по почтовым ящикам разбросали открытки: "Дорогой брат, поздравляем со светлым воскресением Христовым!"

– Надо немедленно сдать в КГБ! – разволновался "дорогой брат" Краснопольский.

– Я знаю народ, – имел привычку повторять я, отчасти подражая Фоме Опискину, и парторг Килин вскидывал на меня удивленные глаза, – и народ знает меня! – Тут уж глаза его совсем вылезали из орбит. Он, впрочем, был всегда рад поговорить со мной, даже спрашивал, какая разница между индивидуализмом и эгоизмом, у него была некоторая наивность мальчика из крестьянской семьи и вместе с тем хорошая способность ориентироваться в бюрократических дебрях

науки, недостаток культуры он возмещал исключительной работоспособностью. В каждой научной лаборатории есть два крайних полюса – кто-то работает за половину сотрудников, и кто-то не делает совсем ничего. Не трудно догадаться, что вторым полюсом был я.

КГБ устраивал меня в институт через обком, получил я место старшего лаборанта, низшая должность для сотрудника с высшим образованием, мне как бы выдали диплом, отсутствием которого ранее попрекали. Лаборатория занималась прогнозированием, проблемами народно-хозяйственного баланса и оптимального размещения промышленных предприятий области. При кажущейся простоте проблемы – вести ли разработку ископаемых там, где богаче месторождение, или там, где развитее инфраструктура, она для области была болезненной. Работа лаборатории была связана с секретными данными, так что Ахназарову пришлось поломать голову, прежде чем он предложил мне заняться проблемой интересов. Я прочел книгу одного советского экономиста – и понял, что если прочту еще одну такую, то сойду с ума: триста страниц жевалась наукообразная каша без малейшего проблеска мысли. Я заинтересовался прогнозированием, в частности "методом дельфы" – усреднением прогнозов нескольких специалистов. Мнения всех полагались равными, я же предложил, чтобы каждый предварительно оценивался другими, и этот коэффициент учитывался при сопоставлении оценок – Ахназаров назвал это "методом склока" и попросил работу над ним прекратить, пока она не привела к развалу института. После этого я, сидя в лаборатории, почитывал для общего развития сборники по системному анализу, я так заинтересовался этим, что в Москве даже начал изучать математическую логику уже известного читателям Юрия Шихановича.

Но книги я мог читать дома или в библиотеке и не видел смысла в посещении института, так что стал заходить туда только за деньгами и разговаривать с Амстердамом, Карел Ван хет Реве звонил мне раз-два в месяц. Разговоры носили невинный характер, но всех необычайно волновали, и КГБ требовал прекратить их, я отвечал, что не я звоню, а мне, и отключать телефон у института все же не хотели. "Славные органы" были представлены в нашей лаборатории совсем не плохо: у одной сотрудницы в КГБ работал муж, у другой отец, а еще двое, мужчина и женщина были известны как осведомители. Женщина, несколько мужеподобная и необычайно энергичная, довольно ясно намекала, что хочет спать со мной – не знаю уж, по собственной ли инициативе или по заданию КГБ, но видя ее энернию, я струхнул не на шутку. По счастью, Бог спас.

– Как хорошо, Андрей Алексеевич, вы вписались в наш коллектив, – сказала она мне однажды. Я, действительно, не хотел прослыть "гордецом", чем менее я работал, тем более старался это компенсировать активным участием в разного рода пикниках и вечеринках,

устраиваемых у сотрудников, а то и в самой лаборатории. Дни рождения тут же отмечались шампанским, каждому вскладчину делали подарок – потом грозным приказом директора пить в институте было запрещено. Полковник Тарасов время от времени спрашивал меня, как ко мне относятся, и я отвечал: прекрасно – к его заметному огорчению.

– Но поговаривают, что вы как-то связаны с нами, получили вот квартиру, не считают ли вас нашим агентом?

– Прекрасно, если считают, – ответил я. – Быть агентом КГБ в глазах советского общества – это почти что быть начальством, больше будут считаться со мной.

Один раз я участвовал в совместной экскурсии на переборку гнилого лука. Несколько раз в году ученых, инженеров, рабочих, служащих, иногда даже сотрудников КГБ "бросают" на уборку или переборку картошки и других даров природы, социалистическая система не может иначе справиться с уборкой и хранением овощей. И когда русский попадает на Запад и видит груды овощей на прилавках, с одной стороны, и протесты обделенных лесбиянок и педерастов, с другой, то бормочет себе под нос: "Зажрались, послать бы их месячишко-другой гнилую картошку перебирать!" Пять сотрудников овощехранилища смотрели, как работает десять ученых, при этом нас предупредили, что будут обыскивать, не украли ли мы лука. Но мне уже лагерные шмоны достаточно надоели, и когда от меня впоследствии требовали, чтоб я шел на переборку картошки, или на первомайскую демонстрацию, или еще на какое-то "мероприятие" – я отвечал, что моя душа будет с ними, но тело останется дома.

– Как же так, Андрей Алексеевич, – говорил, посмеиваясь, Ахназаров, – я – заведующий лабораторией, член правящей партии, а вы – ссыльный недоучка, а насколько вы увереннее в себе.

Всерьез это волновало начальника отдела Цветкова, экономиста-самбиста, думаю, его и Тарасов немножко поднакачивал.

Первый раз я обратил внимание на этого ученого новой формации, когда он, склонившись с другим ученым над диаграммами, методично водил рукой по волосам и вытряхал перхоть на лежащие перед ним листы. Несколько раз хотел он напасть на меня – надеюсь, что не с приемами самбо, но директор института приказал меня не трогать.

Николай Алексеевич Шило – все его поклонниики с удовольствием повторяли, что шила в мешке не утаишь – был единственный академик на весь Дальний Восток; когда в 1974 году в Магадан прилетел Косыгин, поговаривали, что он хочет забрать Шило в Москву. "Едва ли, – сказал Коломийченко, – какой ему смысл ехать в Москву, там он затеряется среди других академиков". Шило тоже был ученый новой формации: в эпоху Дальстроя был он как геолог майором МГБ, а

теперь – член бюро Магаданского обкома. Как же было горько колымчанину №1, что я каждый раз при встрече не узнавал его, у меня плохая память на лица – а у него был вид неприметного мужичка, он затерялся бы не только среди академиков, но и среди бичей у пивной. Как большой патриот Колымы, написал он статью, что чувствует себя в Магадане лучше, чем в отравленном выхлопными газами Париже, после чего на вопрос, как я себя чувствую, я всегда отвечал: "Лучше, чем в Париже". Ко мне он, совершенно безосновательно, отнесся как к угрозе для своего исключительного положения, особенно, когда прошел слух, что я буду писать статьи об области, и наш последний разговор кончился тем, что он посоветовал мне пойти учиться, а я ответил, что мое огромное преимущество, что я не слишком долго учился в Советском Союзе.

Не могу судить, какой Шило геолог, но советы, которые он давал Косыгину, сводились к тому, что раз цена на золото на мировом рынке поднялась, надо продавать его как можно больше. Золото – это колымская тайна, обволакивающая загадку. Стоимость добычи золота государственными обогатительными комбинатами так высока, что едва ли не выгоднее закупать, а не продавать его в Швейцарии: продажа советского заолота – скрытая форма демпинга, стоимость его добычи покрывается за счет других секторов экономики, а также за счет если не прямо частного, то получастного сектора. Колымские артели, то есть зарегистрированные группы золотоискателей, покупают технику, им отводят полигоны, как правило, государством уже использованные или малоперспективные, и они должны сдавать все золото по твердой цене – не выше 1 рубля за грамм, в то время как себестоимость золота на комбинатах доходила до 14 рублей, а государственная цена при продаже была 20. При этом артельщики могут заработать несколько тысяч за лето, чтобы осенью их в магаданских ресторанах "прогудеть". Государство держит артели под строгим контролем, председатель даже должен быть утвержден в райотделе милиции.

Мы жили изолированно, хотя некоторые знакомые у нас появились. Магаданское общество, вобравшее в себя сначала насильно, а затем добровольно представителей московской, ленинградской и киевской интеллигенции, для советского провинциального города не совсем типично. Нам было любопытно познакомиться с Вадимом Козиным – в тридцатые годы он был знаменитым эстрадным певцом, в конце сороковых его арестовали по обвинению в педерастии и отправили на Колыму. Сочли, однако, что такому известному человеку неудобно сидеть "за жопу", и второй срок дали "за разговоры", подвел он на втором следствии многих, в том числе Леонида Варпаховского. Люди моего поколения еще знали Козина по старым пластинкам, но сейчас он почти забыт, из-за лагерного прошлого пластинок

его не выпускают, и он доживает свой век магаданским раритетом в маленькой квартире среди бесчисленных изображений кошек, сам несколько похожий на сову. Он рассказывал нам, что когда услышал о моем намерении посетить его, сразу же позвонил в "органы". "Органы" ответили: можно. Был он очень возбужден тем, что Солженицын упомянул его в "Гулаге", не исключаю, что узнал от КГБ; прощупывали его, не сделает ли какое-то протестующее заявление.

Думаю, без консультации с "органами" не обошлось и наше знакомство с Анной Нутэтэгрэнэ, бывшим президентом Чукотки и вище-президентом СССР. От этой поры остались книжки, написанные местными подхалимами: ехал-де он в московском метро в дни сессии Верховного совета и заметил, что в газетах "с особенным вниманием" читают москвичи речь Анны Нутэтэгрэнэ. По магаданской легенде, она потеряла свои посты, поребовав отделения Чукотки от СССР, советское общество склонно к "парашам". Ее вина была в том, что она сначала вышла замуж за еврея – это уже не понравилось власти, а затем развелась с ним – это вообще противоречит нормам партийной элиты. Не зная, что с ней делать, ее послали сначала в ВПШ* в Москву, а замем назначили секретарем ближайшего к Магадану Ольского райкома. Секретарь райкома на Севере – полный владыка района, но она чувствовала себя тоже как бы в ссылке и держалась с долей фронды. По ней было видно, насколько стискивает эта система живого человека – не уверен, что движение вверх достаточно компенсирует невозможность хоть чуть-чуть двинуться вбок. Но она держалась свободно, говорила, что она – прежде всего женщина, было ей уже за сорок, а ее новому мужу лет на десять меньше. Возле нашего дома милиция задержала его пьяного за рулем, не зная, что он муж важной дамы.

– Как жаль, что у вас нет телефона, – убивалась она, – я бы сейчас Шайдурову позвонила, я бы сейчас Коломийченко позвонила.

– Да никуда вы не звоните, – сказал я, – дайте ему хоть день почувствовать, что он мужчина, а не мальчик при жене.

Мы познакомились с художниками: хорошим гравером Кошелевым, уже после нашего отъезда ослепшим, и двумя молодыми ребятами, одаренными, но обреченными в Магадане. Один необычайно нам обрадовался, подарил красивый натюрморт с цветами и сказал, что всегда чувствовал потребность писать так же свободно, как Гюзель, но боялся и подумать об этом. Художниками твердой рукой, как старшина-сверхсрочник ротой, управляла толстуха лет пятидесяти – Лидия Тимашева, в прошлом балерина, в настоящем искусствовед, а в прошлом, настоящем и будущем – агент КГБ, о чем нас художники предупреждали. Она устраивала выставку, и я сказал

* Высшая партийная школа ЦК КПСС.

Коломийченко, что неплохо было бы пригласить Гюзель.

– За чем дело стало, – сказал лучший покровитель искусств и друг художников. – Борис Васильевич, переговорите с Тимашевой.

Тимашева захотела зарезать лучшую из предложенных работ Гюзель, ее отстояли художники. Картины были развешены совсем не плохо, но кроме дня открытия выставку никто не посетил. Художники дали интервью местному телевидению – причем Тимашева вручила всем заранее приготовленные тексты, завизированные цензурой. Гюзель должна была сказать, что она рада, что выставили ее "Натюрморт с рододендронами". Она отказалась читать чужой текст, ей-де перед микрофоном слово "рододендроны" не выговорить.

– А что вы собираетесь сказать? – заволновалась Тимашева.

– Скажу, что мне нравятся колымские сопки.

– Ну, это можно, – и магаданский народ смог увидеть Гюзель на экранах своих телевизоров.

Не оставляя мысли о машине, я поступил на водительские курсы ДОСААФ. Нам прежде всего разъяснили наши многочисленные повинности – отдежурить столько-то часов у них, столько-то в милиции, затем мы долго изучали правила движения, повторяя их хором за инструктором. Наконец, я оказался за рулем: трое курсантов в одной машине, инструктор проработал весь день на грузовике, был устал, раздражен и пьян, была черная магаданская ночь, мы ездили кругами по изрытому кочковатому полю, покрытому снегом и льдом – ничего перед собой я не видел, на ухабах меня трясло, на поворотах заносило, и я думал об одном: когда эта мука кончится. Инструктора не приходили в назначенное время, вместо проезженного часа писали два – и я решил от занятий отказаться, получил я права только через три года в Вашингтоне.

– Это Амальрик! Это Амальрик! – так кричат, когда дикий зверь вырвется из клетки: я зашел в канцелярию областного суда, и меня узнала секретарша. Я посетил суд и прокуратуру под предлогом, что хочу познакомиться со своим делом – конечно, мне его не дали, но я хотел посмотреть на тех, кто меня осудил. Судья Рыбачук начал загораживаться толстым томом очередного "дела": пожалев в свое время, что мне не дали по шее, он испугался, что сейчас получит сам. Прокурор Гуряев заметно нервничал, а следователь Ботвиник, когда я спросил, зачем он влез в это грязное дело, ответил, что он выполнял приказ.

Приказ выполняли и следователи, и свидетели. В марте 1974 года я увидел, как навстречу мне по улице Ленина идет Леша Иванченко – и он меня увидел.

– Андрей Алексеевич, ты ведь мне руки теперь не подашь.

– Пожалуй, не подам, – ответил я, и Иванченко спросил, что он может сделать. Написать, как все было, ответил я. Леша рассказал, что

он подал ходатайство о помиловании, и как только выступил на моем суде — ему четыре оставшиеся года заменили на условный срок.

"Андрей Алесеевич, после долгих сомнений я решил написать тебе правду о тех обстоятельствах, при которых я свидетельствовал против тебя, — писал Иванченко, сидя за моим столом. — Этим письмом я хочу снять тяжесть со своей души, не хочу, чтобы ты считал меня подлецом, и готов подтвердить все, о чем пишу здесь... Когда меня 26 апреля 1973 года вызвал на допрос прокурор следственного отдела Магаданской облпрокуратуры Ботвиник, он руководствовался показаниями, данными мной следователю КГБ, они лежали у него на столе, полуприкрытые листом бумаги. Когда я начинал спорить с ним и показывать по-другому, то меня уводили к следователю КГБ... и он убеждал меня повторять прежние неточные показания". Держа в руках ручку... Леша задумался, видно было, как капли пота выступили у него на лице, наконец, вздохнув, он подписал.

— Ну, действительно, словно камень свалился, — сказал он и, несколько минут помолчав, добавил: — Знаешь, Андрей Алексеевич, я не много, но все же за шесть лет в лагере заработал, не мог ли бы я за эти деньги выкупить у тебя письмо назад?

"В прошлом году, будучи свидетелем на процессе антисоветчика Амальрика, как и многим другим свидетелям, он заявил прокурору Ботвинику, что я не могу быть свидетелем, ибо украл у него куртку... На всех свидетелей, выступавших на суде, Амальрик клеветал, его хоби — писать кляузы и пасквили на всех и вся". — письмо другого лжесвидетеля, Евгения Образцова, было адресовано в Магаданский городской суд. Если к Иванченко я не испытывал зла, то с Образцовым решил рассчитаться — не убить, как предлагал Гаврилыч, но ударить по карману, едва ли не самому больному его месту. Я начал дело по выходе из тюрьмы — прокуратура уклонялась; суд тянул, КГБ консультировал Образцова, сам он на слушание не являлся. Суд состоялся на шестой раз, Образцов пояснил, что сидел за убийство и теперь жалеет, что не убил также меня, получение куртки отрицал катергорически. Ботвиник, однако, посоветовал мне запросить выписку из показаний Образцова по моему делу. Когда судья спросил, почему он признавал получение куртки тогда и отрицает теперь, Образцов ответил: "Надо было делать вид, что я с ним в хороших отношениях". Суд присудил взыскать в мою пользу 78 рублей 52 копейки. Задыхаясь от ярости, Образцов сказал: "Была бы хоть куртка хорошая, так она мала мне!"

— Я слышал, что вы о советском судопроизводстве книгу писать хотите, — сказал мне напоследок судья Чуриков, — пишите, но смотрите, как бы вас не постигла судьба Солженицына. Ему хоть и разрешили поселиться в Швейцарии, но "без права заниматься политической деятельностью", мутил воду — а швейцарцы его так прижали, что он и не пикнет.

Глава 23.

СВЯТАЯ ОЛЬГА И ЕВРЕИ

Не знаю, как швейцарцы Солженицына, но меня КГБ "прижимал": я вышел из тюрьмы, мне дают квартиру – пришла пора отказываться от "ложных идей", я отвечал, что я еще в ссылке, так что мои оговорки сохраняются. В январе 1974 года приезжал из Москвы "специалист по диссидентам" Андрей Васильевич Пустяков, переговоры наши были обставлены торжественно, и если кто-то звонил в это время, Коломийченко отвечал: "Позвоните потом, у нас совещание". Достаточно изучив приемы и язык гебистов, я никогда на Всеобщую декларацию прав человека не ссылался, черпая доводы из более авторитетного для них источника.

– С квартирой, Андрей Алексеевич, возникли определенные трудности, – говорит мне, например, полковник Тарасов.

– Товарищ Сталин учил, что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Умейте преодолевать трудности, – отвечаю я, глядя полковнику в глаза.

– Андрей Алексеевич, да это же мелочи! – говорит Коломийченко, отметая рукой какие-то, с его точки зрения, несущественные мои придирки.

– А как говорил товарищ Сталин: никогда не пренебрегайте малым, ибо из малого складывается великое! – Я имел возможность без труда припадать к источнику сталинской мудрости, так как Гюзель привезла поваренную книгу, изданную при жизни великого вождя: начиналась она со слов Сталина, что "жить стало лучше, жить стало веселее", и во всех разделах, будь то о винах или супах, была к месту или не к месту притянутая сталинская цитата, так что я перед каждым разговором в КГБ эту книгу перелистывал.

КГБ против Сталина выдвинул Ленина – я намекнул, что Ленин еврей; лучший ответ на идиотские доводы начальства – еще более идиотские доводы. После длительных пререканий, была ли бабушка Ленина еврейка, я раздраженно сказал: "Пусть даже его бабушка не была еврейка, так вот у вас висит портрет Дзержинского – он уж точно еврей!" Дзержинский был польский дворянин, но окончание на "ов" или "ко" подействовало так завораживающе, что Коломийченко, Тарасов и Пустяков сразу же замолчали. Аргументы Тарасова, увы, бывали поэтичнее моих: так, он сравнил советский режим с кораблем, на днище которого налипли затрудняющие его путь ракушки – и потому необходимо периодически счищать их, притом имел он в виду не диссидентов, которых его ведомство весьма энергично "счищает", а бюрократов.

Когда я сказал Коломийченко, что хочу поблагодарить тех, кто добивался моего освобождения, он чуть ли не за голову схватился, но при первом же телефонном разговоре с Карелом я попросил передать благодарность всем на Западе. Коломийченко же доказывал, что, наоборот, сейчас самое подходящее время "дать отповедь западным "доброжелателям", которые пытались использовать меня "как марионетку", и в первую очередь ударить как раз по Карелу Ван хет Реве – мол, достаточно ясно, из какого источника берутся деньги для Фонда Герцена.

– Идея неплохая, – сказал я, – но вот мы с вами так непринужденно встречаемся, понравилось бы вам, если бы я потом изобразил вас в своих записках в каком-то неприглядном и идиотском виде?

Коломийченко изобразил на лице, что нет, не понравилось бы, и я закончил, что и о Ван хет Реве, с которым мы дружески встречались в Москве, я тоже не хочу дурно отзываться. Да, впрочем, у меня впечатление, что и о Коломийченко я пишу в этих записках совсем не плохо.

Наши переговоры, однако, с мертвой точки сдвинулись, и вместо письма в газету Пустяков предложил мне написать "изложение взглядов" для "очень высокого начальства" в Москве. Чтобы я лучше мог с этой работой справиться, он дал мне "СССР до 1984?" с многочисленными пометками, от чего и как должен я, по мнению КГБ, отказаться. Также я попросил "Путешествие в Сибирь" и "Статьи и письма"; Тарасов нашел, что в "Путешествии" много места уделено мелочам – я ответил, что он лучше кого бы то ни было знает, какую роль играют мелочи в жизни зэка. Еще я попросил пишущую машинку – Тарасов обещал, но тянул, боялся, что я на машинке КГБ стану печатать "антисоветские" сочинения. Дождавшись, когда мне дали квартиру, я написал письмо, нейтрально адресовав его в Президиум Верховного совета СССР, машинку мне дал знакомый художник.

Не надо думать, что я просто уступал давлению, я был среди многих, кто попал под обаяние разрядки. Я считал Никсона и Киссинджера хотя и циничными, но дальновидными и твердыми государственными деятелями, которые какую-то цену за разрядку СССР вынудят платить. Сближение с Западом потребует постепенных изменений внутри страны – и это открывает возможность для диалога с властью, в осторожной форме я на десяти страницах повторял те идеи, которые впервые изложил в 1967 году в письме в "Известия", а в 1969 году – в своей книге.

Я начал, что *"какое-либо публичное "покаяние"я нахожу не только малодостойным, но и бесполезным"*. Целью "СССР до 1984?" было *"обратить внимание на опасности, грозящие нашей стране, однако желание, чтобы мой призыв заметили, побудило меня представить вещи в наиболее драматическом виде"*. Мне и сейчас кажутся реальными

следующие проблемы: 1) Китай; 2) Германия и Восточная Европа; 3) США и соперничество за влияние в "третьем мире"; 4) экономика; 5) окостенение методов управления; 6) класс "специалистов" и обмен информацией; 7) национализм; 8) разочарование молодежи; 9) идеологический вакуум. *"В любом стабильном обществе эта проблема всегда отодвигается на задний план, чтобы выйти на авансцену в кризисных ситуациях, когда оказывается, что живую идеологию не заменит самая пышная обрядность... По-видимому, происходящая сейчас научно-техническая революция приводит и приведет к таким изменениям в мире, что проблема идеологии стоит по-существу перед каждой сложившейся системой, как перед СССР, так и перед США".* Стоит-то стоит, но черт ее знает, как должна быть решена: я писал, что ни марксизм, ни русский национализм, ни западный либерализм не годятся.

В экономике советской системе предстоит такой же кризис, какой капиталистическая пережила в тридцатые годы – однако *"социалистическое общество не имеет своего Кейнса. Быть может, Чехословакия могла бы стать моделью новой экономики, своего рода учебным полигоном,.. но этого не произошло".* Понятно, что сближение с Западом *"может повлечь эрозию советского общества, не выработавшего из-за своей замкнутости идеологического иммунитета, а это выведет развитие общества из-под контроля... Но мир развивается слишком быстро, чтобы сейчас позволить себе такую роскошь, как изоляция. Важно только, чтоб этот процесс общественной модернизации органически вытекал из традиций нашей страны и строя... Чем дальше будет заходить процесс международной разрядки, тем больше будут проявлять внимания правительства и общественность Запада не только к внешней политике, но и к тому, что происходит внутри СССР"* – спустя пять лет видно, насколько я был прав в последнем. Заканчивал я тем, что хочу содействовать наметившемуся сближению с Западом.

Коломийченко сделал несколько замечаний: Демократическое движение я пишу с большой буквы – надо бы с малой, рассуждаю о национализме – но отношения между советскими народами хорошие, марксизм изображаю "старомодным" – но ведь нельзя так просто от одной идеологии отказаться ради другой, и что, наконец, тон записки поучающий. Я сделал некоторые смягчения, а что касается тона, то сказал ему, что он, видимо, привык писать докладные начальству, а я поучать жену – естественно, что стиль у нас разный. Коломийченко отослал мое письмо в Москву и через месяц вернул со словами, что по существу за него надо давать новый срок.

За несколько месяцев до моей попытки диалога с властью была сделана другая – сходная в смысле отношения к идеологии, противоположная по совету спастись через изоляцию, и с одинаковым немым

”нет ” в ответ. ”Письмо вождям” Солженицына было опубликовано весной 1974 года заграницей – почти в то время, как я писал свое ”письмо вождям”. Фигура Солженицына доминировала на советской сцене в течение десяти лет, позднее на вопросы об отношении к нему я отвечал, что высоко ставлю его как личность – он стойко противостоял бесчеловечной системе, ценю как писателя и не согласен как с идеологом. Схема эта насильственна, так как его противостояние режиму неотделимо от его книг, а книги – от идеологии, но в то же время она верна, ибо Солженицын сначала сложился как борец, затем как писатель и только потом как идеолог.

Случайно я прочел ”Один день Ивана Денисовича” одним из первых, до публикации, хорошо помню тесный машинописный текст на обеих сторонах листа. Я видел, что автор талантлив, но повесть показалась одной из неонароднических повестей, которые занимали много места в журналах – только лагерная тема была не для журнала. Я ошибся в оценке Солженицына как писателя-народника – прочтя его романы, я увидел, насколько он шире. Но вместе с тем на всем, что им написано, лежит неизгладимый отпечаток провинциализма: он думал, что он

...жизни небывалый
невообразимый ход
языком провинциала
в строй и ясность приведет.

Мне он как-то напомнил Зверева; конечно, у Солженицына не только талант, но культура, работоспособность и огромная воля – но нет скептического отношения к самому себе, способность творить явно доминирует над способностью отбирать.

Публикация ”Ивана Денисовича” была шоком, но в рамках ”курса”, Солженицын был ”за” и только с ”непубликацией” романов стал ”против” – почетное положение для писателя – и начал приобретать огромное значение. Я долго думал, что власти могли бы ”приручить” его, договориться о купюрах в ”Раковом корпусе”, опубликовать часть глав из ”Круга первого” – ради этого он пошел бы на уступки тоже. Я и в этом ошибался: рано или поздно кофликт был неизбежен, могли, действуя потоньше, его оттянуть, но не предотвратить – еще в пору ”медового месяца” с властью держал Солженицын камень за пазухой, ”Архипелаг Гулаг”.

С выходом ”Архипелага” мир впервые услышал одного из поколения, которое, казалось, уйдет невыслушанным. В советских властях что-то подломилось, как ”наверху”, так и ”внизу”: я ждал заявления пенсионеров, что в прошлом они пострадали немного, но теперь все великолепно – зачем же на руку врагу ворошить печальные страницы,

но в газетах началась прямо истерика, а когда полковник Тарасов говорил со мной об "Архипелаге", у него буквально руки тряслись. Каждый том я читал не отрываясь – но я сам сидел, далеко не все будут так читать. Слабость отбора особенно заметна там, где Солженицын хочет так же эмоционально писать об историческом как о лично пережитом – отсюда нота не фальши, но неточности, он дал замечательный подзаголовок "опыт художественного исследования", но не всегда в рамках этого опыта остался. И еще: он не пытается понять другую сторону, зло остается необъясненным у него, только осужденным, а потому непреодоленным. Наконец, пропадает перспектива. Книгу он хотел закончить лучом надежды: обращение Богораз и Литвинова "К мировой общественности", встречался с ними весной 1968 года, но чем-то они ему не угодили – и ни слова о начале общественного сопротивления тоталитаризму в книге нет.

Солженицын написал, что вторжение в Чехословакию осталось без протеста, потому что он, Шостакович и другие известные лица промолчали – а демонстрация 25 августа на Красной площади? Не было протеста, потому что вышли не всемирно известные Солженицын и Шостакович, а никому не известные Дремлюга и Бабицкий? А если бы в 1956 году протестовал против вторжения в Венгрию не Шостакович, что и вообразить невозможно, а безвестный рязанский учитель Солженицын – разве этот протест не имел бы нравственной силы, разве его не было бы? "Иерархия протестов" напоминает традиционное для матушки России рассуждение: если бы не было чинов, в каком же порядке за столом блюдами обносить?

Завоеванная известность дала Солженицыну устойчивость для борьбы. Он не выходил на демонстрации, не подписывал обращений, не вступился ни за кого, кроме Жореса Медведева, но – боролись его книги, и то, что символом сопротивления стал писатель, было и традиционно для России и давало надежду после нравственного падения "советский писателей". "Писатель – и лидер политической оппозиции?" – ответил Солженицын на обвинение в политическом лидерстве, он был лидером нравственной оппозиции, и потому каждый видел в нем то, во что верил сам: правозащитники – правозащитника, писатели – врага цензуры, верующие – борца за религию, неославянофилы – представителя "русского духа", грузины или армяне – защитника малых народов, постепеновцы – постепеновца, готового с ними уговаривать власть, радикалы – радикала, отвергающего все уступки. И пока он говорил за себя своими романами, он был всем этим, каждый, кто отвергал режим, с одинаковым правом мог сказать: он наш. Солженицын и идеологически принадлежал всем – начав с ортодоксального марксизма, он, то задерживаясь, то проскакивая, как курьерский поезд, и сохраняя юношескую нетерпимость, обошел все "колесо идеологий": ревизионизм, либерализм, популизм, чтобы оказаться

среди правых славянофилов, и весь этот путь отразился на нем, он весь в идеологических рубцах и метах.

Но, переходя с позиций художника на позиции идеолога, не мог он долго удовлетворять всем – и так как никто не хотел от него отказываться, он сам начал отсекать своих сторонников, и державшая его волна начала опадать – хотя и не сразу. Меня оттолкнул его отзыв о Демократическом движении как "крикливом", требовавшем "только свободы". Для Солженицына свобода – временное условие, нужное для построения идеального и без свободы общества, для меня свобода – высшая цель бытия, я существую, пока я свободен, пока я имею право выбора.

"Письмо вождям" больше всего напомнило мне "Государство и революцию" Ленина – та же способность не подвергать сомнению то, во что сам автор поверил, та же подмена целого частностями при описании идеала, то же пренебрежение к тому, как реально этот идеал можно достичь. Солженицын пишет, что готов от своих предложений отказаться, если будет "выдвинута не критика остроумная, но... выход лучший" – русское "все или ничего", отбросим всеобъясняющий марксизм и возьмем всеобъясняющее православие. У него самого скорее соглашаешься с "критикой остроумной", да и трудно не согласиться, что ставка на непрерывный экономический рост заведет в тупик, в его "романтическом консерватизме" есть обаяние, я сам с тоской вспоминаю Москву времен трамваев и чистого воздуха; согласен с опасностью гигантизма и повоторяю всед за Солженицыным и Шумахером "все малое – прекрасно", мы и дом купили недалеко от маленького города – Женевы. Однако едва ли возможна при существующем в мире соперничестве сознательная остановка технологического роста, может быть, сама технология приведет к малоэнергоемкой экономике.

Отступление на Северо-Восток – одна из старейших тем русской истории: спасли им русские свою независимость, но не от татар, а от Европы – и потом в корчах и муках пришлось "догонять" ее. Ну, передвинутся все русские на малообжитый Северо-Восток – что мы там, новую жизнь начнем, да все наши недостатки и неустройства будут перенесены вместе с нами, вот русские на Запад уезжают и несут с собой все несчастья и старые счеты, от себя не убежишь. А как убедить людей, чтоб они на Северо-Восток ехали? Я полтора года прожил в Западной Сибири и четыре на Крайнем Северо-Востоке, эти места не удастся широко заселить добровольно, даже затратив "дурные космические деньги": эти деньги для освоения Северо-Востока – капля в море. Единственная реальная возможность массового освоения – насильственные депортации, лагеря, спецпоселения, в общем то, что уже было и против чего Солженицын всеми силами души протестует.

Я следил за поездками Солженицына по миру, соглашался с тем,

что он говорил об отсутствии политической воли на Западе. Но впечатление было, что как будто он не к Западу обращается, а к своим товарищам по лагерю. Голос его поколения спустя четверть века был услышан, но ведь пока Рип Ван Винкль спал, мир не стоял на месте, и едва ли этот мир черно-белый, и едва ли коммунизм – единственный источник зла, и едва ли лучший способ борьбы с диктатурой – измерять, какая лучше, правая или левая. Авторитаризм всегда терпимее тоталитаризма, уровень свободы во франкистской Испании был гораздо выше, чем в брежневской России – но вправе ли мы на этом основании поучать испанцев, что не нужно торопиться к демократии, что "нам хуже". "Нам хуже" – это мы всем суем под нос, не совсем понимая, что нам могут ответить: если наши проблемы вам чужды, почему же вы претендуете, чтобы мы понимали вас. Нам может сказать какой-нибудь угандиец: чем вы недовольны, вас несколько лет в тюрьме кормили и поили, а потом вытолкнули за границу, а у нас разбивают головы молотком или бросают на съедение крокодилам!

"Как вы знаете лучше меня, промышленное значение русского Северо-Востока все более возрастает" – писал я в мае 1974 года, но не Солженицыну, а Шайдурову, первому секретарю Магаданского обкома. Возвратив мне "изложение взглядов" с предупреждением о новом сроке, КГБ отнюдь не махнул на меня рукой, мне оставался еще год ссылки, и я, следуя тактике "спуска на тормозах", в виде компромисса предложил серию статей об экономическом развитии области. Мне хотелось также как можно больше поездить по Колыме, а КГБ рассудил, что публикация статей даст мне некторые гарантии – значит, я смогу идти на сближение с ними.

– Помните, как Гамлет говорит Гильденстерну: если вы не умеете играть на таком простом интрументе как флейта, как же вы пытаетесь сыграть на таком сложном, как моя душа. – Сказал я как-то Елисееву. – Вы ведь на флейте играть не умеете?

– Не умею, – честно сказал Елисеев, хотя "органы" должны не только все знать, но и все уметь, впрочем, в игре на флейте чудилось ему что-то легкомысленное и чуждое органам, то ли дело играть на чужой душе.

Шайдуров наложил резолюцию: мое предложение "не возражает использовать для пользы дела", просит согласовать с ЦК КПСС и КГБ. "Польза" – любимое советское слово, когда я сказал академику Шило, что руководствуюсь еврейской этикой "не делать другому то, что ты не хочешь, чтобы он делал тебе", Шило ответил: "Наша этика – приносить пользу обществу и тем самым получать пользу от него". "Согласование" с Москвой заняло месяц, решили, как учил товарищ Сталин, "не пренебрегая малым", начать с одной статьи в "Магаданской правде", а там видно будет. Мы с Владимиром Федоровичем долго разбирали, на какой теме остановиться: золото – засекречено,

рыболовство – опасно, он постоянно на японских рыбаков жаловался, остановились на энергетике. Вспомнил я тут, что и суд надо мной был у КГБ закодирован как "конференция энергетиков".

Промышленная инфраструктура – слабое место советской экономики, на Северо-Востоке особенно транспорт и энергетика. Низкая энергоемкость и распыленность предприятий добывающей промышленности мешали строительству мощных электростанций и созданию единой энергосистемы области, а слабая энергетика сдерживала развитие горнодобывающей промышленности, в частности, переход от добычи иссякающего россыпного золота к добыче рудного. Теплостанции на угле, давали 90% всей энергии, однако из-за дороговизны его добычи и транспортировки обсуждались проекты строительства газопровода из Якутии, ГЭС и атомных станций. Победила идея Колымской ГЭС – строительство мощных гидростанций более отвечает советской традиции, хотя требует огромных капиталовложений, которые окупаются не скоро.

Мы решили, что я посещу строительство ГЭС, Билибинскую АЭС, Магаданскую ТЭЦ и управление Магаданэнерго, оформлена была поездка как командировка от института, который ее оплачивал; УВД выдал разрешение "покидать место ссылки", даже вылететь на Чукотку, закрытый пограничный район. Зато посетить курорт Талая мне впоследствии категорически отказали, понимали, что не курорт мне нужен, а лагерь свой я хочу посмотреть.

В начале июля, вместе с данным мне "в помощь" молодым энергетиком-гебистом, я вылетел в Сусуман и оттуда на машине через Ягодное в поселок гидростроителей Синегорье. Нас встретил еще один инженер-гебист, он недавно перешел в "органы", искренне восхищался способностью советской власти строить электростанции на севере, а когда расставались – попросил ему на память надписать фотографию. Начальник Ягоднинского райотдела КГБ, пространствовавший всю жизнь по медвежьим углам, сказал мне: "Чем хороша Колыма, в каждом районе есть музыкальные школы". Дочь его учится в музыкальной школе, жена музыкальную школу кончила, да и сам он года два поучился, не знаю, играл ли он на флейте, но мог бы организовать семейный оркестр. Помню его рассказ, как ловят бурундуков: в клетку с раскрытой дверцей накладывают орехи, бурундук их за обе щеки набивает – и не может пролезть назад, а с добычей жаль расстаться, по блатному это называется "жадность фраера сгубила".

– Я сказал проектировщикам, чтоб проектировали Синегорье, как Петербург, что это за поселки, где дома разбросаны как кости! – сказал Юрий Иосифович Фриштер, начальник строительства ГЭС, подвижный и сухощавый еврей с теми замашками, которые дает необходимость управлять двумя с половиной тысячами людей. Надо отдать ему должное: в Синегорье не было палаток – неизбежного атрибута

советских строек. Мы поднялись на катере к створу будущей плотины – я не только видел Колыму, я плыл по ней и опустил в нее руки. Кто был на Севере, уже не забудет его ни с чем не сравнимую красоту, есть действительно что-то волнующее в освоении этих огромных пространств.

Фриштер был хорошим специалистом, но как советский менеджер волевого типа имел весьма смутное представление об экономике. Я сомневаюсь, что советская экономика оздоровится, если предоставят полную свободу менеджерам, они – тоже творение системы, умеют, конечно, те или иные жесткие правила обойти, без чего хозяйственная жизнь замерла бы и "строительство социализма" прекратилось, недовольны партийной опекой, но партия снимает с них проблему отношений с рабочими и необходимость думать о финансовой целесообразности проекта. Как большой энтузиаст гидростроения, Фриштер считал, что "производство электроэнергии обходится столь же дешево, как производство водки".

Из Магадана через Гижигу мы вылетели осматривать АЭС в Билибино, центр золотодобычи на Чукотке. После долгой дороги я спросил в райотделе КГБ, где у них уборная. С улыбкой понимания к человеческим слабостям начальник вывел меня из дома, мы перешли улицу, прошли два или три квартала, свернули, и он указал мне на стоящий посреди площади полуразрушенный домик, им же мы пользовались, когда поселились в гостиннице, внутри он был пострашнее нашего лагерного сортира. Полковник Тарасов сказал мне, что Чукотку называют "край вечного недосирания" – люди годами оправляются на морозе, и число заболеваний велико, особенно у женщин. Приятель мой сибирякам рассказывал, что в Москве-де дома по десять, а то и по тридцать этажей, колхозники слушали, развесив уши, пока какой-то рассудительный мужик не сказал: "Чтой-то ты врешь, парень, как же они с тридцатого-то этажа на двор срать бегают?!" Действует что ли инерция, что надо "бегать на двор", но для КолымаГЭС запроектировали восьмиквартирные дома, обогреваемые электричеством, но без уборных. Фриштер переубедить проектировщиков не смог и поручил своему главному инженеру спроектировать уборную в каждой квартире – ему будут благодарны поколения синегорцев.

Заполярный поселок Билибино произвел тяжелое впечатление, трудно было поверить, что ему всего полтора десятилетия: грязь, бараки, вагончики, не удивительно, что здесь продали для жилья морг с трупом. Пятиэтажные дома строили на вечной мерзлоте не на сваях, а в погоне за дешевизной на кольцевом фундаменте, дома стали оседать, трещины такие, что видно насквозь. Я пообедал в столовой АЭС: загадка, как люди могут есть эту пищу годами и не умирать. Станция маломощна и построена более из престижных соображений, технологическое тепло, т. е. 80% энергии, идет на ветер, хотя могло бы

обогревать дома и теплицы. Стоя над углубленным реактором, я испытывал странное чувство: у меня под ногами неизмеримо растянутый во времени взрыв атомной бомбы.

Из-за последствий менингита я очень уставал от поездок, закончил статью с невероятным трудом. На двадцати страницах я описал развитие магаданской энергетики от пущенной в 1933 году локомобильной станции на дровах до использования ядерной энергии и, возможно, ветровой и приливной, дал журналистский заголовок "От дров – к ядру урана" и отослал статью двум экспертам – главному инженеру строительства КолымаГЭС Серову и начальнику Магаданского УКГБ Коломийченко.

"Статья мне понравилась, – заключил Серов, – она написана интересно, толково, со знанием дела, как будто писал ее энергетик, думаю, что статья эта будет весьма полезна для руководителей всех рангов и трудящихся области." Оценка Коломийченко была еще более высокой, замечаний у него не было, нельзя ли только добавить, что решение о строительстве КолымаГЭС внесено в директивы XXIV съезда КПСС.

– А если вам от себя писать про КПСС не хочется, то можно вложить эти слова в уста кого-либо из героев очерка, пусть тот же Фриштер говорит:"Наше строительство внесено в директивы" и т.д. – Предложил Владимир Федорович такой "художественный ход". Но я сказал, что если строительство в эти директивы внесено, я не вижу препятствия упомянуть об этом.

"Магаданская правда" помещалась в здании обкома, хотя и в скромных апартаментах, заведующий идеологическим отделом Богданов, мой ровесник с уже порядочным брюшком, встретил меня настороженно, и если мои впечатления суммировать, я бы сказал, что я перешел из царства живых в царство мертвых. Строители строили, энергетики производили энергию, гебисты вынюхивали крамолу – все имели соприкосновение с реальностью, в газете же жили в мире воображаемых величин, дебатировался всерьез вопрос, как лучше назвать рубрику "Следопыты переднего края" или "На переднем крае – следопыты". Идеология – не только идеологический, но и людской балласт: предположим, что страна сбросила путы тоталитаризма – коммунист Фриштер по-прежнему будет строить плотины, коммунист Шило заниматься геологией, коммунист Коломийченко, когда страсти улягутся, найдет себе применение в полиции или разведке, но кому и на что будут нужны миллионы коммунистов-идеологов?

Когда Богданов дал мне редакционный вариант статьи, я за голову схватился, как они подогнали ее под свой стиль. Споры между нами продолжались несколько дней – я хлопал дверьми и уходил, за мной приезжали, Коломийченко послал Елисеева, чтоб он пробивал статью, а меня сдерживал. Начальник промышленного отдела, очень робкого

вида, сделал лишь одну поправку: заменил "цементный" на "железобетонный", я без спора ее принял, и он, почувствовав симпатию ко мне, поделился впечатлениями от только что прочитанной книги о расстреле царской семьи: нужное было дело. Тут я так заорал на него, что на весь обком было слышно: мне понятно, что во время революции бывшего монарха могут убить – не одни русские это делали; расстрел его жены, детей и близких никак не мог быть оправдан даже в то страшное время. Но как спустя шестьдесят лет одни пишут книги, оправдывающие это убийство, а другие читают и соглашаются?! Неужели эти шестьдесят лет ничему не научили наш народ!

В "Правде" недовольны были, что я все время упоминаю Фриштера – у него были трения с райкомом, вдобавок он еврей. Я в двух местах "Фриштер показал мне" заменил на "мне показали" – но с другой персоной уступить не захотел. Да и нельзя было заподозрить, что она еврейка, киевскую княгиню Ольгу, одну из первых русских святых. "Поскольку она еще в X веке приказывала строить запруды, – писал я, – то Св. Ольгу вполне можно считать покровительницей гидростроителей".

– Мы не можем поместить это в партийной газете! – кричал, брызжа слюной, Богданов. Исполняющий обязанности главного редактора Сорокоумов – не знаю, произошла ли его фамилия от сорока умов или от ума сороки – говорил невразумительно и невнятно, словно Демосфен, набравший в рот слишком много камней. Первая часть была уже набрана и сверстана, и тут я заметил, что подписана статья не "Андрей Амальрик", но "А. Амальрик".

– Мы полным именем подписываем только членов Союза писателей, – сказал Богданов, – даже статья первого секретаря обкома и то подписана "С.А. Шайдуров", а не "Сергей Афанасьевич Шайдуров".

– Мне все равно, как подписывается Шайдуров, – сказал я. – Я все свои статьи и книги опубликовал как Андрей Амальрик.

С Андреем мне уступили, оставалась Ольга – между тем подходило уже время класть сигнальный экземпляр на стол Шайдурову, и Сорокоумов был вне себя. Я не уступал, в последний момент статью сняли, и она пошла в обком "для согласовывания" с секретарями по промышленности и идеологии. Стало ясно, однако, что "партийная печать" этот бой у "славных органов " выиграла, и статью печатать не будут. Постепенно из нее исчезали все цифры, не только абсолютные, но даже 17% – "низкая текучесть " рабочей силы на строительстве КолымаГЭС; напоследок я заменил "до сих пор освоено менее 6% капиталовложений" на "желательно ускорение темпов финансирования" – и статью отправили в Москву.

– Как говорит пословица, первый блин обкомом, – сказал я, и Елисеев даже задрожал от негодования: он хладнокровно выносил насмешки над собой, но не над обкомом же. Как говорил

гоголевский майор Ковалев, лично мне хоть плюй в глаза, но уважай майорский чин.

Осенью 1974 года "наверху" был сделан поворот в сторону ужесточения, первым сигналом было выведение Демичева из Секретариата ЦК КПСС. Вскоре Коломийченко сказал, что статья может быть напечатана только с редакционным предисловием, что я полностью отказался от своих "прежних взглядов". Я ответил, что такое предисловие никого писать не уполномочу, и разговор между нами первый раз приобрел раздраженный характер: я, как он сказал, "вытащил камень из-за пазухи" – я, во-первых, напомнил, что КГБ не выполнил обещания "освободить" меня, во-вторых, оказался маловлиятелен, статью пробить не сумел. Расстроенный Коломийченко стал оправдываться, что ни Шайдурова, ни главного редактора не было в Магадане, оттого все и вышло. Наслушавшись передач Голоса Америки о болезни Брежнева, я под конец хвастливо заметил, что Брежнев вот-вот умрет, и как бы тогда не пришлось "каяться" тем, кто сейчас заставляет других. Через несколько дней Владимир Федорович с торжеством показал мне сообщение, что Брежнев в добром здоровье появился на приеме.

– А знаете, кто распространял слухи о болезни всеми нами уважаемого Леонида Ильича? – спросил я, и Коломийченко весь напрягся узнать. – Да ваш же бывший начальник Шелепин. До чего же нехорошие люди бывают, – добавил я, повторяя тактику Зверева. Действительно, только что возвратясь из Англии, бывший глава КГБ и лучший друг английских профсоюзов был выведен из политбюро и сошел со сцены.

Неприятную обязанность "давить" на меня Коломийченко уступил Елисееву, и тот, ловя меня в разных местах, заводил один и тот же нудный разговор, предлагал даже Гюзель повлиять на меня, говорил, что я получу уже четырехкомнатную квартиру, а однажды обещал стать передо мной на колени, если у меня "хватит мужества" отказаться от книг – я, однако, устоял перед искушением увидеть сотрудника КГБ на коленях. В другой раз он намекнул, что они могут "обыграть" мою "помиловку".

– Да распечатайте ее хоть в миллионе экземпляров и сбрасывайте над Москвой с самолета.

– Этого еще не хватало! – в ужасе воскликнул Елисеев, и больше никогда в разговорах с КГБ "помиловка" не всплывала.

В январе 1975 года, за четыре месяца до конца ссылки, Коломийченко предложил мне подать заявление о выезде в Израиль, и через две недели я смогу вылететь прямо из Магадана.

– Во-первых, я не собираюсь уезжать, – сказал я. – Во-вторых, я не еврей, а жена моя мусульманка, даже с арабской кровью, так что нам по крайней мере надо ждать, пока Ясир Арафат завоюет Палестину.

– Но ведь Израиль это только для вида, – сказал Владимир

Федорович. – Просто МВД легче так оформить ваш выезд заграницу, а там поезжайте, куда хотите, чего вам здесь пропадать. Купите две машины, сходите в кабаре, – видно было, что эта мечта самого Владимира Федоровича. И что же, и две машины я за границей купил*, и недавно зашел во Франкфурте в кабаре со стриптизом, и даже – в традициях Мити Карамазова – угостил шампанским девиц, предложив выпить за здоровье начальника Магаданского управления КГБ. Думаю, Владимиру Федоровичу будет приятно узнать, что франкфуртские девицы пьют за него. Сам же стриптиз произвел на меня тоскливое впечатление: когда со сцены вам показывают поросший волосами треугольник, то разрушаестя не только элемент человеческих отношений, но элемент хотя бы маленькой тайны, который и способен волновать. Стриптиз более всего напомнил мне американскую телерекламу и советский соцреализм, их общая безличность хорошо отвечает духу коммунизма.

Достаточно ясно Коломийченко дал понять, что если я не соглашусь уехать или отречься от книг, меня ждет третий срок. Я вспомнил о приглашении Гарвардского университета, но вскоре выяснилось, что отпустить по приглашению университета значило бы признать, что я ученый или писатель, а не недоучка.

– Да, – я был уже в дверях кабинета, – у меня к вам просьба, я хотел бы посмотреть фильм "Паутина".

– Нашим сотрудникам его показывали? – спросил Коломийченко Елисеева. – Так устроим просмотр и пригласим Андрея Алексеевича.

– Думаю, будет иметь огромное воспитательное значение, – сказал я. Снятый КГБ фильм об "идеологических диверсантах" показывали на "партактивах" от Магадана до Москвы, и мне была уделена одна из главных ролей: включены отрывки из интервью Коулу, визит Гверцмана, я на суде, Люкон показывает мне машину – я не ошибся в нем. Однако Елисеев сказал потом, что как нераскаявшийся я "недостоин" смотреть такой хороший фильм – ответ в духе капитана Овечкина на жалобы малолеток.

– Вы никогда так спокойно не жили, – сказал мне как-то Борис Васильевич Тарасов, и был совершенно прав, но с приближением конца ссылки я становился все беспокойнее: я не исключал возможность третьего срока и понимал, что если я даже буду освобожден, мои трудности не закончатся. Весной на Колыме у касс Аэрофлота выстраиваются гигантские очереди, билеты покупают за месяц, но мне не продали бы без паспорта. Паспорт же, сказали мне, я получу не сразу: в административном отделе УВД мне вернут справку об освобождении, я должен буду сдать ее в паспортный отдел и ждать

---

* См. здесь стр. 308

"несколько дней" – так что ссылка продлевалась на неопределенное время. Коломийченко меня успокаивал, что это неважный бюрократический вопрос и после пяти лет пять дней ничего не значат, "не надо делать грязь на сухом месте". Но, как он сам говорил, "обжегшись на молоке, дуют водку", так что я решил в Магадане паспорта не брать.

Гюзель вылетела в Москву за неделю до конца срока, чтобы в случае моего не очень вероятного ареста или очень вероятного задержания без паспорта поднимать "бурю в стакане воды". 6 мая 1975 года, в первый день "свободы", я отказался брать справки об освобождении и об отбытии ссылки, сдал свой документ "в замен паспорта" и стал, быть может, единственным в СССР человеком без документов.

– Мало того, что вас навязали на нашу голову, – сказал мне полковник МВД Помыкалкин, – вы нам еще и освобождение ваше затрудняете. Не знаю, как вы полетите в Москву без паспорта!

Надо полагать, и Владимир Федорович Коломийченко хотел скорее от меня освободиться и "не делать грязь на сухом месте". На следующий день я говорил с ним последний раз.

– Андрей Алексеевич, 12 мая у вас день рождения? – сказал он. – Заранее поздравляю вас и обещаю, что в этот день вы будете у себя дома в Москве.

Глава 24.

МОСКВА

Рано утром 12 мая мой самолет приземлился в том же самом подмосковном аэропорту Домодедово, куда я был доставлен под конвоем два года и восемь месяцев назад, – теперь я летел как свободный человек, но без паспорта. В Красноярске я снова увидел, как мне показалось, зэков: наголо остриженных, с затравленными и наглыми глазами, невзрачно одетых, с истощенными и похоронными лицами, но, кроме двух офицеров, без охраны.

– Химики, что ли? – спросил я.

– Нет, новобранцы, на Север отправляют служить.

Чудным запахом встретила меня Москва – начиналось цветение трав на лугах. Но когда в такси я ехал по еще безлюдным улицам, только два или три раза испытал я волнение, которое вызывает возвращение в родные места, но скорее неприязнь, когда проезжал по

Охотному ряду мимо тяжелых сталинских зданий.

Едва я, немного отоспавшись, сел завтракать, вошла пожилая исплаканная женщина, была она мне незнакома, и в то же время я как будто видел ее где-то – но где? Я видел ее на суде четыре с половиной года назад, это была мать Убожко, которая когда-то советовала сыну "выбросить мусор из головы", видно было, что эти годы не прошли и для ее головы даром. Она рассказала, что Убожко из тюремной психбольницы был переведен в психбольницу обычного типа в Западной Сибири и его даже водили с сумасшедшими работать на макаронную фабрику, мало того, срочно надо было прочесть лекцию о международном положении, и директор фабрики попросил Убожко как бывшего лектора. Несмотря на статус "антисоветчика" и "сумасшедшего", он с успехом лекции читал, пока не завели новое дело все по той же ст. 190[1]. Когда Убожко запротестовал, что он же признан невменяемым, следователь ответил, что он нарочно выдал себя за сумасшедшего, чтобы проникнуть в больницу и агитировать настоящих больных. В июле я вдруг получил известие, что Убожко в Москве – накануне суда он бежал из больницы и месяц скрывался, но я побоялся встретиться с ним, опасаясь, не подстроил ли КГБ его бегство нарочно. Вскоре он был арестован, и никаких известий я о нем больше не имел.

– Долго вы еще будете нас за нос водить?! – сказал мне знакомый еще по Магадану майор КГБ Пустяков. – Мы вам даем месяц на размышление: или делайте заявление с отказом от книг – мы его с вашей статьей опубликуем в "Труде", или подавайте заявление в Израиль – через две недели мы вас выпустим, или... – тут он, разведя руками, посмотрел на меня: третий вариант был ясен и без слов.

КГБ получил новое орудие давления – "прописку", то есть разрешение от милиции на проживание. Все москвичи, осужденные по ст. 190[1], по возвращении из лагерей и ссылок получили временную, а некоторые даже постоянную прописку – потому и я на нее рассчитывал. Но сначала мне дали "предупреждение о выезде в течение трех суток", а 4 июля – следующую бумажку:

"Извещение . Гр-ну Амальрик А.А. В прописке по адресу ул. Вахтангова, д.5 кв.5 на жилплощади жены, состоящей из 18,31 кв. метров, на которой проживает один человек, отказано. Причины отказа: в соответствии с "Положением о прописке и выписке населения в г. Москве" (ст.27).

Зам. нач. Паспортного отдела ГУВД Мосгорисполкома

(подпись неразборчива)".

Это "положение" – одна из нераспубликованных инструкций, по которым управляется страна; как сказали отказнику-еврею, ссылавшемуся на Всеобщую декларацию прав человека: "Здесь действуют не декларации и конституции, а инструкции". Офицер объяснил мне, что

я сидел по ст. 190[1] дважды, а с июля достаточно и один раз, чтоб отказать в прописке. Мне отказали и в выдаче паспорта в Москве. Но для того мы и купили в 1968 году дом в деревне, туда послали наши вещи из Магадана. Мы выехали за контейнером в Рязань, чтоб отвезти в Акулово, где я мог бы прописаться. Сразу же началось: квитанция на мое имя, но у меня нет паспорта, к тому же у транспортной конторы нет машин. Для налаживания отношений я захватил с собой "поляроид": вид выскакивающих сразу фотографий так поразил сотрудников конторы, что и контейнер выдали без паспорта, и машина нашлась. Мы долго блуждали по проселкам, шофер занервничал, и когда уже начало темнеть, мы увидели вдалеке знакомое поле, купы деревьев у ручья – и тут с волнением и радостью я увидел наш дом.

– Странный, однако, дом, – сказал шофер. Собственно, дома не было: было четыре кирпичных стены – но не было бревенчатой пристройки, крыши, пола, балок для настила досок, не было рам со стеклами, печь была полностью разрушена, не было никаких вещей. Не было следов пожара, да и нельзя было говорить и об ограблении – не унес бы вор крышу с собой, не отодрал бы гнилые половые доски, не снес бы печь – кто-то долго разрушал дом, чтобы в нем нельзя было жить. Не трудно догадаться, кто, вскоре сгорел до фундамента и дом наших друзей, у которых мы жили в июне.

Не расстилать же ковер под ближайшим кустом, и Гюзель сказала: "Давай, подарим все шоферу – нам здесь уже не жить". Молодой парень, никогда в такие переделки не попадавший, был напуган подарком: "Да куда я все дену, у меня комната меньше этого контейнера". Ключи от дома я выбросил по дороге, а в Михайлове мы сели в такой же долгий ночной поезд, на котором добирались из Москвы семь лет назад – некий цикл нашей жизни завершился.

Гюзель увидела в этом перст Божий: надо уезжать. Я понимал, что мне не миновать тюрьмы, да и жизнь на свободе сделают невыносимой, мы хотели спокойно работать над книгами и картинами, хотели увидеть мир – мы хотели заграницу. Тяжело, однако, уезжать из своей страны, если не навсегда, то на срок долгий и неопределенный, писателю особенно тяжело.

В 1976 году в Амстердаме мой старый знакомый Леонид Чертков напомнил, как десять лет назад все смеялись над моим предсказанием, что скоро начнут высылать не только в Сибирь, но и заграницу. Высылка из страны – одна из старейших форм политической расправы – была невозможна в период миллионных репрессий, которые власти хотели скрыть от мира, но при репрессиях выборочных и при гласном протесте внутри страны возвращение к высылке как репрессивной мере понятно, оно не противоречит принципам закрытого общества, высланный может "мутить воду" за границей, но не в СССР.

Борются с оппозицией методами выборочными: одних пугая, других сажая, третьих избивая и убивая, четвертых увольняя с работы, пятых высылая, в этом есть элемент случайности, но не могут же всех высылать за границу – тогда бы и страх пропал, да и среди семидесятилетних тугодумов идея высылки едва ли быстро пробила себе дорогу: как это врага из рук выпустить?! Их убедили, однако, те, кто понимал, что "выпуск пара" необходим, если власть не хочет расширения протестов или возвращения к сталинской мясорубке. За четверть века достигнут баланс между неосталинистами и умеренными, "верхи" наслаждаются чувством безопасности, и простейшая калькуляция показывает, что лучше терпеть некоторую оппозицию в стране, чем опять быть втянутыми в водоворот террора. Две супружеские пары с детьми прорвались в американское посольство с просьбой о визах – когда их схватили по выходе, сотрудник КГБ сказал первым делом: "Только не заявляйте, что сделали это из антисоветских соображений, скажите, что есть дальние родственники заграницей".

Но эта власть не была бы сама собой, если бы она начала высылать своих противников, как любая авторитарная власть. Власть, которая предлагает "выбирать" депутата из списка в одного кандидата, заставляет заключенных "благодарить" за арест, оккупацию союзной страны называет "братской помощью", повышение цен объясняет "просьбой" потребителей – и высылку за границу должна была обставить как добровольное желание уехать, сотрудничество палача и жертвы было необходимо ей и здесь. Только с Солженицыным власть растерялась немного, так внезапно свалился на нее "Архипелаг Гулаг", но – быстро опомнилась.

Две возможности открывались бюрократическим умам: выезд диссидента за границу по приглашению – с последующим "лишением гражданства за действия, несовместимые со званием советского гражданина"; выезд заграницу – "на постоянное жительство". Впоследствии открылся и третий путь: обмен заключенных.

Первая метода, однако, имела два недостатка: во-первых, иногда признавала за отъезжающим статус писателя, ученого, артиста, тогда как власть хотела видеть в диссиденте "лицо без определенных занятий"; во-вторых, для лишения гражданства в каждом случае требовался Указ Президиума Верховного совета СССР; на все у нас существует определенный лимит, даже на икру для закрытых распределителей, КГБ получил, по-видмому, определенный лимит на тех, кого он может вытолкнуть таким путем.

Гораздо удобнее для КГБ вторая метода, когда высылка маскируется под добровольную эмиграцию; сам факт высылки затемняется тем, что сотни тысяч советских граждан хотят, но далеко не все могут эмигрировать – и высылка выглядит уже не как наказание, а как акт гуманности, даже как уступка со стороны власти. Эмиграция

разрешена по родственно-этническим признакам: немцам – в Германию, евреям – в Израиль, и еврейская эмиграция служит наиболее удобной "крышей" для высылки. Израиль сразу предоставляет гражданство новым репатриантам, и потому они автоматически лишаются советского, кроме того, все диссиденты могут быть представлены внутри страны как евреи.

Я не видел никакого препятствия уехать по израильской визе и был бы благодарен Израилю за нее, если бы навсегда собирался покинуть страну, но я хотел уехать, не закрывая возможность возвращения и не на предложенных КГБ условиях, во всяком случае не в течение месяца. У меня были приглашения от трех университетов – Гарвардского и Джорджа Вашингтона в США и Утрехтского в Голландии, я запросил ОВИР, какие документы моя жена и я должны представить, чтобы выехать на год. Я получил устный ответ, что никакие приглашения от организаций советским гражданам ОВИР не рассматривает, только от частных лиц, университеты должны направить приглашения через соответствующие советские организации. Я побывал в иностранном отделе Министерства высшего образования СССР, но все это носило столь же нелепый характер, как мои переговоры о деньгах шесть лет назад. Я написал американскому президенту и голландскому премьер-министру, что отказ рассматривать приглашения советским гражданам от университетов является нарушением Хельсинских соглашений – премьер-министр Ден Ойл коснулся этой темы в парламенте, было бы смешно надеяться на какой-то отклик со стороны президента Форда.

Мое разочарование в разрядке усилилось необычайно в первые же месяцы в Москве. Конечно, рост военной технологии и неустойчивости в мире побуждали к поискам соглашения и Запад, и СССР, одной ногой стоящего в "клубе богатых", а другой приветливо помахивающего бедным. Но, как мне кажется, главной причиной разрядки для США была фрустрация после поражения во Вьетнаме, а для Западной Европы – страх после советского вторжения в Чехословакию. Популярным словом стал "реализм", понимаемый как приспособление к "реальности", хотя реальность есть результат усилий чьей-то воли. Слыша на Западе упреки в "нереалистичности", я вспоминаю, как лагерная "сучня" говорила про меня: "жизни не знает", приспосабливаться не хочет.

Для СССР – инициатора "мирного наступления" – толчком к разрядке был не только страх перед Китаем. Запад всегда играл роль стабилизующего фактора для советской системы: наличие "идеологического врага" оправдывало ее агрессивность и репрессии, а технологические достижения Запада давали стимул для экономического развития – надо было "догонять и перегонять". Если Запад достигнет технологической стагнации, то и развитие СССР остановится; идея

социализма – остановка развития, ибо цель истории достигнута. В разрядке СССР видел возможность с помощью западных кредитов, технологии и зерна избежать внутренних реформ, а также ослабить связи между западными странами.

Будет банальным сказать, что воля к победе всегда сильнее воли, направленной на поддержание статус кво. Можно видеть, как идеология и политическая воля движут советскую военную технологию, в то время как в США военно-промышленный комплекс тащит за собой политиков. Мало отдавая себе отчет в значении идеологии, госсекретарь США Киссинджер тем не менее уже двадцать лет назад хорошо понимал военные и политические причины преимущества СССР: фразу о статус кво я взял у него. Но как раз он стал наиболее последовательным воплотителем западной воли – или скорее безволия – к сохранению статус кво, и идея разрядки свелась к тому, что СССР на себя таких обазательств не берет – и тем самым создается как бы последовательность ситуаций, которые Запад признает за ненарушимые статус кво, но каждая из которых все более предпочтительна для СССР. Г-н Киссинджер, например, выступает с барабанным боем против прихода к власти коммунистов в Италии, но как только они к власти придут, он, очевидно, выступит против борьбы с ними, так как это будет нарушением сложившегося статус кво. Не удивительно, что он отнесся с неприязнью к диссидентам, дающим, по-существу, шанс Западу на изменение советской политики изнутри. Но только в демократизации советской системы – гарантии безопасности Запада; пока в СССР вопросы войны и мира бесконтрольно решают десять человек, никакие – даже самые выгодные на бумаге – соглашения не позволят европейцам и американцам спать спокойно.

Киссинджера сравнивают с Меттернихом, идеальным представителем политики, направленной на то, чтоб ничего не менялось. Как писал Данилевский в "России и Европе", Австро-Венгрия была в XIX веке уже политически мертвым телом – и единственная возможность предохранить мертвое тело от быстрого разрушения это не допускать ни малейшего ветерка, с этой точки зрения Меттерних безусловно существование Австро-Венгрии продлил, чтоб она развалилась наиболее страшным образом. Как у мертвеца продолжают расти ногти и волосы и может сохраняться благообразный вид, так и политически мертвое тело может еще существовать полстолетия или столетие, даже с растущей технологией и экономикой. Но неужели Запад – это мертвое тело, чтобы Киссинджер, как служитель морга, оберегал его? Скорее, в подходе американцев к СССР я нахожу что-то детское, хотя в западноевропейском есть что-то старческое. Не знаю, сумел ли бы этот "союз десткого сада с домом престарелых" противостоять Советскому Союзу, если бы не его внутренние проблемы и Китай за спиной.

Разрядка – часть проблемы, какие ценности будут господствовать в формирующемся сейчас миропорядке, и я с ужасом видел, насколько просто СССР удается навязать Западу свой стиль отношений. Наиболее драматически это выразилось в нежелании президента Форда пригласить Солженицына в Белый дом из боязни разозлить Брежнева, в момент своей высылки Солженицын символизировал принципы свободы и человеческого достоинства – и вот президент великой страны у себя дома побоялся встретиться с ним. Президент Картер решил пригласить в Белый дом только что выпущенного из советской тюрьмы Буковского – но не пригласил сам, а поручил это вице-президенту и запретил делать фотографии, как будто речь шла о встрече заговорщиков. Так что встреча, задуманная как символическая, символизировала только нерешительность президента.

Пятнадцать лет назад я познакомился с Джэком Мэтлоком, к нему, тогда сотруднику консульского отдела посольства США, меня привел на вечеринку один из американских аспирантов. Через полгода я был схвачен вечером возле его дома и отвезен на Лубянку, где двое Иван Ивановичей начали допрос: такого-то числа такого-то месяца вы шли от Мэтлока вместе с матерым американским разведчиком Керстом, о чем вы разговаривали? Я вспомнил, что мы как-то прошли с г-жей и г-ном Керст несколько шагов вместе, и они пожаловались, что их бульдог постоянно мочится на пол. Не желая ничего скрывать от наших "славных органов", я ответил, что мы разговаривали о собаке, которая мочится на пол.

– Вы что, над органами издеваться вздумали! – заорали оба Иван Ивановича. Они предложили написать заявление, что я постоянно подвергался "враждебной обработке" со стороны Мэтлока – достаточное основание для его высылки, что закрыло бы для него карьеру дипломата в СССР. Не буду делать вид, что я не испугался, не было еще никакого диссидентского движения, никакой гласности, живы были в памяти времена, когда можно было войти в КГБ и не выйти, однако донос на Мэтлока я писать не стал. Полгода я боялся ходить к нему, но потом все же зашел и рассказал эту историю. И вдруг я читаю в "Известиях", что мой старый приятель уже посланник в Москве.

– Вы от какой организации? – спросила меня советская телефонистка в посольстве, но все же соединила с Мэтлоком. Он напугался моему звонку, пожалуй, больше, чем я пятнадцать лет назад приводу в КГБ, и от встречи со мной уклонился; если следовать этой замечательной логике "государственных интересов", то и мне в свое время нужно было написать донос на него. Я познакомился потом с несколькими дипломатами, были у нас два бизнесмена с видом школьников, прогуливающих уроки, но в общем я застал в иностранной колонии в Москве атмосферу запуганности, какой не было ни пять, ни даже пятнадцать лет назад.

Журналисты держались более независимо, хотя опасение невзначай огорчить советское правительство было заметно и у них. Положение иностранныого журналиста в СССР сложно даже с точки зрения выбора материала: здесь нет политической жизни в западном смысле слова, борьбы партий, соперничества кандидатов, схватки наверху происходят тайно и между безликими фигурами, нет даже стихийных бедствий или катастроф – осенью 1975 года под Москвой в крушении поездов погибло несколько десятков человек, и ни один иностранный журналист не узнал об этом. Между тем на их глазах развертывалась драматическая борьба: суды, аресты, демонстарции, протесты были теми "новостями", которые могли быть интересны их читателям. Мало того, диссиденты отстаивали те нравственные ценности, в которые верила часть журналистов, у некоторых было развито чувство сострадания и сопереживания, позволяющее одному человеку понять боль другого – такие журналисты, вне зависимости от своих политических симпатий и не утрачивая критического взгляда, лучше понимали проблемы диссиденотов, чем их коллеги с циничным или умозрительным подходом.

Познакомившись с нами, Питер Оснос из "Вашингтон Пост" любезно сказал, что хотел бы пригласить нас на обед. Скрываясь от властей, я бывал в Москве наездами, и мы договорились, что по приезде я позвоню ему. Первый раз он ответил, что, к сожалению, умер сын их домработницы, во второй – что забастовали наборщики "Пост", тоже не подходящее время для обеда, в третий – что у него будет важное лицо из сельскохозяйственного департамента США, которому может не понравиться, если он пригласит диссидента. После этого я решил, что если Оснос когда-нибудь все-таки пригласит нас – сразу же отказаться, но надо отдать ему должное, никогда больше он нас не приглашал.

Он постоянно устно и печатно повторял, что диссиденты обязаны своим влиянием только западным средствам информации, которые преувеличивают их значение, следовало бы писать о них ровно столько, сколько места они занимают в советском обществе. Не знаю, как он определял это место: если исходить из математической ппосылки, что на 250 миллионов приходится не более 250 известных диссидентов, то американская печать должна уделять нам одну миллионную долю информации об СССР; если же считать диссидентов одним из главных индикаторов брожения в молчаливом советском обществе, а также одним из его бродильных ферментов, то я мог бы сказать Осносу, как говорил когда-то Подольскому: муки много, а дрожжей мало, но тесто всходит на дрожжах.

Оснос считал, что диссиденты дают об СССР информацию, которую давали бы о США их "наиболее разочарованные и преследуемые граждане", но во-первых, благодаря диссидентам журналисты смогли

познакомиться и с другими кругами советского общества, а во-вторых, трудно сравнить Андрея Сахарова или Юрия Орлова с американским "диссидентом" Джонни Харрисом, которого советская печать называет "борцом за права человека" и который обвиняется в изнасиловании, ограблении и убийстве. Оснос сам давал едва ли верную информацию об СССР. Он писал, например, что недовольство проявляет только узкая группа интеллигентов, но не рабочие – между тем еще в 1962 году было восстание в Новочеркасске, в 1969-70 годах треть арестованных по политическим мотивам составляли рабочие, а в 1977 году был организован первый независимый профсоюз. Он писал, что если из Восточной Германии эмигрирует "основное население", то из СССР представители "второклассных национальностей", а следовательно эмиграция не есть симптом недовольства – между тем эмиграция носит не только национальный, но и социальный характер, при этом число желющих уехать русских все более растет. Он ссылался на сохранение грузинского языка и обычаев как на пример национальной терпимости советских властей – между тем Грузия как раз хороший пример непрекращающейся борьбы народа за сохранение своих обычаев и языка.

Я не хочу сказать, что, занимая "антидиссидентскую" позицию, Оснос руководствовался какими-то грязными мотивами, он даже помогал некоторым диссидентам. Как амбициозный молодой журналист, он хотел найти свой подход к советской теме, но наиболее глубокой причиной было его неверие в силу личности и преклонение перед силой организации. Это проходило красной нитью через все, что он писал и говорил – начиная от удивления, как это "маленькое число малоизвестных частных граждан в наиболее могущественном тоталитарном государстве" может оказывать влияние, и кончая предпочтением обедать с чиновником, представляющим организацию, а не с писателем, представляющим себя самого. Но диссидентов вдохновляла именно вера в возможность отдельной личности противостоять системе, и судьба "частного человека" Щаранского волнует общественное мнение больше года, в то время как о смещении президента "могущественного тоталитарного государства" Подгорного забыли менее чем через месяц.

Все же положение журналистов в 1975-76 годах стало лучше, чем в 1968-69, благодаря тому, что "революция в отношениях" развивалась и властям все труднее было их изолировать, а значит и уровень их понимания повышался. Усиливалось и давление власти, становясь более изощренным: в разгар кампании на Западе против СиАйЭй "Литературная газета" объявила его агентами пятерых журналистов – Альфреда Френдли, Джорджа Крымского, Кристофера Ренна, Роберта Тота и Питера Осноса. Это обвинение не могло запятнать их в глазах советских граждан – одни не видели ничего дурного в том, что

американцы работают на свою разведку, другие не верили на слово "Литературной газете", но она рассчитывала на то, как это примут в США, и , видимо, расчет на психологию "нет дыма без огня" был оправдан. Альфред Френдли подал в суд на "Литературную газету", хотя до разбирательства не дошло, он уехал в США в связи с концом своего двухлетнего срока для "Ньюсуика". Зато власти спустя два года довели суд над американскими журналистами Крэйгом Уитни и Харальдом Пайпером до победного конца, обвинив их в клевете на советское телевидение и приговорив к денежному штрафу: "клевета" заключалась в том, что они привели мнение жены грузинского диссидента Гамсахурдии, что его телевизионное "покаяние " было подделкой. Подделкой оно не было, но журналисты этого и не утверждали.

15 августа 1973 года, на двадцать шестой день моей голодовки, "Литературная газета" опубликовала статью "Чего же добивался г-н Шоу" – Джон Шоу, корреспондент "Таймса" добивался узнать подробности второго суда надо мной. Обозреватель ТАСС Юрий Корнилов разъяснял ему, а заодно всем читателям газеты, что *"некто Амальрик... бывший студент-недоучка... занимался спекуляцией... поставлял заграницу антисоветские материалы на потребу реакционной печати... отбывая наказание, продолжал фабриковать антисоветские фальшивки и пытался, действуя через жену, переправлять их на Запад".* Вернувшись в Москву, я зашел в "Литературную газету" и спросил обозревателя иностранного отдела Михаила Максимова, почему они печатают всякую чушь – в спекуляции я не обвинялся, второй срок получил не за вывезенные женой "фальшивки", и предложил им напечатать опровержение, познакомившись с моим приговором. Максимов сказал, что они получили статью от ТАСС и целиком доверились этой организации – будет лучше, если я обращусь к Корнилову, держался он по-лисьи, п под конец спросил, "чего же добиваюсь" я сам. Я ответил, что хожу по советским учреждениям и беседую с функционерами для того, чтобы потом описать их всех в как можно более дурацком виде. В ТАСС меня охрана не пустила. Корнилов, запросив начальство, сказал мне по телефону, что не имеет смысла и у него нет времени встречаться со мной.

– А писать всякую чушь время находится?

– Не имеет смысла, не имеет смысла, – как заведенный повторял Корнилов.

Пятидесятилетний уроженец Могилева Юрий Эммануилович Корнилов – один из немногих зацепившихся на советской верхушке евреев – служит рупором советского правительства для самых безобразных нападок – на академика Сахарова, на президента Картера. Собирал я сведения о Корнилове, но единственное, что успел сделать, подать как на соответчиков в клевете на него и "Литературную газету" в

Дзержинский районный народный суд Москвы. Два с половиной месяца бюрократическая машина переваривала мой иск, чтобы выдать такой ответ от 26 декабря 1975 года:

"На Ваше заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 130 ч. 2 УК РСФСР работника "Литературной газеты" тов. Корнилова разъясняем, что принять к производству Ваше заявление народный суд не может, т.к. в соответствии со ст. 126 УПК РСФСР необходимо проведение предварительного следствия органами прокуратуры.

Народный судья В. Петров."

Не доходили у меня уже руки заниматься этим, но не сомневаюсь, что ответ прокуратуры был бы: "оснований для привлечения тов. Корнилова к ответственности не имеется".

Атаке властей на диссидентов и журналистов предшествовало подписание в Хельсинки 1 августа 1975 года Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с включенными в него разделами о контактах между людьми и об улучшении распространения, доступа и обмена информацией. На этой исторической конференции голландский премьер-министр Йоп Ден Ойл сделал попытку попросить Брежнева отпустить меня в Голландию. Он поздравил Брежнева с его речью и спросил, может ли он поговорить с ним десять минут. Брежнев ответил, что он очень устал, он старик, нет времени, не имеет смысла – но потом согласился переговорить завтра во время перерыва. Перерыв не был запланирован, Ден Ойл попросил председателя объявить его – Брежнев, однако, сказал, что ведь они уже вчера говорили, но если русские славятся грубостью, то голландцы настырностью – Ден Ойл настаивал и заговорил обо мне, Брежнев весь перекосился. Подоспевший Громыко, напротив, любезно стал объяснять Ден Ойлу, что он знаком с моим делом, знает, что голландцы придают ему значение, и будет держать его под личным наблюдением – тут разъяренный Брежнев отозвал Громыко.

"Личное наблюдение"этих высоких персон я почувствовал, когда меня вытащили из постели и полуодетого протащили по нашему длинному коридору, как я тащил по нему когда-то пьяного художника, затем по лестнице, как когда-то в магаданской тюрьме, и вытащили на улицу – правда, не Брежнев с Громыко, а милиционеры и дружинники под руководством участкового инспектора Забудряева. Знал я его еще старшиной, теперь он стал капитаном, был человеком не злым, и необходимость преследовать людей разрушала его: за десять лет он постарел вдвое. Как-то начал я ему ругать КГБ, какие они там разгильдяи и будь я их начальником, так всех бы разогнал, он ответил тоном здравомыслия: "Разогнали бы, так с кем тогда работали?" Крайне не хотелось ему возиться со мной, заходили даже из горотдела проверить, не уклоняется ли он от обязанности выгонять меня из Москвы, тем с большим ожесточением тащил он меня теперь.

Сидя в дежурной комнате отделения милиции, в носках и в пижаме, я с горечью видел, что если что-то изменилось здесь за годы моего срока, то к худшему. Привели старуху в черном – сектантку из Тамбова, задержанную возле посольства Сьерра-Леоне, куда она хотела передать письма о преследовании верующих – представляю, как таращили бы на нее глаза сьерра-леонцы, если бы она все же прошла туда. Вызван был врач – для обыска, по инструкции милиционеры-мужчины не должны обыскивать женщину, а врач как бы существо бесполое – и вот трое верзил, врач и два санитара, навалились на старуху и обшарили ее, вытащив из-за пазухи несколько бумажек с письмом и молитвами. Старуху заперли в камеру, и там она, голосом неожиданно красивым, запела свои молитвы под гогот милиционеров. Что за ужасная страна, думал я, в каком отчаянье люди, если единственный путь попросить о помощи – обратиться в первое попавшееся иностранное посольство, что у нас за милиция – сажает эту старуху как опасную преступницу, что за врачи – которые охотно берут роль надзирателей. Нет, надо уезжать!

– Обращайтесь с ним пожестче, чтоб скорее в Израиль запросился, – сказал дежурному за барьером толстомордый тип в штатском, не знаю, нарочно или случайно, но так, что я услышал.

Я не подписал предупреждения о выезде, и меня продержали ночь в камере, в следующий раз я мог быть уже арестован и осужден для начала на год. Дальше опасно было жить без паспорта и отсаваться на улице Вахтангова, я задержался там только потому, что поверил в добрые намерения Громыко. Мы уже сняли квартиру на окраине Москвы, где могли бы жить тайно, оставалось получить паспорт и "прописаться" в одной из соседних областей. Я нашел на карте ближайшую к Москве железнодорожную станцию за пределами области и поехал туда.

Станция Ворсино была безлюдна: слева, насколько видно было глазу, тянулись черные вспаханные поля, уже мокрые от осенних дождей, справа – пристанционные бараки и чахлая рощица вдоль полотна. Помедлив, я свернул направо, надеясь, что тропинка вдоль опушки выведет меня к какой-нибудь деревне. Не пройдя и километра, я увидел большое село, у дома, с любопытством глядя на дорогу, стояла толстая баба в платке.

– Не знаете кого-нибудь, кто сдал бы здесь комнату, с пропиской?

– С пропиской? – сразу сообразила баба, не я здесь был первый, не я последний. Все области вокруг Московской полны отбывших срок москвичей, возник "народный промысел" фиктивно прописывать квартирантов, которые работают в Москве и живут там тайком, у своих жен и матерей, стоит такая прописка в среднем 10 рублей в месяц. Владелец ближайшего к станции дома запросил с меня 15,

к тому же оказался бывшим милиционером, впрочем, он сам, его жена, сын, две собаки и три кошки отнеслись к Гюзель и мне благожелательно, особенно когда нам пришлось вправду жить там некоторое время.

За паспортом я поехал в районный цетр Боровск, город Калужской области. Боровск сохранил еще отпечаток старины, в монастыре вблизи сидел когда-то на цепи протопоп Аввакум, позднее город был одним из центров старообрядчества. В самом большом старообрядческом храме сейчас гараж, в монастыре – сельхозтехникум, нет у меня красок описать, в каком состоянии церкви старые в городах, закрытых для иностранных туристов.

Паспорт мне выдали сразу, но председатель Ворсинского сельсовета грубо отказался прописывать, в РОВД посоветовали прописаться в другом районе, в Калужском УВД сказали, что нужно указание МВД СССР. Я отправился в приемную МВД в Москве – и все стало раскручиваться как кинолента в обратном направлении: со справкой из МВД я поехал в Калугу, со справкой из Калужского УВД – в Боровск, со справкой из Боровского РОВД – в Ворсино, где мне поставили штамп прописки на год. Я сказал подполковнику милиции, что они сами себе дают лишнюю работу – он ответил словами Зои Космодемьянской: "Ничего, нас много".

Как только в сентябре я узнал о разговоре Ден Ойла, я в виде встречного хода написал Брежневу, что второе дело против меня "было не только фальшиво, но и бессмысленно" и что, поскольку мне отказывают в праве жить у моей жены в Москве, я прошу разрешить нам выезд заграницу. Примерно через полтора месяца меня неожиданно попросили представить в паспортный отдел ГУВД Москвы документы, необходимые для прописки. Приняли меня – не в пример прошлому разу – любезно, попоросили придти за ответом через десять дней и я не сомневался, что мое письмо сыграло роль и временную прописку мне дадут. Однако я получил короткий отказ и в тот же день был задержан снова. Предупреждение после жалобы в прокуратуру аннулировали, но меня вновь задержали в декабре. Мы возвращались от Альфреда Френдли, которому я только что дал интервью для "Ньюсуика", и едва вышли из автобуса на Новом Арбате, кто-то мягко прикоснулся к моему плечу: "Проверка документов". Повели меня в наше отделение милиции, но я успел передать Гюзель сумку с книгами – а там среди прочего был и "Архипелаг Гулаг".

– Вы его не на нашей территории задержали, вот к себе и ведите, – сказал дежурный, и меня повели в другое отделение.

– Хороший костюмчик, – инспектор угрозыска схватил меня за лацкан пиджака, – будем проверять, на какие деньги вы живете.

– Это наша работа. Как вы понимаете, нам за это деньги платят, – сказал его помощник.

– На мое понимание не рассчитывайте, – ответил я, необычайно разозлив его этим. Был он интеллигентнее своего начальника, но букву "р" выговаривал плохо и национальность его не вызывала сомнений – едва ли его карьера будет блестящей, этажом ниже в дежурной комнате, где я ждал решения своей участи в знакомой мне компании милиционеров, наркоманов и воровок, разговоры велись вокруг того, что "во всем виноваты жиды". Дежурный офицер считал, что раз меня преследуют здесь, то в США встретят "на ура", но никак не мог поверить, что там нет "прописки" – ему казалось, что жить без прописки так же невозможно, как без воздуха. Меня продержали до глубокой ночи, пока не приехал дежурный психиатр, пожилой еврей. Я разговаривал с ним как можно осторожнее: я-де просто хочу спокойно жить, на вопрос о Солженицыне ответил, что с ним не знаком и книг его не читал. Тем не менее врач говорил потом своим коллегам: "Первый раз в жизни встретил настоящего диссидента". Гюзель, спрятав книги и предупредив корреспондентов, уже давно ждала меня в дежурной комнате, и после этого разговора я был отпущен даже без формального предупреждения.

Не всегда можно различить, что исполнители делают по указанию сверху, что от себя и что просто результат рутины. Но план КГБ вынуждать меня к отъезду постоянными задержаниями – с угрозой ареста, а теперь и психиатрического преследования – был ясен. Думаю, что в октябре действительно было решено прописать меня в Москве, но когда я 20 октября сдал документы для этого, два события изменили решение: 22 октября была опубликована моя статья в "Нью-Йорк Таймс", а 27 октября я среди других приветствовал присуждение Сахарову Нобелевской премии мира.

Глава 25.

НА ПУТИ К ХЕЛЬСИНСКОЙ ГРУППЕ

Джим Кларити, за интервью которому меня судили, снова был в Москве и предложил мне написать для "Нью-Йорк Таймс" статью о разрядке, я охотно взялся за это, как Ратновский за статьи о сельском хозяйстве. Я начал с Гегеля, подумал, что для американцев это слишком, и начал с Франклина Рузвельта – "Таймс" опубликовала статью со слов "оценивая преимущества разрядки", боюсь все же, что это была самая длинная статья, когда-либо там появлявшаяся. Гонорар в150 долларов показался мне мал, и я написал редактору, что

быть опубликованным в "Нью-Йорк Таймс" честь для меня, но их символический гонорар обязывает и меня к символическому жесту – и я передаю его пенсионерам "Таймс". Оказалось, что это их обычная плата и никакой дискриминации по отношению ко мне не было, но человек с психологией зэка – "отдай, что положено" – начинает видеть вызов там, где его по-существу нет.

На мою статью в "Таймсе" ответил Маршал Шульман. Я подумал, не тот ли Шульман, который писал своему племяннику обо мне: "На свободе ли еще этот мерзавец?" – оказалось, что не тот. С профессором Шульманом я познакомился год спустя в Нью-Йорке, он произвел впечатление любезного человека, но меня удивило, что специалист по Советскому Союзу почти не может говорить по-русски. Он был представителем тех, кто надеется с помощью уступок и собственного примера постепенно "воспитать" Советский Союз, интуитивно исходя из того, что метод, удачный при достижении своих целей в американской академическо-бюрократической среде, будет работать и для достижения целей США в отношении СССР – метод этот условно можно назвать "размазыванием говна по тарелке".

Если брать всерьез теорию "зеркального отражения", то СССР видит на месте США неуступчивого и коварного гангстера, а США на месте СССР – благожелательного, но неправильно понятого джентльмена. И американцы, и европейцы не понимают, что у советских руководителей психология блатных, лозунг "наглость – второе счастье" вполне включается в ленинскую доктрину. Вот блатарь, развалившись, кричит: "Эй ты, поди сюда!" – я даже головы не поворачиваю, и на следующий день он сам подходит: "Извини, друг, я только хотел спросить..." А вот "Эй ты, поди сюда!" кричит Брежнев, и уже какой-нибудь западный президент бежит к нему "на цирлах" заключать соглашение. Вижу, что противостоя пятнадцать лет этой системе, трясясь в воронках и хлебая баланду, я получил более ясное политическое мышление, чем если бы я эти годы протирал зад в университете, изучая "политикал сайенс".

Я писал в "Нью-Йорк Таймс", что американские политики воспитаны на идее компромисса, тогда как для советских "компромисс" – бранное слово, и при всей неизбежности компромисса этот разный подход играет большую роль. Позднее я обратил внимание, что хотя в обеих странах политикой занимаются преимущественно мужчины, их положение в СССР и США различно: русский идеал мужчины – человек, способный твердой рукой руководить семьей, американец скорее "подкаблучник". Мне кажется, что бессознательно стиль отношений со своими женами, который дома оправдывает себя, переносят на отношения между США и СССР. Стоило бы для переговоров с СССР создать команду из честолюбивых и энергичных американских женщин – едва ли это вызовет коренной поворот, но США отвоюют себе

лучшие позиции.

9 октября 1975 года в вечернем выпуске новостей БиБиСи я услышал, что Андрею Дмитриевичу Сахарову присуждена Нобелевская премия мира. Трагическая фигура Сахарова наиболее полно выражала сильные и слабые стороны Движения за права человека и наложила свой отпечаток на него, хотя он не был харизматической личностью, как Солженицын. Наиболее видные фигуры оппозиции, оба они не смогли стать настоящими лидерами: Солженицын разогнал свою армию, Сахаров не захотел ее возглавить, даже выражал сомнение в самом существовании Движения. Он хотел быть, как сказал бы Мао Цзе-дун, "одиноким монахом под дырявым зонтом", чей голос в защиту угнетенных был бы слышен благодаря его личному моральному авторитету. Однако Движение существовало, и Сахарова побуждали играть роль руководителя и извне, и изнутри. Извне – не только иностранная печать и радио, чье внимание было сосредоточено на нем, но и тысячи советских граждан, которые о нем слышали и читали. Изнутри – мы сами, затевая обращение или комитет, прежде всего думали о том, чтобы он обращение подписал и комитет возглавил, иначе все зададутся вопросом – что же Сахаров, против что ли? Это противоречие разрешалось компромиссами, иногда приводило к обидам, а при организации независимого профсоюза – даже к нападкам профсоюзников на Сахарова. Желание сохранять моральную позицию и необходимость предлагать политические решения – второе противоречие. Сахаров хотел критиковать общество с позиций ученого, его первая работа напоминает докладную записку, но чем яснее ему становилось, что "уговаривание" властей безответно, чем более критическими становились его оценки, тем яснее сказывалась в нем слабость политического мышления и неверие в возможность изменения системы.

Я согласен с Солженицыным, что Сахаров – плохой тактик – хотя не дай Бог, если бы он следовал тактике Солженицына. Сахаров – великий стратег, что сводит на нет его тактические погрешности, его стратегия – безошибочное понимание добра и готовность всегда выступить против зла, то, что в стране есть вот такой Сахаров, до некоторой степени даже чудак, но не зараженный общей ложью – казалось важным, не испугаюсь преувеличения, миллионам людей, в этом было что-то от традиционного для Руси взгляда, что только юродивый скажет правду царям. Когда в Магадане я услышал, что Сахаров, быть может, выедет в США – я был просто напуган, хотя понимал, что он заслуживает отдыха и возможности заниматься своей наукой. Уже в Москве шофер такси сказал мне, что он не верит тому, что в газетах пишут о Солженицыне.

– Почему же? – спросил я.

– Так ведь за него Сахаров заступается, – ответил шофер. –

Будь он предателем, Сахаров за него не вступился бы.

Отсутствие способности переживать чужую боль, как свою, и делает возможным зло в мире, но не трудно понять, насколько тяжело жить тем, у кого она есть. Власти, не решаясь тронуть Сахарова, старались отыграться на близких, угрожая посадить детей его жены, убить ее четырехлетнего внука и распуская слухи о ней самой – но, с другой стороны, большое счастье быть женаттым на женщине, в которую вы влюблены и которая ваш единомышленник.

Внук напоминал приемного дедушку: на даче в Жуковке он выбежал нам с Гюзель навстречу с сияющей улыбкой и протянутыми руками. Так же он побежал к Брежневу, приехавшему в Жуковку навестить сына. Никто никогда так искренне не распахивал объятья навстречу Брежневу, и старик растроганно заулыбался:

– Что это за симпатичный парняга?

– Леонид Ильич, это внук Сахарова! – в ужасе зашептала свита, и тут же Гинзбург, на попечении которого находился мальчик, получил предписание выехать из Жуковки в 24 часа.

Газетная кампания против Сахарова началась на второй день после опубликования решения Норвежского стортинга: сначала цитаты из западных коммунистических газет, затем "письма трудящихся", где Нобелевская премия сравнивалась с тридцатью серебрениками, наконец заявление семидесяти двух советских академиков, что присуждение премии носит "недостойный и провокационный характер", не знаю, кого из них пришлось "убеждать", а кто рвался сам.

Я подумал о контрзаявлении, не обязательно с большим числом подписей, но представляющем людей разных взглядов, для меня это было бы первое "коллективное письмо". Начав черновик с поздравления Андрею Дмитриевичу, чья деятельность "исходит из посылки, что подлинный мир невозможен без признания государствами прав человека", я напомнил "пакт мира" между Сталиным и Гитлером – "было бы трагично, если бы в 1939 году премию мира получили Гитлер и Сталин, а тот, кто говорил об их жертвах, подвергся бы осуждению как "противник международной разрядки"..."

Орлов предложил встретиться с Турчиным и Медведевым и вместе обсудить мой проект. С Юрием Федоровичем Орловым я познакомился у Гинзбурга вскоре после моего возвращения в Москву. Небольшого роста, с рыжими курчавыми волосами, выглядел он моложе своих пятидесяти лет и показался мне сначала человеком мягким – понял я, однако, что он будет тверд, когда необходимо быть твердым. Он, пожалуй, единственный известный мне человек, у кого отточенное научное мышление соединяется с большим житейским опытом. Он вырос в деревне, работал на заводе, в войну был артиллерийским офицером, после поступил в университет и стал

профессором теоретической физики. Во время войны он вступил в компартию, но в 1956 году был исключен, неоднократно увольнялся с работы за свои взгляды, а с переездом в Москву в начале семидесятых годов примкнул к Движению. С редкой для диссидента способностью к политическому мышлению он понимал необходимость политической альтернативы в стране, где стабильность основана только на силе, понимал, цитирую его письмо ко мне, что "Демократическое движение должно – осторожно – приближаться к рабочим, если не хочет, чтобы его смяли национализм и ненависть к интеллигенции". Относясь к марксизму еще более негативно, чем я, он считал, что "либеральные марксисты" важны как для идеологического баланса в стране, так и для установления контактов с западными левыми. Он сказал однажды, что если всему миру действительно не избежать коммунизма, тем более необходимо хоть сколько-нибудь очеловечить его.

Руководитель советской секции Эмнести Интернейшнл Валентин Федорович Турчин – у него в лице было что-то от кавказца или грека – был по складу ума более кабинетным ученым и по политической ориентации более "левым", чем Орлов, к тому же я познакомился с ним в период его увлечения Медведевым. И он, и Орлов принадлежали к "поколению 66 года", и встреча с ними, как и со многими другими, показала мне, что кризис Движения преодолен. Одним из нововведений, заимствованным у евреев, было проведение научных семинаров, которые весьма отличались от памятных мне "застолий" у Якира.

Рой Александрович Медведев был мне знаком по его книге о Сталине, в нем самом я почувствовал что-то педантичное и рыбье, я сказал ему, что у его брата бабье лицо, быть может, не совсем вежливо, поскольку они близнецы. Подпись Роя Медведева казалась мне важной – как потому, что его брат выступал против присуждения премии Сахарову, так и потому, что взгляды его самого постоянно противопоставлялись сахаровским. Он выступал за "очищение" марксизма от сталинизма, и его заявления – вполне верю в это – выражали невысказываемое мнение части работников партаппарата, но никакой реальной группы сторонников он не имел. Его методом было "уговаривание" власти, и оценку диссидентам, идеи и дела которых он измерял метром марксистского педантизма, он давал как бы из некоего исторического далека, забывая, что речь идет о его весьма уязвимых перед властью современниках. Как и следовало ожидать в нашей несчастной стране, возник немедленно слух, что братья Медведевы – агенты КГБ. Я думаю, что трагедия в том, что они – отчасти из соображений идейных, отчасти тактических – остановились на идеях 1956 года, на надежде, что развитие зыбкого "верхушечного антисталинизма" будет органическим, но власть пошла назад – и в "пожеланиях" Медведевых не нуждались, а общество двинулось вперед – и Солженицын,

Сахаров, Турчин прошли период увлечения Медведевыми, чтобы оставить их позади. Во время нашей встречи Медведев, а вслед за ним Турчин потребовали заменить слово "великий" в применении к Сахарову на "выдающийся" – я не стал с ними спорить, хотя и не видел основания лишать Сахарова величия.

Мне казалось важным, чтобы под заявлением подписался также кто-либо из участников еврейского движения. За годы, что я провел в заключении, мой старый друг Виталий Рубин сильно изменился, и это отражало изменения в положении евреев. Он всегда помогал Демократическому движению, но держался осторожно, побаивался зайти к нам, говорил, что хотел бы уехать в Израиль, но рискованно потерять работу и не получить разрешения. Теперь я застал человека, которому "море по колено" – был он "в отказе", то есть подал заявление на выезд и получил отказ из-за знания "государственных тайн" как специалист по древней китайской философии. Вместе с другими евреями он подписывал обращения, участвовал в демонстрациях, подвергался задержаниям – и жил этим. Взрыв национализма среди бывших ассимилянтов имел и комичные стороны – кто-то назвал одного еврея дураком, и Рубин поморщился: "Как, еврей – и дурак?" Он пережил в юности заключение, болел туберкулезом и из нас двоих более походил на только что вышедшего из лагеря.

В 1968-69 годах Движение евреев за эмиграцию делало робкие шаги, в 1974-75 его влияние значительно превосходило влияние Демократического движения, примеру которого оно следовало. Демократическое движение пережило несколько кризисов и лишилось многих участников, власти видели главную опасность в нас, потому что мы хотели изменить положение внутри страны, а не просто уехать. Никакие силы в мире не были заинтересованы поддержать нас, тогда как за еврейским движением стояли Израиль, сионисты всего мира, а главное – несколько миллионов американских избирателей, а следовательно конгресс и администрация США. Также – вне зависимости от того, евреи это или не евреи – Западу легче оказать поддержку идее эмиграции, чем изменениям внутри СССР.

Во всех национальных движениях есть два крыла: одно считает, что нужно сосредоточиться только на своих проблемах, избегая конфликта с властями, другое – что борьба за национальные права есть часть Движения за права человека. Переход от отождествления себя с русской культурой к отождествлению с иной не мог проходить без некоторого внутреннего насилия, и как естественное оправдание выдвигалось, что Россия все равно безнадежна и движение диссидентов бесперспективно. Это способствовало усилению на Западе взгляда, что вопрос прав человека в СССР – это исключительно вопрос эмиграции, притом еврейской. Г-н Киссинджер, например, "права человека" измерял только числом выехавших евреев, что вполне отвечало и интересам

советских властей представить всю оппозицию как "еврейскую" – а затем раздувать антисемитизм. Орлов и Сахаров защищали право евреев на эмиграцию, но еврейские организации на Западе – за редким исключением – не стали защищать Орлова и не знаю, будут ли защищать Сахарова. Рубин сразу же подписал заявление. Оказалось, что мои друзья Владимир Войнович и Владимир Корнилов сами написали заявление, возник спор, чье лучше, страсти разыгрались, все же они вместе с писателем Осипом Черным и священником Сергием Желудковым подписались и под нашим.

С Войновичем я был знаком давно, помню, как мы оба удивились, встретившись сначала на премьере его пьесы – я в роли корреспондента АПН, – а затем около суда над Галансковым и Гинзбургом. На допросе по моему делу Войнович сказал, в частности, что мои пьесы написаны "в чуждой ему манере" – это правда, но впоследствии огорчало его, как огорчал Пастернака отзыв о Мандельштаме в разговоре со Сталиным. Я и раньше считал Войновича хорошим писателем, а его "Приключения Ивана Чонкина" кажутся мне на порядок выше других его книг. Был он уже исключен из Союза писателей – а Владимир Корнилов ждал исключения: его роман "Демобилизация", очень точно передающий советскую атмосферу начала пятидесятых годов, только что вышел заграницей. Оба они не были политическими диссидентами, их разрыв с системой диктовался логикой их творчества. Мы с Гюзель часто бывали у них, в домах, несущих еще отпечаток привилегированной жизни официальных писателей и в то же время – неустойчивой жизни диссидентов.

У Володи Корнилова была идея организовать секцию ПЕН–Клуба, блокировав включение в ПЕН-Клуб официального Союза писателей. Для секции нужен минимум в восемнадцать человек – мы долго подсчитывали, и не очень у нас получалось, вдобавок те, кто был уже выбран почетными членами в иностранные секции, рассуждали так: сейчас только мы члены ПЕН-Клуба, а организуй секцию, так не будет отбоя от всякой шушеры – и мы, глядишь, затеряемся, как Шило среди других академиков.

–Да очень уж вы, Володя, деликатно с ними разговаривали, – сказал я мягкому и нервному Корнилову. – А сказать надо было так: можете и не вступать, но не забывайте – у нас длинные руки.

Я хотел, чтобы заявление подписали два художника – Эрнст Неизвестный и Оскар Рабин. Обоих я знал полтора десятилетия, но с Рабиным у нас были дружеские отношения, а с Неизвестным только беглые встречи. В 1962 году, в эпоху "гнилой оттепели", когда даже не все прожженные бюрократы понимали, куда подует ветер, Элий Белютин, художник, искусствовед и авантюрист, подал властям докладную записку, что, поскольку наше общество, закончив строительство социализма, приступило к развернутому строительству коммунизма, а

искусство, как известно, всегда впереди, настала пора заменить социалистический реализм коммунистическим – в качестве образца комреализма Белютин получил разрешение на антресолях выставки Московского союза художников, домэна устарелых соцреалистов, устроить выставку картин своих учеников и скульптур Неизвестного. Хрущев, под одобрительный гогот воспрявших духом соцреалистов, обозвал белютинцев "пидарасами" – и на этом "коммунистический реализм" пошел ко дну, тогда как звезда Неизвестного поднялась. И не потому, что Хрущев похвалил его, а потому что он вступил с Хрущевым в спор – и сразу же стал на весь мир известен. Да и сам Белютин не пал духом: он исчез на месяц, а затем собрал у себя дома художников и поэтов и рассказал, что был на Кубе и Фидель Кастро обещал ему полную поддержку, причем особенно похвалил тех художников, которые как раз сейчас собрались у Белютина. "Друзья, Кастро с нами!" – восклицал он, стоя перед картиной Каналетто – черт ее разберет, подделка или подлинник, – и потряхивая длинными волосами. Выяснилось вскоре, что этот месяц он провел в Крыму.

Работы белютинцев были бледным подражанием сюрреализму и абстрактному экспрессионизму – Эрнст Неизвестный действительно настоящий художник. Вернувшись из ссылки, я застал его в новой роли – не официальным, хотя и фрондирующим скульптором, а исключенным из Союза художников "отщепенцем", добивающимся разрешения уехать. Последний год я часто бывал в его мастерской, на первом этаже полуразрушенного дома, где ему все время выключали то электричество, то воду, и выпивал с ним – не воду, конечно, – под укоризненным взглядом гипсового Хрущева, Неизвестный сделал памятник на его могилу. Производил Эрнст, было ему уже лет пятьдесят, впечатление человека бывалого, с замашками несколько приблатненными, а отчасти ухаря-купца, мог вытащить толстую пачку денег жестом "ндраву моему не препятствуй", с народом разговаривал решительно. Вот какая-то унылая баба стучится.

– Моя стукачка, – громко говорит Эрнст, указывая гостям на потупившуюся бабу, – пришла выслеживать. Ну что тебе, пять рублей надо?

– Пять рублей, – соглашается баба и, получив их, уходит, тихо прикрыв дверь.

Но, по-моему, был Эрнст неуверен в себе и себя по-настоящему не нашел, в нем, как и во многих совестких художниках, был глубокий внутренний разрыв между данным от Бога талантом, между креативным "я" художника, которое так же глубоко запрятано и так же трудно, но необходимо найти, как смерть Кащея Бессмертного на конце иглы в яйце, – и привитой "советской художественной культурой". Это осложнялось тем, что, отбрасывая "коммунистические идеалы", которые должны воплощаться в работах советского художника, хотел

он какие-то "идеалы воплощать", метафизическая сторона искусства из глубины выходила на передний план, обременяя пластический образ. Неизвестный не мог найти и свое место в обществе – он разрывал с системой, в которую худо-бедно, но был включен, уживаясь с которой, разработал сложную систему компромиссов, когда одновременно приходилось играть роль и циничную, и героическую – а теперь надо было заново искать: кем быть.

– Вам это интересно? Вам это интересно? – всегда неуверенно переспрашивал он, рассказывая о чем-то.

– Никогда не слышал ничего более неинтересного , – ответил ему Венедикт Ерофеев, с которым они встретились на дне рождения Гюзель. Бродяга, пьяница, "разночинец", как его назвал раздраженный Неизвестный, Ерофеев привлек внимание повестью "Москва-Петушки" – безумным путешествием человека, который многократно пытается посмотреть в Москве Кремль, но всегда попадает на Курский вокзал к отходящему в Петушки поезду. И вот он в поезде, и рассказывает пассажирам, как якобы был в Париже и встретил Сартра; встретив впоследствии Сартра в Париже, Гюзель была удивлена, что такой человек существует, она думала, что это герой Ерофеева.

Желая все-таки показать, что он не лыком шит, Неизвестный заметил, что когда Сартр был в Москве, они проговорили свыше четырех часов.

– Вот, должно быть, скукотища – четыре часа разговаривать с Сартром, – спокойно сказал Венедикт, и Эрнст был убит. Впрочем, от нас "допивать" они поехали вместе.

Ерофеев и Неизвестный принадлежали к разным субкультурам – "субкультуре диссидентов" и "субкультуре референтов". Деление это условно, особенно в области искусства, но можно сказать, что "диссидент" как личность складывался в сопротивлении советской системе, а "референт" – в служении ей, хотя внутренне систему не принимал; если он был честный человек – он рассчитывал систему улучшить изнутри, если чистый карьерист – улучшить только свое положение. Как только "наверху" повернули к сталинизму, а "внизу" заупрямились, наиболее независимые по духу "референты" один за другим начали выпадать из системы, становясь "диссидентами поневоле", да и новый был шанс – отъезд. На Западе разница между "диссидентами" и "референтами" прослеживается хорошо: диссиденты подчеркивают свое противостояние власти как основание для того, чтобы Запад выслушивал их поучения, референты ссылаются на близость к власти как на основание, чтобы Запад следовал их советам. В общем, профессионализм "референтов" выше, но их моральный напор слабее. Заявление в поддержку Сахарова Эрнст подписал сразу же.

К сожалению, у меня уже не хватило времени заехать к Оскару Рабину – но в его подписи я не сомневался. Он был первым

художником, с которым я познакомился в юности, знакомство с неофициальными художниками показало мне, что я не одинок в неприятии системы, что какое-то противостояние возможно. Был он старше меня на десять лет — а благодаря лысине и печальному виду казался еще старше; я полюбил его картины — с каким-то отстраненным взглядом на убогую и трогательную советскую жизнь, впоследствии стиль его менялся, да и я менялся с годами. Твердость, порядочность и здравый смысл сделали его ведущей фигурой среди тех художников, кто пытался добиться права на независимое существование. Разгон бульдозерами выставки на подмосковном пустыре произвел такое впечатление на Западе, что власти разрешили несколько выставок. На одной я был вместе с Оскаром летом 1975 года — среди ее экспонатов было "гнездо", в нем сидели живые молодые люди и высиживали яйца, рядом со снисходительной улыбкой стоял милиционер, хотя по всем признакам этим юношам тут же надо было дать по пятнадцать суток, только картину "Долой государственные границы!" сочли слишком крамольной и распорядились снять, под пустым местом сидели на полу ее авторы и голодали в знак протеста. После Магадана это поразило меня, но не было ни одной работы, которая по-настоящему тронула бы. Изоляция не позволила возникнуть не только преемственности внутри русского искусства XX века, но даже внутри уже двадцать лет существующего неофициального. Больше власти уступок не повторяли, начали разделять художников, стараясь изолировать Рабина, после долгой и изнурительной борьбы он в 1978 году выехал за границу и вскоре был лишен гражданства.

Петр Григоренко сразу же подписал заявление, а бывший у него Решат Джемилев подписался как представитель крымских татар. Двое, однако, подписать отказались — Надежда Мандельштам и Игорь Шафаревич.

С Надеждой Яковлевной Мандельштам, вдовой поэта, я познакомился лет пятнадцать назад — у нее был вид серой мышки, которая незаметней хочет юркнуть в норку, беспокоила ее та же проблема, что теперь меня — московская прописка. Увидев ее в московской квартире, я просто не узнал ее — передо мной был генерал на белом коне, за эти годы на Западе вышли два тома ее воспоминаний, поставившие ее в ряд выдающихся — пользусь медведевским словом — русских писателей, возможность высказаться, а главное, успех и отношение к ней уже не как к несчастной вдове, но как к человеку, которому есть что сказать, совершенно ее изменили. Первую книгу я читал перед арестом еще в рукописи, многое она мне объяснила, многие ее оценки совпадали с моими собственными, вторую прочел семь лет спустя — книга тоже замечательная, но испорченная старушечьей злостью, сведением мелких счетов полувековой давности, искажениями и несправедливостями, видимо, прорвалась годами сдерживаемая потребность

ответить всем и за все, для сильной личности годы унижений не могут пройти неотмщенными, все вырвалось бурным потоком, несущим щепки и грязь, не пройдя сквозь фильтр отделения неважного от важного. Надежда Яковлевна встретила меня любезно, долго мы говорили – о власти, о художниках – проявляла она живой ум, но и пристрастность царицы маленького кружка. Подписывать заявление она не стала, сказав, что полностью согласна с ним, но просто боится. Провожая меня, она кивнула на дверь в прихожей: "Первый раз в жизни у меня отдельная уборная". После гибели мужа она скиталась всю жизнь по небольшим городам, проблему сортиров там я уже описал.

Игорь Ростиславович Шафаревич, член-корреспондентАкадемии наук, с этой проблемой никогда, я думаю, не сталкивался, не думаю также, чтобы он боялся подписать заявление. Он объяснил свой отказ тем, что присуждение Нобелевской премии может быть предлогом выпустить Сахарова на церемонию вручения, а затем не пустить назад, а он против его выезда из страны, как вообще против эмиграции. Подпись Шафаревича казалась мне важна – и как коллеги Сахарова по академии, и как русского националиста по взглядам, о нем одном пишет с похвалой Солженицын, хотя более по долгу, без теплоты. Видя, что в рассуждениях специалиста по математической логике никакой логики нет, так как я предлагал одобрить присуждение премии, а не эмиграцию Сахарова, я не старался убеждать его доводами разума, а скорее воздействовать эмоционально – я обращался к нему как "вавилонщик к вавилонщику", я в студенческие годы написал реферат о Вавилове, а он писал о "вавилонском социализме". Заколебался он на секунду – но все же не подписал. Если сравнить мое путешествие по диссидентам за подписями с путешествием Чичикова по помещикам за "мертвыми душами", то Шафаревича наиболее уместно сравнить с Собакевичем. Было в нем что-то медвежье, что-то давящее, просилась собака – он не пустил ее, собака не должна общаться с чужими. Книга его о социализме интересная, с неожиданно глубокими проникновениями, тем не менее слишком карикатурна, чтобы быть серьезным анализом, автор не видит ничего, кроме того во что сам уверовал.

Шафаревич вместе с Солженицыным выступили с поучениями к нелюбимой ими интеллигенции не давать детям образования, связанного с ложью, и не уезжать заграницу.

Несомненно, что получение образование в СССР, особенно высшего, связано с необходимостью лгать: за нежелание лгать я был выброшен из университета, в этом смысле я и говорил Шило, что мое огромное преимущество, что я не учился слишком долго. Шило, Брежнев, Коломийченко, Медведев, Сахаров, Солженицын, Шафаревич и миллионы других – учились долго; чтобы получить дипломы, сдавали экзамены по марксизму-ленинизму, показывая, что верят в него, не берусь судить, кто искренне, кто нет – но выбор затем они сделали очень

разный. Людей, которые порвали с режимом, не успев получить высшее образование, и вместе с тем смогли проявить себя, я смогу пересчитать по пальцам одной руки. Возможности человека сужаются – даже возможность противостоять лжи. По-видимому, единственный реальный путь – это установление минимальной границы лжи, сознавая эту ложь как зло и готовясь искупить ее. Люди с достаточно сильным моральным императивом, чтобы идти на полный разрыв, будут служить как бы точкой отсчета.

Абсолютное моральное требование "не уезжать", поскольку всякий отъезд – это разрыв с родной страной и культурой, довольно скоро породило столь же абсолютное моральное требование "уезжать", поскольку пребывание в стране – это в той или иной форме сотрудничество с тоталитарным режимом. С другим выдающимся ученым, лингвистом Юрием Мельчуком, мы однажды спорили, вытаращив глаза и надрывая голоса до хрипоты, – у меня уже лежали документы на выезд в кармане, но я не видел в своем отъезде исполнения морального долга, мне ближе точка зрения Шафаревича, существует глубокая связь со страной и долг перед ней. Но существует и долг страны перед ее детьми, нарушение которого иногда не оставляет выбора, Россия слишком долго была и остается не матерью, но мачехой – не только для евреев и крымских татар, но и для огромного числа русских. Объяснять все это дурным влиянием "латышских стрелков", "немецких денег", "еврейских комиссаров" и "западной идеологии" кажется позицией страуса прятать голову под крыло. Марксистская идеология пришла с Запада, но с Запада пришла и идея правосознания – почему же первая привилась и одержала победу, а вторая провалилась?!

Я против "абсолютизации" проблемы отъезда – можно жить иностранцем на подмосковной даче и чувствовать себя русским в штате Вермонт. Кто сопротивлялся этой системе в СССР, тот продолжает борьбу с ней и за границей, недобровольный выезд предпочтительнее, чем долгие годы тюрьмы. Кто же вообще хочет разорвать с этой страной, имеет полное право.

Присуждение премии Сахарову дало толчок Движению, и зимой 1975-76 года мы с Орловым часто обсуждали, что можно сделать, чтобы вывести его из круговорота "арест-протест-арест" и добиться большего влияния. Мы оба считали, что важно явление "назвать", и составили проект декларации Движения за права человека в СССР. Мы выступали за права человека во всем мире и хотели предостеречь против опасной тенденции борьбу за них в одних странах противопоставлять борьбе в других. Кто борется за права человека в своей стране, тем самым борется за них везде, насилия "слева" служат для оправдания насилий "справа" и наоборот. Проблема не только в попытке сделать права человека орудием "неправовой" политики и не только в наступившем замешательстве с "правыми" и "левыми" – но мы предлагали

веру в человеческое достоинство, ценность, уже выходящую из моды, чтобы вернуться как единственная надежда.

Сахаров сразу же сказал, что он декларацию не подпишет, да и от других правозащитников просто было получить подпись под протестом против какого-то суда, но не ясное изложение, чего они хотят. Тогда мы с Орловым предложили обращение к "новоизбранному" на XXV съезде КПСС политбюро – тема "диалога с властью" не первый раз появляется на этих страницах. *"Во многих странах коммунистические партии переходят сейчас от конфронтации к диалогу с другими общественными группами,* – писали мы. – *Настало время положить конец нетерпимости и прислушаться к голосам инакомыслящих. Сознавая это, мы протягиваем вам руку и предлагаем начать диалог о будущем страны. Мы предлагаем представителям руководства КПСС встретиться с представителями Демократического движения".* Мы намечали, что это предложение подпишут Петр Григоренко – как "еврокоммунист", Валентин Турчин – как социалист, Андрей Сахаров – как центр нашей "политической коалиции", Юрий Орлов – как либеральный демократ, и я – как "правый".

– Это получится, как будто моська лает на слона, – возразил первым Турчин. – Могут посмеяться, что такая маленькая группа хочет на равных диалога с могучим режимом.

– Но народ-то не смеялся над моськой, – сказал я. – Народ говорил: Ай моська, знать она сильна, что лает на слона.

Сахаров торпедировал и этот проект. Вместо этого он предложил очередной призыв об амнистии, который мы все, конечно, подписали, но прошел он незамеченным. Мы понимали, однако, что с мертвой точки сдвинуться надо.

Еще осенью я познакомился у Рубиных с человеком внешне немного похожим на Убожко, молодым, плешивым, низкорослым, но крепким. Толя Щаранский, инженер-электронщик, отказник и еврейский активист, неоднократно уже отсиживал по пятнадцать суток, был уволен с работы и подрабатывал, давая уроки английского диссидентам и отказникам, выучил он язык самоучкой, но во всяком случае знал его лучше своих учеников. В одной из его групп были Юра Орлов и я, сам Юра – один из блестящих русских физиков – зарабатывал тем, что натаскивал отстающих школьников. Как-то Щаранский сказал нам, что есть смысл обратиться к общественному мнению стран, подписавших Хельсинское соглашение, с предложением обсудить, как можно содействовать выполнению его гуманитарных пунктов. Мы ухватились за эту идею: открывалась возможность использовать Хельсинское соглашение, "третью корзину" которого мы рассматривали не более чем попытку Запада "сохранить лицо" – было ясно, что СССР не будет выполнять свои обязательства, а Запад требовать их выполнения. Переговорив с Юрой, я составил проект обращения, где мы предлагали

"создание независимых от правительств национальных комитетов, из представителей которых был бы сформирован межнациональный комитет". Мы хотели включить совесткий комитет в целях его безопасности в некую международную структуру, но я добавил, что *"поскольку Советский Союз был инициатром Хельсинского совещания, мы считаем, что именно советская общественность должна взять на себя инициативу создания первого национального комитета".*

Главным препятствием опять оказался отказ Сахарова подписать обращение – а мы хотели даже, чтоб он возглавил комитет. Сначала мы отставили идею, но затем я сказал Орлову, что будет самым лучшим, если комитет возглавит он, а чтобы не было впечатления, что Сахаров против, туда вошла бы Люся Бонэр, его жена. Щаранского мы знали мало, и я считал, что если он толька передал чужую идею, то лучше вместо него пригласить более известных Слепака и Рубина; перевес еврейских активистов дал бы неверное представление о целях комитета. Но идея принадлежала Щаранскому, и он как человек со здравым умом, способностью к политическим оценкам, сильной волей и внутренним благородством не только стал незаменимым членом Хельсинской группы, но и выдержал один на один противостояние с КГБ – в июле 1978 года он получил три года тюрьмы и десять лет лагерей за "измену родине". В последнем слове он сказал: "Я горд, что я знал и работал вместе с такими честными, смелыми и мужественными людьми, как Сахаров, Орлов, Гинзбург".

Орлов начал выяснять, кто и на каких условиях мог бы войти в группу и как лучше сформулировать ее программу, я же отошел от этого: 30 марта стало ясно, что мои дни в России сочтены. С терпимостью к чужим взглядам и умением объединять людей, не навязывая им свою волю, Орлов оказался прекрасным руководителем. Хельсинская группа послужила мостом между разными направлениями оппозиции – правозащитным, национальными, экономическим, между интеллигенцией и рабочими, а Запад побудила реагировать на нарушение советским правительством Хельсинских соглашений. Оно ответило репрессиями, внутренней причиной которых была нестабильность "наверху" в ожидании смены руководства – то же происходило накануне смерти Сталина. Осуждение Президентом Картером репрессий в СССР напугало советские власти, но его политика в защиту прав человека не была подкреплена конкретными действиями, он начал "смазывать" свои заявления, и советские руководители сочли, что могут не считаться с ним.

В январе 1977 года был арестован Гинзбург, в феврале Орлов, и в марте Щаранский – ни один из них не был сломлен и "вины" своей не признал. Саша Гинзбург был не только членом Хельсинской группы, но и распорядителем Фонда помощи политзаключенным, деньги для помощи собирались с 1966 года, я знал девушку, ежемесячно дававшую

пять рублей от своей сторублевой зарплаты, а в 1974 году Солженицын предоставил часть своих гонораров. За помощь заключенным и их семьям Гинзбург в июле 1978 года получил восемь лет лагерей. Я не ошибся, что руководство Хельсинской группой сделало Орлова известным, но мои надежды, что это защитит его, не оправдались – в мае 1978 года он получил за это семь лет лагерей и пять ссылки. Как можно понять, собирались дать Орлову три года, а Щаранскому пятнадцать, однако из-за гораздо более мощной поддержки за рубежом у Щаранского переиграли: одному два года убавили, а другому добавили четыре и пять.

Совсем в духе антисемитского "дела врачей" 1953 года в "Известиях" перед арестом Щаранского появилось "открытое письмо" Липавского, который признавался, что был агентом СиАйЭй, и обвинял в том же Щаранского, Рубина и других евреев. Жупелом СиАйЭй пользовались против американских журналистов в Москве, теперь же КГБ хотел связать в один узел диссидентов, евреев, журналистов и американскую разведку. Это было драматизировано заявлением президента Картера, что Щаранский не был агентом СиАйЭй, и теперь осудить его за это значило бы плюнуть в лицо американскому президенту – в июле 1978 года советские власти это сделали.

Под предлогом секретности, то есть работы в военной области, власти отказывают в выезде евреям, которые работали в институтах, получавших американское оборудование: либо отказ со ссылкой на "секретность" неверен, либо американцы поставляют оборудование для советских военных исследований. Щаранский был одним из евреев-отказников, кто работал над составлением списка этих институтов. Как только появилось письмо Липавского, на вопрос корреспондента ЮПИ в Бонне я ответил, что, по моему мнению, Липавский агент КГБ, внедренный сначала в еврейское движение, чтобы через евреев связаться с американцами, а затем всех скомпрометировать. То, что Липавский был "раскрыт" КГБ, показало, насколько необходимость "дела" для властей настоятельна. Не все тогда согласились со мной, но моя оценка подтвердилась.

Знакомые и малознакомые звали Липавского просто Саня или даже Санечка, усатый, улыбчивый, добродушием так и веяло от него, нейрохирург по профессии, он даже давал Гюзель советы, как меня лечить, когда я лежал с менингитом в лагерной больнице. Несколько раз я встречал его у Рубиных, не испытывал никаких подозрений – да он никак и не пытался "войти в доверие" ко мне. Он не выдавал себя ни за "диссидента", ни за "еврейского активиста", а за обычного еврея, терпеливо ждущего возможности уехать. Но он всегда готов был помочь другим – одного подвезти на своей машине, другому достать лекарства, Щаранскому он снял комнату в Москве; давались ему "добрые дела" легко – он был осведомителем того типа, который

попадается на удочку по слабости и рад угодить своим жертвам. Его отец за финансовые махинации был приговорен к пятнадцати годам, но скоро "актирован" – и спокойно жил на свободе, я уже писал, что такое "актирование", и думаю, что Липавского "взяли на крючок": освободим отца, если будешь на нас работать. Может быть, в начале еще золотили пилюлю, что он будет информировать КГБ для пользы самих евреев, чтоб тех от "необдуманных поступков" удержать, а через несколько лет получит-де разрешение выехать.

Аресту Гинзбурга и Орлова предшествовала в "Литературной газете" статья другого провокатора – Александра Петрова-Агатова. Его я видел один раз у Орлова, в своих интервью для совестких газет он деликатно назвал его "последней встречей с Амальриком". Он провел много лет в лагерях – по делам уголовным и политическим – и как бывший заключенный был взят Гинзбургом под опеку. Был у него писательский зуд и прямо юношеское, несмотря на шестьдесят лет, желание быть напечатанным – не исключаю, хотя и не главная, но одна из причин, что он начал клеветать на тех, кому был обязан. В отличие от Липавского, он произвел на меня неприятное впечатление, в каждом его слове чувствовалась фальшь, а религиозной аффектации я всегда не доверял. К сожалению, никакое движение невозможно без предателей, как и без героев и мучеников.

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР была основана в Москве 12 мая 1976 года, затем были организованы группы в Киеве, Вильнюсе, Тбилиси и Ереване, сейчас арестовано более двадцати их членов – на их место пришли новые люди, и группы продолжают работать.

Глава 26.

КГБ ПРОТИВ КОШКИ ДИСЫ

20 февраля ночью, когда мы с Гюзель выходили из гостей, четверо человек в штатском затолкали меня в машину, никаких документов они не предъявили, и случись это в Италии, я мог бы думать, что похищен "красными бригадами" – но в Москве это были всего лишь "славные органы". Через четыре дня должен был начаться съезд КПСС, и власти занервничали – ежедневно милиция врывалась в нашу пустую квартиру на улице Вахтангова, а затем, прослушивая телефонные разговоры дипломатов, узнали, что мы будем у нашего друга Джозефа Пресла. Завезли меня в отделение милиции, затем

снова усадили в машину; я думал на Лубянку – но свернули в другую сторону, в Лефортово – но Лефортово осталось позади, и я с ужасом увидел, что мы едем по направлению к нашей "тайной квартире" в Теплом Стане, пронюхали все же, будет обыск. Но машина проскочила кольцевую дорогу, и оказалось, что меня везут в Калугу, где остаток ночи и полдня я провел в милицейской камере – никто не объяснил мне, почему я задержан, и не составил протокола. Днем двое вежливых людей в штатском отвезли меня в Боровск.

Меня ждали знакомый мне подполковник и районный прокурор, с обидой сказавший, что из-за меня им приходится работать по субботам. Четыре месяца я прописан у них в районе, но не работаю, вот и пришлось мне послать повестку – повестку на 26-е февраля я получил через два дня, и вот за то, что я не пришел по ней 26-го "органы" меня задержали 20-го, подтвердив теорию, что время относительно.

Видя, что мне арест не грозит, я немного развеселился, ответил, что работаю – за своим письменным столом, сослался даже на подписанную Советским Союзом международную Конвенцию об отмене принудительного труда. Прокурор здраво ответил: "Мы ведь не ради вас ее подписывали", – и я, в присутствии понятых, более всего напуганных, как бы их самих не посадили, получил формальное предупреждение о трудоустройстве в течение месяца. КГБ повторял трюки 1965 и 1968 года – но не понятно было, что меня не только на пятнадцать суток не посадили, не только не "посоветовали" сидеть в Ворсино, но сказали: поезжайте сейчас в Москву, посоветуйтесь с женой, а прокурор пригласил меня на 24 февраля "поговорить о трудоустройстве". Я подумал, может быть, хотят успокоить страсти: оказывается, Люда Алексеева уже Андропову звонила, а Гюзель иностранным корреспондентам; они при каждом моем задержании сообщения в свои газеты давали. Секретарь же Андропова уклончиво отвечал: "Мы здесь ни при чем, давѝте на милицию!"

Только в метро в Москве я заметил слежку, и молодой человек в красном шарфике, заметив, что я их заметил, подошел ко мне: "Долго ты будешь падла, с нами в прятки играть?! Пиздуй домой и сиди там – дома мы тебя не тронем!" – и добавил, что если я поеду к друзьям, то головы мне не сносить. Я уже с вокзала звонил на улицу Вахтангова – Гюзель там не было, поэтому поехал все же к друзьям, но по дороге свернул на Кузнецкий Мост. Из-за позднего часа никого, кроме дежурных лейтенанта и прапорщика в приемной КГБ не было, я сказал, что их сотрудники, которым поручено следить за мной, мне угрожают. Растерявшийся лейтенант звонил кому-то и говорит: "Либо напишите сейчас заявление, либо зайдите в понедельник, здесь будут товарищи, они вам окажут помощь". "Помощь" – их любимое слово: КГБ, как и "третье отделение", все время порывается "утирать слезы вдов и сирот". Устроив чье-либо увольнение с

работы, гебисты приглашают свою жертву и лицемерно предлагают "помощь в трудоустройстве", даже арестованным частенько говорят, что им "оказали помощь", чтобы удержать от еще более опасных поступков или защитить от "гнева народа".

– Какая же помощь в понедельник, – сказал я, – если они мне в субботу голову проломят?

Лейтенат развел руками, как и его начальник, появившийся все же. Понервничал я довольно сильно, идя по темному безлюдному переулку и слыша за собой приближающиеся шаги и тяжелое пыхтенье. По дороге в Калугу пугали меня семью годами строгого режима, теперь – то ли избиением, то ли убийством, да и в Магадане намекнули однажды, что могут убить. Не скажу, что я принимал это как пустой звук: Владимира Войновича, приглашенного "для оказания помощи" в публикации книг, двое офицеров КГБ отравили, хотя и не смертельно, то ли газом, то ли наркотиком в сигарете, через месяц такая же история произошла с грузинским поэтом Звиадом Гамсахурдия, несколькими художникам сожгли кожу ипритом, проломили голову переводчику Константину Богатыреву перед дверьми его квартиры, хотели, видимо, припугнуть писателей, а с Богатыревым у КГБ были старые счеты как с бывшим зэком и другом Пастернака. Рассказывали, что пока Богатырев лежал в больнице, сотрудники КГБ сказали врачу: если он выживет – с вами будет то же самое. Богатырев не выжил.

За нами теперь ездили две машины – по четыре человека в каждой, а ночью дежурили на улице Вахтангова, одна во дворе, другая у подъезда. Накануне съезда мы с Гюзель уехали в Ворсино, где я, под треск дров в печке и мурлыканье рыжего кота, написал о своем задержании очерк "Нежеланное путешествие в Калугу".* Прокурору я послал письмо, что заехать к нему не могу, но если у него какое-то настоятельное дело, то милости просим к нам. В начале марта, заметив, что на станции нет наблюдения, мы кружным путем вернулись в Москву, в "тайную квартиру", и благополучно прожили неделю, пока не заехали к Рубиным. Зашел Липавский и сказал: "У дома стоят", – а я-то думал, что слежку установят только на время съезда.

Конечно, за нами и раньше бывала слежка, я не всегда замечал ее, Гюзель была наблюдательнее. Летом прошлого года, после обеда с редактором "Проблем коммунизма"Эйбом Брамбергом, мы возвращались ночью по пустой Красной площади – и Гюзель показала на бредущего за нами агента: бедный, он срочно должен был найти милиционера, чтобы тот проверил наши документы – но только неподвижные часовые стояли у мавзолея. Агент бросился к милицейскому телефону, и мы побежали через знакомые мне со студенческих лет проходные дворы за университетом, Гюзель сняла белый парик и длинное палтье,

* Запад и СССР в одной лодке? Лондон, 1979.

и я вышел на улицу под ручку с брюнеткой в мини-юбке, с которой беспрепятственно дошел до дома. Сами филеры задерживать и проверять документы права не имеют. Помню, как милицейский лейтенант напрягся и шагнул в нашу сторону, увидев за нами знакомых филеров и ожидая знака – но те и без документов знали, кто мы.

Теперь я даже не назвал бы это слежкой, а скорее преследованием – за нами ходили открыто, хотя и была подчас некоторая игра, что нас "не замечают" – вроде игры суда в "судебное следствие". Я плохо запоминал лица, но иной раз в метро, видя, как какой-нибудь пассажир сидит с полностью отвлеченным от происходящего видом, я спрашивал Гюзель: "Наш?" На них всех лежал заметный отпечаток – я бы назвал его "презумпцией обиженности", чувствовалось, что они обижены на весь мир, а прежде всего на свою жертву, за то, что им приходится заниматься такой гнусной работой; они ненавидели и заметно нервничали, если вы внимательно начинали на них смотреть; впрочем, я старался не замечать их. Больше всего им не нравилось дежурить в Ворсино, далеко от Москвы. "Как он мне, падла, надоел", – агент придурковатого вида пожаловася другому, когда я садился на поезд в Калугу. Они были теперь оснащены радиоаппаратурой – спасибо Западу, и если мы ехали в метро, то по выходе на улицу нас уже ждали их машины. Шофер иногда, отрываясь от баранки, разводил руками: что ж, мол, поделаешь, приходистя ездить за вами, служба. Как-то Ира Орлова подошла к сидящему с индифферентным видом на скамейке у их подъезда мужичку и спросила раздраженно, сколько ему платят за это. "На водку хватает", – спокойно ответил он.

Мы не могли вернуться на нашу "тайную квартиру", тогда бы КГБ раскрыл ее, и вспоминали жизнь там, как счастливое время, рядом был лес, мы часто ходили на лыжах, иногда вместе с Орловыми. Иной раз приходилось понервничать: из-за неисправности в трубах стала течь вода в квартиру под нами, соседка подняла шум, но дело обошлось вызовом слесаря. Как-то еще осенью к нам уверенно вошел серый котик, с острой и как бы судейской мордочкой, было в нем что-то от судившего меня на Талой судьи Рыбачука. Он гадил где попало, любимым его местом была ванна, куда коту, по-моему, даже залезть не просто, Юра Орлов назвал его "наследником революционных традиций": в октябре 1917 года, взяв штурмом Зимний дворец, восставший народ испражнялся в ванны, так как до этого не умел пользоваться унитазами – не исключаю, что то же повторится при следующем штурме. Ванну не трудно было помыть, но революционный дух кота зашел так далеко, что в наше отсутствие он залез под одеяло и обдристал простыни – после этого я побил его и выставил за дверь; он пропал, и все усилия найти его были бесполезны. Но недели через три у наших дверей снова оказался котенок – на этот раз сиамский, что

было уже совершенно загадкой, в Москве сиамские коты дорого ценятся. Мы назвали кошечку Дисой, и она очень славно зажила у нас, ни разу, говоря по-лагерному, не нарушив "режим содержания", ходила гулять в лес, бежала за нами по снегу и даже хотела играть с собаками, только не слишком большими. Во время предсъездовской слежки Диса просидела одна взаперти двое суток, пока наш приятель тайком не съездил за ней и не отвез на время к Орловым. Юра говорил, что у нее ум ученого: видя висящий рисунок, она всегда хочет его от стены отодвинуть и посмотреть, что под ним. С тех пор мы всегда брали Дису с собой на тот случай, если не сможем вернуться, очень спокойно она сидела у меня на руках, с любопытством ездила в такси и в метро. Это было карнавальное шествие – впереди я с коричнево-белой кошкой в руках, рядом Гюзель в белой шубе, сзади и сбоку филеры и, приноравливаясь к нашему шагу, еле тащутся две машины. Когда однажды Диса захотела пи-пи и я неожиданно для нашей свиты свернул во двор, туда с ревом ворвались машины, включенными на полную мощь фарами осветив хладнокровно разгребающую песок Дису.

Слежка – действенный способ давления, обычно она предшествует аресту, за мной следили и весной 1970 года, хотя не так нагло. Друзья считали, что нам нужно уезжать, особенно настаивала Люся Боннэр, говоря, что меня как бывшего зэка возьмут в первую очередь, да и я понимал, что пора делать выбор между отъездом и тюрьмой. Еще в июле наш друг профессор Пайпс, взгляды которого на Советский Союз приписывал себе Петя Васильев, сделал нам частное приглашение. Оказалось, что хотя мы муж и жена, мы должны подавать заявления раздельно, по месту прописки. Сбор документов, как и ремонт дома, это тоже тема для саги: только чтобы получить справку, что я проживаю в поселке Ворсино и нигде не работаю, я ездил сначала в Ворсинский сельсовет, затем в паспортный стол Боровского райотдела милиции, затем к заместителю председателя райсовета, оттуда снова в Ворсинский сельсовет – пугало их слово "заграница", да и как дать справку, что я не работаю – а вдруг я работаю на американскую разведку. В конце концов в Москве Гюзель отказали, а в Калуге от меня потребовали представить не нотариально заверенную копию приглашения, а подлинник, который сдала Гюзель в Москве. Во всех случаях я бы без Гюзель не поехал и попросил вернуть мои документы, на что получил ответ:

"4 февраля 1976 года.

На ваше заявление сообщаю, что представленные документы на выезд из СССР и госпошлина, согласно существующего положения, не возвращаются.

Начальник паспортного отдела УВД Калужского облисполкома В.А. Климов"

В начале марта пришло частное приглашение из Голландии, из Амстердама в Ворсино дошло оно за три дня, вместо обычных двух недель, и я увидел в этом добрый знак – однако приглашение, посланное Гюзель в Москву, вообще не дошло, к тому же Гюзель сказали, что она не имеет права подавать заявления, пока со дня отказа на выезд в США не пройдет полгода. Скорее всего, приглашение до меня дошло так быстро потому, что ворсинская почта проверялась в Калуге, где цензоры менее загружены и не было еще указаний на мой счет. Я послал в ОВИР запрос, куда нам двоим одно приглашение подавать, – ни ответа, ни назад приглашения я никогда не получил. Был у нас даже проект обратиться к Анвару Садату, поскольку прабабка Гюзель родилась в Каире, но сначала, чтобы выяснить, что же все-таки происходит, я решил позвонить тем, от кого наш выезд зависел более, чем от Садата.

– Андрей Васильевич уже не работает, – ответил мне молодой приветливый голос, когда я попросил майора Пустякова, в июне прошлого года давшего мне месяц "на размышление". – Как у нас говорят, ушел в запас, могу дать вам его домашний телефон.

– Нет, спасибо, раз он от вас ушел, так и мне больше не нужен.

– Я замещаю его, – так же приветливо сказал голос, – могу я быть вам полезен?

– Моя фамилия Амальрик, – сказал я, в трубке наступило короткое замешательство, и затем голос быстро сказал. – Андрей Алексеевич, пожалуйста, давайте встретимся и поговорим.

Юрий Сергеевич Белов был человек еще молодой и тоже со склонностью обижаться – он хотел мне понравиться, подчеркивал, что пришел в КГБ в период десталинизации, что у него тоже есть убеждения, что сам попросил начальство поручить ему мое дело – это обычно говорится офицерами КГБ, чтобы "наладить отношения"; сказал также, что из меня получился бы превосходный врач. Впрочем, он как-то заметил, что у меня слишком большое самомнение, я сказал, что без самомнения трудно было бы начинать борьбу с таким могущественным режимом.

Он не ответил прямо на вопрос, они ли задержали приглашения для Гюзель, но сказал, что единственный способ выезда – через Израиль, и он советует им воспользоваться, "пока не поздно". Не исключаю, что власти – хоть и были злы на меня – могли "уступить" и выпустить меня по голландскому приглашению с последующим лишением гражданства, но через год было бы действительно поздно, я был бы арестован вместе с Гинзбургом, Орловым и Щаранским. Да и не было никаких гарантий, что вообще эмиграционная политика будет продолжаться долго. Я ответил Белову, что мне все равно, как они "оформят " мой отъезд, но я не хотел бы искать мнимых родственников в Израиле и лететь в Вену, а не в Амстердам. Он сказал, что

доложит начальству.

Через четыре дня мы встретились снова и согласились на следующем: 1) я обращаюсь в посольство Голландии за разрешением на въезд в Израиль и сдаю это разрешение в ОВИР вместо приглашения; 2) получив выездные визы, я прошу въездные визы в Голландию, и мы летим прямым рейсом в Амстердам; 3) я беспошлинно вывожу принадлежащие мне картины и книги; 4) мы можем три недели – между подачей документов в ОВИР и получением выездных виз – без слежки путешествовать по стране, проститься с матушкой Россией. Потребовалась еще встреча – не сразу на последнем пункте договорились, КГБ хотел спровадить меня в неделю, и думали они, что путешествие задумано "для сбора матерьяльчика". Я поднял вопрос об облигациях – при Сталине все обязаны были покупать государственные облигации хотя бы на одну месячную зарплату в год, затем был объявлен мораторий, и мне от родителей осталось мертвых облигаций на 1 200 рублей, а так как сроки выплат откладываются и вывозить облигации из страны запрещено, то я предложил КГБ выкупить их у меня. После колебаний Юрий Сергеевич сказал, что если они их у меня купят, то я всюду начну КГБ высмеивать – имел я в их глазах репутацию злого насмешника.

– О, и кошка на прием, – сказал, разыгрывая из себя друга животных, какой-то чин, когда Гюзель ждала меня в приемной КГБ с Дисой на руках.

– Да, прямо к Андропову.

Услышав столь важное имя, чин испарился. Но едва мы с кошкой на руках вышли на улицу, как новая встреча: улыбаясь весеннему солнышку, навстречу нам шел Борис Васильевич Тарасов, когда-то ведший со мной переговоры об освобождении и вывозивший меня из Магаданской тюрьмы, а затем переведенный в Москву.

– Борис Васильевич, – обрадованно крикнул я, а Диса выпучила глаза на него. Улыбка вмиг слетела с лица Бориса Васильевича, и, глядя в сторону, он ускорил шаги.

– Борис Васильевич! – крикнула Гюзель, и Тарасов не то чтобы побежал от нас – ни толстый живот, ни полковничье звание этого не позволяли, но засеменил с быстротой необычайной. Бедняга, подумал я, ведь начальство, а боится разговаривать без специального указания: остановись с нами на виду перед главной квартирой КГБ, пришлось бы потом писать объяснительную, о чем говорил и не сговорился ли тайком с Амальриком. Чтож удивляться, что милицейские чины, которые меня из постели выволакивали, встретив лицом к лицу на улице, посмотрели: один в небо, другой в землю, а третий себе в душу, но не на меня – указаний не было меня хватать, зачем же давать себе лишние хлопоты.

Из КГБ я пошел сразу в Голландское посольство – и бы схвачен

у входа: дошел быстрее, чем бюрократическая машина сработала. Начался бессмысленный разговор: зачем идете? за визой? получите сначала советскую! Капитан попроще, понемногу заводясь, заговорил об "обязанностях советских граждан", но другой, похитрей, видя, что я слишком уверен в себе, начал названивать за инструкциями. Наконец, я был пропущен в консульский отдел – в приемной, похожей на приемную советского учреждения, сидели с испуганными лицами евреи местечкового вида; по счастью, консул знал меня и сразу же принял.

– О, я-таки вижу, вы знакомы с консулом. Скажите, и как его фамилия? – подошла ко мне пожилая женщина и отошла, повторяя "Ван Горп, Ван Горп" – ей казалось, что узнав фамилию консула, она хоть крошечное, но получила преимущество.

Когда я возвращался по Арбату домой, я испытывал странное чувство, как человек, который ходил все время с рюкзаком на спине – и вдруг его скинул. Я сразу не мог понять, в чем дело, и вдруг заметил: за мной нет слежки. Топтуны еще толклись на другой стороне улицы, когда я препирался с милицией, но сейчас я проверял разными уловками – как только я вышел из посольства, слежку сняли, чаще бывает наоборот, но эта слежка свою роль сыграла – я попросил визу. Интересно, что принудив меня выехать "добровольно", власти упорно называют меня в газетах "выдворенным из СССР" – запоздалое признание правды.

Через несколько дней Ван Горп дал мне такую бумагу:

"30 мая 1976 г.

Посольство Королевства Нидерландов, представляющее интересы Государства Израиль в Совестком Союзе, настоящим заявляет, что Амальрик Андрей Алексеевич... Макудинова Гюзель Кавылевна... обратились в Посольство с просьбой о выдаче виз на въезд в Израиль, каковые будут им предоставлены по получении ими советских выездных виз."

Сдача документов в ОВИР и вещей на таможню задумана как последнее – но достаточно сильное – унижение для "советского человека". К унижениям, задуманным "наверху", добавляется инициатива "снизу", хамский тон – это компенсация чувства зависти тех, кто остается тянуть служебную лямку, к тем, кто уезжает – если даже не на свободу, что есть понятие метафизическое, то по крайней мере совершает "поступок" и получает "выбор". Два главных инструмента унижения – характеристика с работы и разрешение от родителей и / или бывших супругов. Выдача характеристик часто служит предостережением для других – особенно если устраивается собрание; разрешения от родственников можно заверять только по месту жительства, чтоб знали соседи: иногда это имеет цель надавить на стариков, чтоб тоже уезжали, не пользуясь советской пенсией,

а иногда – чтобы, наоборот, не давали разрешения.

Мы были избавлены от этого. Мы не работали на государство, и характеристики нам были не нужны, а главное – КГБ был заинтересован в нашем выезде, даже предлагал обойтись без разрешения от родителей Гюзель, но они его охотно дали, рассудив, что им как пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Нам выдали анкеты и приняли документы сразу в центральном ОВИРе, где нас курировала представитель КГБ Маргарита Кошелева, худая блондинка лет сорока с голубыми ненавидящими глазами, такого типа блондинки часто нравятся вялым мужчинам. С величайшим трудом старалась она быть сдержанно-любезной, гебисткам не дается мнимо-добродушный стиль, так характерный для гебистов.

Пришлось нам, однако, часа два высидеть в очереди, когда мы сдавали наши анкеты, справки и фотографии. Гюзель везла Дису своим родителям, а меня попросила на всякий случай захватить песок. Я ссыпал песок в сумку, которая валялась на балконе, и уже в метро заметил, что от нее исходит нестерпимый запах кошачьей мочи, я отсел в сторону с видом постороннего и не рискнул вносить сумку в ОВИР, где все и без того волками друг на друга смотрели, а поставил у дверей на улице. Пока Гюзель с Дисой дожидались нашей очереди, я время от времеин выходил проверить, не украли ли сумку – в конце концов украли. Не знаю, кто это сделал и был ли разочарован, найдя там вонючий песок, или же подумал: до чего хитры жиды – и начал промывать песок в поисках предназначенного для вывоза заграницу золота.*

На утро 10 апреля у нас были билеты на самолет, накануне вечером я снова был схвачен милицией, и мне сказали, что поручено под конвоем доставить меня в Боровск, так как срок предупреждения о трудоустройстве давно истек. Продержав до полуночи, меня отпустили, сделав в присутствии понятых второе предупреждение – уверял меня Юрий Сергеевич впоследствии, что боровский прокурор, меня не дождавшись, хотел всесоюзный розыск объявлять, и только

---

* На претворении мочи в золото, как воды в вино, кончается тема нечистот, там и сям вспыхивающая в моей книге, – поостерегусь все же сказать "наподобие крупиц золота". Один американский профессор, прочитав рукопись, осторожно заметил, не слишком ли я злоупотребляю этой темой: американцы-де увидят в этом фрейдистские комплексы. Я ответил, что если бы эти психоаналитики посидели с голой жопой на морозе, как это делает великий русский народ, они нашли бы более простое объяснение. Я скорее склонен искать объяснения у Фрейда необычайной склонности американцев к уборным: их количеством определяется качество дома, и мы видели дом с семью унитазами на одну супружескую пару.

КГБ его удержал. Высылка безработных в Сибирь или заключение в тюрьму – своего рода советский эквивалент западного пособия по безработице. Указ Президиума Верховного совета РСФСР от 8 августа 1975 года, на основании которого меня "предупреждали", мне ни первый, ни второй раз не показали, он не распубликован, едва ли и рядовые исполнители с ним знакомы. В июне мы с Оскаром Рабиным, которому тоже сделали предупреждение, послали в Международную Организацию Труда в Женеву письмо, обращая внимание на противоречие этого Указа с Конвенцией МОТ № 29, ратифицированной СССР 4 июня 1956 года и вступившей в силу 23 июня 1957 года. Никакого ответа мы не получили. Между тем, если бы СССР и международные организации относились всерьез к соблюдению конвенций, наша страна была бы одной из самых свободных.

Я думал сначала, что КГБ и милиция как-то нескоординировали свои действия, хотя меня удивило, что дают только предупреждение о трудоустройстве, но не о выезде из Москвы. Быстро, однако, я понял план КГБ и этой же ночью послал письмо Юрию Сергеевичу:

"С огорчением я убедился, что Вы – большой дурак, равно как и Ваши начальники. После того, как мы договорились об условиях моего отъезда, с Вашего ведома сегодня устроили дурацкую историю с моим задержанием и предостережением о трудоустройстве. Мне совершенно ясно, что вы делаете это для того, чтобы лишний раз подстраховаться и иметь средство давления на меня на тот случай, если я в последний момент откажусь уезжать. В утешение Вам могу сказать, что я тоже дурак, что в какой-то степени поверил, что к Вашим словам можно отнестись всерьез."

На следующий день рано утром мы выехали в Среднюю Азию. Деньги на дорогу я взял у Эрнста Неизвестного, обещав, что по прибытии на Запад он получит эквивалент в долларах. Когда мы в августе встретились в Швейцарии, он с удивлением и благодарностью говорил, что сразу же получил деньги – дела наши плохи, если возвращение долга – событие. В СССР нет чеков или кредитных карточек, я все время носил с собой несколько тысяч рублей, даже не нанизав их на веревочку, как советовал когда-то Ахназарову, и иногда на вокзалах и в аэропортах, замечая у меня в бумажнике толстую пачку денег, доброжелатели говорили: "Смотрите, как бы вас не обокрали", – но Бог спас. Я, признаться, гораздо более, чем карманникам, не доверял государству, которое у меня украло много денег и которому я не доверил бы по доброй воле и копейки.

Глава 27.

ПОСЛЕДНЯЯ

Наше путешествие – оно заслуживает отдельной книги – началось с Ташкента. Выстроенный заново после землетрясения, город, по-своему красив, ”национальный колорит” – единственная возможность обойти каноны соцреализма в архитектуре. В Самарканде мы ходили с утра до вечера между обсерваторией Улугбека и гробницей Тамерлана, первый раз мы видели настоящий азиатский город. В чайханах старого города, скрестив ноги, сидели на коврах пожилые узбеки, на улице варили шурпу, среди машин двигались ослики, тут же продавался домашний лаваш – плоский хлеб, вкус которого я помню до сих пор, испеченный в электропечах не шел с ним в сравнение. Базары были богаче, чем в России, маленькие магазинчики экзотичнее, люди приветливее – но все же то слабее, то сильнее, особенно в новых кварталах, отпечаток совесткого провинциального города чувствовался. Мечети и медресе реставрируются, но прямо под их стенами – сильное автомобильное движение, многие здания уже опасно накренены.

В Тбилиси, остановившись в гостинице, мы бросили вызов грузинскому гостеприимству – и на следующий день переехали к Мерабу Коставе, антропософу с горящим взором, громким голосом и резкими жестами. Мы приехали в Грузию на четыре дня и задержались на четыре недели – музыкант Мераб Костава, поэт Звиад Гамсахурдия и историк Виктор Рцхеладзе были нашими хозяевами. Чтобы защитить меня от ареста – а после обмана КГБ я не думал ограничиться трехнедельной поездкой, – Гамсахурдия фиктивно устроил меня садовником в свой дом и на три месяца временно прописал в Тбилиси. Что-то в нем отталкивало нас, несмотря на помощь, постоянные преследования наложили на него отпечаток мрачности и истерии, всюду ему мерещились провокации, агенты КГБ, что принимало характер прямо паталогический – хотя провокации действительно подстраивались.

Накануне съезда грузинских писателей, когда мы выходили из ресторана, к Звиаду подскочил человек в замшевой курточке и матерно выругался, что для грузин страшное оскорбление – и не успели мы опомниться, как увидели, что Звиад и Мераб бьют агента, а тот отчаянно свистит. В мгновение ока появилась милиция, Звиаду удалось бежать, милиция схватила Мераба, собравшаяся толпа стала кричать: ”Не он! Не он!”

– Видишь, народ говорит: не он, – сказал милицейский майор агенту, и Мераб был отпущен: сцена, в Москве невозможная. Звиад рассказывал, что он забежал в ближайший двор – там засада, трое

агентов пытались схватить его; один из этих "агентов", приятель Мераба, рассказал потом, что у них кто-то воровал детали машин, решили подстеречь вора: вот он вбегает, прячется, они к нему – но он улизнул. Тогда все это носило скорее комичный характер и пострадали только усы Звиада, которые он сбрил, чтоб не быть узнанным, но одновременно с арестами Орлова, Гинзбурга и Щаранского были арестованы Гамсахурдия и Костава, а через несколько месяцев Рцхиладзе. Пробыв в тюрьме более года, Гамсахурдия на суде "покаялся" и – как в свое время Красин и Якир – даже выступил по телевидению. Получили он и Костава по три года лагерей и два ссылки, на кассации Гамсахурдиии лагерь заменили ссылкой, по всей видимости он потащил за собой Рцхиладзе – тот получил ссылку тоже.

Для грузин главным было сохранение языка, культуры и хотя бы некоторой независимости от Москвы в образе жизни. Руссификация проводится осторожно, но настойчиво – и вызывает протест, во время нашего приезда были протесты, что диссертации обязали подавать для утверждения по-русски, а два годя спустя произошла многотысячная демонстрация, когда из новой конституции исключили упоминание грузинского языка как государственного. В Тбилиси много говорили о поджогах и взрывах – взрыв в приемной Совета министров был за день до нашего приезда, не знаю, дело ли это националистов или провокация. По официальной версии, это работа подпольных бизнесменов и сторонников бывшего секретаря ЦК Грузии Мжаванадзе, чистку которых начал новый секретарь Шеварднадзе. Сомневаюсь, чтоб чистка покончила с коррупцией, скорее повысила размер взяток: республиканский прокурор, например, за прекращение уголовного дела брал 30 000 рублей, начальник Медицинского управления МВД за "актирование" – 60 000, заработок ведущего инженера за сорок лет. Люди как-то приноравливались: мы были в задуманном с размахом, но недостроенном особняке, долго велось следствие, не ворованные ли стройматериалы покупал владелец, и не было ему смысла дом достраивать, раз в любую минуту могут отобрать – частной дом только и можно построить из ворованных материалов.

Была еще версия, что Шеварднадзе – ставленник Суслова, что он, став первым секретарем из министров внутренних дел, "обошел" главу КГБ генерала Инаури, ставленника Брежнева, и взрывы – дело КГБ и отражают борьбу "на верхах" между Брежневым и Сусловым. В Грузии были уверены, что Шеварднадзе станет кандидатом в члены политбюро, ходил даже анекдот, как Брежнев все политбюро проглотил, а затем выблевал – вроде как Гюзель мою речь на суде – и видит: Шеварднадзе. "А ты как попал?" – спрашивает удивленный Брежнев. "Я прошел другим путем", – отвечает Шеварднадзе, как юный Ленин. Однако вместо него кандидатом политбюро был сделан первый секретарь Азербайджана Алиев, бывший глава азербайджанского

КГБ*.

У шоферов такси, сапожников, в конторах, в магазинах можно было видеть портреты Сталина, особенно ценятся портреты в форме генералиссимуса, более всего те, где он вместе с Черчиллем и Рузвельтом. "Культ Сталина" не означает симпатий грузин к сталинизму как политической доктрине, просто, к их несчастью, Сталин наиболее известный грузин, а южане необычайно любят известность. В Тбилиси на каждом втором доме висит мемориальная доска, что здесь жил такой-то писатель, генерал или доктор наук – что уж говорить о Сталине, правда, на семинарии, где он учился и где теперь музей живописи, мемориальной доски нет. "Культ Сталина" – это вызов Москве, начнись сейчас откровенная сталинизация "сверху", его портреты стали бы исчезать в Грузии, как я почти не видел портретов Брежнева. Наконец, грузинам просто приятно, что недавно русские трепетали перед грузином, как Гюзель, татарке, приятно, что семьсот лет назад на русских нагнал страху Чингис-хан. Интеллигенция, во всяком случае те, кого мы встречали, относится к Сталину отрицательно.

Мы часто поднимались на Святую гору: Тбилиси, с красно-коричневыми черепичными крышами, с поблескивающей вдали Курой, очень красив, на городе, очень грузинском, лежит отпечаток еще нескольких культур – русской, армянской, мусульманской, еврейской и чуть ли не византийской. Мы гуляли по переулкам старого города, по застроенному купеческими особняками проспекту Руставели, ходили по музеям, видели картины Пиросманишвили и колхидское золото, за которым плыли аргонавты, посещали художников и пили с печальным Варази, были в знаменитых серных банях, где бывал Пушкин, прошли через прорубленный в скале мрачный туннель и очутились в ботаническом саду – по-видимому, так выглядел земной рай. недостаток Тбилиси, как бы запертого в котловине – тяжелый воздух от автомобилей, взбирающихся по крутым улочкам. Как южане, грузины, купив машину, беспрерывно ездят на ней, нужно это или не нужно, в отличие, например, от голландцев, которые, купив машину, моют ее, ставят в гараж и едут по делам на велосипеде. Грузинская праздная толпа, пожалуй, более всего напоминает итальянскую или греческую – не даром нам потом так понравились Афины.

Грузинская церковь разъедается коррупцией, но пользуется влиянием, в Тбилиси сравнительно много действующих храмов, и число верующих велико. Друзья показывали нам старые монастыри и храмы, как бы вырастающие из скал и суровые, как скалы. В одной из часовен они втроем необычайно красиво запели; они часто жаловались, что храмы разрушаются, в монастыре Давида Гореджи даже устроили артиллерийский полигон. Я спрашивал, правильно ли

---

*Шеварднадзе стал кандидатом в члены политбюро в ноябре 1978 г.

упрекать в этом русских, ведь наши храмы в еще более ужасном состоянии. Русские сами уничтожают свою культуру, отвечали мне, а мы, грузины, сберегли бы свою без чужого вмешательства. "Советскую власть" везде в союзных республиках называют "русской властью".

Грузинское гостеприимство, отвечающее феодально-рыцарскому духу грузин, исключительно, за месяц мы почти не имели возможности тратить свои деньги. Конечно, в этом есть желание "показать себя", а многочисленные и обязательные застолья порой нелегко выдержать. Застолья имеют определенный ритуал — есть тамада, есть порядок тостов: за этот дом, за родителей, за друзей, "за нашу многострадальную Грузию" и так далее, а также за каждого за столом, причем тамада не только предлагает тост, но и говорит похвалу гостю, затем словами "алла верды" передает слово следующему, тот следующему, пока все не выскажутся, и так каждый тост, сначала пьют из бокалов, а потом могут появиться окованные рога.

Мы ездили в Сванетию, лежащую на склонах кавказских гор, сваны — одно из грузинских племен, по языку и антропологическому типу отличающееся от грузин, живущих в долинах. На самолете мы долетели до Кутаиси, там на холме один из самых великолепных храмов Грузии, полуразрушенный, но с незабываемыми фресками, а в Сванетию отправились на машине. Чем выше мы поднимались в горы, тем опаснее становилась дорога, иногда приходилось выходить и разбирать завалы впереди. Из Нижней Сванетии в Верхнюю нельзя подняться даже на лошадях — двадцать километров мы шли пешком, треть пути по снегу, по узкой тропинке над пропастью. Буран залеплял глаза, но не думаю, что было бы лучше яркое солнце — нас ослепила бы белизна. Один из спутников потерял сознание, но лучше всех держалась Гюзель и первая вошла в Ушгули — самую выскоую деревню в Грузии. Жители были поражены нашим приходом: в июле перевал переходят многие, но почти никто весной.

В Ушгули у многих домов, иногда всего на расстоянии 2-3 метра друг от друга, возвышаются каменные башни метров 20 высотой, с толстыми стенами и узкими бойницами. В эпоху кровной мести сваны годами могли сидеть в башнях, перестреливаясь с соседом, женщин никогда не трогали в этой борьбе, они работали в поле и в доме, и муж на веревке поднимал пищу к себе в башню. Последний раз башни пригодились во время коллективизации, и колхозы в Верхней Сванетии носят фиктивный характер. Несмотря на обилие камня, улицы не мощеные, в каменных оградах почти нет калиток, а приставлены лесенки с двух сторон. Дома в Грузии почти все двухэтажные, но гордые сваны не потакают человеческим слабостям, и уборная — это шаткая будочка часто посредине улицы, с ревом топая по грязи, ее обтекает стадо коров, и глядя на них сквозь щели, я больше всего боялся, как бы бык одним рогом не завалил это сооружение вместе со мной.

Я видел, как крестьянин вез землю для своего огорода на волокуше, запряженной волом, как в Египте пять тысяч лет назад. Все почти сванки ходят в черном: после смерти ближнего или дальнего родственника женщина обязана носить траур до смерти. Если сванка хочет выпить с гостями, она должна спросить разрешения у мужа, впрочем, женщина очень уважаема.

В Местии, столице Сванетии, был устроен банкет, присутствовали даже секретари райкома, и мне оказали честь, доверив роль тамады. Некоторые по-грузински запротестовали, как это русского делать тамадой, но я не ударил в грязь лицом – не нарушил, консультируясь с Виктором Рцхиладзе, порядок тостов, сочинял экспромтом стихи, секретарь райкома по идеологии даже записывала их, чтобы повторить при случае, затем она играла на чунгури, а Гюзель танцевала, было, как принято говорить "единение партии и народа". К концу вечера пили за всех сколько-нибудь знаменитых сванов, включая полковника СиАйЭй, для сванов главное в человеке, что он сван – "красный" он, "белый" или "зеленый" дело второстепенное.

Едва я с тяжелой головой встал наутро, надо идти на "чашку чая" к главам местного просвещения и здравоохранения, у меня при виде их "чая"в глазах помутилось: из конца в конец зала стоит стол, уставленный коньяками и винами. Когда подоспел тост за друзей, я предложил выпить за нашего друга Юрия Орлова, борца за права человека, только что организовавшего Группу содействия выполнению Хельсинских соглашений – я услышал об этом по Голосу Америки. Все партийные сваны горячо одобрили организацию группы, и я закончил: "Разрешите от имени собравшихся послать Орлову приветственную телеграмму!" – гром аплодисментов. Юра рассказывал потом, что накануне объявления группы был он задержан и "предупрежден" в прокуратуре, дом был оцеплен агентами КГБ, никого не пропускали и не выпускали, и вдруг в разгар осады – раскрытую и помятую, но приносят телеграмму: "Вся Сванетия пьет Ваше здоровье. Победа будет за нами!"

Из Местии мы самолетом вернулись в Кутаиси, но купить билет до Тбилиси оказалось невозможно, и повезли нас пока что перекусить: ресторан в парке, так не типично для Грузии, был пуст, только за двумя сдвинутыми столами сидели – одни мужчины. Оказалось, две враждовавшие группы мафии, поубивав несколько человек друг у друга, решили помириться – в разгар сцены примирения мы и явились. Наш кутаисский гид знал кое-кого, а главари слышали обо мне, тоже, думаю, благодаря радио, – и немедленно откомандировали директора государственного ресторана за мясом на рынок. Скоро нам был накрыт великолепный стол, а оба мафиози нанесли, так сказать, визиты вежливости, один, хромой, с палкой в руках, был особенно характерен. Тут же снарядили двух молодых людей за билетами в

аэропорт – и сразу нашлись билеты. Большинство мафиози – тоже сваны; если сравнить Грузию с Италией, то сваны как сицилийцы, все связи основаны на принадлежности к роду, и измена карается.

Если Грузия – средиземноморская страна, то Армении не хватает выхода к морю, трудно представить себе народ с более трагической судьбой, чем армяне, взятые в полукольцо мусульманским востоком, из Еревана видна гора Арарат, украшающая армянский герб – но она в руках Турции. Если мышление грузин скорее феодальное, то армян – буржуазное, народ любит и умеет работать и торговать. Я не назвал бы отношения между грузинами и армянами враждебными, они вроде двух братьев, которые всю жизнь ссорятся, но как-то трудно представить одно без другого.

– Ну что, ругали нас армяне? – спросили в Тбилиси, после того, как мы на неделю съездили в Армению.

– Нет, не ругали, – нам грузин действительно не ругали.

– Вот видите, мы же вам говорили, какие они хитрые, мы их ругаем, а они нас нет!

Ереван, построенный в основном за советские годы, по красоте уступает Тбилиси, но и не похож ни на какой другой город. Армянская природа – это иссушенные солнцем безлесые холмы, только к северу от Севана начинаются леса. Мы ездили по Армении с нашим другом Михаилом Вермишевым, и то ли во время посещения Матенадарана, хранилища древних рукописей, то ли Эчмиадзина, резиденции каталикоса, он с возмущением рассказывал, что в то время, как Армения приняла христианство за пять веков до России, какой-то русский доказывал ему, что русские храмы древнее армянских. Я сказал, что у нас есть пословица "готовь сани летом, а телегу зимой", русские – народ предусмотрительный, могли построить храмы задолго до крещения на тот случай, если вдруг христианство примем – а храмы уже есть. Действующих храмов в Армении меньше, чем в Грузии; армяне – монофизиты, в христианстве их есть некоторый отблеск язычества, у пещерного храма в Гехарде мы видели ритуальное убийство ягненка, армянская церковная служба показалась мне самой красивой. Пожалуй, наиболее сильное впеватление на нас произвели хачкары – крест-камни, каменные плиты с вырезанным на них крестом и сложным узором.

В Армении очень уважаемы художники, в Ереване мы были в музее современного армянского искусства – в Москве его закрыли бы через полчаса. Когда директор предложил мне расписаться в книге почетных посетителей, я сказал, не будет ли потом затруднений для них, и он настоял, чтобы я расписался на самом видном месте. Наиболее одаренный армянский художник Минас Аветисян погиб при загадочных обстоятельствах, а до смерти сожгли его мастерскую.

В Сухуми мы хотели неделю позагорать у моря, но почти все

время лил дождь, столица Абхазии лишена национальных черт, это курортный город, с фланирующей по набережной толпой приезжих. Мы осмотрели две местных достопримечательности – карстовые пещеры и горное озеро. Первый гид, пожилая женщина, рассказала об "успехах социалистической Абхазии" и прочла стихи о Ленине, во второй поездке молодая рассказала анекдот о теще и легенду об озере "Девичьи слезы" – разрыв поколений был заметен. Остановились мы, по знакомству, в гостинице "Интурист", но в ресторан нас обедать не пускали – только иностранцев.

Абахазия входит в состав Грузии, и абхазцы отзывались о грузинах примерно так же, как грузины о русских. Чувства национальной гордости сильны и в Средней Азии, и в Закавказье, но ярко выраженных антирусских настроений мы не заметили. Но вот в Латвии, где летом 1975 года мы отдыхали на море, мы время от времени могли почувствовать неприязнь к нам как к русским; вспоминая поездки в Прибалтику в 1964 и 1970 годах, могу сказать, что неприязнь усиливается. В Риге наше воображение поразил рынок – странно было сравнить его с бедными московскими, представляю зависть приезжих русских.

В Одессе я больше всего хотел посмотреть знаменитую лестницу, по которой в "Броненосце "Потемкине" " скатывается детская коляска – кадр, запомненный мной с детства. Киев показался нам очень красивым, особенно запущенные парки, а на Владимирской горке в центре города мы собирали грибы. Я был исключен из университета за работу о Киевской Руси – и теперь впервые увидел Киево-Печерскую лавру и Софийский собор, по доброте служителей, подкрепленной денежной мздой, мы осмотрели собор почти в одиночестве. Тяжелое впечатление произвел на нас детский караул у монумента героям последней войны: понятно стремление сохранить память о погибших, но откровенно милитаристическое воспитание – едва ли лучший путь избежать войны в будущем. Двенадцатилетние девочки с косичками, с напряженными лицами, вытягивая ноги, с автоматами в руках, промаршировали и застыли в карауле. Памятник в Бабьем Яру – группа мужчин и женщин со славянскими лицами, евреи не упомянуты ни словом. В Киеве мы впервые заметили слежку – может быть, она была не за нами, а за нашими хозяевами: если в Узбекистане мы встречались с узбеками, в Грузии – с грузинами, в Армении – с армянами, то на Украине – с евреями.

7 июня мы вернулись в Москву и обнаружили датированную 29 апреля открытку: "Срочно явитесь в ОВИР в комн. № 22 за получением виз. Кошелева". Вспомнив злобное лицо Кошелевой, я ответил, что "мы зайдем в ОВИР по получении нами вежливого приглашения." Не знаю, как в ОВИРе, но среди привыкших к грубости московских евреев ответ наш произвел, как любят писать в советских

газетах "дурно пахнущую сенсацию". Мой приятель Иванченко – он появляется на этих страницах последний раз, – когда мы издали видели у столовой объявление кинофильма или список очередных "нарушителей", говорил: "Кажется, дурно пахнет сенсацией". "Дурной запах сенсации" соединяется в моей памяти с не менее дурным запахом барака и резким запахом дешевых духов: офицеры и надзиратели душились на время дежурств, чтоб не пропитаться запахом тюрьмы и лагеря, боюсь, получашаяся смесь была еще хуже.

Мы успели проститься с Иной и Виталием Рубиными: Виталию отказывали несколько лет, но как только он вступил в Хельсинскую группу, получил разрешение. В это же время произошел первый кризис Группы – по счастью, скорее комический. Один из ее членов, историк Михаил Бернштам, православный еврей, упрекнул самиздатский журнал "Евреи в СССР" в том, что они опубликовали его статью с искажениями, а главное – принудили его жену бросить его и уехать в Израиль. В своем письме он "Евреи в СССР" в первый раз взял в кавычки, а далее без кавычек, так что было не ясно, только ли журнал он обвиняет или вообще всех евреев в СССР. Редактор журнала Марк Азбель требовал от Орлова осуждения и исключения Бернштама, Орлов громогласных заявлений не хотел, чтобы не привлекать лишнего внимания к этому. Постепенно дело решилось само собой: как это часто бывает в матушке России, Бернштам, торжественно заявив, что никогда никуда не уедет, и выполнив тем самым свой долг перед православием, выехал за границу по израильской визе и выбыл из членов Группы.

Гюзель устала от путешествий, и на Север поехал я один, я непременно перед отъездом хотел побывать там, где после гибели Киевской Руси закладывалась будущая Россия. Из Вологды на автобусе я доехал до Кириллова осмотреть Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, последнй с замечательными фресками Дионисия – поднятая средиземноморьем волна как бы в последнем усилии оседала на северной русской равнине.

Шел сильный ливень, храм с фресками был закрыт, я пошел к директору музея – в бывшей келье привратника было тепло и сухо, у печи сидел мужчина в дымящемся плаще и пил чай.

– Да это же Амальрик! – закричал он: школьный товарищ, которого я не видел двадцать лет, приехал сюда как архитектор-реставратор. Моя юность, скорее печальная, как бы хотела напомнить о себе перед отъездом. Позднее в Москве я зашел в дом на Суворовском бульваре, где прожил от рождения до первой ссылки, широкая мрачная цементная лестница без перил поднималась прямо от двери, грязносиняя краска стен давила при тусклом свете, как будто в тяжелом сне, да мне и правда все это неоднократно снилось, Было так тяжело, что я даже не поднялся к дверям квартиры – но ведь мог же я четверть

века ходить по этой лестнице?

В Кириллове мест в гостинице не было; нашелся тут же весьма приветливый, хотя и не очень твердо стоящий на ногах гражданин, который предложил переночевать у него – не только меня, но его самого родственники в дом не пустили. Тогда этот последний из виденных мной бичей отвел меня на туристскую базу, где мне полулегально разрешили провести одну ночь, а затем я устроился у старой супружеской пары, называвшей друг друга Панечка и Манечка. По Волго-Балту через Белозерск и Вытегру я поднялся на "ракете" до Петрозаводска и на Онежском озере видел Кижи – поразительный комплекс деревянных церквей. За все время путешествия я не переставал удивляться, как народ, создавший эти церкви, фрески, иконы, ткани – вдруг со слепой яростью принялся разрушать все. Что сказали бы грузины, если бы увидели разваливающиеся вологодские церкви XVI-XVII веков, превращенные в склады. Конечно, Кижи сохраняют, в Вологде, Кириллове и Ферапонтове есть музеи – но все это так мало в сравнении с тем, что гибнет без возврата.

Из Петрозаводска на поезде я доехал до Кеми – помню серые валуны и внезапно открывшееся Белое море. Отсюда я хотел на катере добраться до Соловецких островов, с монастырем, знаменитым не столько "соловецкой осадой" времен церковного раскола XVII века, сколько лагерем, устроенным там после революции, слово "Соловки" вызывает те же ассоциации, как "Лубянка" и "Колыма", в Кеми был перевалпункт заключенных – и я хотел повторить тюремный маршрут. Но не тут-то было; на Соловках расположена воинская часть, прибытие туда разрешено только из Архангельска, и только туристским группам. Я разыскал все же катер и почти договорился с капитаном, но в конце концов он не взял меня, намекнув прозрачно, что сам же я его "продам", спроси меня, как я до Соловков добрался.

Погуляв по Кеми и полюбовавшись на Белое море, так не похожее на Черное, где я был всего десять дней назад, я взял билет на ленинградский поезд. В этой поездке я познакомился с двумя офицерами. Девушка, лейтенант милиции, рассказала, как ее начальник перед уходом на пенсию вдруг признался ей, как ему ненавистна система, которой он служит, и сколько сил стоит скрывать это. "Это было так неожиданно, – сказала она, – я знала его несколько лет, и не могла предположить ничего подобного. Он сам немного испугался потом и просил меня никому ничего не рассказывать". Невозможно вечно носить в себе невысказанное, ведь и эта девушка была рада поговорить со мной откровенно, думаю, я первый, кому она рассказала о своем бывшем начальнике. Уже в Москве мы разговорились с журналистом из архипартийного журнала, и он, узнав, что перед ним Орлов и Амальрик, может быть впервые испытал роскошь откровенного разговора, рассказал, что тайно пишет статьи о марксизме – сколько таких статей

пишется сейчас в России?

Рассказы армейского лейтенанта мало чем отличались от повестей Замятина и Куприна: "Тоска такая, что только водярой спасаемся, дольше всех жены держатся, журналы выписывают, концерты затевают, но и их хватает большее на два года". Вез он "спецпакет", вооружен был пистолетом, но с утра уже был заметно пьян. Большую часть дороги я проделал в обществе "активных пионерок" – их везли из Мурманска на летний отдых, в пути они плакали, пели, а некоторые, видимо, хотели стать киноактрисами. В Ленинграде я последний раз осмотрел Эрмитаж и прошелся по Невскому. В привокзальном ресторане за одним столиком со мной оказался выпускник семинарии, родом с Украины, на вопрос о его отношении к униатской церкви он твердо ответил: "Такой церкви нет".

В Москве уже ждала открытка, что нас "просят прийти " за визами, визы были до 17 мая, но дали их продленными до 30 июня, в обмен мы сдали советские паспорта, сказав, что других документов у нас нет. Инспектор ОВИРа, неуклюжая и незлая татарка, сменившая фамилию Израилова на Баймасова, разъяснила нам, что мы потеряем советское гражданство в момент пересечения границы – право стать советскими гражданами мы получили бесплатно, отказ от него стоил 900 рублей для каждого. "Виза обыкновенная" представляла продолговатый листок бумаги, с фотографией, печатью и пустым пространством на обороте для въездной визы. В Голландском посольстве нам проставили визы в Израиль и в Голландию, а в кассах "Аэрофлота" без всякого затруднения продали два билета в Амстердам, причем девушка, мило улыбнувшись, спросила, трудно ли было получить разрешение – я подумал, не хочет ли она сама уехать.

Нам оставалось десять дней, чтобы проститься с друзьями и упаковать вещи. Порядочный зэк, уходя из зоны, раздает имущество – рояль, шкаф, тахту, холодильник, стол, кресла, посуду и тому подобное мы оставляли друзьям; одежда, которую мы брали с собой, умещалась в двух чемоданах; проблемой были книги и картины. По получении виз я позвонил Юрию Сергеевичу, как оказалось, глубоко обиженному тем, что я назвал его дураком. Он сказал, однако, что разрешение на беспошлинный вывоз книг я получу в Ленинской библиотеке, а на беспошлинный вывоз картин – в управлении культуры Мосгорисполкома. Для вывоза книг, вышедших до 1947 года, нужно получать специальное разрешение и выплачивать пошлину, равную их цене, но женщина, более похожая на гебистку, чем на библиотекаря, через несколько дней вернула мне мой список с разрешением беспошлинного вывоза. Оказалось впоследствии, что моя победа иллюзорна – когда я в Голландии распаковывал посланные по почте посылки, то увидел, что наиболее ценные книги украдены таможенниками.

– Не знаю, как ваша жена может покидать свою страну! – с

ненавистью сказала таможенница-татарка; что я покидаю, так я, по ее словам, "типичный еврей". Как я уже сказал, бессознательная или осознанная, но причина этой ненависти – чувство, что вы, гады, уезжаете, а мы на привязи. Поэтому власти снисходительно смотрят на кражи и взятки как на своего рода компенсацию таможенникам. Эрнст Неизвестный рассказывал, как он, отправляя за границу свои скульптуры, дал офицеру 300 рублей.

– Эрнст! Но ты это от души?! – вскричал тот, пряча деньги в карман. Вот он, широкий русский человек, герой Достоевского, мало ему получить взятку, надо, чтоб она была от души.

– Я б ему ответил, что от души даю трояк, – сказал я, – а остальное из чисто деловых соображений.

Я и в КГБ сказал, что таможенникам не дам ни копейки – вот они меня на книгах и наказали. С картинами оказалось сложнее: вопреки заверениям КГБ, от меня потребовали представить картины на комиссию для оценки, приложив три фотографии каждой; Юрий Сергеевич застонал, услышав, что я включил в список икону и самовар – он хотел попросту договориться с таможней. Комиссия собралась в одном из флигелей Новодевичьего монастыря, было еще несколько евреев и – им сразу же отказали. Пожилая армянка пожаловалась мне, что когда они двадцать лет назад приехали из Ливана, советские власти говорили им, а особенно их золоту: "Добро пожаловать!" – теперь же их хоть и выпускают, но золото взять с собой не дают, разве это справедливо?

– Конечно, справедливо, – сказал я. – Вы, когда в Советский Союз ехали, дураками были?

– Да, дураками, – согласилась армянка.

– А теперь уезжаете, значит умными стали?

– Да, стали умными.

– Вот за это у вас золото и берут, что из дураков сделали умными.

Армяне весело посмеялись, но не уверен, что это их с потерей золота примирило, как не уверен и в том, что все их золото останется в СССР. Я сам сдал на комиссию не все картины – часть их, включая самовар и икону, в конце концов "пошла другим путем". Комиссия просила меня то войти, то выйти, я слышал их разговор, что "не получено инструкций", наконец, взыскав по 2 руб 50 копеек с каждой картины "за оценку" меня отпустили в уверенности, что все в порядке. Но на следующий день оказалось, что я должен заплатить за вывоз картин более 6 000 рублей; икону, две прялки и самовар вывозить запрещено, ввиду их художественной ценности Министерство культуры хочет купить их, сослались при этом на "ленинский декрет об охране художественных ценностей". Я ответил, что скорее разрублю икону топором – что вполне будет отвечать ленинской политике в

области искусства, – чем продам ее их паршивому государству; я писал уже, как Вишневский рубил на дрова иконы, как в старинных церквях устроили гаражи и склады. Не исключаю также, что, купив у меня икону за 2 000 рублей, искусстволюбивое государство потом продало бы ее за 20 000 долларов.

Картины были оценены от 100 до 1000 рублей, только "Портрет еврейского югоши" в 50. По-настоящему они заслужили более высокой оценки, но это были картины художников, которых государство вообще художниками не считало, совсем недавно их картины топтались бульдозерами, а сами они получали зуботычины от "друзей искусства". Казалось бы, властям только радоваться, что я вывожу "идеологически вредный хлам", а не требовать от меня возмещения. Но главное было даже не это, а наш договор с КГБ, который, как я считал, они обязаны выполнить. Добиться отмены решения заместителя министра культуры СССР Попова потребовало бы включения в борьбу высокого начальства в КГБ; тем, кто занимался моим делом, это не улыбалось – расчет был на то, что билет у меня в руках, срок визы истекает, с друзьями мы простились, вещи раздали, и склонны будем махнуть рукой на картины и уехать. Юрий Сергеевич намекал, что у меня есть друзья среди дипломатов, и не проще ли все переправить через них. Гебисты – в отличие от сванских мафиози, на слово которых можно положиться, относятся к типу мафиози, для которых слово – такой же инструмент обмана, как крапленые карты. КГБ не выполнил обещания с прощальной поездкой, задержав меня перед отъездом, теперь пытался увильнуть от беспошлинного вывоза картин, не знал я также – нужно ли ждать затруднений с прямым вылетом в Амстердам. Когда я сказал когда-то Пустякову: "Вы – ненадежные партнеры" – он с раздражением ответил: "Ищите себе надежных!" Я не хотел, чтоб КГБ так дешево отделался, и предупредил, что если мне картины вывезти не разрешат, я не уеду.

Через несколько часов раздался звонок, и солидный мужской голос сказал, что "вопрос согласован" – я вывезу все беспошлинно.

– Значит, органы победили? – спросил я, имея в виду победу над Министерством культуры.

– Победили, – удовлетворенно ответил голос.

– Победа за нами! Наши "славные органы" победили! – с победным кличем вошел я в комнату, у нас как раз сидел Юра Орлов, и мы втроем собрались уж, было, обмыть победу, но в управлении культуры мне ответили, что все остается по-старому, а на мои звонки в КГБ некто, отказавшийся себя назвать, отвечал, что никого нет. Я сразу же поехал в "Аэрофлот" отказаться от вылета.

– А третий товарищ не полетит тоже? – спросила служащая, вычеркивая Гюзель и меня. Я не понял, какой "товарищ", но потом сообразил, что нас должен был сопровождать кто-то из "органов", и мы

сорвали ему командировку в Амстердам. Кстати сказать, мой старый знакомый Борис Васильевич Тарасов бывал в Амстердаме и рассказывал, что видел там выставленные в витрине пластиковые мужские члены, давая понять, что между этими членами и публикацией там моих книг должна существовать преступная связь.

Со скрежетом зубов нам продлили в ОВИРе визы до 15 июля, время от времени я звонил в Министерство культуры, и каждый раз получал ответ позвонить "через пару дней". Мы старились, по русской поговрке "надышаться перед смертью": ездили в Коломенское, в Андроньевский монастырь, ходили в Кремль, съездил я к Саше Гинзбургу в Тарусу и три дня отдохнул на Оке. Наш отказ вылететь был маленькой сенсацией, начались звонки журналистов – я говорил, что отъезд зависит от исхода борьбы между КГБ и Министерством культуры, пока что министерство пляшет на трупе КГБ, и я прошу мировую общественность поддержать КГБ в его благородной борьбе. Нечего и говорить, насколько это "органы" раздражало, и Юрий Сергеевич по телефону прочел мне стихи Андрей Вознезенского об отчаянной смелости петуха, который продолжает нестись вперед с перерезанным горлом – поэтический намек: смотрите, как бы мы вам шею не свернули. Снова я обидел его, спросив, не схватил ли он выговор за плохую организацию моего отъезда, но тем не менее несколько раз он повторял, что захоти я вернуться – я и из-за границы могу позвонить ему. В управлении культуры меня упрекали, что я Голосу Америки даю "необъективную" информацию о картинах и иконе, я ответил, что никто не мешает им дать "объективную".

Отвечая на вопросы журналистов, рассматриваю я эмиграцию как поражение или как победу, я отвечал, что поскольку я уезжаю из своей страны под давлением, это никак не моя победа, но едва ли и победа властей, поскольку они не добились от меня отречения от книг. Наше движение имеет как бы три оборонительных или наступательных линии: первая – те, кто борется в тюрьме и лагере, вторая – те, кто "на своеборе" в СССР, как говорят зэки, "в большой зоне", третья – те, кто эмигрировал и продолжает борьбу за границей. Я считал и считаю, что гораздо важнее то, что человек делает, чем то, где он находится, – и мой двухлетний опыт за границей подтверждает это. На вопрос о возвращении я отвечал и продолжаю отвечать, что СССР ожидают или серьезные реформы, или жестокий кризис, в обоих случаях возвращение возможно.

В конце июня, еще до отсрочки отъезда, мы созвали наших друзей на проводы в доме Юры и Иры Орловых. Задуманы проводы были широко, мы даже привезли два ящика богемского стекла, чтобы все бокалы "на счастье " перебить. Андрей Дмитриевич, хлебнув шапмпанского, первым лихо швырнул свой бокал на пол, за ним Люся, но некоторые диссидентские жены нашли, что получаестя как-

то уж слишком ухарски, и осторожно отставили свои бокалы, большую часть их, однако, нам побить удалось. Комнаты были полны народу, уже при подходе к дому слышался несмолкаемый гул, у входа стояли чины госбезопасности, придавая проводам официальную торжественность. В один прекрасный момент дверь распахнулась и, предводительствуемые пышногрудой девушкой, вошли пять мужчин – все в сапогах и чуть ли не в косоворотках, гуськом, ни на кого не глядя и не прветствуя Гюзель, Орловых или меня, но как бы ведомые безошибочным инстинктом, они сражу же направились туда, гре стояли водка и закуски. Постепенно выяснилось, что это "руссисты", носители "русского национального духа", группировавшиеся вокруг журналов "Вече" и "Земля". Я был даже рад, что они зашли сказать последнее "прости" "блудному сыну", но потом один из них так грубо стал нападать на Сахарова, что Гюзель пришлось его вывести, он не хотел уходить без друга, выходя с захваченной на кухне колбасой и еле держась на ногах, оба бормотали: "Вот гады, даже выпить не дали!"

Другой незваный гость пришел не только раньше всех званых, но даже раньше нас с Гюзель – поэт Лев Халиф, вида импозантного, его я тоже видел первый раз, он был исключен из Союза писателей и тем самым как бы получил право ходить на все диссидентские пирушки. Полбеды, что он пришел сам, ничего дурного он не сделал, но он привел парня и девку, которая, ни слова не говоря, просидела весь вечер на диване, глядя на всех и особенно на меня с нескрываемой ненавистью. За два дня заходил ко мне неожиданно появившийся из Магадана Марк и намекал, чтоб я пригласил его на проводы, – я его не позвал, думаю, что КГБ в наглую послал эту пару, и жалею теперь, что не вывел их, моя доброта много раз оказывала мне дурную службу.

Через несколько дней я был разбужен телефонным звонком, и Лев Халиф уже на правах старого друга спросил, не могу ли я достать ему приглашение на прием к американскому послу.

– Вы, голубчик, и ко мне пришли без приглашения, – раздраженно ответил я, – и еще хотите от меня приглашение на 4 июля, я не посол.

– Но я хороший друг Юры Орлова, – обиженно сказал Халиф.

– Он как раз больше всех удивлялся, что вы пришли, – сказал я. Как только мы с Юрой появились на приеме, первым мы увидели у стола с бутылками Льва Халифа, он смотрел как бы поверх наших голов, что при его большом росте было не трудно.

Не знаю, как с Халифом, но нашему приглашению на прием по случаю 200-летия США предшествовала деликатная борьба. Дух разрядки силен, американцы не пригласили бы и меня, я же хотел, чтобы пригласили не только меня, но и Орлова как официального руководителя Хельсинской группы. В конце концов я сказал, что мы в гораздо большей степени отвечаем духу американской революции, чем

несколько десятков уже приглашенных явных и тайных агентов КГБ, и что я подниму этот вопрос в американской печати. Посольство запросило Госдепартамент, и накануне 4 июля мне передали приглашения. Правда, нас полушутя упрекнули, что Громыко, узнав, что мы здесь, сразу же праздник покинул, так что я даже не успел поблагодарить его за "личное наблюдение".

Кроме Громыко на приеме было достаточно советских чиновников: чиновники не из КГБ разговаривали только друг с другом и постепенно сбились в одной из боковых комнат, где, по словам Иры Орловой, возникла атмосфера русской пивнушки; чиновники из КГБ, напротив, шныряли повсюду с самым светским видом и со всеми заговаривали, даже со мной. Мелькали лица, мне знакомые еще по работе для АПН, и тут я увидел поэта Андрея Вознесенского, стихами которого меня пугал КГБ. На проводах Эрнста Неизвестного три месяца назад он горячо жал мне руку и говорил о своем уважении и сочувствии, теперь же, на глазах советских коллег, ответил на мое приветствие довольно кисло. Ну погоди, голубчик, подумал я, и, схватив его за руку, подвел к Юрию Федоровичу: "Вот профессор Орлов, руководитель Хельсинской группы, если у вас будут трудности с публикацией ваших стихов, сразу же обращайтесь к нему". Вознесенский так и шарахнулся от нас, позднее я видел его в Вашингтоне – и он снова держался очень достойно. Оставляя в стороне его поэтические и человеческие качества, ему – вместе с еще несколькими писателями, режиссерами и балеринами – выпала странная роль быть "кредитной карточкой совесткого либерализма", которую режим время от времени вытаскивает, чтобы показать Западу.

– Добрый день, – сказал, протягивая мне руку и улыбаясь, то, что Гоголь назвал бы господином средних лет, не то что бы худым, но и не то что бы толстым, с чертами лица очень благообразными. – Не узнаете меня? Я Виктор Луи.

Как же, как же, советский гражданин и английский журналист с репутацией "посла КГБ по особо важным поручениям", мой старый, хотя и не близкий знакомый, оба мы интересовались живописью, более десяти лет я не видел его, так что мог и не узнать сразу. Когда-то меня, совсем еще молодого, он спрашивал, почему я, человек способный, не стремлюсь к такому же благополучию, как он, – есть эта "желудочная наивность" даже у людей умных. Теперь он сказал, что относится с большим уважением к тому, что я не отказался от своих взглядов, но вообще это более или менее чепуха – СССР будет существовать еще тысячу лет, слово в слово, что мне говорила Надежда Мандельштам. Я ответил, что, напротив, жду серьезного кризиса, и для меня последним симптомом его приближения будет разрыв с системой и бегство на Запад самого Луи. "Если только этот разрыв еще возможен", – добавил я.

Я хотел добиться, чтобы членов Хельсинской группы приглашали на национальные праздники и другие посольства, прежде всего английское, французское и западногерманское, однако даже американцы через два года не пригласили ни одного диссидента – отвечало ли это их общей политике или только подходу посла Туна, судить не берусь. Жена бывшего английского посла г-жа Греви сказала мне позднее, что они, то есть англичане, в иностранные посольства не обращаются. Во-первых, это не так, в совесткое посольство обращаются многие англичане, даже члены парламента. Во-вторых, чем шире посольство имеет контакты, тем лучше оно представляет ситуацию в стране. В-третьих, есть большая разница между СССР и Англией, часто нежелание иметь контакт с диссидентами диктуется не высокими политическими соображениями, а обыкновенной трусостью.

11 июля из Министерства культуры сообщили, что мне разрешен беспошлинный вывоз картин, а иконы, прялок и самовара запрещен. Юрий Сергеевич сначала обещал сам пронести их через таможню, но через час позвонил: к сожалению, дело так прогремело, что сейчас уже ничего не выйдет, он просит прощения. "Ну ничего", – сказал я. Все-таки он предупредил меня заранее.

– Рейс в Амстердам?! Но у вас выездная виза в Израиль – вы обязаны лететь через Вену! – возмущенно сказала унылая баба в "Аэрофлоте", и не успел я опомниться, как она разорвала наши билеты. Не знаю, сделала ли она это по своей инициативе или КГБ решил нарушить последнее условие, но снова понадобились телефонные звонки, переговоры, и на следующий день в "Аэрофлоте" мне предложили билеты на Амстердам на 15 июля – последний день нашей визы. Так как билеты надо выписывать заново, я должен доплатить 70 копеек.

– Не я рвал билеты, – сказал я, – и ничего платить не буду.

– Что же, я должна, по-вашему, платить? – спросила вчерашняя баба и неожиданно громко зарыдала, я сел в кресло дожидаться, чем это кончится, и видя, что мое каменное сердце слезами не тронешь, начальник агентства распорядился, наконец, выдать мне билеты. Если наше могучее государство потеряло из-за моего упрямства 70 копеек, потеря была компенсирована тем, что я не стал брать 120 долларов, на которые разрешают обменивать рубли каждому репатрианту. Как говорит русская пословица: чужих долларов не надо, но и своих копеек не отдадим.

Из-за уловок КГБ наш отъезд отложился на два месяца – с 17 мая до 15 июля, что сыграло решающую роль в судьбе нашей кошки. В начале мая она убежала от родителей Гюзель – и пропала. Мы были очень расстроены, вспоминая и прежних пропавших котов, и я ругал Гюзель, подозревая, не выгнали ли Дису сами родители. И вот дня за четыре до нашего отъезда нам звонит сестра Гюзель: она недалеко от дома нашла очень похожую кошку. И правда: как будто наша Диса,

но какая ободранная, несчастная, запуганная, дома она забилась под кровать, и только ночью вылезла и легла мне на руку, как ложилась когда-то котенком, так что не осталось сомнений – это Диса. Теперь Гюзель срочно пришлось получать для нее – правда, не выездную визу, но сертификат, что она здорова.

Рано утром 15 июля 1976 года наш друг Дик Комбс из Посольства США заехал за нами. Для меня всегда были тяжелы прощания – то зыбкое состояние, кгода ты здесь, но как бы уже и не здесь. Глядя в лица своих друзей, собравшихся в Шереметьево проводить нас, я испытал чувство вины – я оставлял их в тяжелое время.

Шмонали нас небрежно, не сделав даже попытки личного обыска, и только забрали напоследок – да и странно было бы, если бы все пропустили – часы моих дедушки и бабушки, те самые, мысль о которых была так непереносима для меня в начале второго срока, надеюсь, что они еще вернутся к нам. Провели нас последними, отдельно от всех пассажиров, кружным, или, как сказал сопровождающий гебист, "прямым путем". Накануне мы колебались немного – есть ли в самолете, а вдруг отравят напоследок. Но очень уж маловероятно мне это казалось, мы не спали всю ночь, проголодались, я боялся, что сразу же в Амстердаме будет пресс-конференция, нужны силы, и, внимательно наблюдая, кому и как разносят подносы с обедом, мы поели – на прощанье матушка Россия не пожалела для нас черной икры.

Гюзель заснула, положив голову мне на плечо, Диса успокоилась и лежала у меня на коленях, я совсем не думал о "пересечении границы" – за окном ничего не было видно, кроме белого слоя облаков под нами, и вдруг неожиданно для себя я заплакал, бесшумно слезы текли по щекам. Мы покидали любимую и ненавистную великую страну – неужели без возврата?

1977-78,
Жанто, Швейцария,
Утрехт, Голландия,
Нью-Йорк, Вашингтон, Кембридж, США

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. Москва, 1966-1970

Часть II. Откуда нет возврата, 1970-1973

Часть III. Возврат, 1973-1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС"

М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ (1982-)
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ (1977)
М. Булгаков, ЗОЙКИНА КВАРТИРА (1972)
М. Булгаков, МАСТЕР И МАРГАРИТА (1979)

А. Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ (1978)
А. Ахматова, СТИХИ, ПЕРЕПИСКА, ИКОНОГРАФИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ (1977)
М. Цветаева, ФОТО-БИОГРАФИЯ (1979)
О. Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА (1975)
О. Мандельштам, ТРИСТИЯ (1972)
О. Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ (1980)
Е. Замятин, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ (1981-)
В. Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ (1981-)

Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976)
Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
Василий Аксенов, ОЖОГ (1980)
Василий Аксенов, ОСТРОВ КРЫМ (1981)
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978)
Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1979)
Фазиль Искандер, НОВЫЕ ГЛАВЫ, Сандро из Чегема (1981)
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)
Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО (1978)
Алексей Цветков, СОСТОЯНИЕ СНА (1981)
Семен Липкин, ВОЛЯ (1981)
Юрий Кублановский, ИЗБРАННОЕ (1981)
Владимир Набоков, СТИХИ (1978)